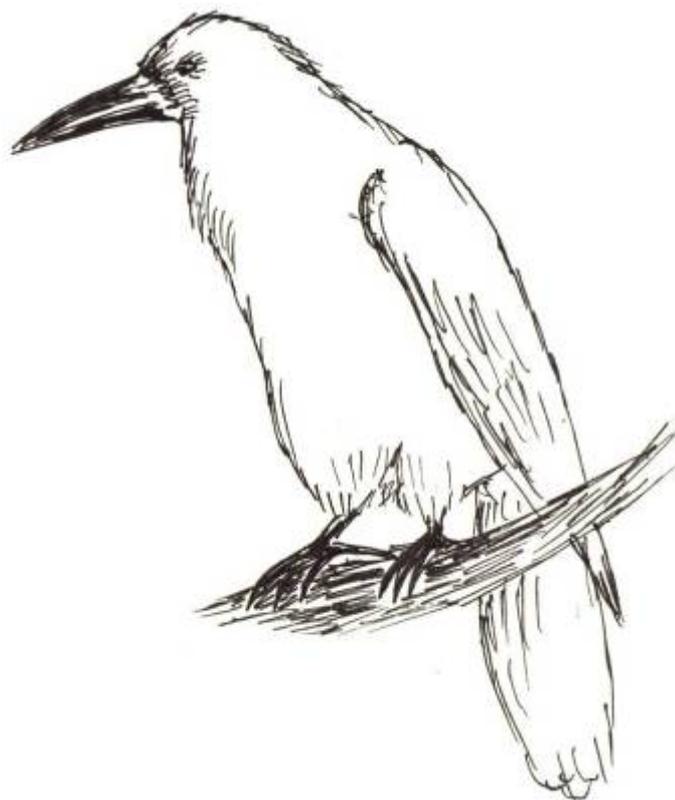


Литературный альманах

# БЕЛЫЙ ВОРОН



Екатеринбург  
Лето 2014

**BELYJ VORON 2014/2(15)/ SUMMER** Literary Magazine

**Copyrights © 2014 by** Bauer Vladimir, Bochenkova Olga, Chechik Felix, Daugaviete Inga, Delaland Nadia, Dorofeeva Natalia, Gendernis Irma, Generozova Elena, Grinvald Anatolij, Gruzdeva Katerina, Iljin Vladimir, Inozemtseva Elena, Judin Boris, Jukhimenko Anatolij, Kanaki Katerina, Karaulov Igor, Kvadratov Michael, Kovsan Michael, Lerner Tatjana, Molodyj Vadim, Mrakabred Ruslan, Okun Aleksei, Okun Michael, Palshina Margarita, Panduru Ion, Simonov Gleb, Shusterovich Rafael, Slepukhin Sergej, Slepukhina Evdokia, Sukharev Evgenii, Vinokurova Anastasia.

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced in any form or by any means, including information storage and retrieval systems, without permission in writing from the Publisher and/or the Author, except by a reviewer who may quote brief passages in a review.

Editorial board:

**Evdokia Slepukhina, Tatyana Krasnova, Vadim Molodyj, Maria Ogarkova.**

Chief Editor:

**Sergei Slepukhin**

Picture on the cover by **Ion Panduru** (Bucharest). **House in Breaza**. 33 x 30 cm, oil, cardboard. 2004

Book design and logotype by Evdokia Slepukhina

ISBN 978-1-312-36304-5

Eudokia Publishing House

eudokiya@gmail.com

Printed in the United States of America

## СОДЕРЖАНИЕ

- 4 **ИГОРЬ КАРАУЛОВ — СЕРГЕЙ СЛЕПУХИН.**  
ВСЁ НА СВЕТЕ ТЕМА ДЛЯ РУССКИХ СТИХОВ. *Интервью*

### МЯТЕЖНЫЙ КАРАНДАШ

- 10 **МИХАИЛ ОКУНЬ.** СЛОВОРУБКА. *Миниатюры*  
13 **КАТЕРИНА ГРУЗДЕВА.** СОВЫ ЖИВУТ ВЕЧНО. *Рассказ*  
28 **МАРГАРИТА ПАЛЬШИНА.** МАЛЬТИЙСКИЙ МИСТРАЛЬ. БЕЗБРЕЖНЫЕ ДНИ. *Рассказы*  
38 **МИХАИЛ КОВСАН.** ЖРЕЦ. *Симфония (окончание)*

### БРЕД ПОЭЗИИ СВЯЩЕННЫЙ

- 150 **АНАТОЛИЙ ЮХИМЕНКО.** PRAEDICATIO  
151 **ВЛАДИМИР ИЛЬИН.** ПОИСКИ ПРОДОЛЖЕНИЯ  
154 **ФЕЛИКС ЧЕЧИК.** САМОМУ СЕБЕ СИНОНИМ  
156 **РАФАЭЛЬ ШУСТЕРОВИЧ.** АЗУЛЕЖУ  
159 **ИГОРЬ КАРАУЛОВ.** СТАНЦИИ  
162 **ГЛЕБ СИМОНОВ** СТЯНУТЫЕ ТЕКСТЫ  
163 **ЕЛЕНА ГЕНЕРОЗОВА.** ДОСТАНЕТ ДРОВ И КОЛДОВСТВА  
164 **КАТЕРИНА КАНАКИ.** THREE LETTERS AND ONE FAREWELL  
166 **МИХАИЛ КВАДРАТОВ.** ВНЕЗАПНЫЙ ПРИСТУП ПАМЯТИ  
167 **НАТАЛЬЯ ДОРОФЕЕВА.** ВОЗВРАЩЕНИЕ  
168 **МИХАИЛ КОВСАН.** ПУШКИНУ (ВЕНОК СОНЕТОВ)  
171 **АНАТОЛИЙ ГРИНВАЛЬД.** ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ  
174 **АНАСТАСИЯ ВИНОКУРОВА.** СЕАНС СВЯЗИ  
176 **РУСЛАН МРАКАБРЕД.** ПРИВОРОТ  
177 **ИНГА ДАУГАВИЕТЕ.** ЛАДНО, ПОДРУЖКА!..  
179 **ВАДИМ МОЛОДЫЙ.** ПОСВЯЩЕНИЯ  
181 **ТАТЬЯНА ЛЕРНЕР.** ВСЕМОГУЩИЕ  
183 **НАДЯ ДЕЛАЛАНД.** ЭТОТ СОН ПОРАЗИТЕЛЬНО ДЛИННЫЙ  
184 **БОРИС ЮДИН.** ЛЕНТА МЁБИУСА  
185 **ИРМА ГЕНДЕРНИС.** ДАЙ КРЕН  
188 **ВЛАДИМИР БАУЭР.** МЕНЯ ЗОВУТ ПЕТРОВ

### МАЭСТРО

- 192 **ДВА ГРАФИКА** (ОЛЬГА БОЧЕНКОВА, Калуга. ИРМА ГЕНДЕРНИС, Лиепая)

### ХОРОШО ПРИ СВЕТЕ ЛАМПЫ...

- 200 **ЕЛЕНА ИНОЗЕМЦЕВА.** «ПЬЯНЕНЬКИЕ». *Эссе*  
208 **ЕВГЕНИЙ СУХАРЕВ.** ВОДКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО. *Эссе*  
215 **АНАТОЛИЙ ГРИНВАЛЬД.** ЗАЧЕМ ТЕЛЕГЕ ПЯТАЯ НОГА, ИЛИ ЖЕМЧУЖНЫЙ  
ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ. *Эссе*

- 225 **РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ**

## ВСЕ НА СВЕТЕ ТЕМА ДЛЯ РУССКИХ СТИХОВ

ИГОРЬ КАРАУЛОВ — СЕРГЕЙ СЛЕПУХИН.

*Интервью*

**Сергей Слепухин.** Здравствуйте, Игорь. Мы с вами познакомились много лет тому назад, и называли друг друга поэтами. Забыл спросить: поэт — это кто?

**Игорь Караулов.** Добрый день, Сергей! Поэт — это человек, который пишет стихи. Желательно — хорошие. Можно спорить, что такое стихи, но, мне кажется, 99% стихотворений опознаются 99% читателей именно как стихи. Что же касается поэтических определений поэта и поэзии, то они должны стать предметом отдельного исследования, и я не хочу добавлять отсебятины в этот огромный и красочный массив.

**Сергей Слепухин.** Один поэт дал нашему времени исчерпывающую характеристику, назвав «эпохой недочеловека, озабоченного собственным брюхом и карьерной перспективой». Может быть, нам не стоит говорить о поэтах и поэзии? Поэты — они нужны? Кому нужны? Не лучше ли пятаками ткнуться в корыто и дружно чавкать?

**Игорь Караулов.** Есть вещи, которые подавляющее большинство людей не считает нужными. Например, геодезические реперы. Их просто никто не замечает, а они необходимы для всех нас. Надеюсь, что и поэты образуют такую же незаметную, но необходимую опорную сетку. Нужно ли желать, чтобы все-все-все оторвались от корыта и стали наизусть заучивать «Незнакомку»? Я думаю, что нет. Без большинства, живущего «корытом», рухнет экономика, рухнет материальный мир вокруг нас. Согласны ли мы читать друг другу стихи в пещерах?

**Сергей Слепухин.** Тогда, в 2006 году, я окрестил вас «московским Энсором». Прочитал стихи, и на память пришла великая картина «Въезд Христа в Брюссель». Полтора столетия назад ее отвергли обыватели. Многотысячная толпа мегаполиса встречает новоявленного Мессию. Лица похожи на маски и символизируют ложь. Диссонанс красок, сатирическая язвительность, гротеск. Показалось, именно это станет отличительной чертой вашей поэзии. Я ошибся?

**Игорь Караулов.** Энсора я видел в Генте прошлым летом. А в Остенде я обедал в ресторане «Энсор». Но из мастеров тех мест мне все-таки ближе Вермеер, его камера-обскура, волшебство линз его товарища Левенгука. Этого идеала я не достиг и, возможно, не достигну, хотя о некоторых вещах, о которых хочется говорить, не расскажешь, не погрузив себя и читателя в хаос.

**Сергей Слепухин.** Чуть позже после нашего знакомства прочитал роман Аниты Мейсон «Иллюзионист». В нем библейская тема соседствует с социальной сатирой: уцелевшие после известной казни сподвижники Сына Божьего оказываются ячейкой загнанных и отчаявшихся людей, очень похожих на русских народовольцев. Прошло десять лет, и, кажется, что смерть их товарища Иисуса была напрасной, дело погибло. Но происходит чудо. Положение спасает отставной член киликийского синадрона, обнаруживая в себе завидные таланты менеджера и удивительный профессионализм в коммуникационной сфере, а также public relations. В те времена — рассказывает англичанка — в Иудее каждый год объявлялся новый мессия, и, стало быть, победа учения И. Х. есть результат талантливого и рационального процесса продвижения отдельно взятой идеи.

Как вы, поэт, относитесь к такой вульгаризации, ну, хорошо, смелости в изложении священного? К осознанному снижению торжественности канона? Ереси?

**Игорь Караулов.** Да, есть такая старая идея о том, что истинным творцом христианства был апостол Павел. Но в этом нет ничего противоречащего Новому Завету, поскольку в нем и не делается вид, будто Христос лично и при жизни создал Церковь как земную организацию. Там больше про небесную Церковь говорится, а ее не поколебать вольными трактовками исторических сюжетов.

Я думаю, что библейский сюжет сакрален только в церковном контексте. В остальных смыслах это литература, это источник архетипов, которые неизбежно раз за разом будут обыгрываться в том числе и людьми иной веры, и атеистами. В этом сила Нового Завета: это самая вечная из всех священных книг.

**Сергей Слепухин.** *И тогда Слепухин снова вошел в преторию, и призвал Караулова, и сказал ему...*

Что для вас, Игорь, истина? Чему храните верность? Фундаменталисты и атеисты — к кому себя относите? Кто такой Бог? Что значит говорить? Может ли сегодня Бог стать темой стихотворения? Что поэт, вообще, способен сообщить о причине вещей, семени всего сущего?

**Игорь Караулов.** Я вырос в атеистической советской семье, так что в детстве у меня не произошло встречи с церковью. А в зрелом возрасте я уже не смог выбрать себе религию. Впрочем, атеистом я бы себя тоже не назвал. Мне ближе мистицизм, то есть ощущение Единого, из которого мы вышли и в которое мы должны вернуться. При этом я допускаю, что наш мир был создан, но я не верю, что его создатель похож на Бога в авраамическом смысле. Может быть, сотворение мира — это практическая работа, выполненная учеником, и не самым успевающим, в школе космогонии? Я также допускаю, что жизнь и наш с вами разум — это вовсе не венец творения, а недосмотр творца, отклонение от проекта, порча материи. Вот-вот эту порчу обнаружат и устранят. Индивидуальное сознание, «я», «душа» — в моем представлении это каникулы небытия, выигрыш в лотерею, случайный и незаслуженный подарок, в то время как смерть — возврат к нормальному состоянию материи.

**Сергей Слепухин.** По прошествии некоторого времени созданное кажется от тебя отделенным и подвергается критическому осмыслению. Не знаю, думает ли о несовершенстве созданного генеральный архитектор вселенной, а вот вам, Игорь, знаком этот эффект ампутации собственного творения и угрызения совести за допущенные ошибки, опiski и упущения? Где, в чем находите выход?

**Игорь Караулов.** Конечно, знаком. «Испортит песню, дурак», — то и дело себе говоришь, просматривая старое. А выход, конечно, в том, чтобы придумать новое. Когда новое не придумывается, есть ощущение безвыходности. Досадно то, что стихи тесно привязаны к возрасту, к этапу жизни, и в этом смысле ничего исправить нельзя. Если ты в двадцать лет не написал ничего путного о себе двадцатилетнем, то ни в сорок, ни в пятьдесят этого уже не напишешь. Я, к сожалению, не написал: поздно созрел.

**Сергей Слепухин.** Я хотел бы сосредоточиться на теме гражданской поэзии в нашем разговоре. Когда Кормильцева спросили, почему в России поэты плохо кончают, он ответил: «Все в России плохо кончают, просто поэты успевают об этом спеть». Так ли? В этом ли предназначение поэта, его мессианство? Актуально ли хрестоматийное, усвоенное в советской школе, — «поэт в России больше, чем поэт»?

**Игорь Караулов.** Нет, не больше. Государство перестало серьезно относиться к поэту, и похоже, что это навсегда. Никакого преследования, никакого противостояния «поэт и царь» уже быть не может. «Наши речи за десять шагов не слышны» — это о нашем времени; речи Мандельштама, к сожалению, были слышны очень далеко — лучше бы они в то время не выходили за пределы его тихой, как бумага, квартиры.

**Сергей Слепухин.** Раз уж мы процитировали пафосные строки «Братской ГЭС», скажите, где место поэта — определите его на отрезке между аполитичным Набоковым и гиперполитизированным Евтушенко?

**Игорь Караулов.** Место поэта — в его детстве, там, где все начиналось. Другое дело, что поэт непоседлив и вечно стремится прочь от своего места силы. В том числе и в политику. Это такая челночная дипломатия между мирами.

**Сергей Слепухин.** Русский поэт — это тот, кто пишет по-русски? Или это великоросс, истинный славянин, набор аминокислот в геноме которого соответствует эталону славянской расы? Этот эр-поэт, он кто — патриот, или гражданин мира?

**Игорь Караулов.** Если человек не патриот, то он идиот. В том самом греческом смысле: человек, стоящий вне общества. Поэту идиотом быть не к лицу, да и неинтересно. Аминокислоты тут, разумеется, ни при чем.

**Сергей Слепухин.** Гражданская поэзия — она своевременна, современна? Одна дама, профессор, написала под моими стихами, что гражданская поэзия — это проституция. Согласны? Может, действительно не надо торопиться, ведь возможна ошибка, а большое, как известно, «видится на расстоянии»?

**Игорь Караулов.** А ничего нельзя сделать, если пишется, если хочется высказаться. Данте свободно говорил о синоминутном под видом вечного, и ведь мы сейчас несколько не задумываемся о том, прав ли он был в своих политических симпатиях, был ли он прогрессивен или реакционер. Вначале он примкнул к гвельфам. Формально это были сторонники Папы, по сути же они отстаивали феодальную раздробленность Италии, а заодно и Германии, что привело к отставанию этих стран в историческом развитии и в конечном счете — к появлению Гитлера и Муссолини. Затем Данте стал гибеллином, то есть сторонником сильной, но иноземной власти — тоже вроде не очень почетно по сегодняшним меркам.

А проституция — это когда за деньги. Можно о цветочках писать за деньги, и это будет проституция.

**Сергей Слепухин.** В 2009 отмечалось 150-летие Гамсуна. Не нашлось ни одного частного спонсора, кто пожертвовал бы хоть одну крону на чествование нобелевского лауреата, назвавшего Гитлера «борцом за человечество» и «реформатором высшего класса». А ведь в начале прошлого века Гамсун был кумиром огромной читательской аудитории. Дамочки всего мира, как метко заметил Сапф Черный, готовы были бросить все и «подобрав юбки, бежать в лес к лейтенанту Глану». Имеет ли автор гражданских стихов право на ошибку?

**Игорь Караулов.** Гамсун — дело давнее, не нужно так далеко ходить. Александр Кушнер подписал «письмо 42-х». Кровь, пролитая в 1993 году, и на его руках тоже. Но я люблю его стихи и не могу ничего с этим поделать. «Право на ошибку» — наверное, не очень правильный термин, но мне кажется, что у нас не такая страна, в которой литератор может быть подвергнут остракизму за те или иные политические взгляды. Посмотрите хотя бы, как быстро возродился авторитет Маяковского после крушения жесточайшей политической системы, которую он воспевал. Посмотрите, как меняется отношение тех или иных общественных лагерей к Эдуарду Лимонову, но в литературе он стоит как скала.

Наша история толерантна в том смысле, что в нее заложены очень большие допуски приемлемого («tolerance» значит еще и «допуск» в металлообработке). В разные времена слишком разные вещи считались приемлемыми и, напротив, слишком разные вещи запрещались, поэтому я не верю в то, что когданибудь мы окончательно определимся с нашими козлицами и извергнем их во тьму внешнюю.

**Сергей Слепухин.** Вспомнился стишок Иртеньева. «Свободы идеей святой одержим, / Трудов не жалел и сил, / Я стрелы метал в ненавистный режим, / Но ветер их вдаль относил». Быть поэтом гражданской темы, что это: бунтарство, оппозиция, профессиональная революционная деятельность?

**Игорь Караулов.** Границу между гражданской поэзией и фельетоном, может быть, и нельзя провести четко, но она есть. Фельетон — это не бунтарство и не оппозиция, а газетный жанр. За него деньги платят (к вопросу о проституции — хотя газетчиков и без того называют «второй древнейшей», так что пережить можно). Гражданская же поэзия — это часть индивидуального поэтического мира.

**Сергей Слепухин.** Когда мы говорим о «политической составляющей» литературы, то имеем в виду противопоставление свободы художника деспотии власти. Это традиционно для России. Однако в мире много других вызовов, иной раз «забугорные» злободневные темы проникают в нашу жизнь. ЛГБТ, например, глобализация. На ваш взгляд, это тема для русских стихов?

**Игорь Караулов.** Да все на свете тема для русских стихов, как и для любых других. Вот Шекспир, говорят некоторые, свои сонеты адресовал мужчине и, стало быть, воспевал ЛГБТ. Вышло довольно талантливо. Но когда стихи начинают оцениваться в зависимости от актуальности их темы, то это тот же пролеткульт, тот же соцреализм. Тогда идейно-крепкий речекряк прогоняет поэзию прочь и занимает ее место — хотя сидеть на злобе дня так же неудобно, как и на штыках.

**Сергей Слепухин.** Помню, в горбостройку на страницах литературных журналов появились толпы стихотворцев, которые, как оказалось, все советское время без устали писали крамольные стихи — антисоветские, антисталинские, антигугаговские. Да и мы, парни и девушки, представители того поколения, что входило в большую жизнь в середине 80-х, были «скованы одной цепью». Что же это было, и куда все подевалось? Где эти люди? «Кстати, где эти крылья, которые нравились мне?»

**Игорь Караулов.** Илья Кормильцев, строки которого цитируются, как мы помним, умер, и умер довольно молодым (я сейчас старше). Мне кажется, наше поколение вообще не так много проживет в целом: перевалил за пятьдесят — уже долгожитель.

Но это, конечно, не главное. Никогда уже на нашем веку не будет запрещено столько всего (и разного), как при советской власти. Поэтому четверть века назад любое неотфильтрованное слово воспринималось как крамола, а зачастую и наказывалось как крамола, и момент, когда запретное уже было разрешено, но еще воспринималось как запретное и очень смелое, был бесценен, как момент лишения девственности, как момент либерализации цен, как момент приватизации общенародной собственности. Но такое бывает раз в жизни.

Люди, пытающиеся сказать нечто крамольное, кстати, никуда не делись. Но, в самом деле, куда подевались их крылья? Нынче информацией под самопальным лейблом “крамола” забиты все информационные каналы, кроме разве что центральных каналов ТВ. Крамолы можно даже заработать деньги, а можно и большие деньги — и тут слова “протест” и “проституция” сливаются не только фонетически, как в каламбурном словце “протестутка”, но и вполне экономически.

**Сергей Слепухин.** Со времен перестройки много воды утекло. На пройденный путь смотришь, его переоценивая. Кормильцев перед смертью вынужден был признать, что написанные им смелые стихи, тексты «Нау», в годы потрясений просто-напросто были использованы разного рода «бурбулисами». Использованы в корыстных целях — для достижения политической власти.

Игорь, что посоветуете «юноше бледному со взором горящим»? Как отличить демократа от димакрата? Болтать языком — о том, что «не надо прогибаться под изменчивый мир», или, что «свобода лучше, чем несвобода» — теперь (да и прежде) многие горазды.

**Игорь Караулов.** Я думаю, что демократ — это прежде всего человек, живущий одной жизнью со своим народом. Внутренняя эмиграция — это, по-моему, когнитивный диссонанс. Если ты не считаешь окружающий тебя народ своим, то тебе лучше подумать о смене места жительства.

Мне нравится приводить пример Педро Альмодовара. Он снял фильм “Возвращение”, об уроженцах Ламанчи — испанского Урюпинска, который был Урюпинском еще во времена Сервантеса. Они там не очень умные люди и делают страшные вещи. А Альмодовар — это богатый человек, столичный житель, интеллектуал, гей. И он этих людей — любит. А наш “хипстер”, снимающий однушку в Марьино, тут же объявляет себя гражданином мира, а русских именует “быдлом” и “ватниками”. Быть хорошим соседом — вот и весь секрет и смысл демократии.

**Сергей Слепухин.** Очередная публикация Алексея Улюкаева в «Знамени». Вам не кажется, с годами товарищ Чупринин нюх на таланты не потерял и делать настоящую литературу не разучился!? Так что же движет сим бескорыстным рыцарем изящной словесности? Он хочет поделиться открытием, что властные и богатые «тоже пишут»? Поэт Держжинский, поэт Андропов, поэт Лукьянов-Осенев... Помните, у Блока в «Незнакомке»: *«Признаться, и я поэзии очень не чужд?»*

В наши дни есть трубадуры и с меньшим количеством звезд на погонах. Например, Марина Чубкина, генерал-майор, экс-глава аппарата начальника Спецстроя Минобороны. Ей в 2008 году сам Сергей Михалков вручил грамоту «За вклад в русскую литературу!» А вот, роковая муза «Оборонсервиса», красавица Евгения Васильева. В ее жарких стихах среди *«фозово-белых снов», «галубых янтареи»* и пылких поцелуев блуждают глубокие мысли о *«Родине с мохнатыми руками»* в *«рое злых, безобразных / Тварей земных, жестоких, клякастых»*. *«Отчего, скажи, в аду / Плесень чувствует страну?»*

Посоветуйте, Игорь, как читателю относиться к вдохновенному порыву литгенерала Чупринина? *«Не обрекался он в пути неистово в пучину страсти, / Не забывался он в борьбе, он отходил, но был во власти...»* Тонко подмечено генерал-майором поэтессой Чубкиной!

*Siècle des lumières?* Может, дражайший Сергей Иванович искренне хочет открыть нам, холопам, сложный внутренний мир высокого сословия? Как думаете?

**Игорь Караулов.** Да, у меня даже колонка была в «Известиях» по поводу Улюкаева и всей этой компании.

Я не скажу слишком много дурного о «Знамени». Они и меня там один раз напечатали, а иных прекрасных авторов, таких как мой друг и кумир Михаил Квадратов, там печатали даже неоднократно. Но есть пространство для совершенствования. Например, вместо того, чтобы каждый год в январском номере публиковать пару стишков посеребрившего с годами Гандлевского, вместо того, чтобы покорно отдавать свои страницы под унылую галиматью одесского графомана Херсонского, а также его жены и его дико талантливого кота, куда лучше завести специальную рубрику (три раза пытался сказать «рублицу») для стихов российских чиновников. Видите ли, Херсон-

ский и даже его кот нам никто, а чиновники влияют на нашу жизнь и порою хочется знать, что же творится у них в головах, пусть даже ценой прочтения их беспомощных виршей. Так что пусть Сергей Иванович продолжает в том же духе, это высокая гражданская миссия.

**Сергей Слепухин.** Совпис. Издательство «Советский писатель» стараниями некоторых людей превратилось в издательство «Время». В программе «Эха Москвы» Сергей Чупринин и директор «Времени» Борис Пастернак (однофамилец, не путайте с автором «Доктора Живаго»!) рассуждали о том, что только тот стихотворец может быть назван настоящим поэтом, чья книга выпущена в их издательстве! «Мы это называем “поэт со справкой”», — скромно поведал Чупринин. Ну да, совпис: «без бумажки ты букашка, без бумажки ты какашка». Есть «Время» в ваших планах, Игорь?

**Игорь Караулов.** В издательство «Время» меня в свое время приводил мой друг Дмитрий Быков, и Пастернака того я видел. Мы потом с Димой и прекрасным поэтом Андреем Добрыниным здорово нарезались в рюмочной «Второе дыхание», самой дешевой в Москве. Мне было очень плохо, водка там отвратительна, а закуска и того хуже. «Время» все же лучше «Второго дыхания», поскольку у Добрынина там книжка все-таки вышла. Ну, а я справки не удостоился, да и мнение Чупринина о русской поэзии меня мало волнует.

**Сергей Слепухин.** Литературное собрание писателей с Путиным в конце ушедшего года показало, что рекламно-пропагандистский конвейер запущен. Готовится к постановке театр одного актера, литературная интеллигенция преклонила колени, и иных писателей — знайте! — у нас нет. Бунтари-одиночки — не в счет! Что это, по-вашему, репетиция Первого съезда 1934 года? А сами вы член какого-нибудь писательского союза? Поэт — это существо коллективное, или нет?

**Игорь Караулов.** Я не член и никогда не стремился очлениваться. Корочка поэта — это так же смешно, как корочка секс-гиганта. Мне в самом деле не с чем больше сравнить, потому что «поэт», как и «влюбленный» — не профессия, а ментальное состояние. Да, когда ты влюблен и пользуешься взаимностью, то бывают такие ночи.... Но смотреть на корочку и вспоминать? — увольте.

А с Путиным... это было такое неловкое сводничество со стороны некоторых организаторов литпроцесса. Приглашения рассылались не президентской администрацией, а самими этими деятелями, и не по принципу лояльности власти, а по принципу кто с кем пил и прочее. Например, стихотворцев туда созывал Игорь Волгин, а поскольку я в его «Луч» сроду носа не совал ни во время учебы в МГУ, ни позже, то и приглашения не получал.

Путин не только не был в курсе, что его приглашают на римейк съезда 1934 года, но и не знал, кто там из них Горький. И президенту это оказалось неинтересно, и в литературной жизни после этого, кажется, ничего не изменилось, хотя, даже если бы и изменилось, я бы на себе этого не почувствовал.

**Сергей Слепухин.** И напоследок. Недавно в интервью немецкому журналисту германской телекомпании ARD Йоргу Шененборну лидер нации признался, что после завершения политической карьеры намерен заняться литературой. Как вы думаете, это будут мемуары? Короткая проза? Или стихи? А если стихи, то на гражданскую тему?

**Игорь Караулов.** Я надеюсь, что это просто отговорка. Лидеру нации мы должны быть благодарны за то, что он не занимается литературой прямо сейчас, что за пятнадцать лет у власти он не дал нам ни одного текста, по которому школьников заставляли бы писать сочинения. В этом смысле он идеал: не пьет, не курит, не рисует, не дирижирует и всего-навсего сыграл одним пальцем «Мурку» — или что там? «С чего начинается Родина?»

# МЯТЕЖНЫЙ КАРАНДАШ



# МИХАИЛ ОКУНЬ

## СЛОВОРУБКА

*Миниатюры*

### ПАМЯТИ ДОВЛАТОВА

1

В конце вечера памяти Довлатова в Доме писателя на сцену Белого зала вышел пьяный человек, сел на стул и, шурясь в зал, с трудом выговорил:

— Да, было время... Мы с Серёжей таились по кабакам...

2

Мой приятель нордического типа — высокого роста, блондин, глаза голубые. Играл в волейбол, не пил. Для меня он всегда был олицетворением физического и морального здоровья.

Потом с ним что-то стряслось, попросту говоря, крыша поехала — непонятно, от чего. Стал слышать голоса. Все неприятности, с ним случавшиеся, приписывал козням неведомых врагов — то в темной подворотне трубу подложили, чтобы он споткнулся и вывихнул ногу, то еще что-то в том же роде.

В итоге несколько месяцев провел он в знаменитом «скворечнике» — психиатрической больнице им. Скворцова-Степанова. Вроде подлечили, но в глазах всё равно какой-то нездоровый блеск остался.

По выходе из больницы он бросил спорт, нигде не работал и сошелся с немолодой крупной девушкой, бойцом военизированной охраны. Характер у нее, говорит, добрый.

Увидел как-то раз у него зачитанную книгу Довлатова.

— Нравится? — спрашиваю.

— Да, — отвечает, — оттягивает...

### ПЕРВОЙ СТРОКИ ДОСТАТОЧНО

«Чем меньше в вещи частей, тем она прочней» — первая строка стихотворения маститого автора в «Новом мире». Вполне может употребляться вместо хрестоматийного «Шла Маппа по шоссе и сосала сушку».

Поразительная поэтическая глухота! Анна Андреевна своего литературного секретаря, думается, не одобрила бы.

### «КОМУ БЫТЬ ЖИВЫМ И ХВАЛИМЫМ...»

Некогда советский критик по фамилии Федь примерно так писал о Бондареве: дальше излагать, мол, сил нету, сердце от восторга щемит... Некоторые новые критики Федю немногим уступают.

Читаю: книга такой-то — шедевр. Приведенные цитаты свидетельствуют о наблюдательности автора и бойкости пера, но для «шедевра» этого всё же маловато.

Такому-то наверняка дадут нобелевку (без всякой иронии). Посмотрел — «игровая» литература, читывали и поискуснее.

И задумаешься — может быть, лучше уж «ругательная», чем комплиментарная...

### ФОТОГРАФИЯ

Заметил интересную особенность: стихи молодой поэтессы М. отдельно от ее фотографии, всегда печатаемой тут, при них, сами по себе как бы не существуют. Хотя все необходимые поэтические «примочки» в них имеются.

### ЛУЧШИЙ ВЫХОД?

В статье о «молодой поэзии» Петербурга читаю:

«Примерно с 2003 года стихи поэтессы Д. стали как будто более мягкими и спокойными. Может быть, это потому, что у Д. родилась дочка...»

Следует, видимо, так понимать, что еще пара удачных заходов — и стихи Д. совсем размягчатся и успокоятся, в идеале сойдут на нет.

Не лучший ли это выход для некоторых молодых (и не слишком) поэтесс? Ну, ввязались когда-то по глупости, — не всю же жизнь ляжку тянуть.

## ДВА ТИПАЖА, ОБРИТЫХ НАГОЛО

Первый. Какая белиберда ему на глаза ни попадись (но непременно «актуальная») — будет восхищаться, потому что и сам валяет в том же подобии, а каждый новый текст как бы подтверждает актуальность его собственного бытия.

Второй. Изображает крутого, в компании субтильных поэтиков пугает: «Ну, кто хотел бы реально повоевать?» Но в свое время благополучно откосил от армии (доведись — снова откосил бы), никакого оружия, кроме кухонной утвари (хлебный нож, топорик для разделки мяса, которыми страдал в молодые годы случайных собутыльников), в руках не держал. И, соответственно, как снимать АКМ с предохранителя — не знает.

## ПОТОМОК БЛОКА

*(из раздела «Новости культуры»)*

Городской суд Петербурга признал право члена союза писателей Ивана Блокова на вселение в музей-квартиру Александра Блока на Офицерской улице. Блоков неоспоримо документально доказал, что отец его является сыном одной из последних любовниц Блока, актрисы Л. Дельмас, и родился в период ее романа с поэтом. Следовательно, сам Блоков является прямым и единственным потомком Блока, его внуком, и может претендовать на наследство.

Надо заметить, что поэт И.Блоков литературными достижениями значительно превзошел своего знаменитого деда. Он автор более пятидесяти стихотворных сборников, лауреат многих литературных премий, а в прошлом году на московском поэтическом фестивале «Волосья Лужки наши!» был признан королем поэтов.

Как известно, Александр Блок не устаивался ни одной литературной премии.

## НИКТО, КРОМЕ КОЛЧАКА

Один знакомый чудак, любивший исследовать фонды Публичной библиотеки (этакий «бич божий» для библиотечарш), как-то раз поведал мне, что обнаружил следующее любопытное обстоятельство: почти все тома собрания трудов «короля математиков» Эйлера дореволюционного издания оказались неразрезанными. То есть, выходит, никто их не читал, — даже те, кто ссылался на них в своих кандидатских и докторских.

А в формулярах немногих разрезанных томов первой и последней стояла единственная фамилия: Колчак. Тот самый...

## О, АБСЕНТ!..

*Он пил в одиночестве и методично, причем ему никогда не удавалось достичь опьянения, и у него не было ни малейшей надежды стать тем, кого в те дни было модно называть алкоголиком. Дозы были слишком большими, и алкоголь скатывался по клеточкам как река, которая просачивается сквозь вечное и равнодушное песчаное дно...*

*Он пил самую сущность древа познания крепостью в 80 градусов... и чувствовал себя как дома в заново обретенном раю...*

*Вскоре он уже не знал темноты, для него тьмы уже не было, и, несомненно, как Адам до грехопадения, он видел без света...*

*А жил он — почти без еды, нельзя же иметь всё сразу, да и пить на пустой желудок полезнее.*

*Ф. Бейкер. Абсент.*

И мы хотим...

В мае 2003 года мы с приятелем искали по всему Штутгарту абсент. И нашли в специализированном магазине, но лишь 55-градусный. Продавец уверял, что 70-градусный в Германии запрещен (какой уж там 80-градусный!).

Как так? — везде разрешен, даже во Франции, откуда изначально пошел запрет. Но пришлось удовлетвориться тем, что есть.

Дома у приятеля были и абсентные стопки, и специальные ложки для приготовления жидкой карамели из сахара. Всё сделали по науке.

И — ничего, кроме мерзкого анисового выхлопа...

## ГОРОД СОЛНЦА

Один мой институтский товарищ родом из Вязьмы не получил места в студенческом общежитии и поселился в Шувалово, в частном домике — институт снимал в этом тихом пригороде комнаты для студентов.

Хозяйкой была добрая пожилая женщина по имени Клавдия Тимофеевна, жившая без мужа. На огороде у нее обильно рос укроп, а у забора шавель, и мой товарищ и его сосед по комнате, тоже студент, в основном ими и закусьвали.

Но мирное течение жизни время от времени нарушалось появлением сына хозяйки, парня лет тридцати, которого на пару месяцев отпускали домой на побывку из дурдома.

Поначалу он вел себя вежливо и тихо. Потом начинал что-то невнятно бурчать про сволочей-студентов, занявших комнату. Кончалось дело тем, что он ломился к ним в дверь с топором:

— Куда вы, падлы, мою бутылку заховали?!

Буйство перемежалось у него с навязчивым бредом о некоем Городе Солнца, куда он должен непременно поехать с матерью и где они будут бесконечно счастливы.

И когда, наконец, появлялась психиатрическая «скорая», чтобы снова определить его в «*Alma mater*» на очередной срок, санитары знали, что говорить:

— Мы за тобой — из Города Солнца!

Уезжая, спокойный и просветлённый, он махал рукой:

— Мама, я напишу тебе письмо из Города Солнца, и ты приедешь ко мне. И вы, ребята, приезжайте!

И, видимо, искренне не понимал, почему Клавдия Тимофеевна плачет, а студенты не спешат на радостях по случаю приглашения срывать «бескозырку» с очередной бутылки портвейна «Солнцедар» (изготовленного, несмотря на название, отнюдь не в Городе Солнца).

## МЯСОКОМБИНАТ

Двое рабочих как-то раз вытащили с мясокомбината здоровенную свиную тушу.

Дело было зимой. Вынули они заиндевевшую тушу из холодильника, натянули на нее казённый тулуп с поднятым воротником и армейскую ушанку, взяли под руки (ноги?) и пошли к проходной.

— Опять ваш нажрался? — строго спросил вохровец.

— Есть малость...

— Вижу, какая «малость» — совсем лыка не вяжет.

— Ничего, дядя Гриша, мы его сейчас на такси — и до дому.

— Ладно, ребята, давайте поскорей, пока начальство не видит. Да глядите не бросайте, чтоб не обморозился. Не как в прошлый раз.

— Уж теперь не бросим!

Когда они прошли, пожилой подслеповатый вохровец покачал головой:

— Ну и рожа! И такой вот к жене заявится...

## КОМПОЗИТОР

Эту байку мне рассказывали разные люди, очевидцы события, — а потому она, скорее всего, соответствует действительности.

Один известный композитор — «легенда советской песни» — последние годы своей бурной жизни проводил в приятной алкогольной эйфории, и выходить из нее не собирался. Это знали не все, а потому, когда в одном из домов творчества в Репино устраивали вечер, на него пригласили выступить и композитора — гвоздем программы. Он как раз в это время жил неподалеку на даче, и по телефону кто-то из его окружения дал согласие.

Вечер был в разгаре, когда, наконец, привезли композитора. Его тут же объявили:

— А сейчас наш известный и уважаемый... расскажет о своих новых... и поделится с нами...

Поддерживаемый с двух сторон, композитор вышел на сцену, вцепился в спинку стула и тем самым утвердился на подмостках. В зале установилась тишина. Молчал и композитор, недоуменно глядя в зал сквозь сильные очки. Раздалось перешептывание и смехи. Композитор же, почувствовав «великую сущь», начал икать. Смех усилился, раздалась жидкие аплодисменты.

Но тут мощным усилием воли композитор вошел в окружающую действительность и обиделся на зал.

— Вот вы тут надо мной смеетесь, — с трудом выговорил он, — а я могу вас всех обоссать!

Раздались бурные аплодисменты. Выскочившие организаторы подхватили композитора и увели за кулисы.

Это выступление запомнилось и понравилось больше всех других.

## СЛОВОРУБКА

— Ты билять, я пиляю на тибя! — услышал у Кузнечного рынка кавказский голос. Трудно давались человеку рядом стоящие согласные. И вообще — говорил, как отрубал.

Тут припомнилась надпись на одном небольшом кладбищенском строении, где тесали могильные памятники: «СЛОВОРУБКА». Вот так: ляжешь в землю, и потрудишься напоследок над твоими именем и датами каменотёс-словоруб (если родственники покойного раскопелятся, конечно). И никто уже не сможет «пилить на тибя».

## КАТЕРИНА ГРУЗДЕВА

### СОВЫ ЖИВУТ ВЕЧНО

*Рассказ*

Новый год идёт... Но ничего не меняется. Я по-прежнему мёртв.

В моём положении, безусловно, есть преимущества. Например, меня никто не видит. Почти никто. Когда попадаютя особо чуткие, я начинаю нервничать, а они, как правило, пугаются. Только одна молодая женщина не сделала этого, и я влюбился в неё. Это ужасно... Влюбиться в живую. Поэтому я даже не хочу об этом говорить. Хотя какая тебе, дерево, разница, что я говорю, верно? Тебе всё равно, ты мудрое. А я даже не знаю, какой ты породы. Жалко, что не сосна...

Сон. Сон. Это всё какой-то дурной сон. Попробовал написать на заснеженном стенде свою любимую фразу, пыжился, пыжился, даже пальцы замёрзли, но ни одна снежинка так и не сдвинулась с места... А моя любимая фраза спасла бы этот глупый мир. Я слышал... её передавали по небу, но живые-то не слышали. Они слушают что-нибудь по радио, по телевизору или интернету, а по небу не слушают. «Совы живут вечно», — такая вот фраза, дерево... понимаешь меня?

Эта девушка сведёт меня с ума. Она тоже сюда пришла. Она хочет впечататься в снег лицом... красивым своим личиком. Она себя ненавидит и считает уродиной. По-русски, в смысле. На моём родном польском «уродиться» — это значит получить хорошим и красивым. Да... За это я люблю её ещё больше. Такая тёплая... Обняла дерево и не понимает, что заодно обняла меня. Значит, не видит меня сейчас.

Соседнее дерево тоже не сосна. Зато его ствол очень плотно покрыт слоем снега. Любимая смотрит на него. Хочет приложиться к нему лицом. Передумала. Решила, что не хочет оставлять след... Уходит. Исчезнуть ей хочется. Ушла. А я бы хотел оставить отпечаток своего лица на соседнем дереве. Но у меня не получится. Мне, наверное, не положено, потому что я не блондинка, как она. Я брюнет... и к тому же в очках. Они мне теперь совсем ни к чему, но снять их уже очень сложно.

Так холодно, что горло сводит. Опять пойти к ней домой? Лечь рядом спать. Смешаться с ней, продлить ей жизнь тем самым. Неизвестно зачем... В её жилах польская кровь, и у неё глаза совы, она и так живёт вечно. Но позволить себе признать это она не может. Это моветон. Две совы на отшибе у материальности. Я слишком дохлый, она слишком живая, но тоже дохлая. У неё всё время что-то болит, она постоянно умереть готовится. Учит себя не бояться умереть. Сложно ей.

Голова кружится. Я слишком много говорю сегодня. Превратился в свою любимую, видимо. Даже плакать тянет... Она болтает без остановки, а если ей плохо — болтает ещё больше. Безмозглая малышка.

Он отошёл от дерева. Она легла в своей комнате на ворох одежды, даже не разглядев подаренную мамой кофточку.

Не любит шмотки, дерево, ты представляешь? Ты ещё слушаешь меня, бессловесное ты бревно?

Он попытался схватить снег с земли, чтобы запульнуть снежком в дерево, но у него ничего не вышло.

Эй! Дерево, твою мать! Что я тут делаю? Какого чёрта я перенёсся после похорон сюда? Вчера из водостока мне слили сообщение, что моя сумасшедшая подруга уничтожила втихую все мои полотна. Спасибо тебе, долбанное дерево, что ты мне и на это ничего не отвечаешь! Впрочем, в Торунни деревья тоже не разговаривают...

Он понял, что у него очередной приступ бреда и начал всматриваться в окна домов, чтобы не потерять сознание.

Старые дома — это прекрасно. Особенно когда в них не пускают. Хочешь в них до одури, а на стенах проступают предупредительные объявления, что внутри и так мертвецов навалом.

Он попытался вспомнить, как попасть к своей любимой, но потом сообразил, что всегда входил в дом вместе с ней. Значит, сегодня он ночует на улице. Она уже вряд ли спустится на землю.

Дерево, это антигуманно — не разговаривать с мертвецами, слышишь меня?

Он подошёл к дереву ближе и неожиданно получил от него волну информации, что любимая женщина спит сегодня с каким-то мёртвым рок-музыкантом. А если точнее, то с тем, кого слушала в 90-е, пока выросла и боролась за жизнь. Он тоже претендует на неё и ненавидит суку польского сюрреалиста.

Ах, вот как?..

Он опять отошёл от дерева и в ярости сорвал с себя очки.

Тогда я убью этого суку мёртвого рок-музыканта.

Швырнув очки в ствол, сюрреалист услышал, как дерево ойкнуло, а после явственно ощутил, что оно посмеивается впотьмах.

Смешно тебе, да? Бревно. Где я ещё встречу женщину, которая ненавидит свидания в ресторанах и свадебные платья?! Поэтому я убью сначала тебя, а потом рок-музыканта.

Дерево неожиданно рухнуло в сторону двухэтажного обшарпанного домика и начало кататься по земле от хохота. Только тогда мёртвый сюрреалист смекнул, что уже перешёл в стадию сна. Он поплёлся к дому возлюбленной и остановился на светофоре. В тот же момент из любимого дома вышел сильно поддатый тёмно-русый мужчина с ружьём, лет тридцати на вид (или обдолбанный, подумал сюрреалист). Вышедший навёл дуло на мёртвого стоящего на светофоре и пальнул пару раз для остротки.

Светофор зажётся зелёным. Сюрреалист, не потерявший ни сна, ни невозмутимости, перебрался по переходу к мужчине с ружьём. Тот впал в ступор. Когда первый подошёл ко второму совсем близко, второй опустил своё оружие и сказал не без уважения:

— Ну ты даёшь, твою мать.

— Кому?

Мужчина с ружьём снова навёл ружьё на мужчину без ружья и рассердился.

— Отвали от моей жены, сука.

— Что?

— Ты что, спишь, что ли?

Мёртвый сюрреалист, покачиваясь в воздухе, повернулся к агрессивному мужчине спиной и довольно быстро поплыл в воздухе в обратном направлении от любимого дома — снова через дорогу, прямо на красный свет. Проплывая мимо дома дешёвых квартир Янина, то есть против течения Екатерининской улицы, сонный сюрреалист подумал: уведу хоть этого психа подальше от дома любимой, если сам не могу к ней попасть.

Мужчина с ружьём постоял немного на светофоре, а потом крикнул в спину сюрреалисту:

— Эй?

Уплывший никак не отреагировал. Мёртвый рок-музыкант пересёк дорогу на зелёный свет и побежал следом, пошатываясь от принятого и постреливая в беглеца. Тот уже свернул за дом Янина в Ручейный переулок, стремительно проплыл мимо замкнутых внаглую стареньких домиков и вырвался влево на улицу Огаркина. Мёртвый рок-музыкант не отставал и постреливал в спину. Сюрреалист летел в сантиметре от земли и разговаривал сам с собой как можно громче, чтобы не вырубиться окончательно. Проплывая на последнем издыхании мимо бывшей чумной Екатерининской больницы, он бессознательно выпалил:

— Сдохну сейчас второй раз.

— Ещё как сдохнешь!

Выстрелы сзади не прекращались.

— Да не от тебя, придурок, у меня с энергетикой хреново совсем.

— Знаешь, хоть иногда, но жрать-таки надо.

Сюрреалист остановился — на перекрёстке Огаркина с Большим Посопковским — обернулся к преследователю и вопросительно посмотрел на него — еле разжимая веки, отчего взгляд казался надменным. Преследователь посмотрел в ответ осуждающе. Во второй раз умиравший мёртвый сюрреалист развёл руками и пропентал:

— Какое жрать? И в сортир, что ли, предложишь?

— Дебил, энергетiku жрать.

— И где её берут?

— Ага. На бла-бла-бла развести меня хочешь?

Мужчина с ружьём опять навёл дуло.

— Ничего я не хочу.  
Дуло опустилось.  
— Ладно. Давай перетрём немного.  
— Я сдохну сейчас, какое перетрём...  
Рок-музыкант подошёл к сюрреалисту, всучил ему комочек земли и велел сожрать. Измож-  
дённей непонятно каким образом ухватил землю, хотя она была явно тяжелее снега.  
— Зачем жрать землю?  
Рок-музыкант усмехнулся.  
— Это из одного сильного места земля. Суй в рот, подвоскреснешь.  
Сюрреалист не хотел, но послушался. Жизнь была дороже преширательств с хрен знает  
кем. Он открыл рот и закинул туда слышшийся тёмный ком, обратив при этом внимание, что дело  
происходит у продуктового киоска.  
— Лучше?  
— Немного.  
— Ты извини, что я так... Наехал. Просто ты не имеешь права.  
Сюрреалист окончательно оживился.  
— Это почему же?  
— Потому что ты и так более счастлив.  
— С какой стати?  
— А ты сам не понимаешь, что ли?  
— Неа.  
Рок-музыкант хмыкнул, достал из-за пазухи фантом сигареты и прикурил каким-то обра-  
зом от ружья.  
— Сейчас объясню.  
— Дай мне покурить тоже.  
Рок-музыкант иронически глянул на сюрреалиста и достал из-за пазухи ещё один фантом  
сигареты. Когда сюрреалист затынулся, безо всякой опаски подставив лицо к дулу, из которого  
что-то пыхнуло, рок-музыкант продолжил словесные разборательства.  
— Ты никому не известен. Ты сдох благородней. Ты гений. Ты рожей лучше меня вышел.  
— А ты чего, не гений?  
— Я фуфло.  
— Я не понимаю, а что не так с твоей рожей? Ты сдох почти двадцать лет назад, а по тебе  
до сих пор по всему миру девки сохнут.  
Рок-музыкант затынулся, сделал большие глаза и прошептал зловеще:  
— Меня раскрутили.  
— Слушай, откуда ты знаешь, как я сдох?  
— Рассказали.  
— А тебя что, огорчает твоя известность?  
Рок-музыкант выпрямился и усмехнулся так, что сюрреалист приготовился к новой партии  
выстрелов. Но её не последовало. Вместо неё музыкант посмотрел куда-то вбок и слотнул, держа  
ствол в левой руке, а правой продолжая покуривать.  
— Эй? Ты ещё тут?  
— Пойдём ширнёмся?  
Сюрреалист усмехнулся.  
— И откуда ты тут берёшь героин?  
Рок-музыкант задумался, достал из кармана немного земли и, не поднимая глаз на сюрреа-  
листа, начал её жевать.  
— Да я вот всё пытаюсь вычислить, где взять?  
— Понятно. Ну а почему ты с ружьём? Ты ж из винтовки застрелился.  
— Кто тебе сказал, что я сам застрелился?.. В любом случае, я всегда из ружья хотел.  
— Замечательно... Ну а как ты обдолбаться-то умудрился? Или ты бухой?  
— Я никакой. Меня Кэтрин по башке огрела. Вот и всё.  
— За что?  
— Затрахал я её.  
Сюрреалист почувствовал, как в его несуществующих венах начинает бурлить кипяток, и  
спросил сквозь зубы:  
— В каком смысле?  
— Пойдём на рельсы полежим.  
Сюрреалист опешил.  
— Зачем?  
— А вдруг переедет?

— И что?

Рок-музыкант ухмыльнулся с непониманием.

— Ты что, никогда не хотел, чтоб тебя переехало поездом?

— Нет.

— Тогда понятно всё с тобой.

— Чтобы переехало поездом... Это какая-то безмозглая развлекуха для зажавшейся богемы.

Рок-музыкант посмотрел на сюрреалиста исподлобья, снова поднял своё ружьё и выстрелил в упор. Обидчик даже не покачнулся. Стрелок открыл рот от удивления.

— Я же в упор... Как у тебя получается?

— Так я ведь мёртв.

— Ну и что? Ты сгусток энергетики, я сгусток энергетики, из ружья прёт её удар... Тебя должно было прошибить.

— У меня энергетический бронезилет.

Рок-музыкант слотнул и спросил с обидой:

— А чё ж ты подышал тогда?

Сюрреалист понял, что его сейчас окончательно достанут. Вздохнув, ответил:

— Это внутренний процесс...

— Ясно. Пойдём всё-таки на железную дорогу? Тут недалеко. Полежим...

— Слушай, я знал, что ты был больной, но не думал, что прямо вот на всю голову.

— Я после смерти ещё хуже стал. Ты себе можешь представить, что это такое, когда без передыху про тебя продолжается тупое бла-бла-бла, над тобой изгаляются все кому не лень и многие из них думают, что они при этом чтут твою долбаную память, а твою рожу татухой набивают себе на тело какие-то незнакомые чуваки?

Сюрреалист вздохнул и поглядел в небо между ветвей.

— Представляю... А если ты делал что-то, делал, не хотел никому при жизни своей показывать, потому что славы никакой не хотел, а когда ты помер неожиданно рано, твоя беспеная подруга уничтожила всё, что ты делал, — это каково?! Хоть бы под своим именем продавала...

— Да. Надо было ей запустить твои работы под несуществующим именем.

— Да хрен с ним теперь...

— Я вот так не мог. Я художником не мог, но я хотел бы.

Рок-музыкант прожевал очередной кусок земли и закурил новый фантом сигареты. Сюрреалист внимательней всмотрелся в небо — оно как будто бы уже светлело.

— Пойдём, что ли, чего тут стоять?

Рок-музыкант продолжал осмыслять сказанное сюрреалистом и, наконец, выдал:

— Твоя подруга — страшная баба.

— Это твоя знаменитая жена — страшная баба. Моя отдыхает.

— Я с ней развёлся.

Сюрреалист едва сдержал хохот, переведя его в кашель. Сказал:

— У тебя дочь хотя бы осталась.

— Не будем об этом.

Мёртвый рок-музыкант взгрустнул на секунду и вернулся к предыдущей теме:

— Моя бывшая жена слишком любила просто потрахаться, поэтому теперь я женился на той, которая любит потрахаться непросто.

Сюрреалист приподнял удивлённо брови.

— По-моему, твоя жена сделала это не просто, а очень выгодно.

— Нет, она меня бросила.

— Да? Ну так забудь... И пойдём давай, а то смешаемся с этим перекрёстком навечно.

— На железную дорогу?

— Слушай... Да ты одержим этой темой.

— Конечно. Я думаю, что нам обоим надо это попробовать. У поездов ломовая энергетика. Если наши чёртовы тонкие дела переедет эта птука, есть шанс, что мы окончательно распадёмся, и тогда мне будет пофигу, и тебе тоже.

— А что ж ты один до сих пор этого не сделал?

Рок-музыкант промолчал и сдвинулся, наконец, с места. Довольно бодрой походкой он направился в сторону следующего перекрёстка, а сюрреалист в состоянии воинствующего недоумения отправился следом за ним и спросил яростно в спину:

— Струхнул?

— Нет. Просто мне Кэтрин очень нравится.

— Почему Кэтрин? Катаржина.

— Значит, мы о разных людях говорим.

Рок-музыкант не оборачивался даже. Сюрреалист продолжал свирепеть ему в спину.

— Я вообще не понимаю, как мы с тобой говорим. Я английского-то не знаю толком.  
— Мы на русском... На территории какой страны находимся, на том языке и говорим.  
Оба дошли до следующего перекрёстка. Музыкант развернулся к сюрреалисту лицом, тот подобрел и нашёл компромисс.

— Ладно... Пойдём на крышу лучше посидим. Подумаем, что делать.

— Какую крышу?

— На крышу дома, который напротив Касиного стоит. Красивый такой, модерн начала прошлого века, у него ещё мезонин сверху. Знаешь, что это такое?

— Я знаю, что напротив стоит здоровый тёмно-красный дом с гнездом наверху. И ещё там у него на крыше как будто бы море.

— Хорошо сказал. А говоришь, что я гений, а ты фуфло. Наоборот всё.

— Заткнись. Потеряешь много энергии.

— Ну да. Как же... Тут, кстати, кроме земли подпитаться нечем больше?

Рок-музыкант сделал зачем-то кислое выражение лица и почесал себе свободной рукой затылок. Рука с ружьём начала в следующую минуту выписывать бессмысленные полукружия вокруг музыкантова тела — туда-сюда, туда-сюда, сам музыкант склонил голову набок и сказал:

— Угу.

— Нет, ты совсем больной, всё же.

— Пойдём полетаем.

— Чего?

— Чего слышал.

Рок-музыкант моментально пересёк перекрёсток по диагонали, и сюрреалисту пришлось повторить это дело. В скором времени оба нырнули во двор бывшей весны. Магазины «Весна», в смысле. Миновав его, они подошли к запрятанному вглубь от всевозможных улиц тёмно-зелёному дому рубежа позапрошлых веков. Мёртвый рок-музыкант констатировал:

— Здесь.

— Что?

— Вон там вот ночуют бездомные.

Рок-музыкант указал ружьём на пристройку неизвестного происхождения.

— Ну и?

— Я нашёл там чучела сов.

— Когда?

— Двух.

— Когда?

— Не помню.

Рок-музыкант подошёл к пристройке впритык. Сюрреалист последовал.

— Это ж трансформаторная будка. Со стоянкой для мусорных баков.

Рок-музыкант возразил:

— Тут ночуют бездомные. Два одеяла видишь?

— Ага. У трансформаторной хрени. Наверно, тепло им. Трансформируются они, эти бездомные, в домных.

Человек с ружьём промолчал и пошевелил ружьём одеяла. Сюрреалист неожиданно пришёл в восхищение.

— Совы! Правда, чучела сов.

— Трахнем обеих.

— У, ё...

— Что у ё? Тебе что, никогда не хотелось трахнуть сову?

Сюрреалист честно признался:

— Нет. Черепаху хотелось, сову нет.

— Черепаху уважаю.

— Я тоже.

Рок-музыкант посмотрел вопросительно на мёртвого сюрреалиста, и тот, в свою очередь, понял, что рок-музыкант выглядит не на шутку мёртвым.

— Ты что-то дохлый совсем.

— Плохо себя чувствую. Но я тоже люблю обычно трахать то, что уважаю. Это называется любовь. Уважаю я обычно только одно, но можно попытаться представить себе, что сова — это оно и есть. И твоя тоже, только другое.

Рок-музыкант слотнул и попытался осознать, что он сказал только что. Сюрреалист схватил идею на лету.

— Да. Твою сову зовут Кэтрин, а мою Катаржина.

Отбросив ружьё в сторону мусорных баков, мёртвый рок-музыкант снял с себя энергетическую видимость одежды и внедрился в сову с какой-то такой скоростью, что у сюрреалиста даже не мелькнуло в глазах. Единственное, что он успел зафиксировать: музыкант тощ как незнамо кто. Между тем сюрреалист решительно не понимал, как повторить трюк, однако чучело второй совы само на него набросилось. Через пару секунд оба чучела сидели как живые в одеялах бомжей и буравили друг друга взорами.

Чучело с рок-музыкантом сказала наконец:

— Пошли.

И выбежало из укрытия под ночное зимнее небо. Чучело с мёртвым сюрреалистом не двинулось с места и только спросило из глубины:

— Ты уверен, что мы взлетим?

Первое чучело молвило:

— Нам надо забраться на провода. Вон там... над проспектом Лётчиков висят. Они для троллейбусов. Сядем на них, поковыряем их клювами, током шарахнет, и тут же взлетим. Я пробовал.

Чучело сюрреалиста поверило и выкатилось из одеял. Обе совы побежали к проспекту Лётчиков. Чучело рок-музыканта пыталось махать по дороге крыльями, но это было смешно.

— Нет, не взлетим без тока.

Дойдя до электростолба, чучело бывшего человека с ружьём отскочило назад и с разбега, за какие-то пару секунд, взбежало вверх по столбу, словно это была горизонтальная плоскость. Чучело сюрреалиста остолбенело.

— Ух ты. А я так смогу?

По поперечной растяжке рок-музыкант-сова пробежал над пустой мостовой и уселся уже на троллейбусной вене. Оттуда сказал:

— Пробуй.

Сюрреалист-сова отбежал от столба на проезжую часть, увидел ночную машину, которая пьяно вихляла и приближалась к нему, обдавая светом из фар, глянул обратно на столб и побежал, слыша стук не своих коготков. Он не верил, что он сова... Досеменив до столба, сюрреалист наступил на него правой лапкой, и всё на этом закончилось. Рок-музыкант-сова, наблюдая внимательно сверху, молчал. Потом произнёс:

— Просто забудь обо всём. Попробуй поверить в Бога и в то, что ты хочешь летать.

Сюрреалист кивнул головой. Совиной. Отошёл опять от столба на проезжую часть. Вихляющая машина была уже далеко и краснела в дремотных фонарных потёмках задними ночными глазками. Больше машин не было. «Даже странно», — подумал сюрреалист. Закрыв чучельные глаза... снова открыл их. Задрал чужеродную голову в перьях к небу. На небе виднелось несколько звёзд. «Я ведь мёртв. Я теперь не могу то, что раньше, а то, что раньше не мог — могу». Вдохнув талый снег, растворённый в воздухе, сюрреалист понёсся к столбу. В совиных глазах мелькали асфальт, комки тёмно-бурого снега, окурки, бордюр промелькнул и начало столба, потом бетонное длинное тело увязло в глазах и мелькало-мелькало... всё медленнее и плавнее. Потом перестало мелькать. Как только бетонный питон намертво встал перед взором — сюрреалист в теле совы начал падать и стукнулся вскоре так, что решил поначалу — рассыпалось чучело.

— Эх.

Рок-музыкант-сова не сводил с него глаз.

— Поднимайся. Я буду ждать столько, сколько придётся. Вставай.

Мёртвый сюрреалист внутри чучела раскачался, перевернул совы тело вверх и, убедившись, что тело совы вертикально, отбежал от столба назад на проезжую часть. Рок-музыкант наверху встрепенулся.

— Эй, осторожно!

Сюрреалист увидел четыре машины со всех сторон и замер на месте, но тут же начал метаться. Уворачиваясь от колёс, он решил, что ослепнет от фар, оглохнет от едких сигналов, и прыгал. Его кружило — вместо увиденных четырёх пришлось претерпеть легион четырёхколёсных. Ядовитый фаровый свет не давал из себя вынырнуть и выключил сюрреалисту сознание. В конце концов, когда он провожал взглядом одну из машин, показалось, что вместо двух красных глаз у неё сзади шесть или восемь. В два ряда. Как у мутанта чернобыльских мест, или как будто сюрреалист был невысказанно пьян. Рок-музыкант наверху молчал. «Может, и улетел», — подумалось сюрреалисту. Полностью опьянев от машинного наваждения, мёртвый сюрреалист метнулся к столбу. Теперь в глазах не мелькал асфальт — перед глазами мелькало только что пережитое, оно накатывало, как страшное море, сюрреалиста тошнило, и он хотел одного — вынырнуть.

— Ну привет. Молодец.

Сюрреалист огляделся по сторонам. Он сидел на соседней с рок-музыкантом троллейбусной вене. Внизу проехала пара нестрашных машин. Рок-музыкант-сова поглядел ещё на соседа круглыми гипнотическими глазами и сухо сказал:

— Кляуй.

Сюрреалист разозлился зачем-то и клянул провод. Рок-музыкант сделал то же — одновременно из двух параллельных вен плеснули фонтаном искры. Мёртвый сюрреалист-сова успел увидеть сквозь этот фонтан тёмный кривой коридор впереди — то был Орлово-авиаторный проезд, в котором таились ГИБДД — старый дом с бетонным приростом — и островок деревьев, скрывающих голыми чёрными кронами бывший дурдом. В следующую секунду он видел всё это из воздуха — с высоты, превышающей всякий провод. На секунду показалось, что внизу вдоль территории дурдома на авиаторах чинно проезжают орлы, но только показалось... Потом он услышал рёв. Это рок-музыкант-сова пронёсся мимо, как мотоцикл, и скрылся вдали за углом. Сюрреалист захотел обогнать.

Вскоре они вдвоём рассекали пространство над бесконечной железной дорогой. Сюрреалист прорывался вперёд, глотая свиной грудью холодный и влажный воздух, пропахший угольной гарью и напитанный электричеством, поглядывал вниз и видел пути, составы — чёрные в сером снегу, платформы — забытые даже Богом, ободранные деревья, склады, столбы, какие-то сонные будки. Из одной из них доносилось:

— Вальк. А Танька-то с машинистиком нашим спит.

Рок-музыкант поглядывал в небо. Даже странно, что здесь, над путями, на нём были звёзды. Когда музыкант обогнал в свой черёд сополётника, то спросил у него:

— Ну как?

— Обалденно.

Мёртвый сюрреалист наслаждался жизнью. Сил прибавлялось. Он тоже заметил небо и стал набирать высоту. Рок-музыкант начал вздыматься следом. Прокричал ему вверх:

— Ну окей. Только в космос не вышвырнись. Нам ещё рано. Сдохнем там просто.

Сюрреалист набирал высоту, как ракета.

— Слышишь ты, что говорю? Мытарей в космосе плющит!

— Ладно...

Сюрреалист неохотно привёл свиное тело в горизонтальное положение. Посмотрел вниз. Черневшие среди серого снега рельсы показались навязчивым сном.

— Опостытело тут.

Рок-музыкант-сова поравнялся с сюрреалистом, сказал:

— Ну давай тогда над проспектом.

— В космос точно нельзя?

— Если хочешь скопытиться — можно.

— Странный ты всё-таки тип. На рельсах лежать хотел, а в космос пока не торопишься.

— Я же тебе объяснял... забудь. Колбасит меня.

Рок-музыкант стал забирать влево. Сюрреалист, подумав, что волшебство закончилось, тоже свернул. Со стороны проспекта Лётчиков к пространству над миром путей подлетали чайки. Чучело с рок-музыкантом предупредило:

— Не реагируй на них. Не вздумай сказать им что-нибудь. Они тупые и нервные, хоть и лучше нас. Заклают наши совы чучела в хлам.

Сюрреалист не успел ничего ответить, только узрел краем глаза дикий чайчий взгляд, а после чайка метнулась в сторону. Вторая, летевшая следом, просто проигнорировала свиные чучела. Рок-музыкант-сова задним числом объявил:

— Смена караула.

Сюрреалисту взгрустнулось оттого, что волшебная эта фраза бессмысленна и в реальности никакого караула нет, но тут же отвлекся от тёмных дум — впереди запахло проспектом. Миновав пару жестяных крыш, блестящих от мокрого снега, лётчики плюхнулись в воздух над широким тёмным руслом проспекта, усеянным по бокам огнями. Развернулись и полетели вдоль.

Вскоре проспект Лётчиков втягивался во Встреченскую улицу, где первым домом являлась белая церковь с изумрудными кровлями и куполами. Показалось, что церковь снизу смотрит на сов — как будто бы это был наместник Бога, пытающийся уличить неполадки в воздухе со стороны земли. Но сейчас у церкви определённно был добрый взгляд — она ничего не имела против полёта. Обе совы разогнались вдоль Встреченской, рассекая студёный воздух, и вылетели в совершенно неожиданное пространство... Внизу была не Россия, а что-то другое. Прямо под совами плыли жилые трейлеры, за ними — баскетбольная площадка и двухэтажные дома, между которыми тут и там вылазили мокрые от дождя деревья, неоновым светом на зданиях посолондней разговаривали вывески — на английском, а вдали виднелись небоскрёбы, заслоняющие океан. Рок-музыкант сказал:

— Ненавижу эту место.

Сюрреалист ответил:

— А я своё место люблю.

— Рад за тебя. Давай ускоримся.

Сюрреалист разогнался сильнее и прокричал:

— Иух-ху!!!

Рок-музыкант повеселел и тоже прибавил жару, чуть не задев сосну. Оба лётчика зафиксировали пару сонных машин на перекрёстке, дыхнули океанского воздуха и вылетели снова в российское воздушное пространство, миновав монастырь, чинно дремавший разлапистым истуканом.

Внизу возникла Заставная площадь. Серые мрачные гиганты КГБ впитывали в себя влажный воздух и спокойно расточали вокруг незримую угрозу. Рок-музыкант предложил:

— Давай повернём обратно.

Сюрреалист моментально, без лишних слов, сделал над серыми монстрами крут и улетел в исходную сторону. Рок-музыкант не торопился. Он планировал над Заставной, сделал пару кругов, повернулся совиным телом в сторону центра и раскрыл пошире глаза. Они округлялись, слезились, и вместе с тем становились угрюмыми и серьёзными. Рок-музыканту хотелось уйти. Улететь в сторону центра, прочь, выскочить в конце концов в неведомое, в бесконечное ничто, забыть этот ненормальный город, срastись с телом совы и рассыпаться перьями над каким-нибудь морем. Тёмным и равнодушным.

...сглотив внутри совы, рок-музыкант развернул её тело в исходную сторону. Набрал дикую скорость, с неосознаваемым рёвом он пролетел мимо сюрреалиста, когда тот уже был в середине воздушного пространства над проспектом.

Сюрреалист ускорился тоже и прокричал, нагоняя напарника:

— Эй! А круто ты ревьёшь всё же. Прямо как реактивный самолёт. Я всегда хотел уметь так же.

Рок-музыкант опомнился, притормозил и ответил сдуру:

— А я всегда хотел быть брюнетом. И вот таким... как ты.

— Брось. Моя внешность избита. Во всяком случае, она очень распространена в Польше.

Рок-музыкант усмехнулся.

— Моя — распространена везде.

Сюрреалист улыбнулся внутри совы и понял, что они с музыкантом вполне ожили и подлетают теперь к Больничному переулку. Откуда-то сюрреалист знал, что он называется Больничным.

Рок-музыкант спикировал вниз. Сюрреалист — следом. Соприкоснувшись с асфальтом, оба выскочили из сов в мгновение ока.

— Уфф...

Сюрреалист сказал в свою очередь:

— Что за дела? Гляди-ка: наша одежда... ружьё... Кто их сюда приволок?

— Не знаю.

Голый мёртвый рок-музыкант насунился и вперил взгляд в энергетическую видимость вещей, валяющуюся за забором на школьном дворе.

Мёртвый голый сюрреалист потёр ладонями лицо, как будто пытаясь проснуться. Потом зевнул. Рок-музыкант, стоявший вплотную к забору, обернулся на нового друга с выражением деловой растерянности.

— Не стоит думать, откуда они. Просто оденемся и пойдём.

Просунув руку между железными прутьями, рок-музыкант вытащил вещи, ружьё, а чучела сов поднял из-под ног и бросил на место одежды. Сюрреалист, одеваясь, спросил:

— Может, вернём их божам?

Рок-музыкант, очень быстро скрывая в вещах своё тощее тело, ответил:

— Не стоит. Зачем они им? Они их даже не видят, я думаю.

— Ну хорошо.

Мёртвый сюрреалист застёгивал часы на запястье. Рок-музыкант подхватил на плечо ружьё и снова сделался прежним человеком с ружьём.

— Надо топтать. В гнездо.

Сюрреалист радостно хмыкнул.

— Дай покурить.

Рок-музыкант достал. Покурили.

— Всё. Теперь топаем. Рассвет скоро.

Мёртвый сюрреалист пошёл впереди, человек с ружьём сзади, сюрреалист сказанул по этому поводу:

— Странно. Выходит — ружьё в тылу.

Человек с ружьём затянулся новым сигаретным фантомом и помотал головой, чтобы волосы не залезли в глаза.

- Я хочу быть в тылу. Всегда.
- Тогда отдай ружьё мне.
- Пошёл ты.
- Не... сейчас мы оба идём в гнездо.
- Да. Только пошли мы в обратную сторону.
- Сюрреалист тут же вкопался в асфальт.
- Точно. Мы сдурели совсем.
- Нет, мы просто гуляем после обеда.
- Ага... в предвкушении гнездований.

Стояли они на углу, у странного жёлтого дома с зарешёченными окошками, вытянутыми в полусферы. На другой стороне стоял другой жёлтый дом — с квадратными окнами, но всё равно жёлтый. Сюрреалисту стало не по себе.

- Мы заблудились.
- Рок-музыкант докурил.
- Нет. Разворачивайся, пойдём обратно.

Сюрреалист развернулся и снова пошёл впереди. «Почему он всё знает лучше меня?» — подумал сюрреалист, ощущая, как мозги слипаются сном. На другой стороне возникло тёмно-красное грузное здание в три этажа и неведомым образом пробудило сюрреалиста. Рок-музыкант подобрел, глядя на красный плешивый дом. Он подумал, что дом этот — то ли гриб, то ли дерево, сросшееся с землёй и живое, как домовая или леший. Мёртвый сюрреалист между тем вспомнил опять про пункт назначения и стал рассуждать, как в детском саду.

- Из гнезда можно за Касей в её окна подглядывать.

- Рок-музыкант обрадовался.
- Мы что, как будто бы маньяки, да?
- Ну... Я как будто, а ты буквально он и есть.

Рок-музыкант нацелил дуло в спину новому приятелю, но тут же вспомнил, что оно бесполезно. Следом неожиданно заметил, что сюрреалист хромает на правую ногу.

- Ты чего это — хромой?
- Так оторвали же.
- Что?
- Ногу.
- Прямо совсем?
- Нет, только ниже щиколотки.
- Так она ж у тебя сейчас на месте.
- Да, опять на месте. Но привыкнуть пока не могу.

Дойдя до нужного дома, они отправились дальше по стене, как будто бы это было чем-то самим собой разумеющимся. Сюрреалист с острой неприязнью наступал на предупредительные объявления о невозможности войти внутрь, но вскоре успокоился. Двое вышли на крышу и, справившись с временным головокружением от очередного поворота их тел в пространстве, уселись в мезонине.

За час до этого Катерина наплакалась и поняла, что до такой степени в невесомости не бывала ещё никогда. Ощущая себя чучелом, окончательно разучившимся жить в материальном мире, она сидела у окна, в большом добром кресле-качалке, пила глинтвейн с мандаринкой и не пьянела. Засыпая, Катя подумала, что плед, под которым она сидит, обладает всеми признаками высшего разума, а мимо окна как будто бы начали летать туда-сюда всякие странные существа, гораздо более развитые, чем она сама. Потом, сквозь слипающиеся веки, Катерина перевела взгляд на белоснежный пар, выпускаемый трубами ТЭЦ в чёрное небо и витающий над домами — старенькими, непохожими друг на друга. Пар ежесекундно менялся. Он был ещё более продвинут, чем летающие за окном существа. А за ТЭЦ начиналось царство железной дороги. Не так давно за железной дорогой построили какую-то штуку... высокую, со светящимися огоньками. Ей взбрело в уже уснувшую голову, что это Сиэтл проступает. А потом взбрело в голову, что старые дома приехали к ней под окно из Польши. Только трансформировались немного. Так бы и сидела она в течение всего этого ночного вечно безвременья под названием «зима». Так бы и сидела... но переползла в свою кровать.

- Рок-музыкант поглубже вдохнул предугранный январский воздух и заговорил первым.
- Она спит. Окна тёмные все.
- И не знает, что тут сидят маньяки.
- Ага... А над ними кремовая луна висит.
- И один из них — полный ноль. От которого только нога неизвестно где валяется.
- Вообще ты крутой.
- Отчего это?

— Умер круто.

— Идиотизм... В чём моя крутизна? В том, что за городом меня как следует отделали заезжие твари, после чего я свалился в какую-то канаву и подышал там три дня?

— Да.

— Если бы я выбрался, тогда был бы крутым.

— Бог с ним. Посмотри лучше, что внизу делается.

К дому любимой постепенно стекались какие-то люди. Надо сказать, что дом был новым, и почему мёртвый сюрреалист решил, что он не может попасть в него самостоятельно — неизвестно. Стекавшиеся люди, между тем, явно были мертвы. Это становилось понятным либо по одежде, либо по спокойным настенным променадам с первого этажа до девятого — к окнам Катерины, либо ещё по кое-каким особенностям. Сюрреалист глядел на это всё с нескрываемым восторгом и в итоге озвучил его.

— Ух ты.

Рок-музыкант отнёсся к ситуации практически. Он поднял своё ружьё с листа кровельного железа и приготовился всех расстрелять.

— Слушай, хватит. Ты не застрелишь никого. Брось эту никчёмную привычку.

— Я сноровку потеряю. Мне тренироваться надо.

— Зачем тебе такая сноровка?

— Дух укрепляет.

— Ты просто злой собственник, вот и всё.

Рок-музыкант перестал целиться и посмотрел на сюрреалиста такими глазами, что тому стало не по себе.

— Ты меня минувшим вечером прибить собирался. И дерево заодно. А теперь вот оно что? Ха.

— Ну, я, возможно, был не прав.

— Ты, возможно, познакомился с ней только прошлым летом, а я давно сюда пришёл, знаешь ли...

— И что? Это значит, что права твои закреплены по полной?

— Это значит, во-первых, что мы с ней повязаны. А во-вторых, кучка этих дохлых паразитов может заселить её душу так, что она с ума навсегда свихнётся. И после смерти ей даже под поезд броситься идея не придёт.

Сюрреалисту снова стало горько.

— Повязаны, значит... Ты о чём?

— О том, что она несколько раз уже могла отчалить на тот свет, и я давно бы лёг под поезд, если бы был уверен, что о ней позаботится кто-то ещё.

— А живые мужики нашей дамой не интересуются?

— У неё был друг... Он умер. И отправился уже... куда положено.

— Я спросил про живых...

— Живые?.. Не очень. Только если на предмет потрахаться. Её это не слишком устраивает, а им сразу не очень-то и хотелось. Те, кто серьёзно интересуются, — они с серьёзными комплексами или очень сильным запахом изо рта.

— Слава Богу.

— А ты знаешь, как ты вонял, когда тебя из канавы вынули?

— А ты что, не вонял? Три дня на жаре в оранжерее провалялся.

— Ты вонял сильнее...

— Завидно?

— Да.

— Кстати, а тебя всё-таки застрелили, или ты сам?

— Я забыл.

Оба замолчали. К дому стекались всё новые и новые мертвецы. Мужчина с ружьём не стрелял и напряжённо о чём-то думал. Сюрреалист нарушил молчание.

— Вот скажи мне, раз ты давно уже помер: откуда берутся призраки?

Рок-музыкант, не сводя с мертвецов ружья, сухо выговорил:

— Не успокоились. Нижние оболочки, включая эмоции, отмирают обычно при физической смерти, а верхние уходят туда, куда положено. Ну а в нашем случае эмоциональное тело живо... Чтoб его. Верхние тела к нему привязаны.

— И что? А каким же таким образом ты повязан ещё и с Катаржиной?

— Опять двадцать пять...

— Да не опять двадцать пять, а ты мне не ответил толком, отвечай давай. Зачем она тебе? У тебя ведь должен быть какой-то личный интерес?

— Какие гадкие холодные слова, однако. По отношению к той, ради которой ты собирался убить дерево!



Музыкант усмехнулся снова.

— Кое-кто. Особенно я.

— Что?.. Кобэйн, что ли?

Рок-музыкант деланно улыбнулся.

— Я спятила. А это кто? В дверях...

Сюрреалист подошёл поближе и, улыбаясь искренне, сказал:

— Я Никто.

— Это хорошо.

Я оглядела Кобэйна с недоверием и улыбнулась сюрреалисту.

— А зовут вас как?

— Ян.

— Отлично... лаконичное имя, мне нравится. Тем более, мне кажется, я вас мельком уже где-то видела...

Кобэйн слегка склонил голову набок, сунул руки в карманы штанов и начал внимательно на меня глядеть.

— Чё уставился? Не видел никогда?

Я взяла изумлённого Яна под руку и отправилась с ним блуждать по квартире. Мы странствовали в темноте, спотыкаясь о выбитые из общего ряда доски паркета, и в ванной комнате, где пахло тинной, украдкой поцеловались враспашку.

Кобэйн оставался в комнате. Сперва он не двигался с места и просто стоял у постели из перьев, в свете уличных фонарей, поглядывая на улицу. Минут через пять, покачнувшись, он отправился выискивать нас. Мы стояли на кухне и говорили обо всём. Вошедший Кобэйн кашлянул и вполголоса выдал:

— Кэтрин, можно тебя на минуточку?

Я отвернулась на секунду от Яна и бросила Кобэйну в ответ:

— Вали отсюда, попса для школьников.

Кобэйн собрал все свои силы и не взорвался. Сказал:

— Лачно-волосная королева, мать твою.

Я ответила:

— У него распад личности двадцать лет назад начался... И всё никак не распадётся, бедняга.

Ян стоял всё это время восковой фигурой, но потом ожил и покачал головой.

— Эй... Он тебя защищал все эти двадцать лет... Надо хотя бы спасибо сказать.

— Я сама себя защищала, а ещё у меня были мутные галлюцинации, что он ко мне приходит. Ты тоже моя галлюцинация. Я выбираю галлюцинации себе сама. Ты лучше, потому что не попса.

Ян изумился.

— Я не галлюцинация. Я правда жил. Я художник. Я существую на самом деле.

Кобэйн стоял в дверях, понурив голову и поглядывая на своё ружьё у стола. Я повернулась лицом к Кобэйну, попыталась заглянуть ему в глаза.

— Так ты не галлюцинация?

На улице погасли фонари, стало тихо, как в гробу, только какая-то телега проехала мимо окна. Кухню теперь освещал лунный свет, а где-то в дальней комнате начал раскачиваться гигантский маятник часов — его движение было слышно так, как будто бы он находился у самого уха. Большой, тяжёлый, излучающий законсервированную музыку. Рок-музыкант ответил:

— Я не знаю сам.

Ян думал, что делать, вздохнул и предложил:

— Пойдёмте посидим на совиных перьях?

И мы пошли. Только когда расселись — увидели непонятно откуда взявшиеся чучела сов. Они валялись под подоконником. Рок-музыкант обалдело спросил:

— Как они здесь?

Сюрреалист равнодушно пожал плечами. На стене напротив постели неожиданно появилось гигантское зеркало, и все мы, трое, в нём отразились. Я хихикнула с ужасом:

— А мы неплохо смотримся вместе.

Сюрреалист посмотрел в окно, иронично молвив:

— Ну да. Мама, папа, я — шведская семья... из русской, американца и поляка.

Рок-музыкант добавил зло:

— Причём ты будешь я, а мы с Кэтрин мамой и папой.

Сюрреалист наёжился, но проигнорировал этот выпад и продолжил разглядывать заоконье. За окном красовался абсолютно нерусский пейзаж. Больше всего он был похож на какие-то североевропейские пригороды. Или восточноевропейские, или американские — Бог его знает. Тёмная дорога плескалась в сыром тумане, сверху висели незнакомые звёзды, а по бокам стояли

дома — одно-двухэтажные, спящие и как будто плывущие в пространстве. Сбоку включился фонарь. Рок-музыкант облегчённо полез за сигаретой в карман.

— Электричество врубили, слава Богу.

Сюрреалист иронически поглядел на него.

— Пойдём полетаем?

— Нет. Кэйт... Кэтрин? Пойдём в коридор. На минуту. Поговорить.

— Ну хорошо...

Мы вышли с ним в коридор, там было абсолютно темно, но я чувствовала, как паркетные доски выпирают из пола. Мне показалось, что весь паркет оцетинился и настроился против нас. Тогда на стене, напротив себя, я неведомым образом разглядела зеркало — несмотря на то что свет сюда по-прежнему не поступал. В зеркале никого не было. Я не отражалась в нём. Тогда Кобэйн вздохнул, и я почувствовала его непосредственно рядом с собой... В зеркале появилось отражение нас обоих. Оба выглядели уставшими и неживыми — я в своей доисторической ночной рубашке, растрёпанная и с нечеловечески белым лицом; он в серой, бесформенной одежде, с непривычно тёмными волосами и абсолютно серой физиономией... Я приложила ладонь к своей щеке и протянула:

— Хоропиши.

Он перестал смотреть в зеркало, и я почувствовала взгляд на себе. Сдавленным голосом он произнёс:

— Поживём ещё...

— А зачем?

Тогда он шагнул в меня — встал ровно на моё место. Я ощутила ни с чем не сравнимый комфорт, покой и в конечном итоге — какое-то детское счастье. Он отступил назад, сказал с улыбкой:

— Теперь ты.

Я шагнула в него. Он облегчённо вздохнул. Потом вздохнул с удовольствием. Так мы шагали друг в друга до тех пор, пока сюрреалист из комнаты не спросил с ревнивым беспокойством:

— Вы скоро там?

Я сошла с кобэйнова места и прошептала в него:

— Кайф.

— Ага.

Курт отошёл от меня, но я опять почувствовала на себе взгляд, а голос спросил:

— Останешься со мной?

Уже почти ответила:

— Конечно.

Но только улыбнулась и опять посмотрела в зеркало, в надежде увидеть себя отдельно. Отражения снова не было. Я возразила:

— А как же земная жизнь? Всякое разное... путешествия, друзья, продолжение рода.

— Зачем оно тебе?..

— А как же сюрреалист?

Кобэйн промолчал и упёрся взглядом в пол. Неожиданно разозлившись, как будто чёрт меня укусил, я выпалила ему:

— Вы с ним две крайности прямо. Неизвестный гений без вопросов мне милее.

Кобэйн поднял глаза на меня и неверящим тоном проныл:

— Ээй... Кэйт...

— Тфу на тебя.

Тут он не выдержал.

— Это мне надо было на тебя плюнуть. Пол твоей жизни за тобой носился, как последний мурак.

Он кинулся на кухню за своим ружьём, я прокричала ему в спину:

— Я всё равно тебя брошу, а то осудит кто-нибудь, что замахнулась!

Подумала как следует и добавила:

— Мне нужен живой мужик! Живой!!! Понимаешь?

Кобэйн вышел из кухни с ружьём на плече.

— Ага. Поэтому ты выбрала сюрреалиста.

— Но... Он никому не нужен! Мне его жалко. Пускай даже он неживой... А ты иди куда хочешь, тебя любят все!!!

Человек с ружьём процедил сквозь зубы:

— Они любят не меня, а манекен с витрины.

Я как-то дико посмотрела на человека с ружьём и отправилась в комнату к Яну. Глядя на меня, он вскочил с постели из совиных перьев и бросил в следующую секунду взгляд на чучела сов. Я подтвердила:

— Да. Нам надо побыстрее обратиться отсюда.  
В комнату вошёл Кобэйн с кислым выражением лица.  
— Посмотрю я, как вы это сделаете без электричества.  
Мы с Яном переглянулись и, содрвав с себя энергетическую видимость одежды, синхронно выпрыгнули в сов, как будто долгие годы тренировались делать это.  
В совах мы выбежали на середину комнаты. Ян спросил у человека с ружьём:  
— Может, подстрелишь нас?  
Тот опустил ружьё вниз, дулом в пол, и сжал со всех сил губы.  
С излучаемым во все стороны чувством вины, хоть её и не было, Ян посмотрел на меня. Своими чучельными совиными глазами я прочитала в его чучельных глазах мольбу и предчувствие разбитой жизни. Шепнула:

— Совы живут вечно.

Махнула крыльями и взлетела на подоконник — как будто запрыгнула, на большее меня не хватило бы. Створки окна тут же раскрылись в сторону улицы. Ян вскочил на подоконник следом. Шепнул:

— Вместо электричества используем мою боль. Прижмись ко мне... Я тебя люблю.

Я прижалась своим совиным телом к его совиному и спросила:

— Уже любишь? Так скоро?

— Да.

Вдруг меня дёрнуло — словно бы током. Нас выпшвырнуло в сырой туман, в котором плескалась неведомая дорога и дома, плывущие в пространстве; а потом мы поняли, что летим.

Мы стали набирать высоту, и неизвестная местность постепенно превращалась в знакомую Екатерининскую улицу. Мы уже подлетали к её перекрёстку с Посошковским, плавно набирая скорость.

Тем временем мёртвый рок-музыкант по-прежнему стоял в дверях с ружьём. Он пытался сглотнуть ком, застрявший в энергетическом горле, и молчал, как мертвец. Разглядывая абсолютную пустоту, простирившуюся за открытым окном, он начал беззвучно плакать, так что только плечи вздрагивали, а сжатые губы сжимались ещё сильнее. В конце концов он не выдержал, метнулся к окну и начал стрелять в воздух — по двум белым точкам, растворявшимся в тёмном пространстве. Выстрелы были надрывными и бессмысленными. Стрелявший осознавал это и прокричал:

— Я не хотел, вашу мать, славы! Я не хотел!!! Вернись!

Увидев, что пространство за окном стремительно заполняется тёмным туманом, а белые точки исчезли совсем, рок-музыкант отвернулся от окна и, уставившись бессмысленно в постель из совиных перьев, зловеще сказал:

— Бросила.

Он отшвырнул ногой энергетическую видимость оставшейся одежды в угол и застыл опять, как будто его поразил столбняк. Мёртвый человек стоял с опущенным ружьём, глядя на постель, глаза его постепенно становились безумными, и он действительно обезумел... Пугая полную тишину, проорал истерически:

— Всё повторяется!

Бросив ружьё на пол, он кинулся следом, упал возле ружья и схватил себя за волосы так, что чуть не выдрал их. Елозя по полу ногами, он всё пытался сглотнуть ком. Разрыдался и припал к паркету щекой, начал бить по нему ладонями и, в конце концов, провёз себя лицом по холодным дощечкам в ёлочку. Когда он начал орать, как резаный, мою сову, уже перелетевшую Посошковский переулок, что-то остановило. Другая сова, в которой летел Ян, пролетела по инерции немного вперёд и тоже остановилась, развернувшись ко мне. В гигантских чучельных глазах с отчаяньем плавала последняя надежда. Ян сказал сдержанно:

— Без тебя сдохну.

В доме с постелью из перьев совы мёртвый рок-музыкант кое-как взял себя в руки и подтянул к себе ружьё. Маятник в дальней комнате металлически раскачивался из стороны в сторону. Тёмное ничто за окном разрасталось и вливалось в комнату к музыканту, подбиралось к нему и облизывало ему пальцы. Пальцы спокойно легли на курок, дуло глядело в голову. Рок-музыкант сказал вполголоса:

— Сейчас будет круче, чем поезд.

Я поглядела на Яна — его сова была взъерошена, а в глазах, из которых почти уплыла надежда, разрасталась пустота — жуткая, как одиночество в ночном лесу. Нервически и быстро подумав, я нащупала в своей сове две себя. Одна из них могла бы жить вечно, быть всегда спокойной и радужной. Другая истерила. И тут мне показалось, что с чёрного ясного неба в меня ударила молния. И как будто бы молния расстегнулась внутри меня.

Человек с ружьём вложил ствол ружья себе в рот, но тут же вынул его обратно — чтобы отдышаться, как показалось ему самому. Он вдохнул глубоко, как можно глубже — один раз, другой раз...

Язычок моей внутренней молнии соскочил с зубчатой змейки вниз и выпал из совы в снег на обочине дороги. Истерическая я полетела за язычком следом. Ян даже не заметил этого. Перед ним по-прежнему махала крыльями вторая сова — внутри которой пребывала та самая — радужная и живущая вечно. Она посмотрела на Яна так, что его одиночество в ночном лесу закончилось, он улыбнулся внутренне и кивнул головой куда-то вдаль, указывая направление. В этом направлении они и улетели — обе совы. Обе счастливых совы.

А другая я бежала обратно по Екатерининской к давно снесённому дому. Человек с ружьём перестал глубоко дышать и начал плакать, глядя на ружьё.

— Твою мать... Даже сейчас без героина не получится.

Я бежала по улице абсолютно голая. Очень хотелось плакать, но на это не было времени. Было больно ступням, но на острое удавалось не напарываться.левой рукой я придерживала грудь, и первый встретившийся мне мужчина сказал торжественно:

— Вау.

А дальше прокричал мне в спину:

— Вы замёрзнете. Пальтишко одолжить?

Второй сначала обалдел, после чего оглушительно свистнул. Третий попытался меня поймать. Я увернулась, а он тут же выпалил:

— Эй, а сиськи не покажешь?!

Я подумала, что, слава Богу, мёртвый рок-музыкант не такой, как они. Иначе б не бежала. Всё. Вот и парадная.

Миновав облупленный изразцовый холл, я влетела по лестнице на второй этаж и со всей дури толкнула дверь — она ухнула в квартиру и стукнулась о стену внутри. Рок-музыкант услышал это, и ему стало нечеловечески стыдно за то, что он не смог застрелиться. Отбросив ружьё на постель из совиных перьев, он чертыхнулся и закурил фантом сигареты, напряжённо уставившись снова в окно, где прорисовывалась Екатерининская улица.

Услышав, как в комнате затягиваются, я успокоилась и вошла. Человек внутри не обернулся, он по-прежнему глядел на улицу, и глаза его становились стеклянными, а потом из них почему-то потекло солёное... Я почувствовала его на вкус, потому что уже целовала лицо. Ещё я трясла ступок энергетики за плечи — осязаемые и тёплые, повторяла что-то типа «приди в себя, ну приди». Ступок энергетики не реагировал. Тогда я стала гладить его по голове и, в конце концов, просто уткнулась лицом ему в спину. Заколдованным голосом он произнёс:

— А, это ты?..

Нервно вздохнул. Улыбнулся, как будто собирался мелко нашкодить, и приподнял немного брови, всё ещё разглядывая Екатерининскую улицу. Утвердительно ответил сам себе:

— Это ты.

Я зачем-то влетила ему подзатыльник. Спросила:

— Ты простишь меня?

Он усмехнулся, глянул на ружьё и постель из совиных перьев. Я дёрнула его за мочку уха и заглянула в лицо.

— Простишь?

— Рановато нам всем ещё в космос, вот что...

— Значит, останемся совами.

— Именно совами?

— А кем же ещё, если рассвета нет?

Он ухмыльнулся. Потом, наконец, развернулся ко мне, сказал:

— Вау. Голая.

И сразу забеспокоился.

— Ты не замёрзла?

Я пожала плечами. Спросила ещё:

— Так простишь?

В ответ он начал гладить меня, и глаза его наполнились огоньками.

— Я прощу тебя несколько раз кряду.

## МАЛЬТИЙСКИЙ МИСТРАЛЬ

*рассказ-путешествие*

Нам часто снятся далёкие города с улицами, восходящими к солнцу: на таких улицах крепко держатся за руки. Просыпаемся в слезах, понимая, что это города нашей юности. И не важно сбылась она или нет, как нам мечталось. Важно, что шаги по ней уже в прошлом.

А в настоящем — дом, семья, работа, привычный бег по кругу. Годы отмеряются выплатами за кредит, морщинами и отметками деток за успеваемость в школе. Звучит знакомое «потерпи, недолго до отпуска», и дни, месяцы жизни безжалостно вычёркиваются из календаря крест-накрест. Словно тогда мы жили на одном дыхании, а сейчас его переводим, замираем между трапами самолётов. Ждём попутного ветра.

Мальта — мой личный Комбре<sup>1</sup>, рано или поздно меня прибывает к её берегам: волны всегда возвращаются, другими и всё теми же. Впервые меня отправили на остров изучать английский в летнюю школу на первом курсе университета. А сегодня мы с мужем привезли сюда своих школьников.

— Мама, смотри, если снимать «рыбьим глазом», получается круглый горизонт у Земли, как на фото из космоса. А можно настроить наоборот, чтобы море — внутри?

— Море всегда внутри.

Первая любовь, наверно, у всех самая яркая, в последующие сердце уже кем-то наполнено (даже если кажется, что прошлое в прошлом), и его невозможно залить *так* — во все трещинки и потайные уголки, до края, до доньшка, до вечного возвращения.

В насмешку его прозвали «Fish eye». В длинных густых ресницах отразилось и запуталось солнце, и он остриг их маникюрными ножницами у зеркала — не девчонка же! Стал похож на рыбацкую лодку своего деда. Мальтийские рыбаки верили: если на лодках рисовать глаза Зевса, то что бы ни случилось в море, вернёшься домой. Лодка и в темноте «увидит» береговые огни. Точно такими же «всевидящими» глазами наделяли местные художники символ Мальты — дельфина «лампуку», чей образ украшал всё в округе: фронтоны, дверные ручки, монеты, фонтаны, открытки... Рыбу мы не ели. Зато наслаждались мидиями, козьим сыром, вином, и любили друг друга в прибрежных гротах, как Одиссей и Калипсо. У нас не было будущего. Только одно лето, а потом учёба: он отправлялся в Италию, я — обратно в Москву. И вся наша жизнь была будущим. Свойство юности — подгонять время на пути к чему-то заветному впереди, что должно непременно исполниться за следующим поворотом судьбы. Сегодня я никто, а вот завтра стану Писателем, Инженером, Архитектором, Менеджером... Личностью с заглавной буквы. Все наши разговоры сводились к планам на взрослую или, как мы её называли, «настоящую» жизнь.

Настушила ли она? Не знаю. Спустия тринадцать лет, я вглядываюсь в Мальту, будто смотрю в волшебное зеркало, способное повернуть время вспять. Путешествие в прошлое. На улицах Мальты выросли новые дома, кафе и магазины, пропали жёлтенькие волшебные автобусы с гудками. У меня тоже всё выросло: и мечты, и разочарования. Только глаза у Мальты не меняются, не выцветают. Средиземное море — прекраснейшее на Земле, нигде более я не видела такого цвета воды, она в буквальном смысле кристальная: сапфировая, изумрудная, бирюзовая...

По ночам на набережных зажигаются фонари: Мальта надевает очки в золотой оправе. А из моря струится золотой свет, к которому можно прикоснуться ладонью, зачерпнуть с водой в бутылочку, закупорить и увезти с собой, чтобы согревал московскими зимами.

Во второй мой приезд здесь дул мистраль, пронизывающий насквозь и людей, и стены, и мальтийцы рассказывали, что на восточном побережье дома строят под углом к морю. Часто потом мне казалось, что я слышу-чувствую этот ветер в других городах и странах, за километры от острова, сначала тихим и далёким, потом нестерпимо громким, близким, резко тоскливым, обжигающе ледяным, и значит, пора было возвращаться. Последний день рождения, начинающийся с двойки, мы решили отметить с мужем тоже на Мальте, с бутылкой шампанского на скалах Голубого Грота. День прощания с юностью. Мальтийская дикая трава рода суккулентов, собранная в тот день на скалах, до сих пор растёт, как домашний кактус, в нашей московской квартире в цветочном горшке на подоконнике. Жиреет и колосится. Конечно, ветра-то в комнате нет. На ум приходят слова из романа Ремарка «Триумфальная арка»: *«Нельзя запереть ветер. И воду нельзя. А если это сделать, они застоятся. Застоявшийся ветер становится спёртым воздухом»*<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> "В поисках утраченного времени". Марсель Пруст.

<sup>2</sup> «Триумфальная арка»

Сегодня и над Голубым Гротом, и над всем островом висит жаркое марево пустынь Туниса. Заплываю далеко-далеко, ложусь на спину, и пусть вода меня качает, как колыбель. Небо над головой — бездна без дна. Как и море подо мной. Ощущение необъятной пустоты — как начала начал.

\*\*\*

Пока дети изучают английский в школе, знакомятся и заводят друзей из разных городов и стран, и (кто знает?) может, тоже впервые влюбляются, мы с мужем остаёмся наедине. Шагаем, держась за руки, по мальтийским городам. Мальта — маленький остров, города плавно перетекают друг в друга. Если угадать со временем, то каждый час очередной гостеприимный город встречает колокольным звоном церквей.

В Сан-Джулиане странно тихо. Сегодняшние студенты, стайками слетающиеся в Пачевиль со всего острова, как гномы, уходят под землю — танцуют в закрытых ночных клубах. А мы танцевали прямо на улочках и набережных, под звёздным куполом неба. Я тогда открыла для себя, что ковш Большой медведицы на другом боку Земли перевернут. Звезда на острове теперь не видно — полная иллюминация или световой шум, как везде в мире.

Вспомнилось, как с подругой впервые попали в «злачный» Пачевиль. «Do U want sex on the beach?» — напали на нас в первом же клубе. Мы сбежали. В другом — та же история. Ночные бабочки, ни дать ни взять! И где они beach отыскали, одни камни вокруг? Мимо, помню, продефилировала девица в кожаных «стрингах», вот кому точно нужен был секс на пляже. А мы — обычные студентки: шорты, майка, даже не накрашены. Решили, пойдём в тихий бар, просочимся незаметно к стойке, хлопнем по паре «чисков»<sup>1</sup>, и если кто-то привяжется, хором заорём «Fuck U»! Бар был маленьким, денег на промоутеров, понятное дело, нет. Надпись на куске картона при входе гласила: «Welcome drink — cocktail "Sex on the Beach"».

Сидим с мужем в том же баре, пью «Sex on the Beach», улыбаюсь. Сегодня это бар футбольных болельщиков, а я даже в Москве не шарахаюсь от нападающих. С годами робость превращается в пренебрежение, и мизантропия разрастается, как моя мальтийская трава на окне. Да и нападающих с возрастом становится всё меньше и меньше.

Напротив нас — рыжая женщина, похожая на стареющую луну с кратерами, но с татуировкой бабочки на животе. Хороша была когда-то, наверное: некрасивое тело тату украшать не будут. Экономия средств: в молодости накалываешь маленькую капустницу на животе, а с возрастом она вырастает в махаона вместе с твоим животом и даже крыльями начинает махать в такт жировым складкам. Я смотрю на стайки студентов, бабочка рыжей — на меня. Мы — звенья цепочки вечности, частицы ночей жимолости и глины Борхеса<sup>2</sup>.

Поэтому в Джагантию мы так и не поехали. Повзрослевшие дети связь времён ощущают солнечным сплетением, и необязательно бродить по руинам мегалитов, возведённых некогда заселявшими остров великанами-язычниками. «В прошлый раз всё осмотрели. С тех пор я изменился, камни нет», — пошутил муж. Интересный факт прочитала о мальтийских камнях в буклете с расписанием автобусов: «Фермеры ставили разные по размеру и форме камни друг на друга, чтобы дождевая вода, затекая в проёмы, шлифовала их прямо в ограде садов-огородов». Мальту считают самым солнечным островом на планете, 365 дней в году солнце. Откуда взяться дождю? Климат меняется, сегодня она — жёлто-белые камни, а когда-то была кедровыми рощами. Когда-то была зелёной, а сегодня — стареющая земля с юными глазами. Земля стареет вместе с человечеством, а моря её вечны.

\*\*\*

Синее-синее море... Остов корабля. Возвращаясь ночью на пароме с острова Гозо, поняла, что Azur Window<sup>3</sup> в Двейре — моя Триумфальная арка.

Место, где Андрей Кончаловский снимал прохождение корабля Одиссея между Сциллой и Харибдой. Согласно местной легенде, если помотришь сквозь окно скалы в море, сбудется самое заветное. Тринадцать лет смотрела, как фанатик, и живу, и на фотографиях. Всегда это место напоминало церковь безлюдьем межсезонья, органичным голосом ветра, уединением, лучше для молитвы и не придумаешь. А теперь вокруг Вавилон: голоса-голоса-голоса на разных языках, смех, крик, плач, щелчки фотоаппаратов... что поделаешь, высокий сезон. И вдруг — шальная мысль: А если проплыть под аркой?

---

<sup>1</sup> мальтийское пиво Cisk

<sup>2</sup> "История вечности". Хорхе Луис Борхес

<sup>3</sup> Окно в море

«Осторожнее, у бога своеобразное чувство юмора», — только и крикнул мне вслед муж. Не буду говорить, сколько синяков и ссадин получила на острых камнях. Не заметила. Волны и опасный спуск в воду. Страшно стало, когда увидела стаю медуз на расстоянии где-то в полкилометра от берега: жёлтые, огромные, шевелят щупальцами — повсюду. Недаром купальщики туда не заплывают, да и аквалангисты плывут не в арку, а вокруг по камням ползают и обратно. О медузах знаю, что одни ядовитые до ожога — больно, но переживёшь, а яд других может и парализовать. Солнечные слепящие блики в волнах, каким строем плывут медузы и насколько широк их круг не видно, главное — не задеть, а то даже спасатели не успеют вытащить. Обошлось.

Над головой — каменная арка, громада свода давит сверху — ощущение ничтожности до почти полного исчезновения (или растворения в море, природе?). В воде чувствуется сильное напряжение, водоворот, мощная воронка, затягивающая в себя. Рук и ног не хватает бороться. Рокот морского дыхания и триумф оглушают. Я сделала это! Azur Window — сакральная церковь природы. Здесь не молишься, а силами меряешься кто кого по обрядам язычников. Если победишь — древнее божество наделит своей силой. Подумалось, что человек — самое безрассудное существо на планете, единственный, кто способен умереть ради абстракции — мечты, идеи, да даже любовь — иллюзия, если не служит продолжению рода. Но я, наконец, поняла безрассудство подвига, поняла тех, кто покоряет Эверест. Если посвящаешь себя, свою жизнь чему-либо (писатель ты, менеджер, художник ... — не важно), то в трудные моменты, когда одна, можешь закрыть глаза, вспомнить свой свод/глубину/вершину и сказать себе: тогда не отступила, и сейчас рука не дрогнет. Если делаешь что-то всерьёз, придётся покорять вершины и нырять на самое дно, даже если все камни потом будут брошены в твою жизнь.

И уже на пароме вспомнила, что так ничего и не загадала. Незачем. Никто не избран. Жизнь — дана, взять от неё всё — наша задача.

\*\*\*

Мы и взяли. Последний день отпуска провели в Голубой Лагуне на острове Комино. Если где-то на Земле существует Рай, то здесь. Молчаливые лица скал над лазурью воды — тихой и тёплой, как в термальном источнике. Пещеры и гроты, кедровый аромат ветра. Белый, как сахар, песок на дне, делающий воду прозрачно призрачной, словно она уже почти воздух. Место созерцания. Красота, которую хочется обнимать глазами.

На Комино проживает всего одна семья фермеров. В Замке над морем. Хотела бы я здесь жить! Писать красивые добрые сказки о горных феях, русалках, затерянных сокровищах мальтийских рыцарей. Интересно, на сколько бы меня хватило? Безоблачная жизнь в раю убивает вдохновение, и художники возвращаются на дождливые материки. Навстречу страстям. Наверное, так было предопределено: чтобы создавать полнокровные творения, нужно жить страстно.

Стремиться стать не Художником с большой буквы, а саму Жизнь писать с заглавной. Её ветреные мгновения. Все до единого.

За ужином перед отъездом в аэропорт подул долгожданный мистраль. Разбил бокал красного вина. На счастье.

## БЕЗБРЕЖНЫЕ ДНИ

*рассказ-аллегория*

*И совершил Бог к седьмому дню дела Свои...  
(Книга Бытия, глава 2)*

### День первый

Штиль. И это гнетущее чувство, протяжное, как чайный крик, нескончаемое, как безысходность горизонта. Каждое утро просыпалось вместе с ним, давило на плечи, сжимало внутренности, по ночам, когда проваливался в глубокий сон без сновидений, внезапно слабело и отпусало.

Ник встал затемно, прошагал город насквозь, миновал редкие дома на окраинах, окружающие громады фабричных зданий. Под сапогами привычно хрустел, проседая, пластик. Небо светлело. Море молчало.

Ник подошёл к дому у маяка, потоптался у двери, собираясь с силами. Позвонил. Раз, другой, третий. Ухо уловило болезненный звук открывающихся наверху дверей, точно дом разлеплял стариковские веки. Немошное шарканье вниз по лестнице. Неужели сам старейшина откроет? Приосанился.

— Чего надо? — резко спросил тот и закашлялся.

— Надо Сад сберечь! — на одном дыхании рывкнул Ник. Извлёк из-за пазухи прямоугольную пластинку.

— Подпишите петицию.

Старейшина отёр рукавом выступившие от капли слёзы, взглянул на неровные, наползающие друг над друга строки прощения и девственно чистое пространство под ним.

— А, — неопределённо кивнул он, будто что-то припоминая, — меня предупреждали, ходит тут один проситель. Это ты и есть... Без толку ходишь. Никто не подпишет.

— Почему?

— Потому что Остров — это Остров. А Земля — это Земля. Заказ Земли — закон для Острова. Поставки должны осуществляться в срок.

— Но если все главные люди подпишут... Мы — коренные жители! Имеем право голоса! — взвился Ник.

— А теперь попробуй сказать это басом. Как мужчина, — беззлобно усмехнулся старейшина.

Шестнадцатилетних подводит голос. Ломается. То «сынчик совсем взрослый», и с тобой говорят серьёзно, а то «пищишь, как птенец», и над тобой все издеваются. Стыд окатывает дурно пахнущей волной, взрывается внутри, как пакет с мусором.

— Я бы на твоём месте уповал на погоду. Ветер и прилив тебе помогут. Не мы.

— Но мы тоже можем изменить свою жизнь!

— Иди работать, парень, — старейшина почти ласково потрепал Ника по плечу, — здесь столетия уже ничего не менялось. Глупую игру ты затеял.

— Это не игра. Это Сад.

— Ещё скажи, что живой. Давай-давай, топай! Не до тебя сейчас. Жена слегла. Помрёт, наверное, не сегодня — завтра.

— А хоронить будете, как все? В печь — и прах развеять над морем?! — крикнул Ник равнодушно захлопнувшейся двери.

Безнадёжно бродил вокруг дома, заглядывая в окна. Круг, другой, третий... Семь кругов отчаяния. Хоть бы кто-нибудь ему помог!

Солнце встало и повисло над горизонтом. Пекло, как в полдень. Море синело. Тишину, казалось, можно ощупывать, как шероховатую стену, — безветрие.

У воды что-то делили между собой чайки. Одна, урвав добычу, поднялась высоко в небо. Сверкнула грудью на ярком солнце.

«Королева», — узнал Ник. Прошлой осенью она, неосторожно копясь в мусорной яме, насадила грудь на шприц. Игла впиалась в тело, за зиму рана зажила и обросла перьями. Чайка так и летает, слепя встречных блеском искусственной броши. Слышал, на материках они предпочитают селиться целыми колониями в городах, чтобы не рыбу птичьим трудом добывать, а питаться отбросами на помойках. Тунеядки! Изменницы! Как посмели предать родную стихию?!

Ник присел у кромки воды, вглядываясь в безбрежную пустоту. В детстве мечтал, что однажды Остров прибудёт течением поближе к материку, и он увидит Берег. Чудес не случается. «Бог покинул эти места», — вспомнилась прочитанная в какой-то книге фраза. Это о Большой земле так пишут. О существовании Острова Бог и не догадывается: возник без Его ведома. Чайный Рай. Помойка в океане.

Около четырёхсот лет назад в Мировом океане обнаружилось мусорное пятно. В северной части Тихого океана течения сгоняют в круг груды пластмассы. Когда пятно увеличилось до континентальных размеров, экологи решили построить первый дрейфующий остров по переработке мусора. Спустя столетие у Острова появились конкуренты сначала в Тихом океане, а вскоре и далеко за его пределами. Индустриальная земля ежегодно кормила свои моря тоннами бутылок из-под колы, резиновых крышек, одноразовой посуды, презервативов, пластмассовых кукол... не заботясь о том, что период переваривания одного тоненького целлофанового пакетика растянется на тысячу лет. Острова были призваны стать волшебным желудком, превращающим дерьмо в конфетки.

## День второй

Причина утренней тошноты Ника крылась в простом, но безответном вопросе: чего ты хочешь? На самом деле? Что вообще хотели обрести на Острове первые поселенцы?

Ник родился здесь. С семи лет работал вместе с отцом на фабрике, сначала помогал на конвейере, а теперь у него полный — двенадцатичасовой — рабочий день. Времени на размышления не так уж и много, но всё-таки...

Отец говорил, что с Острова уезжают только в переносном смысле, хотя он давно не тюрьма. Земля выдавала визы и даже вид на жительство всем желающим, но за последние сто лет Остров не подал ни одного прощения.

«Странно, — думал Ник. — А если я?..»

— Кому ты там нужен? — обрывал его отец, и они шли на работу.

Повзреть — значит осознать себя частью целого, граммом тонны. Это в детстве кажется, что мир крутится вокруг тебя, а потом дни проводишь у конвейерной ленты и понимаешь, что это ты вертишься во благо планеты.

«Планета — наш общий дом, — вспомнилась ещё одна книжная мудрость. — Тогда и сортир должен быть уютным. Почему нельзя подождать и сберечь Сад? Мы и так у Земли ничего не просим».

Остров сам себя всем обеспечивал. Еда? Давно и на материках суррогат. Дома? Строительный материал под ногами. Энергия? Морские волны и ветер. И преимущественно ручной труд на фабриках.

Труд, востребованный на Берегу. Масс-медиа творят бытие мира и жизнь каждого человека в нём, людей вместе и по отдельности. Одежда, обувь, сумки, предметы интерьера, украшения... — всё работает на имидж, создаёт репутацию гражданина мира, заботящегося об экологии. Спрос на «экотовары» превышает предложение. Когда кончается мусор, отсекают и пускают в расход постоянно достраиваемую нежилую часть Острова. Без сожалений.

В жилой части дома жмутся друг к другу и разрастается город, как многоэтажный пластмассовый контейнер, где все они расфасованы по ячейкам. Вряд ли кто-нибудь искренне возжелал бы здесь поселиться. Первая колония была исправительно-трудовым лагерем, куда свозили преступников. Прибывало, правда, и вольных: нищих, бродяг, безработных, калек и прочих жертв политической нестабильности и экономических кризисов.

У Велии, подружки Ника, прапрадед — бомж. Вольное происхождение — предмет особой гордости островитян. Какая разница, если не Великой её называют, а просто Вэл? Их всех тут уравнивают, уминают и сокращают. Ник, Вэл... Мусорные имена.

Ник редко вспоминал своё настоящее имя — Никита. А о происхождении старался не думать. Отец рассказывал о прошлом: руки у нас не в крови. Прапрадед, может, и вор, но не убийца.

Островитяне — отбросы человечества. Остров — фантомные боли Земли. Берег вынужден сжиться с Островом, как человеческий организм с неизлечимым, неизгоняемым вирусом — включает в обмен веществ и глушит симптомы болезни.

Остров — олицетворение дурной привычки. Первые поселенцы не выбирали свою судьбу, а их дети и внуки смирились. Нет, слово «смирение» здесь неуместно. Именно свыклись. Без мыслей и чувств. Пластмассовая жизнь вошла в них с рождения, как шприц в чайную грудь.

«Всё живое гниёт и разлагается, — любил повторять отец, — только пластик обладает бессрочным периодом распада». Вечный конфликт между естественным и искусственным разрешился. Чайка умрёт, кости и перья истлеют, последнее гнездо опознают по фальшивой «броши», как захоронения земных королей древности.

Однажды Ник выловил из воды щепку. Пахла далёким деревом, незримым лесом. Густой илистый обволакивающий запах гниения. Высушил и теперь носит её в кармане, по несколько раз в день вдыхая слабеющий аромат жизни. Старался не вообразить, а воплотить вокруг и внутри себя бодрящий смоляной запах лесопилки. Умиравших под ножом деревьев и возрождающегося в свежей зелени леса. Новеньких столов и стульев, напечатанных на бумаге книг.

Книги в городской библиотеке пахли пылью. А мебель... Да на островитянах одежда и та шуршит, поскрипывает, чешет, колется.

Дети в ответе за грехи отцов. Берег виноват перед Островом и потому перекалывает собственное чувство вины на плечи его обитателей. Родители-неудачники никогда не простят детям иной судьбы. Повзреть — значит принять не столько своё предназначение, сколько родовое, предопределённость пути, точнее... Куда ты денешься с Острова? Здесь нет прямых дорог, все они — замкнутый круг, конвейерная лента Мёбиуса.

Но сегодняшний день вдруг выпал из цикла коловращения: работы на фабрике приостановлены. Сырьё кончилось, конвейер заглох, все по домам. Люди не спешили покидать цеха, долго бродили вокруг здания. Немая переключка взглядов, согнутые знаком вопроса спины. Напряжённая бесприютность.

Ник молча смотрел на море. Всю жизнь мечтал увидеть синее море. Обычно мусор, окружающий Остров, превращал его в нечто напоминающее кольца Сатурна или тучи, продырявленные горной вершиной, на фотографиях и картинках Большой земли. А сегодня волнующая синева простирается от кромки воды у ног до горизонта.

Волны порождают другие волны и — прежние. Море переменчиво и неизменно. На волнах белыми гребнями вздымаются вопросы. Зачем мы здесь? Что ждёт впереди? Первые полу-взрослые вопросы о смысле существования пробиваются на поверхность сознания, как упрямая поросль на мальчишеских щеках.

Ника приучили молчать. Правда жизни — в отсутствии смысла и неизбежности смерти. Люди боятся тех, кто говорит, а тем более спрашивает о ней. Шарахаются как от чумного, отгораживаются чем могут, замыкаются в себе. И ты остаёшься один, в пустоте.

По небу ползла ленивая вата. Ветра по-прежнему не было. Кристальная чистота воды угнетала. Ник не осознал — ощутил физически: чистота пуста. И от перекатывающихся волн замутило.

«Они никогда не уедут отсюда, — понял он, — даже если случится чудо, и Остров утратит свой смысл».

### День третий

На Острове быстро старели и умирали рано. Словно отжившее вытягивало тепло из людей, стремясь обрести вторую жизнь на Земле. Любой вздох, любое соприкосновение были заведомо отравлены и — неотвратимы. Винилхлоридный синдром, скрытая внутренняя болезнь, медленно пожирающая силы. Бледные лица, непроходящая головная боль, надрывный кашель, расчёсанные до крови запястья. Тошнота по утрам и тревожный судорожный сон ночью.

Никуну казалось, что сам седой Сатурн в небе, планета неумолимого времени, плетёт его дни, затягивает жизнь в тугий узел. Город и фабрики на его окраинах изо дня в день умирали, а Сад жил своей смертью.

Сад был молод, возник несколько десятилетий назад как противоположность Городу, вызов Острову. Существование дрейфующего Острова никто не смог бы запечатлеть на картах. Но последние поколения островитян обрели покой на вполне земном кладбище.

Ник приходил сюда навестить бабушку. Прах деда развеяли над морем. Точнее, над тоннами поднимающегося на волнах и оседающего в фабричных цехах мусора. Деда переработали вместе с ним. Теперь дед, наверное, пластмассовый кофейник или саквож. Не зря на Востоке Земли верят в одушевлённость всех вещей. А прах бабушки завязали в узелок на дереве.

Деревьями в Саду называли сложные непрерывные конструкции из вертикальных столбов и натянутых между ними жгутов. Первые деревья ещё сохраняли периметр, а сейчас ни один землемер или архитектор не взялся бы определить форму их нестройных рядов. К горизонтальным жгутам, как ветви к стволу, подвязывали тонкие жгутики с узелками — в память об умерших. И ветер раскачивал их, баюкая, как в колыбели. Тонкие пластиковые верёвочки цеплялись друг за друга, шелестели, прикидываясь листьями лесных деревьев. Лунными ночами отсвечивали белизной, напоминая мерцание восковых свечей. Прекрасное ненастоящее!

Настоящей была только скульптура Берегини из черепашьего панциря в центре Сада. Ник не знал, кто дал ей имя. Родственники покойных рассказали, что Берегиня — имя земной богини-хранительницы. Ник почувствовал: слова «беречь» и «берег» — однокоренные. Черепаший панцирь Берегини был твёрд, как нерушимые камни Земли, неподвластные времени. Два камня, идеальная восьмёрка, знак бесконечности.

Давным-давно маленькая морская черепашка попала в кольцо оторванного бутылочного горлышка. Росла в нём, как женщины тайского племени Земли с медными кольцами на шее. Красота уродства.

Бабушка всегда делилась едой с изуродованными и немощными. Никита с детства усвоил: их инвалидность — ложь. Многие фабричные рабочие, чтобы избежать непосильного труда, отсекали себе руку или попросту прятали её в рукав. Пропитанием служила милостыня. Никита изо всех сил пытался защитить бабушкины обеды в контейнерах от посягательств мошенников, но бабушка была слишком добра. Или слишком наивна.

— Если не хочешь есть, отдай еду музыкантам. Они хоть что-то делают, — ворчал Ник.

Самодельные трубочки-свирели свистели. Ненастоящий инструмент не способен ни петь, ни плакать. Ник читал о тайнах скрипок Страдивари, о лелеемой силами природы и человеческого гения древесине. Земные скрипки покупали, воровали, за них воевали, поклонялись им и боготворили. На инструментах Большой земли играли великие виртуозы. Остров не удостоился музыки, но всё же заунывные, зудящие в ушах мелодии местных свирелей были душевнее леденящего посвиста ночных ветров над крышами города, где в изуродованных телах жили изуродованные чувства.

Иллюзия жизни. Иллюзия смерти. Иллюзия захламливаемой пустоты. И надо всем этим разрастался Сад.

«Наш сад», — говорили они с Велией.

Велия завязала в Саду три узелка: по деду с бабкой и отцу. Жила вдвоём с матерью на окраине города, почти у самых фабричных ворот. Ник часто помогал им по хозяйству. С Велией их познакомили матери, обе работали в фасовочном цехе. На Острове так заведено: вместе родители — вместе и дети.

Фигурой Велия походила на Берегиню. Низкорослая с широкими бёдрами. О таких, как она, в книгах пишут: «Твёрдо стоит на земле». Через год Ник скажет «да» басом, как мужчина, и они поженятся.

Ник надеется, что Велия будет беречь их дом: тесный квадрат комнаты с ломкими хрусткими стенами и плёночными окнами, едва пропускающими дневной свет.

А пока они гуляют по Саду, рука в руке. У неё пухлые, почти детские руки. Нежные складочки на запястьях в уголках чуть шелушатся.

— Сколько нам здесь осталось?.. — полувопрос, полувздых сквозь сомкнутые губы.

— Я им не позволю, — обнял её Ник. — Отец раздобыл мне пропуск в Городское Правление.

— И ты не боишься?

— Нет.

Велия настороженно отстранилась от него.

— Я боюсь.

— Чего?

— У тебя нет чувства страха, самосохранения. Это плохо кончится...

### День четвертый

Разговоры о возможном отсечении обратной стороны Острова, где рос Сад, велись давно. Требования Берега росли вместе с Садам. Людей пошатывало в конце рабочего дня. Некоторых вызывали в цеха и в ночную смену.

«Беда никогда не приходит одна», — читал Ник в книгах. И на Остров обрушился штиль. Водная дорога, пригоняющая мусорное сырьё для фабрик, застыла. Фабричный Совет и Городское Правление приняли решение действовать.

Ник пытался поговорить с рабочими, сплотить группу единомышленников вокруг Сада, но безуспешно.

— Наши родные и близкие там похоронены. Если мы все в память о них не выйдем на работу, то...

— ...сами протянем ноги. Кто не работает, тот не ест.

Ник обошёл всех бригадиров одного за другим с просьбой отдать голос в защиту Сада. Но даже те, кто завязывали узелки, не решались отстаивать свои права. Сад нелегален. Самосад, произвол. На нетрадиционные похороны никто сверху не давал разрешения. Красивая легенда о вечном сне и покое, об отдыхе в Раю после тяжёлой трудовой жизни. Но всего лишь легенда.

Ночами напролёт Ник писал сентиментальные призывы на городских стенах. Поутру спешащие на фабрики люди замирали у стен на минуту, а потом пожимали плечами и отходили в сторону. О живых надо заботиться.

Когда отец застал его разрывающим стену и руки в кровь от бессильной злобы и отчаяния, молча прижал к себе, как прижимал ещё ребёнком, и пообещал помочь. В администрации у него оказался свой человек. Отец не хотел к нему обращаться, но Ник понял, что тот не откажет. Неведомое прошлое чем-то накрепко связывало их, воспоминания детства или юности.

Пропуск в Правление в руках Ника был последней путёвкой в жизнь для Сада. Шинх-шинх, шинх-шинх — скользили шаги по улицам. Город шипел под ногами, как змея. Шелест, хруст, скрип, треск. Пластмассовый Остров всегда отзывался неприятными мертвящими звуками.

— Берег-бережь-Берегиня-оберег, — повторял про себя скороговорку, как заклинание. Как молитву.

Молитвенник был первой прочитанной книгой. Не понял ни слова. Неужели на далёкой прекрасной Земле людям так плохо, что они молятся о спасении? Позже читал все книги подряд, ища в них воплощение собственной мечты о Береге, о возможности побега с проклятого небом и морем Острова. Хотел знать, кто же Они, настоящие люди, чьи ноги ступали на земную твердь, и чем заслужили слова: «Вы — соль земли».

Ник дошёл до центральной площади. Библиотека ютилась у подножия здания Городского Правления. Постоял на углу, вбирая в себя великий свет прочитанных и непознанных слов. В каждой тюрме должна быть библиотека, дабы наставлять заблудшие души на путь истинный. Со времён первой колонии библиотека не пополнялась, но истлевшие бумажные книги перевели на вечные пластинки. Молитвенник был бумажным и пах тленом. Другие книги ничем не пахли, разве что полиэтиленовой пылью цехов, коей в лёгких Ник накопил предостаточно.

Вдох-выдох. Нужно открыть дверь Правления и войти. За ней ждёт почти Бог в обличии городского чиновника. Зыбкая надежда.

Сунул пропуск в щель. Щелчок, и разъехались пластиковые створки.

На верхние этажи уводила винтовая лестница. Ник шагнул на первую ступеньку, лестница задрожала. Карабкался вверх, хватаясь за извивающиеся под руками мягкие перила. Лестница раскачивалась под ним из стороны в сторону, как дикие качели штормовых волн. Подташнивало, го-

лова кружилась. Впереди то и дело мелькали тени, разбегались невидимые двери, сворачивались и разворачивались целлофановые рулоны, что-то шуршало, шелестело, летело и падало мимо и вниз.

Наконец, лестничная площадка. Края лёгкого занавеса приподнимались у пола, словно от дуновения ветра. Сквозит, значит, рядом коридор с кабинетами. «Спрошу здесь, кто рассматривает прошения», — решил Ник, чтобы не заблудиться. Здание Правления напомнило ему Остров: дрейфующий в океане, всеми отвергнутый и позабытый.

С треском рвались молнии на дверях. Все до единого кабинеты — пусты. Ник слышал хрипкое дыхание самого здания, но вокруг не было ни души. Справа над головой увидел указатель: «ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ. Вниз по лестнице».

Другая, более широкая и устойчивая лестница вела из коридора вниз, прямо в просторный зал. Голые стены и пол, ни намёка на стулья, столы, хоть какое-то присутствие заседающих. На стене напротив входа зиял огромный плакат:

«НА БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗАПЛАНИРОВАН СНОС НЕЖИЛОЙ ЧАСТИ ОСТРОВА. СОГЛАСНО НАШИМ ДАННЫМ, НИКАКИХ ЦЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА МЕСТНОСТИ НЕ ОБНАРУЖЕНО. В ПОНЕДЕЛЬНИК РАБОТЫ НА ФАБРИКАХ ВОЗобновляются».

Это приказ.

Ник сел на пол и тихо заплакал.

Домой возвращался на закате. Солнце красило стены домов зловеще багровым предчувствием.

— Сегодня сокращённый паёк выходного дня. Ты отметил рабочую карточку на фабрике? — встретил его отец.

— Нет.

— Что ж, — наигранно весело сказал он, — тогда будем делить то, что дадут нам с твоей матерью.

— Я был в Правлении насчёт Сада, — бухнул Ник.

Отец как-то весь съёжился, и глаза цвета сизой утренней дымки потемнели.

— Сынок, ты должен был сам во всём убедиться. В доки причаливают сплошь грузовые суда, но никто из наших не видел их капитанов. Всё, что мы знаем о Земле, — её прошлое. Всё, что она нам даёт, — мусор. Настоящее неуловимо и необъяснимо. Никем и никому.

Забарабанили в дверь. Привезли еду. Мама с карточками в руках попрепиралась с ними недолго из-за пропущенной отметки Ника, махнула рукой и отправилась распаковывать контейнеры с ужином.

После ужина в молчании пили чай. Опреснённая морская вода ощущалась в переслащённой жиже. Привкус разочарования на языке и пустота в желудке. Тусклый свет лампы на солнечных батареях отражался от гладких стен, рассеивался и блуждал по комнате, словно искал сам себя.

Безжалостный Сатурн маячил в окне, стоял над душой. Никогда прежде Ник не испытывал такой шемящей тоски по Берегу.

«Тоска по недостижимому идеалу», — писали в книгах, где одна строка перетекала в другую, страница в страницу. Книги повторяли друг друга, как волны. Разные, но однообразные. По образу и подобию. «Бог бесконечен, — говорилось в них, — и Вселенная, Его дитя, бесконечна».

Ник догадывался теперь, что обеспечивает эту бесконечность. Конвейерная лента бытия, переработка сущностей, идей, предметов, явлений. Лампа впитывает дневной свет и изливает его призраком в ночь.

В нашем мире вторично всё.

## День пятый

Знакомый посвист в стенах спящего дома выкинул из кровати. Одежду натягивал уже в коридоре. Немыми свидетелями у двери возникли отец и мать.

— Я всё равно пойду на площадь, что бы вы ни сделали сейчас, — сказал Ник басом.

— Береги себя! — попросил отец, пропуская его в дверь. Мать негромко взвыла, закусив запястье.

Ветер в Городе рвал и метал. Куски крыши, пластиковые стаканчики, оконная плёнка, чья-то одежда... вихрями крутились под ногами, свиваясь в мощный поток, и он мчался по улицам вниз, к центральной площади.

— Ветер! — кричал Ник по дороге, размахивая руками, словно слясь его поймать. Люди оглядывались на Ника и спешили следом.

На площади в безработный день столпился почти весь Остров.

Ник взобрался по ступенькам к парадному входу в здание Правления.

— Куда тебя несёт? А ну слезай быстро!

— Послушайте!

Зеваки подтягивались ближе, окружали импровизированную трибуну.

— Кто это? Что случилось?

Удивление. Возмущение. Смех. Ворчание. Возгласы.

— Дайте парню высказаться!

И вот море человеческой плоти перед глазами. Свист ветра.

— Послушайте, — заговорил Ник, — ветер. Через несколько дней здесь будут тонны мусора. Работы возобновятся...

— Послезавтра! Нам обещали, что фабрики откроются послезавтра.

— Подождите! Потерпите несколько дней, и не придётся жертвовать частью Острова.

— Сокращённый паёк ещё несколько дней?!

— Там нет ничего ценного, нечего жалеть.

— Вы знаете, что есть! Сад! Последний приют наших близких.

— Их перезахоронят по островному обычаю.

— Да! Мои родные ушли в море.

— И мои!

— Хватит голодать!

— Из-за сумасшедших фанатиков земных похорон нас лишат работы!

— К чёрту Остров, дайте работу и еду!

Живое море заштормило. Сотни оскаленных лиц. Ветер хлестал по щекам. Над головой простиралось опустевшее ясное небо. Настоящее одиночество — когда один против всех.

— Нет никого над нами, — сказал Ник, оглядываясь на здание Правления, — я был за этой дверью. Остров — саморегулирующаяся система. Мы вольны делать, что захотим. Никто нами не управляет! Никто не лишает нас ни работы, ни жизни, ни Острова.

Минутное молчание, как затишье перед бурей. И снова ураганные порывы ветра.

— Ложь! Не слушайте его!

— Чего ты хочешь от нас?!

— Сберегите Сад. Пусть останется память о тех, кто жил на Острове!

— Подстрекатель!

— В клетку его!

Толпа сгустилась у ног. Чьи-то жилистые руки ухватили его и стащили вниз. И Ник поплыл по чужим рукам и плечам. Худое, лёгкое тело перекидывали друг другу, швыряли из стороны в сторону, как щепку. Ногти впивались в обнажившиеся бока. Ник распластался на спине, покачиваясь, как на волнах.

— В клеткуууу! — ревело в ушах.

— Прекратите! Он же мальчишка!

— Бей его!

Площадь под собой он ощутил в месиве драки. Кто-то пытался его спасти, а кто-то — убить. Дрались все против всех. Лёжа, свернулся в клубок. Глухие удары — в спину, в затылок, в бока, как в бочку, которую в штормовую ночь несёт прямо на скалы.

Сильной боли не чувствуешь — оглушает. Стихия бесчувственна и беспощадна. Тело всхлипывает под ударами. Хлюпает, как гнилое. Живое. Пока...

«Никто не завяжет по мне узелок», — мелькнуло в сознании.

Коленом в лицо, и горячее солёное море хлынуло изо рта, взорвалось острым крошевом прибрежной гальки.

Страшный вопль матери издалека: «Никита-а-а-а!»

Близко руки отца.

И темнота.

В темноте вспыхивали огоньки, во сне загорались свечи. Белые, трепещущие на ветру свечи Сада. Каждая свеча — человеческая жизнь. Тысячи свечей, тысячи островитян. Жили, любили, работали. Позабыты.

Бесценный Сад, негасимые свечи. Бессмысленность хаотичного бытия, непостижимый смысл гармонии.

Белый невыносимо яркий свет. И тьма перед ним отступает.

## День шестой

— ...Сад бесценный. Сбережь! Берегиня... — бредил Ник.

Велия с самого утра сидела на краешке кровати, гладила по голове, успокаивая.

— В нашем мире не бывает ничего бесценного. То, что достаётся даром, не ценится. Что-бы ценили и берегли, чтобы выжить и остаться здесь, нужно иметь свою цену. Ценный товар, ценный работник, разве не так? — шептала она.

Мягкие тёплые руки. Прилегла рядом с ним. Ник ощутил все её выпуклости и впадинки, но тело, не отошедшее от болевого шока, не отзывалось. Чужое тело, ни на что не способное. Так и лежали обнявшись, не шевелясь, не открывая глаз.

«Чувствуют ли живые деревья друг друга?» — спросил Ник пустоту внутри себя.

Вечерело. Дневной свет темнел, исчезал за окнами. Покидал их.

— Я пришла с тобой попрощаться, — сказала Велия.

Ник приподнялся на локте, заглянул ей в лицо. Вымученная улыбка, когда хочется заплакать.

— После того, что случилось вчера на площади, я не могу быть с тобой.

Ник кивнул. Не споря, не соглашаясь.

Велия продолжала:

— Ты пытаешься спасти то, что нужно уничтожить. Пойми, так будет лучше для всех.

Сад — наша... то есть, теперь только твоя мечта. Безрассудная фантазия...

Ник смотрел, как мечутся тени по потолку.

— Ты живёшь своей фантазией, — громче и резче заговорила Велия, — а мне нужны дом, муж, работа! Реальная жизнь!

— Мусорный остров не жизнь, жалкое подобие. Отбросы. Вам подсунули иллюзию вместо настоящего, — хотел возразить Ник, но не смог. Щербатый рот издавал невнятные свистящие звуки.

Велия молча встала и направилась к двери.

Ник снова закрыл глаза, не в силах смотреть, как она уходит.

— Моя фантазия реальнее ваших иллюзий, потому что я сам её создал, — мысленно произнёс он.

Велия не услышала. Никто из жителей Острова его не услышал. И беда не в том, что не захотели слушать, а в том, что не сумели понять.

Боль вернулась. По щекам покатились слёзы. Рот наполнился ржаво-солёной слюной. Соль... Боже, как много соли!

## День седьмой

Ник очнулся затемно. Встать на ноги сразу не смог, скатился с кровати и подполз к окну.

Солнце поднималось над Городом, светило сквозь туман. Ослепшее и седое. Медленно раскачиваясь из стороны в сторону, как маятник на часовой башне, Ник попробовал размять ноющую спину позвонок за позвонком. Затем ноги. Шаг, другой, третий. К двери. Вниз по лестнице.

Держась руками за стены, миновал семь домов на своей улице. Добрёл до перекрёстка. Редкие прохожие не обращали на него никакого внимания. Точно сам он за ночь превратился в тень.

Ник не знал, что делать дальше и куда идти. Но знал, что должен сделать хоть что-нибудь. Шатаясь и останавливаясь передохнуть на всех перекрёстках, прошагал до городской окраины. Миню фабричных зданий. К Саду.

Сад белел и переливался в мягких солнечных лучах. Никогда прежде Ник не видел такого чистого света. Бликующая, гладкая поверхность неживых деревьев словно отражала саму вечность.

«Сколько нам здесь осталось?» — вспомнился вопрос Велии.

«Последний шаг», — ответил бы он ей сейчас.

Смертельная усталость обрушилась на него, как штиль и безветрие на Остров. Силуэт Берегини темнел впереди. Доползти, дотянуться, лечь рядом, лаская шершавый обветренный бок. Забыть и забыться.

Ник упал навзничь. Над головой ветер раздирал марево тумана на лёгкие перистые облачка, и они плыли по небу к незримому Берегу. Далёкому и недостижимому.

— Фантазия, — повторил он про себя, — да будет так.

Белые пассажирские корабли причаливали к Острову. Торжественно пели свирели. Ник уже стоял на палубе, когда разглядел в толпе у трапа родителей и Велию. Их не пускали на корабль, он не смог сойти.

«Я не попрощался. Когда уходил, они все ещё спали», — подумал Ник сквозь сон.

Корабль покидал Остров. Море и небо распахнули объятия синего исполина. Мама махала на прощание рукой. Отец улыбался сквозь слёзы. Остров растаял в сизой дымке.

Но ветер шумел в кронах деревьев, шептал позабытые имена. Проклятые имена.

Ник открыл глаза. Небо заволокло тучами. Шум усиливался и будто бы приближался. Не ветер — бульдозеры. Рычали и терзали Остров, как железные звери.

Ник одним движением вскочил на ноги. И только сейчас заметил зелёные слизистые крошки на ладонях. Гладил Берегиню. Сквозь черепаший панцирь пророс настоящий земной мох. Сад ожил...

Сквозь боль бежал наперерез бульдозерам, кричал яростно, простирая вперёд зелёные ладони:  
— Стойте! Здесь есть ценность! Жизнь! Не губите Сад!

А потом вдруг застыл как вкопанный.

Сад парил в море. И разрыв с Островом стремительно увеличивался. Не перепрыгнуть, не одолеть вплавь.

Несколько минут свободного полёта, а затем пасть фабричной воронки проглотит и начнёт пережёвывать его, Ника, живого человека с земным мхом в руках, вместе с Садам, принадлежащим покойным. Переварит их жизнь и смерть, растворит память о них в горниле плавильных цехов.

«Стоять на краю отчаяния», — воскресали в сознании слова из книг.

— Безбрежная скорбь. Скорбные дни. Вдали от Берега. Дни, которые невозможно сбегать, — твердил Ник.

Бессмысленные слова, неспособные ни спасти этот мир, ни сотворить новый.

## МИХАИЛ КОВСАН

### ЖРЕЦ

*Симфония. Окончание.*

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ

#### 1. Дракула

В тот знойный злосчастный полдень навстречу ему метнулись темно-зеленые подручные тени, но не его — чужие. Хотя, наверное, он неправ, темно-зеленые подручные тени никак быть чужими не могут. Если жреческое служение чужим быть не может, то почему темно-зеленые подручные тени можно считать чужими?

В тот зной до вечера он был свободен, решив свободу принести жертвой на семейный дышащий на ладан, но все же алтарь. Мотался по гнусным делам: очереди, бумаги, тупые чиновники. Из списка, распечатанного перед выездом, вычеркивалось медленно, и наступило время обеда: двери закрыты, соваться бессмысленно. Осознал, проезжая мимо базара, который в полуденный зной затихал, прятался под навесы, едва дышал, но ни один магазинчик, ни единая лавка не закрывались.

Почти никогда здесь не бывал. В хибарах вокруг базара жили те, кому в жизни не слишком везло. Этот район назывался «Надежда»: год от года развалюхи ветшали, название набухало сарказмом, как тело — саркомой. Район желтел и чернел, вбирая наркоманов и крыс, иностранных рабочих: тайландцев в майках с драконом, филиппинцев с черепахой на острове, румын, тех, с Дракулой.

В такую жару искать что-то достойное не было сил. Припарковавшись, вышел на улицу. Сразу захотелось обратно, в тесный, зато кондиционированный рай. Утром не ел почти ничего: кофе, несколько крошек. Так что в обед набрасывался на любую еду.

Ожидание сгущалось и набухало, все лишнее вытесняя: буквы, слова, репризных, и — во что трудно было поверить — подручные темно-зеленые тени. Подступая к стенам, к потолку поднимаясь, ожидание грозило все собой затопить, так тихие тусклые равнинные реки, в одночасье взрывая льды, во всю мощь, во всю ширь, не падая ни домов, ни людей, из пространства лишнее вытесняют.

Подручные темно-зеленые тени еще суетливо толпились, а репризные, жвав головы в плечи, втянулись в густой, тягучий водоворот: он кружил, и они, юля, крутятся и вращаясь, теряя образ,

лишаясь подобия, подобно до смерти запуганным морякам, искали достойную жертву, и, обнаружив Иону, возликовали: во все времена еврей жертва желанная.

Не ошиблись, Господь услышал молитву отказника, беглеца, причину всех бед и несчастий, утишил бурю, Иону вызволил из смрадного чрева, пучины горестной, вековечного ожидания. А буквы — несчастные птицы — стремились взлететь, но бились о потолок и замертво падали в густую, как горький, отравный мед, пучину вечного ожидания.

Там не было времени. Какое время в аду? Ожидание стучалось и набухало, и вместе с ним стучалось и набухало время. Хроносом, своих детей пожирающим, оно пожирало все по порядку, начиная, так уж заведено, со слабейших. Минуты пожирали секунды, исчезая в утробе часов, на которых охотились дни, не возвращавшиеся с пустыми руками. Затем наступал черед месяцам выживать, но годы отщелкивали на счетах не в прибыль — в убыток. Тысячелетия съедали века, столь же стремительно, как минуты — секунды. Весь этот хронический дарвинизм веселил утрюмую вечность. Едва выйдя из баньки, пропаренная и умытая, она сидела поодаль, холодный квас попивая: забавно, занимательно и занято.

Так и тянулось. Сколько? Неведомо. Время исчезло, застыло, как муха в меду: сладкая мука выпала мухе. И где тот фонарик, и где тот Комарик?

Газовые фонари синеватым покойническим светом вечную тьму разгоняли. Казалось, что разгоняли — стучали, набухшую страхом, при котором паразитирует человек с тех самых пор, как открыл: он был на свете и будет не вечно. Из красной земли сотворен, и, когда не вынесет ожидания, в красную землю вернется.

Так и тянулось, стучаясь и набухая.

Ждали жреца.

Густая, темно-зеленая от заходящего солнца вода, как ленивое масло олив, напоздало на берег, копошилось беспомощно в тине, налезло на берег, пресыщено, барственно нежа песок, старческие корни, вымытые из почвы, лаская. Безвольные зеленые ветви ив парусами провисали над берегом, роняя листья и тени.

Летом дед приезжал к ним на дачу, всегда неожиданно, обращая в праздник однообразие. Обычно — на пароходике, а с провизией — на огромной черной машине с пожилым добродушным шофером, катавшим его по окрестностям.

Как его звали? Столько раз произносил это имя, и вот тебе на. Редко гуляли к реке: вся жизнь поселка вилась по течению, за рекой, петляющей в низких с песчаными проплешинами берегах, где всегда былолюдно, даже вечером там купались, носились с мячом, ели и жгли костры. Туда они с дедом ходить не любили. Дед шум не терпел, а он не променял бы деда на любые забавы.

В конце июня заканчивались выпускные экзамены, и по ночам несколько дней причаливали снятые школами корабли. Вначале выпускники демонстрировали взрослость хоть шумно, но в рамках приличий. Доносились неясные хрипы, изображавшие пение, брэнчание, не слишком напоминавшие звуки гитары, и сквозь какофонию прорывались слова непонятного самим исполнителям диалога:

— Ты куда, Одиссей, от жены, от детей?  
— Шла бы ты домой, Пенелопа!

Время шло. Брюки сужались и распырялись, большинству казалось, что ничего не менялось. Редкие камни летели в болото, и оно, чавкая, их глотало. Но дачники видели и другое. С каждым годом рамки приличий становились все шире, а бутылок — все больше. Раньше — с вином, но год от года в кустах оставалось все больше водочных и даже — совсем не дешевых — коньячных. Раньше в кустах мальчишки девочек целовали, год от года все больше валялось использованных презервативов.

Дед рассказывал, и каждое слово тянуло новый рассказ, новое объяснение. Но дача вышла из моды из-за нашествия гогочущих, которые, нажравшись-напившись, горланили песни. Услышав доносящийся ор, дед сквозь зубы высвистывал:

— Заспывалы.

Но пока орущая публика еще не загадила реку и берег, каждый год они выезжали на дачу, и он, как любил говаривать дед, проходил гимназический курс. С тех пор слово «гимназия» приводило с собой, в памяти оживляя, мокрый песок, темно-зеленую воду, ивы, уронившие бессильные ветви, и запах, слегка отдающий провизорской. В дедовом лексиконе не было слова «аптека», он его не любил, оно отдавало новомодным лекарством, к ним он привыкал настороженно, ничего не принимая на веру (мало ли кто что сказал), все проверял долго и тщательно: его советы ценились, а слово было репающим в спорах.

Это понял он позже, а тогда его интересовала таинственная Мнемозина, к которой на ложе сам Зевс восходил. Дед, сделав паузу, глянул: мол, понял? И прочитав ответ, продолжал:

— Девять ночей Зевс восходил, девять муз родила Мнемозина. — Дед без запинки всех перечислил, но тогда он запомнил одну, музу истории Клио.

— В Беотии, где родился великий Плутарх... — Он это имя слышал впервые, переспросил. Но дед по профессорской привычке продолжил:

— В Беотии есть два источника: Леты — забвения, и памяти — Мнемозины. Гесиод сказал, что она, Мнемозина, знает все, что было, все, что есть, все, что будет.

Последняя фраза его удивила:

— Как это — все, что будет? Потому что богиня?

— Не только. Тот, кто знает, что есть и что было, тот знает и будущее.

— Почему?

— Потому что будущее вырастает из настоящего.

— И из прошлого?

— Ну, конечно. А Плутарх был рожден жрецом: сперва богини истории Клио, потом — славного в Дельфах Аполлонова храма.

Больше ничего не добавил: они подошли к их любимому месту, к которому надо было осторожно, раздвигая кусты, пробираться. Потому-то сюда никто, кроме них не ходил. Следующий свой приезд дед посвятил Плутарху. Тогда они почти добрались до их заветного места — заводи с ивой, как услышали чьи-то шаги. Кто-то разыскивал, и дед громко окликнул. Это был дедов шофер, которого послали на поиски. На даче, едва ли не единственной на поселок, был телефон. Дед срочно должен был возвращаться, а осенью он с помощью знакомого букиниста отыскал для него Плутарха.

Что-то в жизни переломилось. Что — не понять, а может, не хотел разбираться, в чувствах копаться. Или боялся новое ощущение жизни и времени отдать на разор разлагающей мысли.

— Мысль — вивисектор, плоть ощущения препарирующий, — услышав, он не придал значения этой точной, продуманной формуле Первосвященника, а теперь она выплыла, готовая материализовать его новое ощущение.

Раньше жил, борясь с утекающим временем, и чем больше боролся, тем чаще терпел поражение. Подчинив жизнь точному, безусловному графику, ощущал: время над ним смеется, издевается, изгаляется. Чем более ты стремишься быть пунктуальным, тем чаще опаздываешь. Чем больше торопишься, тем реже успеваешь.

Служение? Не терпит язычества. Графику неподвластно.

Поняв бессмысленность гонок, увидел: ревущий, грохочущий горный поток, на равнине спустившись, отшумев, успокоившись, не спеша, путаясь в заросших кустарником берегах, тихо, надежно, уверенно равнинной рекой путь продолжает.

Только Первосвященником принятый, удивился, когда шеф предложил представить общий доклад, в котором его доля была совершенно ничтожной. Вылетать ранним утром (лучше бы накануне, но тогда не успевал сделать что-то другое), после бессонной ночи, во время которой и собирался поворожить над текстом. Ночь выдалась бурная — горный поток, но глаза пытались выудить из пляшущих слов равнине назначенный смысл.

Самолет опоздал, и, не заезжая в гостиницу, с сумкой ввалился в зал: организаторы накинулись с облегчением, как раз его очередь подходила. Потом герр Ольсвангер рассказывал: судя по реакции его давнишних коллег, выступление произвело впечатление. Впрочем, он и сам это понял. Не успев на вопрос ответить, он получал другой.

Потом все было в тумане: обед, автобус, в котором наконец-то заснул, поднятый с места лишь общим движением к выходу возле ничем не приметного, грязно-желтого трехэтажного дома. Экскурсовод, выждав, когда аудитория, смолкнув, будет готова внимать, стал извергать поток звуков, не складывающихся в слова. Пока тот гудел, жестами подогревая себя, словно пловец, попавший в бурный поток, он, усилием воли отключившись от гула, стал вылавливать смысл.

Здание находится в городе (название неразборчиво), который имеет еще два названия: немецкое и мадьярское. Вспомнилось: кто-то из сослуживцев говаривал: мадьярский язык вовсе и не язык — болезнь горла, предмет изучения не лингвистов — отоларингологов. А когда на мгновение поток притворился равнинной рекой, он разобрал:

— В этом здании, рядом с которым вам посчастливилось побывать, жил в... (числительное швырнулось комком непропеченных звуков) господарь Валахии, явившийся прототипом (вдох, выдох, восторг ликования) известного всему миру Дракулы!

Пока экскурсовод, ликуя, торжествовал, навязывая скучающей публике свой восторг, у него звенело в ушах:

— Дракула, акула, куда, хватила ты, дура.

Восторг экскурсовода был грандиозен. Он всем своим обликом демонстрировал, как счастлив быть соплеменником великого человека, кто знает — захлеб — может быть, и потомком. Под конец он воздел руки, но, словно опомнившись, пафоса устыдившись, одну руку медленно опустив, воздетой оставив другую, нашел ей достойное применение, указав на неказистый, но столь прославленный дом.

Потом молча, не раскрывая рта, провел их по средневековому городу, за что хотелось ему все простить: и восторг, и наигранный пафос, и гнусную бессловесность. Город нежно мерцал сочетанием средневековой готической строгости с более поздней православной неряшливой красотой. Мелькнуло: две красивые женщины встретились внезапно, неожиданно, совершенно случайно, и — не разругались.

В автобусе задремал. Рядом примостился валашский господарь, познакомились, в ответ на протянутую для пожатия руку, тот осклабился, обнажая, выставляя вперед, словно для рукопожатия, передний кусачий вампирский зуб:

— Рад познакомиться. Позвольте представиться. Я — Дракула.

Закрыв рот, перестав улыбаться, он принял вполне человеческий облик и повел разговоры о том да о сем, о Европейском союзе, Шенгене, единой валюте — как же ей выстоять, если такие... Не уточнил, слов зря не тратя, кого имеет в виду, но все было очень понятно.

Хотелось спросить, как он, живущий в средневековье, может судить. Но что-то остановило. Нежеланье обидеть? Странность самой ситуации? Хотелось также спросить, что тот ощущает, когда... Но вовремя язык прикусил.

Он отвлекся, и было крайне неловко на полуслове прервать завязавшийся разговор. Обернулся, замывшись, сказал:

— Простите.

Рядом не было никого. Валашский господарь бесследно исчез. Покрутил головой: может, решил пересесть? Вокруг — спящий автобус, даже легкий храп раздавался. Привстал, проверяя, на месте водитель, и в первое мгновение не увидев, забеспокоился: не автобус, а призрак, и в нем сам Дракула с остро заточенным, словно скальпель, торчащим клыком.

Тишина. Блестят инструменты. По стенам мечутся тени, слагаясь в слова. Темно-зеленые подручные тени.

Все на месте. Готово к служению.

Ждали жреца.

А он мчится в автобусе-призраке среди темно-зеленого хвойного леса. Сквозь редкие кроны сочится жидкое небо. Внизу, у подножия сосен пятна — брызнула кровь, не красная, но — дракуля, ослепительно голубая.

Не обнаружив водителя в спящем автобусе, он, к удивлению своему, отнюдь не почувствовал беспокойства. Едем и едем. Как едем? Гораздо важнее — куда и откуда. Это он знал, вычленив смысл из тех редких им распознанных слов. Распознать, узнать и познать. Вот главное в жизни, позволяющее с потоком грохочущим совладать. Хотел этой мыслью с кем-нибудь поделиться, но с кем?

На сидение опустившись, увидел давнишнего собеседника. Будто не исчезал. Начать разговор с обращения «Дракула»? Имя затаскано до того, что было б бельем — вовек не отстирать. «Валашский господарь»? А что это значит? Получилось испытанное, хоть вовсе не к месту:

— Простите.

Извинялся за то, что не знал, как обратиться. Но тот понял иначе: за то, что на полуслове прервал разговор, тем более в беседе с Валашским господарем. Не возмущаясь, ответил, милоя и прощая, мол, пустяки, недостойно внимания:

— Ну, что вы...

Пока обменивались любезностями, из головы — что с сонного взять? — вылетело, о чем хотел Дракулу спросить. Но отступать было некуда, подумает, испугался. Придумалось совсем невозможное: что вы ощущаете... Но дальше... Что вставить дальше? Вампирствуете? Вампирничаете? Господи, нет таких слов. Вместо них с языка чуть не сорвалось совсем невозможное: кровь сосете.

Пауза затянулась. Он выжидающе смотрел на Дракулу, но тот, словно смакуя его мучения — репутация у Валашского господаря была так себе — гебешно, гестаповато улыбаясь, молчал.

В те уже давние годы его преследовала банальная мысль, мира ровесница: со смертью, как сказали бы темно-зеленые подручные тени, с уходом одного человека мир не кончается. Эта мысль тогда пузырилась шампанским восторгом: мир бесконечен и вечен, нескончаем, неистребим, и будет таким и после того, как его ты покинешь. За нее ухватившись, решил о шампанском собственной выделке поведать Дракуле.

Тем времени доехали до гостиницы. Валапского господаря в автобусе не было. Покрутив головой, он взмахом руки попросился то ли с Дракулой, то ли с коллегами, и едва ли не бегом направился к лифту. Через десять минут, позабыв и коллег и Дракулу, свалился в постель, уверенный: через секунду уснет.

Уснул лишь к утру, проворочавшись ночь, донимаемый Джоном Донном:

**Смерть каждого человека умаляет меня, ибо я един со всем человечеством.**

Забывшись под утро, во сне он видел не образ, но — слово, бесформенное, беспомощное и нагое: бледный младенец, рождавшийся трудно — асфиксия, щипцы. Но родился, вздрогнул от холода, задышал, зашевелился, задвигался, вдруг — заговорил:

— Что с того, что не верили, а я, вот я — родился. Дайте срок, подрасту, и вы поразитесь: как без меня жили-были? Много времени не пройдет, и будете думать, что я был всегда, с сотворения мира.

Всем, кто видел младенца, казалось, что он говорит. Что ж, в этом нет ничего удивительного, ведь со временем все младенцы говорить начинают, одни позже, другие раньше. Что с того, что этот с рождения говорит, мало ли в мире чудесного происходит? Одним чудом больше, мир это не изменит.

— Конечно, много пустого, глупостей много вы обо мне говорите, люди, вам ведь свойственно разное говорить, всякое думать.

## 2. Свадьба и похороны

В конце пира договорились встретиться после полудня, когда станет прохладней, на Марсовом поле, в садах Агриппы, разведенных на месте Козьего болота с намерением подарить их народу. Эти сады, этот парк был для тесного Рима размера немалого, одушина в городе узеньких улиц, ужасных трехметровых переулков и тупиков. Даже Священная дорога, по которой проходили триумфы, не достигала в ширину и пяти метров. Улицы города извивались, петляли, стремясь закрутить, заморочить, запутать.

Особенно нелегко в городе было приезжим, ну а сельские жители, привыкшие к свежему воздуху и простору, в Риме просто теряли голову, о том лишь мечтая, чтобы скорее убраться. Случалось, на улице ломалась телега, загораживая проезд, другие телеги останавливались, и на крики являлся префект. Только что мог он поделаться?

Найти нужный дом в Риме непросто. В первый раз приглашая, гостю рассказывали, как добраться до перекрестка, ближайшего к дому. На перекрестках даже самых убогих улиц была часовня в честь ларов (в ней были отверстия по числу примыкавших к перекрестку усадеб) и гения императора, которая — что бывало нередко — была маленьким, неожиданным шедевром. А самым большим украшением города, так, по крайней мере, Плутарху казалось, были фонтаны, неременные, как и часовни, на перекрестках. Мелодией струй они очищали город не только от пыли, но от криков торговцев, брани, божбы, мерзкого мелкого словесного сора, который во множестве и с охотой любой городской народ производит. Капли легким туманом дрожали вокруг фонтанов, освещенные солнцем, они серебрились, вспыхивая жемчугами.

По платановой аллее Плутарх шел на встречу. За аллеей виднелись миртовые рощицы и огромные вязы, по которым искусный садовник пустил виться лозу, перебрасывающую плети с одного дерева на другое. По всему парку — мраморные и бронзовые скульптуры.

У скульптуры медведицы его и окликнули. Луций Местрий Флор был переполнен слухами, сплетнями, анекдотами. Едва поздоровавшись, рассказал о маленьком Гиле — любимце Марциала. Свое имя, впрочем, не только имя, но и судьбу, он унаследовал от любимца Геракла. Тот был похищен речными нимфами, а любимец Марциала сунул, распалившись, ручку в разинутую пасть бронзовой медведицы и погиб от смертельного укуса змеи, спрятавшейся в глубине ее пасти.

Говорили они на латыни. Но, завершая рассказ, его римский друг, на греческом процитировал вдруг Стратона:

— Цвет юности двенадцатилетнего мальчика поистине желанен, но в тринадцать лет он ещё более восхитителен. Ещё слаще цветок любви, расцветающий в четырнадцать лет, а к пятидесяти годам его очарование возрастает. Шестнадцать лет — это божественный возраст.

И, сложив молитвенно руки, добавил:

— Именно столько лет тому ангелу, ради которого вас я покинул.

То ли Луцию Местрию Флору нечем было себя занять, то ли тот находил удовольствие в общении с ним, а может, римлянину льстило знакомство с писателем-греком, повывавшим полмира, но он взял на себя миссию его потчевать Римом.

Он был человеком неопределенного возраста, которому можно дать тридцать, а можно и пятьдесят. Невысокий, коротконогий, но когда торопился, передвигался стремительно: мяч, пушенный ловкой рукой, катился по улицам, ловко лавируя в плотной толпе. Центральные улицы города в часы, отведенные для гуляний, были даже в плохую погоду полны, белея тогами, лишь изредка мелькнет колпак отпущенника или крестьянская шапка, которую занесло — бог знает как — в этот чужой непонятный город, живущий по распорядку, установленному в давние времена, менявший его неохотно, даже если того желал император. Когда время столице мира предписывало перемены, Рим уступал неохотно.

Его нового друга, заметившего о себе, что небогат, сопровождало двое рабов. Удивившись, решился спросить:

— Мой друг, зачем вам сразу двое рабов? Я, к примеру, своего дома оставил, надеюсь, от него там будет польза, а на прогулке он путался бы под ногами.

— Вы, греки, привыкли довольствоваться малым. У нас, римлян, привычки другие. А если окажется, что я что-то забыл, и пошлю за этим раба, что ж мне, остаться совсем одному? Кто тому поправит, или другая необходимость возникнет?

Услышав ответ, Плутарх промолчал, а римлянин продолжал:

— Правда, раньше и в Риме обходились меньшим числом рабов. Но времена изменились. А то, что за мной следуют двое, так это по нынешним меркам совсем ничего. За богачами следуют не только рабы, но и стадо готовых к услугам клиентов. А в доме у них и привратник, и в спальне прислуживающие, и лектикаррии, носящие носилки, а у иных номенклатор, подсказывающий нужные имена, не считая ключника, повара, хлебопека, цирюльника и врача.

Луций Местрий Флор обладал помятым бабьим лицом, стертым то ли временем, то ли страстями. Казалось, хозяин такого лица должен быть человеком ко всему безразличным, ан нет. Впечатление было ошибочным. Не обладая богатством, он имел небольшое, как сам сказал, достаточное состояние, унаследованное по смерти отца. Тот в свое время совершил удачную сделку, построив на дешевой земле несколько одинаковых четырехэтажных домов. Передав их арендаторам, он, не зная забот, прожил жизнь в окружении книг, предпочитая их развлечениям, что выгодно его отличало от собратьев-патрициев, предпочитавших по большей части совмещать литературу, искусство с бурными развлечениями: цирком, гладиаторскими сражениями, пирами, гетерами и мальчишками.

Его друг был начитанный человек, но — как выяснилось вскоре — очень поверхностный. Он повторял чужие, заезженные слова. Когда в разговорах что-то его задевало, фразы строил так, чтоб собеседник понравившееся ему повторил. Впрочем, Плутарх на это не сетовал. В конце концов, чем он, писатель, должен платить? Словами! Тем же словами, которые денег дороже.

Ему было лет пять-шесть, когда отец произнес:

— Есть слова, которые денег дороже.

Тогда и задумался, как такие ему отыскать, пойти на рынок купить за них все, что душа пожелает. Думал долго, не день, не два. Слова отца засели прочно, похоже, что навсегда. С тех пор он ищет — и в греческом, и в латыни, но то, что нашел, было не золото. Так, сестерций-другой, не больше. Может, не в этих языках такие слова? Быть такого не может.

Латынь — это понятно, допустим, там дорогих слов быть и не может. Но божественный греческий? Язык, на котором боги с людьми и между собой говорят! Просто язык хоть и дан каждому, но не каждому дано слово, равное золоту. Одним дана мелочь. Другим — чуток больше. Но слово богов дано одним избранным, таким, как Гомер. Но много ль таких? А может, время от времени золотые слова кочуют из одной речи в другую? Сегодня они, скатившись с Парнаса, попали к грекам, а через века их вынесут в половодье мутные воды Тибра? А может, и время латыни прошло, и золотые слова принесли с собой пленники Тита, подобрав скатившееся в камнепад с той невысокой горы, где стоял разрушенный Храм?

Задумался, позабыв, что римлянин угощает его столицей подлунного мира, а он в своих воспоминаниях утонул. Но тот был человеком, ко всем прочим достоинствам очень тактичным. С трудом сдерживая готовые вырваться звуки, молчал, поминутно вздыхая и выдыхая, словно выпущкая скопившийся пар.

А он вспоминал. Из глубин, зыбких, как жертвенный дым, в небеса восходили туманом, наполняющим белым долину, с каждым мгновением все яснее, проступали предметы, лица, слова.

Он идет вместе с отцом на рынок. У отца в складках тоги спрятаны деньги. Он уже взрослый, они идут покупать ему первую тогу, которую наденет он в храме вместе с другими, ставшими взрослыми. Идут молча. Отец приучил его с детства попусту не трогать слова.

И тут вспоминается совсем-совсем детское: слова денег дороже. Ему представляются золотые слова, на которые все можно купить. Вот сейчас с неба боги пошлют ему несколько слов золотых, и они купят самую роскошную тогу, и отец не станет тратить слова, торгуясь за каждый обол с торговцем. Помимо воли идет он чуть медленней, давая богам время решить, достоин ли

он золотые слова получить. А может, им надо время, чтобы эти слова отыскать? Кто знает, может, у них там, наверху царит такой же порядок, как и у них, где никто никогда ничего не может найти?

Уходя в себя, не заметил, что он отстал. Отец останавливается, движением руки торопя. Они ведь почти пришли. Вот рынок, а лавка, куда они направляются, за воротами первая. Входят. И знающий, зачем появились, хозяин громко приветствует их, возвращая в пыльный и шумный Рим, по улицам которого он идет, и рядом с ним не отец, а совсем на него не похожий Луций Местрий Флор.

Приветствуя возвращение, но рот еще не раскрыв, он показывает рукой на высокого человека с шейным платком, ношение которого только входило в обычай. Объясняет: такие платки носят писатели, читающие свои произведения на публике, во избежание простуды и хрипоты. Не хочет ли он такой приобрести? Эти слова он произносит, пробным шаром пуская: мол, вернулся ли друг на римскую улицу или где-то бродит в греческих рощах, а может, и вовсе на Олимпе он забрался, угощаясь амброзией?

В этот день вечером римлянин угощал римской свадьбой. При свете факелов, при звуках флейты процессия направлялась в дом мужа. Юную невесту, совсем еще девочку, за руки вели двое мальчиков почти ее возраста.

— У них оба родителя живы, — на ухо шепнул.

Третий мальчик перед невестой нес факел.

— Не из соснового дерева, как у всех, а из боярышника. Злые силы боятся этого дерева. Факел зажгли от очага в доме невесты. — Продолжал шепотом щекотать ему ухо.

За невестой несли прялку и веретено. Звучали насмешливые и непристойные песни. В толпу швыряли орехи. Подойдя к дому мужа, невеста остановилась, смазала двери оливковым маслом. И тут его друг словно проснулся.

— Смотрите! Смотрите! — Защекотал ему ухо, поднимаясь на цыпочки, и, когда кто-то из двери появился, зашептал быстро и радостно, словно сам он женился. — Муж!

Муж был ростом с Луция Местрия Флора и, похоже, даже постарше. С трудом поднял на руки юное, хрупкое существо и перенес через умащенный благовониями порог. Обрызгал водой, подал ей факел

— Вода из домашнего колодца, факел зажжен в очаге его дома. — Шепот был несколько грустным, словно произносивший надеялся сам стать мужем юной невесты, личико которой на мгновение промелькнуло среди любопытно вытянутых голов. — Теперь она пройдет к ларам и будет молиться, после чего... — Тут он неожиданно, словно стесняясь, запнулся. — Отведут ее в спальню.

Когда двери закрылись, толпа, смакуя детали, обсуждая наряд и повторяя самые непристойные места услышанных, наверняка хорошо знакомых им песен, начала расходиться.

Отошли и они, и печальным голосом римлянин вновь зашептал, но затем, спохватившись, что сейчас нужды в этом нет, перешел на обычный голос. Плутарх же опять, уйдя в себя, от округляющего отключился, дивясь еще раньше замеченной им у римлян особенности соединять торжество с шутством. И, словно услышав, тронув его за плечо, друг объявил:

— Да, это очень по-нашему — соединять с веселой шуткой даже трагическое. Завтра вечером вы в этом сможете убедиться. Сегодня свадьба, а завтра — похороны.

Обернувшись, подозвал одного из рабов, того, что повыше, мощнее:

— Проводишь моего друга домой.

— К чему? Я и сам смогу прекрасно добраться. Тем более, живу я недалеко.

— Ну что вы. Ночь ведь уже. А в это время не только темно, но и не всегда безопасно. Покойной вам ночи. Встретимся завтра. Там же?

— Спасибо. До завтра.

Встретившись на следующий день, они долго плутали: даже родившийся и почти из Рима не выезжавший Луций Местрий Флор не сразу нашел дорогу. На этот раз друг был молчалив. В одном переулке они наткнулись на стол, вокруг которого были статуи. И тут его друг нарушил молчание:

— У нас больше богов, чем граждан. Мы устраиваем *lectisternium*: ставим стол на улице перед домом, за которым статуи богов возлежат, и каждый преклоняется перед ними. Мы с детства без богов не обходимся: один разверзает уста, другой учит словам. Один бог отвечает за разум, другой — за сметливость, третий — за мудрость решений. Богов у нас без числа, редко кто может припомнить имена пусть не всех, но многих богов. Даже к главному богу принято обращаться так, чтоб чего-то не спутать: «Могущественный Юпитер, или как там твое имя, то, которое тебе больше всего нравится».

Наконец они нашли то, что искали. Перед дверью богатого дома стояла зеленая ветвь.

— Ель. — Это был уже привычный Плутарху шепот.

Возле дома уже собралась толпа: клиенты усопшего, который был в зрелые годы проконсулом, вольноотпущенники и рабы. Поодаль, не смешиваясь с толпой, стояла группа друзей, все в белых тогах. Шепот рассказывал о покойном, который был другом его отца и которого он знал еще с детства, но было так шумно, что шепот вскоре утих. Из всего, что говорилось, удалось лишь понять, что словая ветвь — предостережение тем, кто, не зная, что в доме покойник, могли бы войти и присутствием мертвого оскверниться.

Но вот, видимо кто-то дал знак, появились флейтисты (мелькнуло: не те ли, которые были вчера на свадебной церемонии?), трубачи и горнисты. Волны звуков всколыхнули толпу, и процессия двинулась: впереди музыканты, плакальщицы за ними. Они обливались слезами, вопили, рвали волосы. За плакальщицами шли танцоры и мимы. Он вспомнил сказанное вчера: «Это очень по-нашему — соединять с веселой шуткой даже трагическое».

Наконец двинулись все. Где был покойный, не разобрал, а спросить, проявляя зазорное любопытство, он постеснялся. Далеко им, стеснительным грекам-провинциалам до уроженцев столицы мира, не стеснявшихся вслух говорить о том, чего греки не сделали б никогда.

Кто-то из мимов, выскочив из толпы и оттолкнув носильщиков факелов — без факелов Рим жить не может, что свадьба, что похороны — стал корчить рожи, уморительно подражая кому-то.

— Изображает покойного. — Перекрикивая толпу, в ухо вонзился знакомый голос. — На похоронах скупого Веспасиана случился такой анекдот. Знаменитый Фавор в маске покойного громко спросил прокураторов, во сколько его похороны обойдутся, и, получив ответ: «Десять миллионов сестерциев, наш бог», мим воскликнул: «Дайте мне сто тысяч и бросьте хоть в Тибр».

Дав волю застоившемуся красноречию, Луций Местрий Флор повеселел и, указав на людей в масках, продолжил.

— Это предки. Они встречают члена семьи. В каждом приличном доме хранятся восковые маски, снятые с покойных в день их кончины. Сняли и с нашего друга, — здесь, изображая приличествующую печаль, он тон понизил, и, выполнив должное, продолжал. — Будут сражения, говорят, даже большие, в одном отделении — битва со львами, поединки гладиаторов — во втором.

Наконец Плутарх увидел носилки. Несли покойного несколько немолодых людей. Уловив его взгляд, Луций Местрий Флор удовлетворил любопытство, невысказанное словами:

— Его сыновья.

«Его» он произнес, растягивая и гласные выпевая.

Тем временем процессия свернула на Аппиеву дорогу, вдоль которой, невидимые в темноте, располагались, как друг не преминул ему рассказать, гробницы, чаще всего семейные усыпальницы. Вскоре в темноте показался огонь, который все увеличивался по мере их продвижения. Подумал: погребальный костер. Но оказалось, что это не так.

Через полчаса небыстрой ходьбы они стоят у костра, сложенного как алтарь, украшенного коврами и тканями. Перед ним поставили носилки, и начались речи, которые он совсем не мог разобрать.

Плутарх стоял рядом с памятником, который, когда ветер менял направление, был достаточно освещен, чтоб разобрать надпись на нем. Высеченные в камне слова были обращены к прохожим с просьбой остановиться и поприветствовать.

Что мертвому можно сказать? Зачем ему в мире ином наше слово земное? Снова ушел в себя. Ничего на ум не приходило, ведь не скажешь этому камню «привет».

— Смотрите! Смотрите! — Друг настойчиво к реальности его возвращал. — Сейчас покойному отрезают палец, который и захоронят в земле, а само тело отнесут на костер и сожгут, кости соберут в мраморный саркофаг, который и установят в фамильном склепе, куда на девятый день придут самые близкие, принеся с собой жертву: яйца, чечевицу, соль и бобы.

Покойному в рот положили монету за перевоз. Все закричали: «Прощай! Прощай! Мы все последуем за тобой!»

Воздух пронзили трубы, тело было положено на костер, около которого были зарезаны любимые покойником лошади, собаки, попугай, дрозды и соловьи. На землю вылили два больших сосуда вина, молоко и два кубка с кровью жертвенных животных. Участники похорон костер обошли, бросая подарки: духи, ладан, мирру и нард, кинамон. Женщины клочьями волосы вырывали, присоединяли к погребальным дарам; били себя в грудь и царапали лицо.

Сыновьям подали горящие факелы, и они, лица от костра отвернув, поднесли их к костру, и в воздух поднялись черные клубы, раздались плач, рыдания, вопли.

Когда от костра осталась лишь куча пепла и потухших углей, жена, окунув руки в чистую воду, вынула побелевшие кости, облила их старым вином и молоком, выжала в полотне и заключила останки в бронзовую урну с розами и духами.

### 3. Жертвоприношение

Домой добрался под утро. Хотел уехать в урочное время, но попросили зайти: не могли понять, что происходит. Необходим незамысленный глаз. Зашел на минуточку-другую, и теперь, спустя десять часов, возвращался домой. Слава богу, завтра у него выходной, если не позовут, отоспится, закажет побольше вкусной еды — отъестся.

Оказалось, на улице ливень, потоп. Плащ был в машине. Делать нечего. Выскочил. За минуту промок. На что же пенять? На судьбу? На ливень? Кому претензии предъявлять? Господу Богу? Метеослужбе? Душ, еда, рюмочка коньяка в память о Первосвященнике, включить отопление, и — в постель. Уснуть, отогреться, забыться. Уже дома, в довершение неприятностей, погас свет, отопление отключилось. Подождал, полежал. Надо встать: одеться, и так холодно собачий, коньяк — полстакана, еще одеяло и плед.

Выживем. Не замерзнем.

И впрямь, стало тепло, высунул руку — отдернул. Почти за сутки квартира застыла, а на площади, перед муниципалитетом — каток, вход разрешен с шести лет. Значит, могли бы с сыном пойти.

— Это ваш выбор. Или служение, или покой. Вместе они невозможны. Таких соединений не бывает в природе. — Во сне Первосвященник говорил уверенно и спокойно, точно так же, как и когда он был жив.

Хотелось не возразить, вставить лишь слово, но промолчал. Почему? Разве согласен? Разве он не хотел бы соединить? Но как возразишь себе самому, будущему, постаревшему?

Поежился от очевидной бессмыслицы своих рассуждений. Мокро и холодно.

— Это ваш выбор.

Будто бы сам он не знает, что выбор его.

— Ваш собственный выбор.

Господи, никогда герр Ольсвангер не был занудой. Что с ним приключилось? Что происходит?

Голос уплыл, растворился в тумане, а за ним, за ушедшим, словно эхо, бубенцами на одежде шута, зазвенело: ухо-дит, ухо-дит.

Кто-то по комнате ходит? Кто в такой холод придет к нему в гости? Когда в последний раз приходили? Встречаются ведь не дома. Удобнее в ресторане, в кафе: забот никаких, думать не надо, куда пойти и что закупить.

Кто все-таки ходит? Надо встать, поглядеть. Воры? Это лучше всего, принимать их не надо, а красть вовсе нечего. Старый, редко включаемый телевизор да компьютер, из моды вышедший лет пять назад? Мобильник, обмотанный пластырем? Надо выделить день, в магазин съездить, новое закупить, старое выбросить. В какой магазин? Надо узнать. У одного из репризных? У маленького или большого?

Но кто же там ходит? Он отчетливо слышал шаги. Выпростал руку, словно так мог определить, кто же там ходит. Выпростал — и отдернул. Вспомнил: нет электричества, отопление не работает, на улице холод с потопом или, может, наоборот: потоп, а за ним уже холод. Здесь теплых дождей не бывает. Здесь вам не там. Откуда? Забавно, как бы не Зоценко, а может, Платонов. Говорили, тот служил дворником, а потом говорили, что нет, не служил, а был дворянином. Был болен и не писал. А Зоценко умер от голода. От истощения. Не в блокаду, а когда не мог крошки взять в рот.

Господи, кто же там ходит? Может, за ним пришли. За дедом тогда не пришли. Вернее, пришли, но не успели. Вот вместо деда, которого нет, за ним заявились? Нет, быть такого не может. Почему? Потому, что не может. Вот круг и замкнулся: ни следствий тебе, ни причин. Времен связь распалась? Распалась. А если времена распадаются, и столетия, как позвонки, вылезают, то почему причинам нельзя отделиться от следствий?

А может, пришли? Не за дедом. За ним. Не оттуда, а здесь — к служению призывая. Первосвященник... Неслучайно он объявился. Пришли? Значит, надо вставать. Но обычно они не приходят. Звонят. Ну, и что? Может, телефон отключился? В бурю все может случиться. Провода где-то порвало. Провода под землей. Ну, и что? Промыло, обвалы, мало ли что.

Может, пришли? Не дождавшись, пришли, объявились, явились? Вились, вились, пришли, объявились...

— Ваш выбор. Ваш. — Голос звучал громко и ясно, раньше туманно к чему-то его призывал, теперь звучал как команда: встань и иди, иди — и смотри, резко и однозначно. Хотелось ответить: «Да знаю я, знаю», но получилось совсем несусветное, согласные выпали и пропали:

— Аю я, аю.

Эти гласные его успокоили. А может, время прошло, и выветрился коньяк? Не выветрился, в крови растворился. Задышал спокойнее и ровнее, продолжая прислушиваться к шагам. Но они вместе с голосом шефа и с коньяком ушли, спинули, растворились.

Спал. Вначале сполз плед, за ним одеяло. Холодно не было. В соседней комнате свет. Заработало отопление. И, когда во сне успокоился, в награду за холод, и за потоп, за тягостный день, бесконечный, приснился сон, теплый, сказочно щедрый.

Они идут с сыном на пляж. Не едут — идут. Идут не спеша, говоря о чем-то милом, пустячном, только им интересном. Утро. Солнце. Над головой — яркое, голубое, чистое, бесконечное. И такое же — впереди, только сверху с промельком седины, а впереди — с нитями жемчуга, матовыми, чуть-чуть зелеными. Удивляется: оказывается, зеленый бывает не темным, но нежным, бледным, слегка голубым. Он говорит это сыну, и тот, понимая, кивает:

— Конечно, такое бывает, просто, папа, ты к этому не привык. Ничего, скоро привыкнешь.

В руках у сына пластмассовый ящик, расцветки веселенькой, даже игровой: по бледно-зеленому, даже салатному фону сердечки. В таких возят мясо на пикники.

— Что ты несешь? — Показывая рукою на ящик.

— Да так, ничего, — почему-то ответить не хочет.

Не хочет, и ладно, пустое. Сын говорит, словно взрослый: за те минуты, что вместе идут, явно подрос. Уже взрослый мальчишка, вот-вот вверх начнет он тянуться, сбрасывая одежду, как змея кожу.

Что-то внимание отвлекает. Похоже, что чайки. Те в небе белые пятна — облака — выстригают. Оборачивается, сын ему улыбается: вот и пришли. На берегу он почти каждый день и рад показать свое любимое место, подожди, еще минута, увидишь.

За время, что чайки его отвлекали, сын снова вырос. Теперь это юноша, стройный, с нежным лицом, очень похож на фото, где деду шестнадцать. Дед стоит рядом с отцом, высоким, мощным, с усами и бородой. Он внимательно смотрит на сына. Тот в ответ улыбается, словно улыбка куда лучше слов, а он хочет все-все отцу показать, а главное, эту лагуну, вот и пришли.

Спустились с холма, усеянного гостиницами, на плоский берег. И впрямь необычное место. Лагуна со всех сторон защищена от волн, в берег врзается совсем незначительно, а затем, полукругами расширяясь, в какую-то точку на дне упираясь, уходит назад маленькими полукругами. Он смотрит внимательно: сердце. Увидев, оглядывается на сына, но тот куда-то исчез, а вместо голубой, зеленоватой воды в лагуне пульсирует кровь, окрашивая небо и воду, и все пространство — большое огромное сердце, с трудом перекачивающее темную кровь.

Такое как-то с ним было. Выбравшись из потока машин, он свернул на дорогу, малоезженую, неухоженную. Затрясло. Хотел проскочить между холмов, с двух сторон нависающих, выбраться на долину. И в тот момент, когда она показалась, горы подступили к дороге вплотную, словно хотели ее раздавить, и вместо мелькнувшей долины задрожав в розоватом тумане, словно красное солнце, появилось огромное сердце, в котором просвечивали потоки: кровь в сосудах двигалась устало, нехотя, тяжело.

И тогда и сейчас это длилось мгновение, страшный, тягостный миг, зацепившийся в памяти, словно рыба, попавшая на крючок. Кажется: просто закрыл глаза, привиделось. Открывает глаза, в них врывается вместе с нежным шелестом волн, мокрый след на песке оставляющим, врывается свет, больной, оглушающий, но глаза привыкают, и загорелый сын с выплывшей шевелюрой выходит из моря. Капли искрятся на коже.

И тут раздается звонок. Он слышит, но знает: это во сне, но нечего делать, встает, идет по дороге, поднимаясь на вершину холма, поминутно оглядываясь на него, оставшегося на берегу, искры капель отрывающего, слизывающего морскую соль с ярких, словно накрашенных губ.

Навстречу по коридору идут усталые красные огромные губы, идут домой, за спиной, словно брызги, осколками полную радугу оставляя. Пахнет кремом и потом, клоунским гримом, дудками, бубнами, губными гармошками и помятой судьбы барабаном. Слышны непристойные песенки, вроде частушек. Он знает, это веселое шествие сопровождает покойника, тело которого еще немного — сожгут.

Закрыл глаза. Открывает: уже все исчезло, в голубизне растворилось, остались красные припухшие губы. Они растут, расширяясь, застывая собой горизонт. Губы, губы на всем белом свете.

Голубизну воды, переходящую у самого берега, в светло-зеленое, разбавляют белые бурлящие линии. Это прибой. Голубизна небес разбавлена облаками. А там, где небо смыкается с морем, появляется капля сапфира, она темнеет, она расширяется.

Он продолжает идти, звонящий телефон не включая. Какой телефон? Кто смеет тревожить, когда он здесь, вместе с сыном?

— Почему оставил? Куда ты идешь? — Никого рядом нет, он один. Получается, он сам себе вопрос задает.

— Не могу не идти. — Отвечает, понимая: ответ нелогичен.

— Или открой телефон, или возвращайся назад.

На это ответить нечего, и вместо ответа смотрит вперед, до вершины холма осталось совсем немного, дойдет, вот тогда и включит не дающий жить телефон, который выключить он не вправе. Смотрит на вершину холма, протирает глаза — то ли песок, то ли солнце — а там, взбесившись, пляшут дома, беззвучно, без музыки. Наклоняясь друг к другу, то ли стремясь обнять, то ли ударить, выдвигают такое, что не под силу танцорам.

Останавливается, смотрит туда, откуда идет: он один, пластмассовый ящик открыт, что-то сложил из камней, синее, красноватое сверху на них положил, языки пламени его пожирают, и над пирамидой камней к небу поднимается дым, не черный — белесый, и вслед за ним голову поднимая, сын взглядом белый тонкий дым провожает.

Небеса цвет поменяли. Над ним — темно-синее, там, где сын, — черная адова муть, и белый венчик, корона на гребне огромной во весь горизонт волны, из бездны несущей затонувшие корабли, в трюмах которых ничего, кроме золота, не осталось: все истлело, в соленой воде растворилось, исчезло.

Он ищет полоску песка, кромку морскую, на ней сына нет, словно и не было — пожрала волна, которая, стремительно поднимаясь, у самых ног опадает, обдавая черными, больными, горькими каплями. Спасаясь, он хватается за телефон, судорожно включая.

Долгий звонок его разбудил:

— Доброе утро, — и, не услышав ответ: — Вы просили в десять часов позвонить, у нее все в порядке, не беспокойтесь.

Засыпал долго, судорожно, мучительно. Не засыпал — в полусне забывался, пытался в завтрашний день заглянуть и ничего, как ни старался, увидеть не мог. Пытался услышать пусть незнакомые, чужие слова — не слышал. Господь не хотел даровать ему забытью, спокойный, укрепляющий сон, дающий силу идти, надежду дойти. Вспять текло время, словно река, чьей-то всевластной рукой, способной менять законы природы, устремившая воды назад, к истоку, и в этих назад несущихся водах, он — утлая щепка, которую кружит, помимо воли несет в прошлое, вспять, в день ушедший.

Прошлое цепко держало: хищный голодный зверь, загнанный, одинокий, львом-отцом изгнанный из семьи. У него, молодого льва, достигшего зрелости, но еще неспособного с отцом померяться силами, выбора нет: или настичь, убить, разорвать, лакомясь жертвенным сердцем, или самому стать жертвой холмов и скал, там, где родился и вырос, там, где был матерью вскормлен и изгнан отцом.

Лишь под утро, насытившись, лев, почти львенок, худой, истощенный, отпустил его уставшую душу. Уснул, увидев сперва основание лестницы, вросшей, как крепкое дерево, основанием в землю, красную, каменистую, землю, из которой был сотворен праотец всех живых. Вначале подумал: крепкое, сильное, могучее дерево, но поднял глаза — различить на ветках плоды, крону увидеть, запомнив, что здесь, в самое жаркое время, можно спастись от солнца: у могучего дерева должна быть могучая крона. Поднял глаза: вместо дерева ввысь, до самого неба, вершиной ввинчиваясь в синеву, поднимается лестница, а по ней вверх и вниз, одни медленно, другие стремительно, поднимаются-опускаются безъязыкие существа.

Напрягая глаза, прищуриваясь — от дыма домашнего очага не был зорким, как брат — он попытался их рассмотреть. Приставив к уху ладонь, прислушиваясь — от шума домашней мельницы он, в отличие от брата был слегка глуховат — силился разобрать парящие звуки. Вдохнул глубоко, норовя запахи различить, но в ноздрях навек поселился дух очага, древесных углей, и безумно манящий запах чечевичной похлебки, по которому даже в кромешную темь его брат путь домой находил.

Всю дорогу, ноги сбивая, брат спешил — неутомим, быстроног — торопился, бежал, его догоняя. А он руки держал за спиной: от них невыносимо воняло козьими шкурами, которыми обманул слепого отца, добывая благословение первородства, купленное у брата за похлебку, чудную чечевичную. И впрямь тогда она удалась. Никогда такую еще не готовил.

Вдруг, словно проснувшись, понял, что если бы брат захотел, давно бы догнал. Вечером, в темноте просто свалился, а брату все нипочем: зорек, как зверь ночной.

Не догнал не потому, что не мог, и не потому, что его пожалел: в ярости был безудержен, ни отец, да что там отец, даже мать не способна была его удержать, не догнал потому, что могу-

чий, способный не то что в ярости удержать, способный, мир сотворив, уничтожить, увидев, что извратило свой путь все живое, уничтожить, воды потопа наслав, спасая одну лишь семью, от которой они с братом пошли, населяя пустынную землю, их родину, и ту, за горами, куда он бежит, посланный матерью на ее далекую родину, где пасутся стада, поедая сочные травы.

Только б дойти, добраться, лечь навзничь в траву, следить движение черного муравья по зеленой травинке, слышать дыханье земли, ее дыханью внимая. Потом поднимется и пойдет, брата матери он отыщет, найдет жену, появятся дети, состарится, и трава, на которой лежит, приминая, прорастет сквозь него.

Поднялся, вместе с остатками сна сор земной отряхнув, поднял голову: небо еще темнело. На горизонте розовыми узорами ложилось на голубое, а выше сапфировая льдистая глубь смыкалась с ночной чернотой неразмытой.

Вечером, скользя за лучом луны, он собрал камни, неострые, плоские, устроил себе изголовье, положив их на большой одинокий плоский валун, дожидавшийся с сотворения мира.

Вечером, пропитанный страхом, словно запахом козьим, увидел валун. Валун, ну и валун. Один среди россыпи острых камней, словно львиные зубы, торчащие из земли, вонзающиеся в полусырое, еще кровавое мясо, в сердце животного, которое брат любил жарить на углях, и в поле, и дома.

Только теперь, проснувшись, он понял, что и похлебка с чудным запахом неземным, и вонючие шкуры, и брат, его не догнавший, и то, что ждет его впереди, и этот валун, жаждущий с сотворения мира, — все в этом мире и весь этот мир, эта земля, с небесами лестницей единенная, ему дарованы Тем, Кем он избран для миссии непонятной. В руки Всемогущего себя предавая, он вытащил из мешка кожаный маленький мех, в который, его отсылая, мать торопливо, но не пролив ни капли, налила лучшего масла, словно знала, что он сейчас это масло выльет на жертвенник.

Отбросил плоские камни и вытер валун рукавом. Освященное солнцем, небо без белых мутных прожилок над его головой голубело. За спиной была родина, чреватая смертью, впереди зияла чужбина, в которой сверкала надежда на жизнь. Об этом подумал, жертву свою принося, лучшее, первое масло олив на валун возливая.

#### 4. Так это было

Бабушка в семье считалась дедовой тенью. Утром и вечером Тень удлинялась: завтрак, обед, она нужна была всем. Днем, когда никого не было дома, ступевывалась, почти исчезая. В отличие от громкоголосого, занимавшего собой все пространство деда, была тиха, незаметна, неговорлива. Дед над ней постоянно подшучивал, а она, сочтя шутку удачной, уголками губ улыбалась, но если шутка не нравилась, брови негрозно, скорей удивленно поднимались, и по лбу пробегали морщинки. Мало на что обращающий внимание дед относился к уголкам губ и бровям не просто внимательно, они были самым ценным им судией. Губы и брови не спорили с дедом только прилюдно. Дед объявлял, заявлял, провозглашал. Но его объявления, заявления и возгласания, одобрения губ не прошедшие, тихо и незаметно сходили на нет.

Дед стремителен, она нетороплива, даже медлительна. Лишь тогда, когда дед добровольно отправился в ссылку, она изменилась, словно взяв на себя его функции, а потому стиль изменив. За долгие годы друзья его юности и ее давно стали общими, и они сами порой, вспоминая, не могли точно припомнить, с какой стороны этот друг появился в их доме.

Однажды в шутку дед их брак назвал мезальянсом. Он потомок новороссийских крестьян, она из семьи обеспеченной, давно из черты оседлости вырвавшейся, имевшей немалое торговое дело. При этом его семья, как ни покажется странным, рано ассимилировалась, а ее — бережно хранила традиции. Поэтому в доме свинины никогда не бывало, а в Песах — разумеется, вместе с хлебом — была маца.

Как-то дед в узком кругу прочитал басню Масса и Эрдмана (она ходила тогда по рукам):

**Однажды приключилась драма:  
Бог, в белом венчике из роз,  
Потребовал у Авраама,  
Чтоб сына в жертву он принес.**

**Зачем? К чему? Все скрыто мраком.  
Старик отец в слезах, но все ж,  
Над милым сыном Исааком  
Уже заносит острый нож.**

**И вдруг сюрприз: разверзлась туч громада.  
И Бог вопит: «Я попутал, не надо».  
С тех пор переменялся свет.  
И Бога, как известно, нет.**

На это взметнулись уже две брови, одна за ерничанье, за неосторожность — другая.

Ездить дед не любил, разве что не было выбора: далеко или очень спешил. Общественным транспортом не пользовался никогда. Свою машину заводить не желал, а потому, когда служебная находилась в ремонте, бабушка звонила таксисту, еще с довоенных лет возившему деда и ставшему почти членом семьи. Как-то за дедом он приехал с мальчишкой, на год-два его старше, и пока шофер возил деда, внука шофера отправили на его попечение. Того книги не интересовали, зато футбол с металлическими кривоногими футболистами, бьющими по шару, увлек его так, что, когда таксист-дед вернулся, не мог от игры оторваться.

Как-то утром, в теплый журчащий день — лишь во дворе по углам да на улицах над бордюрами догнали остатки снега — дед позвал прогуляться, что означало: идти быстрым шагом. Напутствуя, бабушка, как всегда сказала: «Не горбись», на что дед, которого он дедушкой не называл никогда, но коротко, твердо: дед, добавил:

— Спина должна быть прямой, чтоб никому в голову не пришло, что ты можешь согнуться.

Приказывать, как и просить, восклицать, вопрошать, дед категорически не любил, умудряясь в любых ситуациях обходиться с виду нейтральным повествовательным тоном.

Сказав про спину, дед, что с ним случалось нередко, шагнув через талый ручей, без всякой связи добавил:

**Вижу холм под облаками,  
Озлащаемый лучом,  
Осентяемый древами,  
Ожурчаемый ключом...**  
(Г. Державин)

Необычное время намекало на необычный маршрут, что вскоре и подтвердилось. Он хлопал по лужам, дед степенно их огибал. Так по Большой их родимой длинной Житомирской мимо высоких, сытых, довольных жизнью домов они добрались до Сенного базара. Хоть ни базара, ни сена здесь давным-давно не было, зато была странная площадь, зажатая улицами с трех сторон, а с четвертой — трамвайным кругом. Здесь для трамваев, едущих снизу, с Евбазы, земля закруглялась. Собственно, не было площади на месте базара, так, не слишком приметный сквер. Ни площади, ни базара, ни сена, ни Сенного базара вместе с Евбазом, то есть тоже базаром, еврейским, исчезнувшим до его явления в мир, не было вовсе. Для него — не для деда, вслед за которым все в семье говорили: Сенной и Евбаз. Для деда не существовал этот сквер, по которому, как через проходной двор, сновали прохожие.

Пройдя мимо Сенного, они пошли дальше: дома здесь были поменьше, поплоше, не голодные, но и не слишком сытые. Дошли до перекрестка, светофор как раз был зеленый, и мимо аптеки, занимавшей первый этаж углового дома, двинулись дальше. Здесь луж стало больше, так что деду не всегда удавалось их обойти. Но это было еще ничего. Пройдя полквартилы, свернули, и — всего несколько метров — нырнули под мост, на улицу, круто между холмами летящую вниз. Вместо асфальта — бульжник, вместо домов — нависали кусты, черные, голые, мокрые. Теперь уже он выбирал лужи помельче, что было совсем не просто: целую зиму здесь не чистили снег, который, тая на солнце, превращался в черную жижу.

Улица была не только крутой, но и страшно кривой. Видно, когда-то не слишком могучая речка с трудом пробиралась, к большой воде путь пробивая, по ложбине, по дну оврага, или, как у них говорили, яра. Яр ему нравилось: слово точное, короткое, звонкое. Овраг было бы ничего, но с яром все-таки не сравнить.

Он хлопал по лужам и думал: как бы устроить все так, чтобы создать единый язык из самых красивых и замечательных слов? Не эсперанто, на котором он знал два-три десятка придуманных слов, пресных и скучных, а единый язык, к примеру, такой, какой был, когда людям еще в голову не пришло строить глупую Вавилонскую башню. Наверняка ведь, когда язык разделился на языки, в каждый из них попала малая доля замечательных слов. На все языки таких слов не хватило. Как говорила Нюра, приходившая бабушке помогать по хозяйству, когда речь заходила о том, что из магазинов что-то исчезло, на всех хорошего не хватает.

Они месили мокрый чернеющий снег, и оказалось — не зря. За поворотом, резким и неожиданным, появился скособоченный дом, и улица ожила. Здесь уже почти не было снега, да и луж было поменьше. Потянулись дома, одноэтажные, реже — в два или три. За некоторыми, словно дамоклов меч, нависала гора. Он, прочитав на доме табличку «Петровская», внимательно глянул на молчащего, словно в реку нырнувшего деда, и, не удержавшись, спросил:

— Петровская?

Дед молчал.

— В честь Петра?

Дед молчал, что означало «не знаю» или же «сказать не хочу». Слово «нет» дед ненавидел, и его молчаливый ответ и был это «нет».

Не обиделся. К такому привык. Теперь дед опять обходил лужи, а он снова хлопал, воображая, что плывет по реке, стремительно между зеленых холмов несущейся вниз, и вот, от радости закружившись, он и лодка с рекой впадают в могучие воды, которые несет Борисфен, бешено извиваясь в порогах, а затем измученный ими плавно впадает в Эвксинский понт, по берегам которого раскинулись поселения греков: Херсонес, Евпатория, Пантикапея. Через секунду он плыл не на лодке — на корабле с огромными парусами, ростра венчает нос корабля: пугает могучие волны львиная разверстая пасть. Гром гремит, на море шторм, его могучий корабль швыряет, как щепку, а в трюме жрец жертвы приносит: пляшет треножник, увенчанный чашей с огнем. Во все стороны искры, блики ложатся на стены и прыгают, отвечая на дрожание корабля.

Но милостив Посейдон, и утром буря стихает, он сходит на берег, и первой у корабля — вся в белом, в лавровом венке девушка невиданной красоты. Он берет ее за руку.

— Вот и пришли, — дед подает голос нектати.

Он пытается снова вернуться на берег, к белоснежной красавице. Тщетно. Видение испарилось, в дыме, вьющемся над треножником, исчезло. Пропала река, лодка, корабль, на их месте — двухэтажный обшарпанный дом, желтоватый, окрашенный от времени грязной, с черными прожилками краской. На углу кособоко: Петровская.

Дом неказистый, постройки давнишней, был, видимо, крепок. В отличие от окружавших, ни подпорок, ни скособоченных стен. Входящих он словно предупреждал: «Да, выгляжу я не ах, и, конечно, не молод, но крепок, за себя и за жильцов своих постою».

Двухэтажный на улицу, подвал и этаж во двор, длинный и узкий, над ним возвышалась гора, и в гору узкий двор деревянной уборною упирался, прилепив к ней сараи, сараюшки и сарайчики, плавающие в грязи. Вход из подворотни, узкой, с низким и плоским сводом, а может, точнее сказать, потолком, почерневшим от копоти, с разводами плесени.

Дед шел, чавкая обувью. Он — за дедом. Входная дверь, за ней — темнота, вниз — три-четыре ступеньки, квартира нижнего этажа за крашеной дверью с табличкой «1», наверх, на второй, деревянная лестница. Молча они постояли, потом дед пошел по двору, не дойдя до уборной, назад повернув, а, выйдя из подворотни, не говоря ни слова, обратной дорогой потопал наверх. Потасился за ним. Лишь пройдя под мостом, дед свернул и, дожидаясь зеленого у аптеки, коротко бросил:

— Я там родился.

Через несколько лет уже сам, а потом и с другом юности, потомком кого-то из свиты Софьи Палеолог, которую Бог или дьявол занес в Россию, он вспоминал дедов дом, стоя на Андреевском спуске у дома на улицу выходившего двумя этажами, а во двор — одним этажом и подвалом.

Видно, такая была изложена этим домам, приткнувшимся у горы, судьба, как имела обыкновение говорить незабвенная Нюра, лица которой не помнил, видимо, потому, что всю разобрал на цитаты.

В раннем детстве, когда одного дома не оставляли, а бабушке нужно было куда-то уйти, звали Нюру. От нее он услышал немало историй, многие из которых поразили детское воображение. Свои невычитанные истории (с книгами она не дружила) Нюра начинала всегда одинаково: «так это было», не оставляя, во всяком случае, у него, и тени сомнения в их безусловной правдивости.

— Вот так это было, — глядя в глаза, словно допытывалась, верит ли он, — она начала, для уверенности повторив. — Так это было.

Надо думать, его глаза убедили, и она продолжала.

— Давно это было. Давно. Сейчас этого нет. Такого сейчас не бывает. А тогда два раза в год, весной, осенью на Горе, которую и поныне Замковой все зовут, со всей округи, из лесов, ближних и дальних, волки, воя, на шабаш сбегались. Заслышав их вой, заходились собаки, коровы мычали, людям спать не давали, думали, что волки коров задирают. А командовал серыми жуткий колдун. Говорили, что он понимает волчий язык. Прикажет — и серые воют, прикажет — шалелят, катаются по земле, на луну завывают, прикажет — на горе все горит, прикажет — следом за

ним прыгают волки в огненное кольцо и... — Тут она сделала паузу, подогревая его любопытство. — И обращаются волки в людей.

Тут в дверь позвонили, и Нюра пошла открывать, он за ней, держась на почтительном расстоянии: вдруг это волк, обратившийся в человека. Оказалось, принесли телеграмму, и, распившись, Нюра пошла за монетой: разносчикам телеграмм в те времена давали на чай. Потом телеграмм с каждым годом приходило все меньше, а теперь они вовсе исчезли, вместе с разносчиками и чаевыми.

Пока Нюра ходила, разносчица стала расспрашивать, кто он профессору, которому принесла телеграмму. Удивившись, что та говорит человеческим голосом, он что-то пробормотал, и она, зная деда, как оказалось, еще с довоенных лет, пожелала ему стать тоже профессором, как и его замечательный дед.

После разносчицы Нюру пришлось упрашивать продолжать, что тоже было одним из ее любимых приемов. Сошлись на том, что суп он доест до последней ложки, без уговоров.

Перерыв рассказу явно пошел не на пользу. То ли остыл, то ли была виновата удивившая человеческим видом давняя знакомая деда, но после паузы он слушал без особого интереса о том, что какой-то князь, решив очистить гору от нечисти всякой, велел в ночь окружить гору и зверье перебить. Волки сражались храбро, но ничего поделаться они не смогли. А затем этот князь велел возвести на вершине огромный замок, потому по сей день Замоквой и зовется. Но однажды в холодную черную ночь — ни луны, ни лучика света — у стен замка незнамо откуда вдруг объявились волки, а с ними в волчьей шкуре колдун. Волки бежали вдоль стен, а стражники в них швыряли зажженные факелы и стреляли из луков. Долго замок пылал. И долгие годы черные стены зияли.

## 5. Лилит

Несмотря на кажущееся легкомыслие — таким обычно бывал он на людях — его римский приятель, весьма скоро превратившийся в друга, был человеком и образованным, и серьезным. Из разговоров с ним он почерпнул немало того, что впоследствии вошло в его книгу, которой он даст необычное заглавие: «Римские вопросы». Плутарх надеялся, что эти вопросы и, конечно, ответы вызовут большой интерес. Границы Рима расширились, совпадая с границей вселенной, по-гречески οἰκουμένη, что означало земля «населенная». Став частью Римской империи, люди хотели знать о далеком Риме как можно больше. У кого им было узнать? От римских чиновников? Те сами за исключением редким, почти редчайшим, в Риме никогда не бывали. Узнать от солдат? Но жители Рима почти никогда в легионы не шли, чуть больше было в них италийцев, но и те, и другие были невежественны и глупы. Потому Плутарх надеялся — и не ошибся — что книга в провинциях, а может, и в Риме вызовет интерес. Он загодя дома готовил вопросы, а потом задавал их Луцию Местрию Флору.

— На похоронах родителей сыновья покрывают голову, а дочери идут с непокрытой головой и распущенными волосами?

— Скажу откровенно, мой милый друг, этого я не знаю. Впрочем, боюсь, что точно это не знает никто. — Так обычно он начинал ответ почти на каждый вопрос, что в их разговорах теперь стало вроде привычного ритуала.

При этом, его ответа дождавшись («Конечно, конечно, но все же, мой милый друг, что вы думаете об этом?»), он продолжал:

— Люди в скорби ведут себя необычно. Для женщин привычно появляться на людях, голову покрывая, а мужчинам привычно быть с головой непокрытой, не так ли? На похоронах и те, и другие ведут себя необычно. У вас, у эллинов, разве не так? Когда случится несчастье, ваши женщины волосы остригают, мужчины, напротив, волосы отпускают, хотя в жизни обычной как раз все наоборот.

— Почему, милый друг, у римских женщин траурные одежды белы, как снег?

— Милый друг, право, не знаю. Может быть, потому, что тем самым, подобно жрецам, они одеждой противопоставляют себя мраку Аида? А может, и потому, что их одеяния подобны одежде покойника. Право не знаю, хотя, если вдуматься, то трауру, безусловно, приличествует не роскошь цветных одеяний, а простота? Не так ли? Как сообщает Сократ, и в Аргосе в дни траура носят белую, выстиранную одежду.

Помолчав, пока раб наливал им вино (он не любил говорить при посторонних, особенно при рабах), его друг продолжал:

— Ну что мы о грустном? Не сменить ли нам тему?

— Пожалуй. Почему стены, а не ворота города римляне почитают священными?

— Не знаю наверняка, но, может быть, потому, что за стены сражаются и погибают. Ворота же не священны, видимо, потому, что через них везут что угодно, случается — мертвецов. Как римлянин начинает возводить новый город? Плугом, в который впрягают быка и корову, пропахивают борозду, очерчивая стены, а через место, назначенное для ворот, плуг переносят с поднятым сошником: только черта, пропаханная плугом, должна стать священной.

— Почему авгуру, жрецу, на теле которого есть повреждение, рана или там язва, запрещено наблюдать за птицами?

— Не знаю, я ведь не жрец. Может быть, потому, что для жертвы и для гадания избирают только здоровых животных и птиц. Потому и жрец должен быть непременно здоровым, ни в чем не ущербным. А впрочем, я совсем не уверен. Вот отыщу вам жреца, и если это не тайна, он на ваш вопрос точно ответит.

— Благодарю, милый друг, но если уж мы о гаданиях, позволю себе спросить: почему при гадании отдают предпочтение коршуну?

— Милый друг, на это отведу без оговорок: ведь при основании города Ромулу явилось двенадцать птиц, и все они...

— Коршуны?

— Ну, конечно! Что вы сегодня такой? Может, сон был плохой? То мертвые, а то птицы. Может, о людях?

— Давайте о людях, мой милый друг, давайте. А спал я, благодаренье богам, хорошо.

— Прекрасно! Давайте о людях, хотя знаете, — тут он осекся, — скажу откровенно, неблагодарная тема.

— Если так, то, пожалуй, один лишь вопрос, и то не о людях, о детях.

— Дети вырастут, станут людьми, могу лишь добавить я, к сожалению. Задавайте свой вопрос поскорей, во-первых, пока дети не выросли, а, во-вторых, зовут нас обедать. — Он показал рукой на раба, застывшего в дверях раскрашенной статуей.

— В Риме мальчикам дают имя на девятый от рождения день, девочкам — на восьмой. Почему?

— Не знаю, мой милый друг, право, не знаю. Может быть, потому, что, подобно пифагорейцам, четные числа римляне женскими полагают, мужскими — нечетные? Нечетное число — оплодотворяющее, и, если с четным его сочетать, возобладает оно. Ну, а мною, простите великодушно, возобладал аппетит.

За обедом он веселился и радовался, как вольноотпущенник, получивший римское гражданство и в первый раз надевающий тогу, приговаривая вслед за Вергилием: «Владыки мира, народ, в тоги одетый», терпеливо снося ненамеренные — а может, не только, кто знает — издевательства от умельца-раба, без которого надеть тогу было делом совсем невозможным: к нему раб приступал еще с вечера, устраивал складки, прокладывал их дощечками, прихватывая зажимами, чтобы сохранить до утра в должном виде.

Был май, на который у римлян приходился праздник лемурий, неуспокоенных душ усопших, скитающихся по ночам.

Раннее утро. Все живое в скалах росло, прогрызалось и пробивалось. Одни деревья едва просыпались, другие уже зеленели, третьи белели. Утро обещало нежаркий, ласковый день, голубой — от чистого неба, и белый — от цветущих деревьев, которые раскачивались, уловляя ритм ветра, и, на смелый призыв отвечая, читали стихи Гесиода.

Шел, вслушиваясь в тишину окружающих гор, силясь представить, какие звуки, недо-слова с треножника Аполлона Пифия произносит. Вслушивался, силясь представить, — не выходило. Порой и слово знакомое, тобой тысячи раз произнесенное, не вспомнить, а тут неслышанное, да и не слово.

Шел, и представил вдруг Первосвященника:

— Слово сохраняет прошлое, иногда бесполезно и трогательно. Вот, возьмите маленький ножик. Он вам зачем? Карандаш очинить. А как вы его нарекаете? Перочинный. Века полтора, а то и два перья не чинят, потому как перьями, если не опшибаюсь, гусиными, больше не пишут. А ножик-то все равно перочинный! Вы зря полагаете, что слова можно писать или произносить. Зря. Со словами по сути можно делать все, что угодно. Словами можно плевать. Слово можно жевать. Можно и брезговать. Слово можно любить. Слово можно ненавидеть и презирать. Да мало ли что. Слово всеильно. Слово ущербно и безгранично. Слова могут, как птицы, летать. Шипеть слова могут змеино.

В ответ как раз прошипело. Наверное, ветер. Он чувствовал себя здесь чужаком, как на нудистском пляже.

По мелкому щебню подошвами шелестя, медленно шел вдоль камней, пытаясь представить стены Дельфийского храма, в котором великие греки поселили своего Аполлона. Среди развалин он был один, кроме шелестящего листьями ветра, одиноко щебечущей птицы, шелестящей травы, пробивающейся неудержимо сквозь щебень, сквозь камни, обозначающие основания рухнувших стен.

От входа до остатков столбов под скалой ветер тащил желтый смятый шурпящий кулек. За кульком, подгоняемый в спину, медленно двигался он. Вдали в облака утыкались, плавно очерчивая горизонт, не слишком высокие горы. За ними — мерещилось — живой, неразрушенный храм, и ведомая седым, степенным жрецом в тайное тайных, адитон двигалась женщина.

Лицо ее было закрыто. Кто она? Кто? Ее длинная стола, с множеством складок и короткими рукавами, была перехвачена в талии поясом, серебряная пряжка которого ласкала короткими нежными бликами угрюмые серые стены. Дошли до двери, где ожидали жреца, и ее провожатый поднял руку, сказав, что дальше она идти вместе с ним не сможет. Пряжка погасла, и женщина прошептала:

— Да, мой Плутарх.

Провожатый скрылся за дверью, и он представил: жрец и писатель подходит к тренажнику. Вокруг него — зеленые подручные тени. В экстазе, с тренажника Пифия, тяжело задышав, бормочет неясные звуки, и жрец угадает гекзаметрическое изречение, которое истолкуют жрецы Дельфийского храма. С ним подошедшая к тайному тайных, остановившаяся на пороге молчаливая женщина поблагодарит коротким поклоном, кивком головы и, оставив дары, удалится так же таинственно, как пришла.

Ее будет он вспоминать все эти годы, которыми боги его наградили, несмотря на то, что даже имени не узнал, знал лишь, что не гречанка.

Он медленно шел к торчащим, словно зубы гнилые, колонны, сияясь представить, где был тот тайный покой, куда только жрецам доступ был разрешен. В Иерусалимском же храме даже жрецам в тайное тайных, святая святых доступ был запрещен. Только один раз в году, в Судный день туда входил сам Великий жрец, Первосвященник, и все, дыхание затаив, ожидали, выйдет ли.

Если выйдет, то Всемогущий простил Свой народ, и год будет мирным и добрым. А если не выйдет... В зрение обратившись, а может, точнее сказать, в ожидание, все трепетали.

Но вот распахнулось! Главный жрец появился! Подошел на дрожащих ногах ко всем жрецам, жертвы принесших Многомилостивому, Всемогущему.

И прокатился по Храму, вырываясь на улицы Города, по Стране загудел, распространяясь по миру, вздох облегчения:

— Помилвал нас Господь! Проще-ны-быы!

Медленно шел, и память его уносила от этой горы, некогда нависавшей над храмом, а сейчас — над остатками стен и колонн, над желтым кульком и над ним. Уносила к горе, нависшей над домом, в котором дед жил до войны. Он вспомнил и реку, которую тогда себе представлял, плывущий по ней корабль, плод неумной фантазии, и светлую девушку на берегу, может быть, в Феодосии. А может, это было не Черное, но Азовское, Меотийское море, в него вливается Дон, который именовали Танасис, и этим же именем город, получивший имя свое от реки.

Бродил долго, хотя, положив руку на сердце, все можно было увидеть, до последней черточки рассмотреть за какие-то полчаса. Бродил, оживляя, из небытия возвращая отжившее навсегда.

Солнце было в зените, когда возвращался. Обычный, непримечательный город. Глухая провинция, лодчонка на берегу океана, примостившегося у вечности на виду.

На площади перед входом в гостиницу, несмотря на неурочное время, кишело, как на школьном дворе на перемене. Похоже, это и не понравилось Аполлону. Вспыхнула молния. В небе загрохотало, на земле задрожало. И тотчас, отзываясь на зов, заверещали, заквакали, защебетали и зарычали потревоженные машины.

Он шел к адитону, недоступной для вопрошающих внутренней части Дельфийского храма, там, где золотая статуя Аполлона, священный источник, саркофаг — пожиратель плоти — с пеплом Пифона. Из скалы, из расселины поднимаются ядовитые испарения. Омывшись в Кастальском источнике, золототканую одежду надев, волосы распустив, венком из лавровых ветвей увенчавшись, спустится Пифия в адитон. Испив из источника, лавр пожевав, сядет на высокий тренажник и, вдохнув испарения, будет пророчествовать, звуки неясные издавая, а их запишет и истолкует, звуки словами, а слова гекзаметром уловив, профет, жрец храма Плутарх.

Он задал вопрос, жрец ответ Пифии передаст. Вот, жрец уже вышел, и он к жрецу направляется, силясь вспомнить вопрос — и не может. Плутарх стоит перед ним, ждет повторенья вопроса, без этого не скажет он ничего. Кому нужен ответ, если вопроса нет?

Силится вспомнить, но вместо вопроса — видение: золотоволосая дева с розовым бантом на голове, с серебряным сачком в руке. К чему она здесь? Зачем?

Всматривается в лицо, так похожее на лицо спящей жены. Телевизор кипит страстями, а ей все равно. Зачем включила? Нет, не она. Похожа, но нет, иная. Что ее к нему привело? Хочет спросить, но, она, немой вопрос ощутив, нежно ладонью рот ему прикрывает, золотистыми волосами его обвивает, прижимается, голову сачком уловляет.

Хочет спросить. Пифию? Плутарха? Златоволосую? Открыл рот, неясные звуки, наполняя пространство, не складываются в слова. Он ждет, когда их запишет профет, когда зазвучит медно-струнный гекзамер.

Она ждет, когда же он спросит. И вот он решился:

— Ты кто? Скажи свое имя.

Смеется в ответ, заливаясь и хохочет.

Повторяет вопрос, ее отстраняя, среброкованный уловляющий бабочки душ сачок отодвигая:

— Ты кто? Скажи свое имя.

Смеется. Хохочет.

Он в третий раз повторяет вопрос, за руку ловит:

— Скажи свое имя. Ты кто?

Сердится, руку свою вырывает:

— Кто-кто. Какой в эту ночь попался мне недогадливый. — И, сверкая глазами, златоволосой тряся головой, повторяет. — Кто-кто, я никто, ко-ко, курица яичко снесла, баба деду его отнесла.

Сердится, издевается, изгаляется, веселится.

А он ей в тон отвечает:

— Ко-ко-ко, ну и кто? Как зовут это никто: Ко-ко-ко, как имя его?

Сердится не на шутку, из рук вырывается. Но он держит крепко:

— Ко-ко, как зовут это никто?

— Я Лилит.

Отпускает руку, и она, златоволосая, исчезает, напоследок грозя сачком среброкованным.

С первым лучом проснулся, попил родниковой воды, умылся и двинулся в путь. Яркий солнечный день начинался настойчиво, звонко, упрямо. Он бодро шагал — подняться на ближайший каменистый уступ до жары, там наверняка родник. Вдруг с запада накатило: серое, беспросветное, будто бы позавидовав солнечному востоку. Почти побежал, но не успел укрыться: накатило, вымочило до нитки.

## 6. Про-рез-на-яаяя

Шел веселым солнечным днем, дороги не разбирая, по цветному Парижу. Бульвары. На площадь Бастилии повернув, затерялся в улочках, переулках, пока не уткнулся в серый, совершенно советский фасад. Господи, где и такое?

— О, нет. Это вы зря. — Первосвященник был в расположении духа менторски дидактическим.

— Простите, серость невыносима. Может, в ином деле простительна, но в нашем...

— В нашем не просто простительна — необходима.

— Ну, да, понимаю. Глупостей не наделать.

— Наделает, не наделает, кто это знает? Глупость глупости рознь. Глупость имя имеет. Моя — имя мое. Ваша, простите, — ваше.

— А серая глупость безлична?

— Безлична, а значит, ненаказуема. Уверена в себе и спокойна.

Что-то тогда их прервало? Что? Исчезло из памяти. В серости растворилось.

Высокий и седогривый, Первосвященник производил впечатление олимпийца, от пусташной земной суеты отрешенного. Но вззирающим с высоты на мелкое копошение был не всегда. Рассказывали, незадолго до его появления, тот отличился хулиганским поступком, вошедшим в анналы. Версии одна от другой, как всегда в таких случаях, отличались, но суть была в них одна.

Был в те времена влиятельный зам, приходившийся главному шефу то ли седьмой водой на родном киселе, то ли армейским дружбаном: ночевки в сырой палатке, сухарь на двоих. Этот

приятель отвечал за снабжение, дорогое и скверное. Мужик вороватый и не брезгливый, умный не слишком, жил напоказ: дом роскошью завистников убивал наповал, машины меняет чаще, чем женщины, до которых был смертельно охоч.

Краснорожий, ладони лопатой, выщипанная бороденка, кибуцник, оставив фамильное ремесло, выбился в люди, завел дорогие костюмы, сорочки непременно в полоску, галстуки цвета слегка перезрелого персика — к мясистому носу, набухшим щекам, выпирающему животу. Его одежда была красивой, пока висела на вешалках в магазине. Когда надевал, она верещала, рыгала, воняла, а порой жалобно, тихо стонала, скулила щенком, вышвырнутым на помойку.

Однажды кибуцник герра Ольсвангера чем-то достал. Прикинув, сунул цифры под нос, на что тот, обладатель фамилии Паз (золото, *иврит*) ответил грубо и, не будучи о репутации герра Ольсвангера осведомлен, даже заносчиво. Герр ни спорить, ни жаловаться не стал — не в его это вкусе. А на ближайшем сборище, удивив — такое за ним не водилось — вдруг попросил слова. Потом, когда огласил красноречивую цифирь, удивились еще сильнее.

Кибуцник побагровел, борода задергалась. Побратим побледнел. Настороженный зал затих. Последняя фраза провисла молчанием, которое, как воды плотину, взорвали аплодисменты. Мало кому безнаказанный Паз не успел насолить.

— Дурнопахнущий Паз вороватый!

Эта фраза, будучи эпилогом, стала прологом. Дурнопахнущий Паз вороватый подал в суд. Канитель длилась год. «Вороватый» было оставлено без последствий, видимо, суд решил, что это не оскорбление. А вот за «дурнопахнущего» обязал извиниться в том же собрании, где Паз был оскорблен, и заплатить некую сумму за ущерб его имени. Что, узнав приговор и ухмыльнувшись, Первосвященник и сделал.

Попросив слова, встреченный аплодисментами, он подошел к микрофону. Поднял руку. Зал нехотя стих, предвкушая. Речь была лаконичной, а ее окончание утонуло в аплодисментах и смехе.

— Уважаемый господин председатель собрания! Дамы и господа! Как многим известно, суд рассмотрел жалобу господина Пазы на то, что год назад в этом собрании, он назван был мной вороватым. Эту жалобу суд не счел оскорблением и жалобу отклонил. Тогда же и тот же был мною определен «дурнопахнущим». Это прилагательное суд счел оскорблением, обязав меня публично принести извинение, что я и делаю, хотя полагаю, что это слово в применении к этому господину уместно весьма.

По лицу Пазы эти слова растеклись багровыми пятнами, похожими на огромные, каждое в пол-лица, волдыри. Он поднялся, словно желая наотмашь ударить. Но, поперхнувшись несказанным словом, мучительно его проглотил, и оно птицей в силках забилось в гортани.

После этого сборища Дурнопахнущий Паз вороватый пропал, исчез, навсегда растворился.

Сказать, что дед новые названия не любил или же презирал, невозможно. Не замечал, не знал, не существовали. Когда малознакомый отзывался на это, его поправляя, реагировал дед медленно:

— Я ведь старый. Выживший из ума. Правда, некоторые считают, что я в него не вживался.

Но были среди новых названий такие, которые дед ненавидел. Их было немного. Но были. Однажды кто-то его поправил:

— Свердлова.

Дед поперхнулся, скривился, словно в рот залетела муха, и выплюнул:

— Прорезная! А тот был евреем и коммунистом, то есть большевицко-жидовской мордой.

Что касается названий, возникших на месте полей, оврагов, окружающих город, он их просто не знал. «Ну, там, на Нивках», при этом рукой помогая: «Мол, там, где земля закругляется».

Но и к старым, подлинным, настоящим названиям он относился по-разному. Одни не жаловал, бормоча, к другим относился вполне равнодушно, артикулируя скороговоркой, небрежно. Но любимые выделял, произносил их, смакуя, как дегустатор, перекаत्याющий глоточек во рту. К одним любимым полагался плавный, продолжающий длинную улицу жест, к любимым другим — жест решительный и короткий, как переулочек в несколько неприметных домов.

Так в его памяти названия и остались с прилившими жемами и смятением губ, не смеющих прорваться в улыбку. Дед говорил: Про-рез-на-яяя, словно с трудом поднимаясь от Крепцати-ка к Золотым облезлым воротам, минуя безобразные здания, возведенные пленными немцами в стиле, дедом определенным: сталинский (пауза для не артикулировавшегося слова) вампир.

Он вместе с дедом шел, по Про-рез-ной поднимаясь, чем выше, тем медленнее, неспешней — и не в одышке дело, хотя улица была изрядно крутой. В отличие от начала улицы, дальше шли дома постройки старой, любимой, родной.

Шли, поднимались, и шло, поднималось выше руин Золотых ворот, выше белоснежной и бирюзовой колокольни Софии, видневшейся справа, возносилось в голубизну, после заката сгушавшейся в сапфировый свет, и, тая в пространстве, Борисфеном в Понт Эвксинский впадая, задевая краешком вечность, Господи, прости и спаси:

— Дед, почему Про-рез-на-яя?

Он ехал издалека. Вместе с караваном *болхей Русия* (идущие в Русь, *иврит*). Откуда точно — не знали. Говорили, из городка на реке под названием Рейн. Еще говорили, что он учености знатной, хотя молодой. Вот и надеялись: приживется у них, а со временем, может, в учености даже сравняется с прежним жрецом. А тот ведь был знаменит, к нему нередко хаживал ученый монах знаменитый, который самому великому князю осмеливался говорить нелестное слово. Звали монаха игумен Федосий, и жил он в пещерах с братией далеко: от Козар путь неблизкий, но, говорят, приходил по ночам, о святых книгах с жрецом говорить, мудрости от него набираться.

Там, где река Почайна, что на языке здесь живущих славян означает «вода», ответвляясь от Борисфена и устремляясь от Вышгорода параллельно великой реке, отделяясь лишь узкой песчаной косой и единясь в половодье, там, где она в своем устье принимала чужеземные корабли, за что притыкой наречена: здесь притыкивались суда, где великий киевский князь Владимир язычников окрестил, там начиналось предместье Козары. Оно тянулось от прибрежных песков к холмам, нависающим над предместьем, словно изгнание над еврейским народом. И еще: место сырое, гиблое место. Но разве гость выбирает место за хозяйским столом?

Умер в Козарах жрец. Вот и позвали другого. Хоть приносить жертвы запрещено, хотели, чтоб был у них жрец, которому Всемогущий и Всеблагий посылает небесный свет, озарение, чтоб передал всем евреям, верящим в единого Бога, где бы ни жили, в Иерушалаиме или здесь, в древнем городе по прозванью Самватас, который иные в Европе называют обычно именем Манкерман. А есть и такие, что называют его именем перевоза через Борисфен и Почайну, именем Киев.

Весной, в самом начале апреля, обломилась неделя. Работы было немного, его очередь далеко, и Первосвященник его отпустил. Погода была неустойчивой: то несколько жарких дней, то дождливых, он предложил: на север, она согласилась, молчаливо и, как всегда, без восторга. Что подделаешь, восторгаться человек не привык, не приучен. Бывает. Сын еще не родился, свободные, могли податься, куда глядели глаза. Его глядели на север, вот, не спеша, покатали.

Поздно вечером были в городе каббалистов, а утром пошли по улочкам, заглядывая в прославленные синагоги, добрались и до кладбища. Тут она взбунтовалась: ей были неинтересны ни улочки, ни синагоги, ну а на кладбище совсем ни к чему.

Ладно, пошли посмотрим художников. Салоны, салончики, лавки, лавчонки, под стеклом, под открытым небом. Он шел чуть быстрее, чем ему бы хотелось: видел — ей это скучно. Было немало откровенной мазни, вторичной, третичной, безвкусной и разной. Но были и вещи, его поразившие.

Он знал о художниках, у которых в начале творения была обычная буква. Приходилось видеть такие работы, но здесь их было великое множество. Мимо одних проходил, у других останавливался, но втянулся, увидев, что буква, в ритм композиции попадая, графически изменяется. Так ветер паруса надувает, стихает, и они обвисают, трепещут и замирают.

Одна из работ его пригвоздила. Мгновенный порыв — и мелкие, неуклюжие буквы, словно собранные случайно, вдруг, единясь, не в слове — но в ритме, идут неуклюже и, встрепенувшись, бегут, словно растущие дети. Буквы растут, что-то движение задает: ввысь и вперед, пока, ломая, не закружит водоворот, понесет речная стремнина, и, взорвавшись, слабея и обвисая, они неровным усталым строем плетутся, друг с другом связь потеряв, и валятся от усталости. И все затем, чтоб, встрепенувшись, с места сорваться, помчаться и полететь: ввысь и вперед, не разбирая дороги — олень по весне, о деревья обламывая рога, с которыми жить боле невмочь, освобождая дорогу новым, растущим, жить не дающим и жаждущим корма.

Он стоял у прилавка, над которым висела работа. Буквы, возникшие в нижнем углу, поднимались диагонально, и там, где кончалась дорога, крутая, как излюбленная дедова Про-рез-на-яя, ритм движения пресекался, словно ветер затихал навсегда, отпуская обвисшие паруса на свободу. Вот и случилось. Ветер утих, ритм сломался, и буквы рассыпались, потеряв, что скрепляло, и они, оставленные на свое попечение, обрели ту свободу, о которой, несомые вихрем, кружимые медленно-плавно, они, наконец, обрели, взойдя, а может, взлетев, как по лестнице, из конца нижнего в верхний, где друг с другом утратив связь, утратили образ, подобие, распавшись, вернулись в небытие, откуда и были извлечены, пронесшись в потоке из финикийского забытия в небытие дождливого горного Цфата, города каббалистов, поэтов, художников, одни из которых известны, другие забыты.

С купленным и тщательно упакованным пиршеством букв он осмотрелся: ее нигде не было. Зашла в магазин укрыться? Но дождь уже кончился. Заглянула в кафе, ест пирожное, пьет кока-колу? И там не нашел. Нервничая, пошел, почти побежал, благо, как все в этом городе, гостиница рядом. Тихо сидела в кровати. Телевизор исходил страстями, орал женскими визгливыми голосами и хрюкающими мужскими: кошки с котами весной.

И впрямь, ведь весна. Начало апреля. Погода была неустойчивой: то солнце, то дождь.

Не сказав ни слова, он развернул покупку. Кроме большого, там оказалась и маленький лист с наклейкой-рекламой в углу: подарок. Из буквами очерченной глубины, поднимался над жертвенником густой, редущий дым, из глубины вырастая, от нее отделяясь, возникали воздетые в жреческом благословляющем жесте, открытые в пространство ладони. Жрец-художник, спасший его от дождя, напоследок благословил.

Присмотрелся: буквы слагались в благословение, которым жрецы благословляли народ:

**Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит Господь лицо Свое и помидует тебя! Да обратит Господь лицо Свое к тебе и даст тебе мир!**

(В пустыне, Бемидбар 6:24-26)

Это было неожиданно, долгожданно. Оглянулся. Спала. Он выключил телевизор.

Телевизор занимал в ее жизни особое, мало с чем сравнимое место. Она впивалась в него, словно в никчемном ящике высматривала судьбу, ее тайные знаки выглядывала. Впивалась взглядом сытого варвара, только что сожравшего сердце врага.

Она глядела в экран, а он смотрел на нее, сперва поражаясь, зачем связал с ней, а может, точнее, с ящиком, судьбы свою и сына. Лицо ее не было очеловечено ни радостью, ни страданием. Со временем он научился понимать ее непроизвольные реакции на экран. Случилось, словно в научном опыте. Факты на заданную самим себе тему копились и множились, но их смысл раскрывался вдруг, мгновенно, случайно.

Пришел поздно вечером. Открыл дверь ключом: подниматься от телевизора она не любила. Вспомнил: дед вообще ключ не носил. Когда возвращался, бабушка всегда была дома, а если случалось в кои веки ей отлучиться, дед был заранее предупрежден, и открывать ему дверь призывалась Настя.

Сын уже спал. На экране — поляна, во весь экран — белизна, белизна, белизна. Но оказалось: не бесконечна, вырезана из зеленого, темнеющего в глубину пространства, из которого с разных сторон осторожно, благородно ступая гвардейцами на плацу, на параде, маленькие фигурки оленей. Режиссер скомандовал крупный план, камера выхватила из бело-зеленой пустыни сперва одного, затем другого красавца-самца. Они, ступая вальжно, направлялись друг к другу, подняв гордые головы, словно на подиуме манекенчики. Шерсть лоснится, пар изо рта, ноздри раздуты, губы воздух жуют.

Ее глаза мечутся, одного взглядом лаская, испепеляя — другого. Один, чужой, идет медленно, неохотно. Другой, родной, идет решительно, учащенным дыханием себя подгоняя. Чужого к самке гонит инстинкт. У родного к инстинкту примешан, словно соль к зимней сухой, подснежной траве, ее, самки, безумящий запах.

Напряглась: рот приоткрыт, словно олени с экрана импульс страсти и битвы ей посылают. Блудно блуждает улыбка. Вздрогнула, Анна, завидев в победном мыле Фру-Фру, задрожала, часами Дали банальненько растеклась.

Дед однажды ни с того ни с сего — с ним такое случалось — вдруг заявил:

— Блестящая Фру-Фру, как по мне, замечательнее блестящего Вронского. Был бы я Анной, непременно во Фру-Фру бы влюбился.

— Кажется, Фру-Фру не жеребец, а кобыла.

— Быть такого не может.

На экране один — она улыбнулась, словно узнав знакомого и родного — сделал решительный шаг, а затем зачастил, голову опустил, рога выставил перед собою, и теперь камера была только с ним, за него, отвлекаясь на общий план, чтоб представить соперника, бегущего с ним сразиться.

Он ее победитель, он сражается за нее. Какая разница: рыцарь он, трубадур — впрочем, нет, трубадура не надо — с мечом или с рогами. Он сражается за нее!

Еще мгновение — и скрежещущий грохот, рогов ветвистых узоры схлестнулись: сплелось, брызнуло костной пылью, победой и поражением. Снежный занавес вспыхнул, скрыв от зрителей

и оленей и на заднике ристалища лес. И когда белый дым, опадая, рассеялся, ее победитель, гордо вскинув рога, торжествуя, легкой звенящей пробежкой, провожал несчастного побежденного.

Могучее тело самца-победителя окутало облако: белый, восходящий над снежностью пар, словно жертвенный дым, наполняясь запахом победителя, истомой победы, пота, вражеской крови, поднимался над бело-зеленой скудной землей в высь голубую, где еще шаг, еще лишь мгновение, и он, настигнув, на нее взгромоздится, запрыгнет, вонзится в ждущую, жаждой отверстую плоть, все сильней, невозможно сильней, огонь разжигая, будет томительно долго утолять безмерную жажду, а, обессилев, неуверенно отойдет, оглянувшись на того, на себя, который, едва рога не сломав, несся неудержимо, необузданно, неукротимо.

Еще бы вниз большой палец направив, потребовать смерть. Сухие губы. Глаза, маленькие, посажены глубоко, бегают и горят. Вздогнула, словно рвоту, извергнув, животную жажду.

Экран на мгновение погас. В мире животных наступила пора иного сюжета, кошачьего, милосердного.

## 7. Взгляд

Из небытия, из забвения первым всегда появляется взгляд, и только потом, и то не всегда, — лицо, фигура, слова. Все это взгляд вытаскивал за собой, как удочка рыбу. Открыв, удивился: приметливым себя не считал, какие глаза у кого, не помнил. Попробовал описать дедов взгляд, самое близкое, и не смог. Чувствовал, словам неподвластным образом ощущал, но сказать, какой он, не получалось.

Пробовал. Слова трепыхались, мелко дрожа рыбешкой на остром крючке, но словам, всегда могучим, всевластным, дедов взгляд не давался. Так роль не дается актеру: сделано точно, отменно мастерски, но не исчезает зазор между актером и ролью.

Малый пшажок, еще полпшажка. Нет, не дается: пугливая лань, не словить, лишь застыть, издали любоваться. Но и она любопытна. Стоит, поводит ушами, миг не пропустит, когда прощуршит — мелькнет, скользнет и отпрянет, избирая, камень, опору, взлетит, воспарит, вознесется. Глянь — уже за холмом, за шеломянем то есть.

Так и взгляд: пуглив, любопытен. Из небытия в бытие путь мгновенен и бесконечен. Как там — без меня? Почему без меня? The time is out of joint... Времен связь распалась? Зачем и кто их призван to joint?

Зачем? Потому что — взгляд! Жить без него тяжело! Опасно! Словно в ботинках со скользкой подошвой по тонкому безлюдному льду на берег идти, ползти, пробираться, по ломкому, словно кость старого человека, опасному словно *шурш*, которая в горле, или та, что течет подо льдом — впасть в Енисей, в могучести его раствориться, унести в нее дедов взгляд, без которого тошно на свете.

Взгляд! Он взбегает по лестнице, задевая вверх и вниз снующих по ней вестников-ангелов, Господних посланцев, несущих на землю вести добрые и дурные, несущих к сапфировому подножью престола с земли слова благодарности и проклятья.

Взбегает, распахнута дверь, он несется по коридору, огромному, длинному, темному, по тоннелю, по коридору, по которому ездил на трехколесном, велосипеде. Из столовой — звуки настенных часов, если успеет домчать до конца коридора, пока те отбивают медное время, значит, он победил, значит, он добежал, успел и увидел.

Он бежит, но с тех пор, как исчез коридор, в памяти ни разу не возникая, вместе со связью времен в тартарары провалился, тоннель растянулся — до конца не дойти, вовек не доехать. Да, это не коридор, а может, и коридор, презревший горизонталь, вертикаль возлюбивший. Представьте себе коридор, длинный, огромный, совсем бесконечный, поставленный на попа.

— Коридор?

— Ну что ты, таких не бывает.

— Если не коридор, то что?

— Вам, конечно, милый Плутарх, это простительно. Латынь, вероятно, не столь вам близка, как родное наречие беотийское. Но все же, но все же. Это ведь лестница! Как же вы не заметили?

— Простите, конечно, мой милый друг, вы правы. Просто вылетело словечко. Бывает?

— Конечно, бывает. Хочешь что-то сказать, а словечко, самое неказистое, гадкий утенок, серенький, незаметный, о себе возомнит и взлетает.

— И кружит словно коршун, высматривая добычу. Взгляд у коршуна острый, пронзающий, злой.

— Так, именно так. А глупцы на земле, жрецы, гадалки, предсказатели думают: коршун, важнейшая птица. Смотри на нее и читай, что говорит, что пророчит. Войну? Смерть? Побе-

ду? Славу? Забвение? Ха-ха-ха, и не знают, глупцы, не ведают, что это не коршун, и вовсе не птица, и даже, представьте, совсем не живое! А забытое слово! Умора.

— У моря, у синего моря? Или — а more? Простите, мой друг, не расслышал.

— Бывает. Умора!

— Умора? Смешно?

— Ну, конечно. Умора! Эй, мальчик, вина! Божественный фалерн!!! Скорей, мой еврей!

— Вы купили еврея-раба?

— Представьте, мой друг. Божественный мальчик. Ко всему, посмотрите: светловолосый. Среди евреев-рабов случается редко, почти никогда. Одним словом, хоть и ворона, но белая. — Засмеялся, захохотал, зашелся. — К тому же неглуп, надо отдать мальчишку учиться.

— Чтобы продать дороже?

— Пройдет пару лет, вырастет, повзрослеет, тогда и продам. Приведу сам на рынок — знаете, люблю иногда поразвлечься, сбросив белую тогу — и буду расхваливать: «Еврей! Обрезанный раб! Белоснежная кожа! Обучен! С ним познаешь медовую сладость! К тому же учен, словно жрец! Книг переписчик и сочинитель!»

— Не слишком?

— Нет. Вот послушайте, что он мне рассказал. Чем больше, говорит, узнаю я о Риме, тем больше дивлюсь, как это на нас, евреев, похоже. Жрец Юпитера не может прикасаться к закваске. Совсем как у нас на Песах. Рим основали братья Ромул и Рем. Когда их родила весталка, царская дочь, детей у нее отобрали, положили в корзину и бросили в Тибр. Корзину прибило к берегу, совсем как Моше. Их вскормила волчица. Когда выросли, братья решили основать город на Паладинском холме. Ромул выбрал одно место, а Рем, понятно, другое. Во время ссоры, как Каин Авеля, Ромул Рема убил.

— Сколько же просите за него?

— Недорого, всего двести тысяч.

— Ну и ну. Целое состояние!

— Вы только взгляните. Ну да, товар не дешевый, но, увидите, стоит того.

— Почему же его продаете?

— Даже фалернское, пей день-деньской с вечера до утра и с утра до самого вечера, и то наедет.

— Это слова, только слова. Пустое. А двести тысяч сестерций — целое состояние. Хотите сто тысяч?

— Ну, это вы зря. Не о сестерциях — о словах. Слова, и только слова важны в этом городе. Слова порождают сестерции, а за деньги не любое слово можно купить. Слова! Слова можно выплескивать. Словно воду или на жертвенник вино. Слова можно ронять, словно... Бог его знает, с чем это сравнить.

— Можно сравнить с чем угодно, а, значит, ни с чем.

— Истинно, милый мой друг Плутарх. Истинно, верно! Вина! Быть вам в Дельфах жрецом, уловлять Пифии бормотанье, гекзаметром уловлять, словно — кто-то наемни сказал, кто же сказал? Не помню — сказал какой-то маленький оборванец: «Сеть, сказал, рыбаки, людей, нет, постой, не людей, человек», и он не знает, как вы, милый друг, латыни, представляете, человек.

— Милый друг, не пора ли нам отдохнуть?

— Пожалуй, ты прав, Плутарх. Хорошо б отдохнуть. Только, милый жрец, нет, погоди, все не так, милый лжец, нет, снова не так, вот: милый жрец, погоди, дай-ка мне вспомнить. Тот оборванец еще говорил, что есть во всей ойкумене лишь одно главное слово.

— Какое?

— Не вспомнить. Надо оборванца того отыскать. Сейчас уже ночь. Прощай, милый друг, завтра я на поиски отправляюсь! Эй, мой славный еврей, прикажи моим именем двум рабам, тем, что покрепче, постарше, взяв факела, друга Плутарха, жреца, домой проводить.

Это только казалось, что коридор вертикален и бесконечен. На самом деле был виден конец, освещенный ослепительным светом. Смотреть было больно. Взгляда дедова не увидеть. Оттуда, из света лилась то ли песня, то ли молитва о единственном слове, оборванцем произнесенное, вылетевшее из памяти Луция Местрия Флора:

**Say the word and you'll be free  
Say the word and be like me  
Say the word I'm thinking of  
Have you heard the word is love?**

**It's so fine, It's sunshine  
It's the word, love.**

— Вам срочно необходимо научиться радоваться.

— Чему?

— Да всему на свете. Неумение радоваться не только пробел в вашем, простите невежливость, воспитании, но и грех непростительный.

Первосвященник был прав. В отличие от деда, на которого он — так все говорили — был очень похож, и внешне, и повадками, даже жестами, он радоваться не умел. Точнее, радость всегда была скоротечна. То, чего хватало другим на недели, на месяцы, ему доставало на полчаса. И то при условии, что ничего не отвлекало.

— Смотрите, какой удивительный цвет! — Первосвященник радостным взглядом растекался по рюмке. Янтарный цвет хорошего коньяка вызывал у него неподдельную радость.

Вспомнил: вообще его взгляд выдавал настроение, то цепкий, въедливый, неотвязный, которым буравил, а то растекающийся, которым ласкал.

Неумением радоваться они с ней — единственно в чем — были схожи. Она, правда, и печалиться не умела. Но это не в счет. Ее можно было назвать даже красивой. В конце концов, на вкус и цвет, как известно... Кокетничая, возглашала:

— Не красивая, симпатичная.

Можно было б назвать, но взгляд выдавал: тусклый, блуждающий, блеклый.

## 8. Арка триумфатора Тита

Нередко, встречаясь, они подолгу молчали: обоим хотелось слушать больше, чем говорить. Однажды, когда разговор не клеился, Первосвященник в ответ на молчание вдруг сказал:

— Знаете, слово может быть не только сказано или написано, оно может быть выткано. Об этом — история Филомены. Фракийский царь Терей, женатый на дочери афинского царя, вступил в связь со свояченицей Филомелой и вырезал ей язык, чтоб молчала. Филомела выткала на платье несколько слов, чтобы все передать сестре, и та, из мести убив своего сына, подала его на ужин Терее.

Он продолжал молчать, и тогда Первосвященник сказал, огорошив:

— Вас ведь, простите, прозвали Жрецом не случайно. Вы умеете говорить с Богом, а не с людьми.

— Попробую научиться.

— Ну, да. Попробуйте.

— Что, не получится?

— Простите...

— Что, приходится выбирать между Ним и людьми?

— Нет, не приходится. За вас выбрано. До рождения.

Однажды Первосвященник послал его консультировать. Дорога была неблизкой, хотелось до ночи вернуться домой, потому выехал, едва рассвело. Было свежо, но солнце, примостившееся на горизонте, словно птица на проводах, начинало уже припекать. Вчера долго решал, какой дорогой поехать. Одни советовали короткой, вдоль иорданской границы, другие — более длинной, зато намного надежней.

Решение было принято соломоново: туда — той, что короче, обратно — которая понадежней. Через пару часов заехал заправиться и размяться. Небо уже затянуло, и только отъехал, сразу же хлынул дождь. Переждать? Только где? Не возвращаться ж обратно.

Ехал, словно в тумане плыл: настоящий потоп, но и он прекратился, и сквозь последние капли — огромная, во весь горизонт, от края мира до края семицветная полная радуга, к которой, добавив скорость — высыхал горячий асфальт мгновенно — он и помчался. Одни говорят, радуга — знак неудачи, другие — напротив. Он считал, что к удаче: красота не должна быть знаком дурным, потому что не может.

День получился удачным. Лишь в одном случае заколебался и, Первосвященнику позволив, услышал те же сомнения. Надо было решать. За обедом с коллегами обсудив, за кофе принял решение. Как оказалось через неделю, оно было верным. Но уже и тогда, колеблясь, он почувствовал: окажется прав.

Обратно, как и решил, поехал длинной, надежной дорогой. Поехал — и пожалел. Что-то случилось, ехали долго, вполшага. Радио надоело. Музыка не было — хрипы. Вспомнил раду.

Пытался представить — и не сумел. На семь цветов воображения не хватило, а даже без одного все выходило искусственно, скверно, ущербно.

Зато вспомнилась римская арка Тита, от нее до форума два шага. Он жил неподалеку от Колизея. С него и решил начать. Но возле касс не было никого. Колизей был закрыт. Подумал: у гладиаторов забастовка. Как в воду глядел. Итальянцы занимались любимым делом. Они бастовали. Пока поднимался наверх, к Триумфальной Титовой арке, внизу загудело. Бастующие веселились, орали, махали красными флагами. И впрямь, чем не праздник?

Настраивался пройти рядом с аркой — евреям под аркой римской победы, еврейского разорения проходить испокон веку было не принято — быстро, не слишком задерживаясь. Но искусство оказалось выше истории, древней, но не забытой.

Совершенная простота, что в искусстве, что в жреческом деле его манила всегда. Манила, и вот — заманила. На глаз высота с шириной почти совпадали, а глубина облицованной мрамором арки была около трети, тоже почти совпадая с шириной пролета. В пропорциях, красоте толк римляне знали.

Титовой аркой начиналась дорога, ведущая к Капитолию, дорога, по которой в триумфальной квадриге — веером кони — поднимался вознести жертву Юпитеру Тит-триумфатор. Победа над Титом простерла венок, лошадей ведет *dea Roma*, покровительница Рима. Тит в центре, вокруг — огромное шествие: в камне всего несколько человек, но ощущение огромной толпы. Это правый рельеф, а на левом — в победных венках солдаты, горды, величественны и спокойны: Рим — мира хозяин, как же иначе? Туники подпоясаны, на длинных носилках несут трофеи: семисвечник, трубы и жертвенник.

Только вчера еще школа, серое небо, вороны и дождь. А сегодня — окна распахнуты, солнце, тепло, щебетанье, и ка-ни-ку-лы, огромные, во все лето, бесконечные, целая жизнь. Хочется посмотреть, что там, на улице, но встать неохота. Ворочается, пытается решить: как посмотреть, что за окном, не вставая. Ничего не придумав, едва не заснул, но стекло задрожало, за окном застучало, зафыркало, и тут он не выдержал, подскочил. Прямо в окно, на него смотрела лошадиная морда. *Алте захен* (старые вещи, *идиш*).

Но не успел. Когда, на бегу одеваясь, он выскочил, подвода, подпрыгивая и пятаком знаменитым звеня, была внизу, далеко: неуклюжий корабль, возносясь на волнах и опадая, несется в каменных, скалистых, над водой нависающих берегах.

Оглянулся. Дом из желтого кирпича, оштукатуренный, но облезлый. Удивился: ведь это был не его дом, но — дедов, но что-то отвлекло, потянуло, и темная подворотня сменилась двором: с одной стороны нависала гора, забор и сарайчики, с другой — желтая глыбина дома. Он проплыл по двору и вышел на берег, круто спускавшийся над водой. Что-то опять потянуло, и он забрался наверх, согнувшись, за траву и кусты цепляясь. На ботинки налипла земля, но он упираясь, земля разъезжалась, чавкала, стараясь стащить с ног ботинки. Как он дальше полезет?

Но вылез, выполз, мокрый от пота, довольный. Наверху под ногами посуше, перед ним расстилась поляна: желтые одуванчики только-только пробились из нежно-зеленой травы, над вершиной горы — попробуй забраться — голубело, а внизу соседская девочка с розовым бантом огромным сачком уловляла слова-бабочки, слова-лепестки. Говорить она еще не умела. Но весна! И, уловляя слова, как рыбаки людей, она вот-вот научится сопрягать звуки, иначе сачок для чего?

Представил: как у Дали, бабочки-паруса, лепестки-паруса. И — это уж от себя — огромный сачок, который темно-зеленые подручные тени ему в руку вложили. При чем тут сачок? Он вятно сказал. Не слышат? Не понимают? Нет, он неправ. Действительно, нужен сачок, им он уловляет дымок, поднимающийся от земли, дымок, выходящий из памяти рыхлой, из аморфного подсознания. Он ищет слова, которые уловит сачком и подарит девочке с розовым бантом. Разве не в этом служение, чтобы ребенок, слова уловив, начал их единить? На нее вся надежда, ведь слова утратили власть над добром и злом. А может, они в мутном экране уснули, и надо во что бы то ни стало их разбудить?

Он поднимает голову вверх. На вершине кто-то танцует то величавый, чопорный менуэт, то пляшет безумную, бесстыдную кукарачу. Присмотрелся и поразился: буквы. А может, не буквы, но бабочки? Или одуванчики, разлетевшись, в таинственном жреческом танце, шаманят?

Опять повело, потянуло, против воли вверх потащило. Ладони в порезах, хватается за траву, за ветки деревьев и за кусты. Еще немного — уловит он одуванчик, хоть знает, тот не выдержит — разлетится лепестками-словами, неразборчивым бормотанием Пифии, на треножнике сидя, вдыхая пары, издающую мутные звуки. Их посвященный, жрец Аполлона дельфийского, способен сачком уловляя, гекзаграмму в слова обращать.

Согнутый в три погибели упрямый мальчишка, а может, старец согбенный, внук или дед, он медленно тащится вверх, и видит, голову поднимая: буквы бег прекратили, застыв, как на белом

листе. Из их беззвучного танца явились дедовы руки, жреческим жестом благословляющие его, и девочку с розовым бантом, и одуванчики, и слова.

Подходит, хочет спросить, но не знает, можно ли говорить. Говорят с человеком, пусть даже с самим собой. В крайнем случае, с кошкой, собакой, домашние звери речь понимают чуть лучше людей. Но можно ли говорить с руками жреца? Он не знает, и на всякий случай молчит, вдруг припомнив знаменитое Нюрино:

— Молчащий дурак сойдет и за умного.

Услышав ее афоризм, дед долго смеялся, а за обедом молчал: благодарил кивком головы, жестом просил передать.

Он смолчал. И опять его потянуло. Пошел, и вскоре вместо мокрой травы под ногами захрустел желтый песок. Ноги высохли, припекало. Вытащил из кармана панамку, которую бабушка всегда напяливала на него. Наконец пригодилась. Он ее не терпел и, скрутив, прятал в карман.

Сперва шел вдоль реки, мутной, пересыхающей. Потом ноги утонули в песке.

Шел, поднимаясь все выше, шел вдоль горы, как оспинами лицо, покрытой пещерами.

Шел, видением себя развлекая: ветер рыщет, ревет, стараясь найти в мягком камне малую червоточину: расширить и углубить, в тайное тайных пробраться, и уж там порезвиться, двоволь поизгаляться.

Начинало темнеть. Наступала душная, потная, голая ночь. Идти дальше было опасно: злые звери и хищные люди. Отыскал пещеру, рядом с которой из скалы сочилась вода. Подумалось: может это родник, пробитый посохом Моисея? Все сходилось: пустыня, пески, безводье, и вот, родник с холодной, сладкой водой, прекрасной, словно вино, которым замечательно запивать острый сыр с пшеничной лепешкой, маслины, инжир сушеный.

Ел не спеша, медленными глотками еду запивая. Насытившись, как праотец Яков, подложил под голову камень и тотчас уснул.

Ночь над ним аркой триумфатора Тита нависла, от бед охраняя.

## 9. Карфаген треугольный

Это случилось в те жестокие времена, когда треугольники отношений должны были быть всенеизменно разрушены. Карфаген. Дуэль, яд, наемный кинжал — детали зависели от места и времени. Но когда он женился, времена изменились. Треугольники стали выходом, бегством, спасением для тех, которые брезгают ядом, дуэлью, наемным кинжалом. Но им не довелось дожить до спасительного треугольника.

— Не было?

— Было.

— Человек помнит то, что хочет он помнить.

— Или то, что не может забыть?

Было, случилось в жестокие времена.

— Империя зла?

— Империя страха.

Было: взгляды, касания, звуки, похожие на слова, как зародыш — на человека, со-вращение, отталкиваясь, приликая, и снова, крутая, вниз петляла и падала детская улица в лужах. Возносясь, становилась рекой, несущейся в Борисфен, кромсавший суденышко на порогах: они то взлетали, то падали, глаза безнадежно зажмурив. Одним словом, неточным, расплывчатым, совершенно неясным: их повело, закружило и завертело.

Откуда? Откуда она? Явилась — откуда? Из пены морской, из случайного сплетения звуков, из радужного ослепления? Их горчащей сладости воскурения?

И ночью стал день. И днем стала ночь. Солнце — луной. Луна стала солнцем. И время в вечности растворилось: шепотка соли, брошенная в Великое море.

Со стороны, сливаясь, казались цветком, который юлой вращался. Его движение все пожирало: лица, фигуры, слова. У юлы какие слова? Дрожание. Дребезжание. Безгласная молния шаровая. Вот и о них ничего не знали. Дед, был рад, хоть и глядел с опаской: юла, прекращая вращение, понятно, что упадет, дай-то бог, чтоб не слишком уж больно. Молния шаровая исчезнет, в небытие уходя, пропадает, выжженный след оставит.

— Юла? Молния? Вы о чем? — Думали, притворяются, а они не понимали.

— К чему это? — Ведь зародыш из звуков превратился в слова, понятные, ясные, внятные.

— Понятные только вам?

— А хоть бы и так.

Так отвечали всем, кто о них говорил, их обсуждал, о ней и о нем судачил.  
А дед, глядя на них, повторял то, что выучил в детстве у отца своего, которые тот от его деда узнал, а дед — у отца своего, его прадеда...

**Голос любимого моего: вот он идет,  
скачет он по горам, прыгает по холмам.**

**Любимый мой подобен газели или молодому оленю,  
вот он стоит за стеной — смотрит в окно, глядит сквозь решетки.**

**Ответил любимый мой, сказал мне:  
— Встань, моя милая, прекрасная, подойди.**

**Вот, зима миновала,  
дождь прошел, миновал.**

**Показались цветы на земле, время соловья наступило,  
и слышен голос горлицы на земле.**

**На смоковнице завязались плоды, пахнет завязь лозы,  
— Встань, моя милая, прекрасная, подойди  
(Песнь песней 2:8-13).**

Это был сон? Из которого он вывалился в реальность? Или — реальность, из которой он проваливался в сновидение?

Он медленно, очень медленно шел, плелся, без цели, без направления, без разбора. Шел, втянув голову в плечи. Шел, наверное, дождь. Какой же в здешних краях летом дождь? Или он вернулся в желто-кирпичное детство?

Плывет по Почайне, текущей вдоль Борисфена, с могучей рекой соревнуясь, и, обессилев, словно борец на Парнасе, на склоне, в аполлоновых Дельфах, впадает, желтым бессильным листом опадая.

А может, Почайна сочится с горы, исчезая в тоннеле, из которого пьет город жрецов. Им не суждено от врагов город свой отстоять, Господь их рассеет, унесет в вечный город, где не Почайна, а мутно-зеленый Тибр?

Это был сон, тревожный, все-таки сон, который как бы мучителен ни был, страшен не так, как реальность: из сна можно уйти, отбросив, проснуться. А куда уйдешь: он ее проводил, и она сокрылась в чреве, ее поглотившем, словно Иону. Дожидался на площади, на солнцепеке, когда улетит, и только тогда открыл сумку, в которую она положила ему бутерброды. Поев, слонялся до вечера, базар был роскошен, но денег осталось в обрез, хорошо, что в поезде сердобольные пассажиры, увидев, что отворачивается, его покормили.

Когда спохватились, билетов, конечно же, не было: «Молодые люди, не тратьте время, не было и не будет». На тридцать первое августа: «Милый внучок, ты идиёт?» — в такие минуты бабушка умело акцент изображала. И все-таки получилось: один на поезд, один на самолет. «Врозь, ну и что? Одна только ночь».

Поселились на окраине Фороса, не ставшего еще знаменитым. Лачуга. От берега близко. Оглядев, в греческой позе, она:

— Не жилье, на бедность налог.

Открыла окно:

— Что-то с нашего острова Александрия совсем не видна.

Тогда он не понял. Решил — просто дурачится. Лишь съездив через целую жизнь в Египет, когда их Форос, окутанный тайной, давно прорвался в историю, узнал: по-гречески *форос* — «налог», и что это не только название скромного поселения, но изначально — остров и гавань древней Александрии.

Вниз сотня метров глины с песком крутого обрыва и — галька, море, скала. На поллачуги — матрас. Над ним на стене — ветхий вышитый коврик: деревья, как бы зеленые, звери, какие, не разобрать, что-то грязное на пригорке. Такие привезли с войны победители, всю жизнь завидовавшие побежденным.

Умывальник у входа с зеркалом, режущим лицо пополам. Раз вместе в зеркало поглядели. Трещина рваным зигзагом друг от друга их отсекала.

В красном углу паучок, икона из паутины. Под окном в человеческий рост лопухи, пыльные, как искусство с моралью, плоской, как галька, секущая волны. В окне с утра солнце, ночью — луна, а может, и нет, кто его знает, кому интересно?

На берегу, под скалой с татарским названием — узнали значение: черный палец — он сложил из плоских камней очаг, она его «жертвенником» окрестила. Кипятили воду в жестянке, варили яйца, жарили колбасу. С топливом было плохо, он рыскал по берегу, собирая не слишком мокрые ветки, шишки и щепки, особо ценной была бумага.

Впрочем, это он называл скалу Черным пальцем, она по-своему ее нарекла, в тихую минуту услышав шелестение волн или ветра. Она нарекла ее Лорелея.

Однажды специально выбрался в город, купил пачку газет. Растопка пошла быстрее. Разорванная на клочки, газета сгорала мгновенно, успев подсушить мокрое топливо. Дымок, стелющийся у подножья скалы, крепчал, вытягивался, вырастал, словно юноша из ребенка, поднимался все выше, окутывая вершину Черного пальца, на небеса указующего, и рос, восходил, в облаках исчезая.

Влажные ветки и щепки шишели, трещали, но огню поддавались. Тот был настойчив и терпелив, и когда топливо подсыхало, огонь, торжествуя, вздымал сперва беловатый, а затем стоящий, черным пиратским флагом мятущийся дым.

Он возился с огнем, переменчивым, ненадежным, капризным, она любила следить за движением дыма от скалы по берегу, плоско лежащего под нависающим над ними обрывом, по берегу, за который веками, день ото дня, неустанно с землей воевала вода. Насытившись видением дыма, усталостью одиночества, она возвращалась, тиха, молчалива, словно ее слова он, приносящий жертву, с дымом вознес, вернув в небеса.

Вместе с газетами, заглянув на базар, не по-южному скудный, он купил ей цветы: нарциссы и лилии, других на базаре и не было. Бабуля претенциозно — у нас, мол, не хуже, чем в городе — сотворила букет: переложила цветы какой-то колготочей травой, завернула в газету. Еще он купил ей фруктов (их было немного, в основном только яблоки).

Зашел потный и пыльный, в шортах и майке, в одной руке фрукты, в другой — цветы. Смеркалось. Вошел — она перед ним. Соткалась, положила руки на плечи и, лаская, опустилась перед ним на колени, его обнажая. Его тень падала на нее, и он ощутил ее теплое небо, горячие губы и легкоскользящий язык. Миг вечностью обернулся, и время остановилось.

Задрав, выронил фрукты, цветы. Яблоки покатались, лепестки, белоснежно взлетев, тихо опали.

На левую руку голову положила, правой он ее обнимал. Со стены огромными, вполморды глазами на них смотрели пугливые лани, недоверчивые газели. А вдали, над горой поднимался дымок, унося души в небо.

И он, как жадный олень в зимней голодной вымерзшей тундре, слизывал соль со стремительно высыхающей слегка горьковатой кожи. И она, ласку светлых лучей уловляя, округло змеилась его полым губам навстречу.

Домой шел с вокзала пешком. На трамвай — «идиёт» — не осталось. Стояли в двери, ожидали. Дед сказал. Понял: над морем. Черное море. Черный Эвксинский понт.

Потом все повалилось. Слова закружили, поволокли, подхватив под микитки. Взлетели, закаркали, заволокли черной вороньей тучей. Подумал: затмение солнца. Пошел искать закопченное стеклышко — посмотреть. Кто-то стиснул плечо. Оглянулся: дед. Неужели он, его дед, мог такое сказать? Над морем? И что ж, что над морем?

Умора. Над морем. У моря.

У самого синего моря.

Глупость. Не синее, и не черное, а зеленое.

Светло-зеленое. Темно-зеленое. Разно-зеленое.

Не синее. И не в море. Над морем.

Над морем? Умора.

Ее любимое слово: умора. Он над этим смеялся.

— Доброе утро, Умора.

— На море?

— Просыпайся, Умора.

— А может, кто-то посмотрит в бинокль?

— Кому мы нужны, Умора.

— Ну, может, ты никому и не нужен.

— Ах, так никому?

— Вот так, никому!

И встать не успела, как снова ловил и осторожно, нежно заваливал на матрас, который пружинил, сопротивлялся, но он был настойчив, словно гаучо, ковбой аргентинский.

— Почему аргентинский, а не чилийский?

— Что чилийские против нас, аргентинских. Слабаки!

Вначале оба молчали, а потом, привыкнув, продолжали болтать, словно знали друг друга всю жизнь. Вырастили детей и, состарившись, пустяки обсуждают за чаем.

Такой Карфаген треугольный.

Так у них повелось. Откуда пошло — забылось.

— Так хочется чаю! — Невинно, при посторонних.

Она краснела. Он повторял:

— Только заварить надо покрепче.

Наступала на ногу.

— Как ты будешь? С лимоном?

Щипала. «С лимоном» было верх неприличия, к которому он ее долго склонял, вычитав где-то, что если уж так, то непременно «с лимоном».

Два месяца. Даже чуть меньше. В эти два месяца он начал носить рубашки навывпуск. Мало ли что. Хилая, но от чужих взглядов кое-какая защита.

Это было безумие. Первое, и не дай Бог, последнее в жизни.

Он уснул? Он проснулся? Вопросы звучали в ушах, и понять невозможно, кто их задает. Потом догадался: читал! Слова сказанные, написанные и прочитанные не пропадают, не исчезают, но в подсознании оседают, как ил в параллельно великому Борисфену текущей мертвой Почайне. Казалось, куда ей, исчезнувшей навсегда, с впадающим в море в величии состязаться. Тот несет воды, как нес, впадает, как и впадал, а она? Право слово, мертвого прошлого отголосок! Не несет, не течет, не впадает.

— Гляди-ка, гляди!

Это ему. Ему, выходящему.

Перед ним — дворов анфилада.

Как жили в старинных домах, во дворцах?

Анфилада!

В ней ни смысла, ни лада.

Ан-фи-ла-да!

Где были там спальни?

Эллада!

— Не надо! — Это она в первый раз.

— Почему?

— Потому. Сегодня не надо.

Взрослый мальчик уже, понимай:

— Сегодня не надо.

Вот такая была анфилада.

Он идет, минуя двор за двором, целая улица-анфилада. Шум за спиной, оглянулся: за ним продвигаются, по пути ширирь и ввысь вырастая.

Он от них, они, вырастая, за ним. Карабкается на дрова, те под ним осыпаются. Откуда дрова? Оттуда! И зовут его как-то иначе, он силится, вспомнить не может. Да и времени нет, надо бежать, надо, цепляясь за гладкую стену, без трещин-зазубрин перемахнуть, убежать, скрыться, исчезнуть.

Но не дремлют и вырастают быстрее, чем он убегает. Вырастают, над ним нависают, руки, ноги и головы. Оглянулся: в одном узнал бабушку, в другом узнал деда.

Все. Черные воды сомкнулись и понесли, его, анфиладу дворов, вечный город и вечности город, дома желто-кирпичные, Борисфен, Иордан и Почайну.

Остатки самолета искали и не нашли. А может, не слишком искали? Дорого. И к чему? Отыщут — будет морoka, останки погибших, родные, гробы. Расходы.

Если б живые, а так? Чем Черное море кладбища хуже?

## 10. Близкими ко Мне освящусь

Отделив совсем юных, их погнала пыльной, насквозь прожженной дорогой. Старых победители не жалели, таких дорого не продашь, им давали на привалах напиться и горсть жареных зерен. Молодых и особенно юных римляне берегли, давали вдоволь напиться, и кроме зерен — маслины, инжир. Старых, если падали, протыкали копьем. Юных осматривал лекарь.

Шли, и гарь за ними тащи́лась, не отпуская. Но оказалась бессильной: солдаты безжалостно гнали, и она отступила. Шли по дороге, спускавшейся с гор, говорили, что гонят их в Яффо, где посадят на корабли, а в Риме отведут на рынок рабов и продадут: в каменоломни и в гладиаторы, а самых красивых покормят, оденут и за немалые деньги продадут богачам на утеху. А кто не только красив, но и умеет петь, танцевать, декламировать, тот будет стоить огромных денег, и жизнь его будет счастливой. А если чем-то приворожит богача, то, гляди, тот его со временем и отпустит. Вольноотпущенник — это не раб, может добиться гражданства. Гражданин Римской империи! Каково?

В Яффо не был он никогда, знал только, там пророк Иона сел на корабль, надеясь, что в море Господь его не достигнет. Достигнет! Это не гарь сгоревшего Храма. Развее́лась и исчезла, а Господь пророка Иону достиг и в море, и в бездне морской, в чреве чудовища. Он попытался себе представить кромешную тьму, ни малого проблеска, словно самые черные тучи, как это бывало, спустились на город. Но дальше воображение сопротивлялось, было страшно представить, каково было Ионе в черном и смрадном чреве.

Шли, прошлое стараясь забыть, пытаясь в будущее хоть одним глазком заглянуть. Вдруг повезет? Все в жизни бывает. Но были и заглядывать не желавшие. Их было немного, держались отдельно, по-звериному озираясь. Это были жрецы, юные, едва ставшие взрослыми.

Вначале он шел со всеми, но с ними было ему неудобно: свои — как чужие. От их сплетней, слухов тошнило. Тогда и ушел к жрецам. Поначалу на него озирались, но он рассказал, из какой семьи, кто отец и кто дед, и его больше не сторонились.

Шли, тяжело ступая, медленно с гор спускались. Когда раздавали воду и зерна — в этот вечер больше не дали им ничего — несколько человек — заметил — самых красивых, сели кружком, потом и его позвали. Говорили о том, что в Риме их ждет. За этот грех следует тяжкое наказание. Но кто их побьет камнями? Евреи? Сколько их в Риме? А может, у хозяина он будет один? Римляне не побьют, для них это не грех, а улада, которую греческой они называют.

— Что же нам делать?

— Если загонят нас на корабль, выхода нет.

— Что же нам делать?

— Подумай!

— С корабля не сбежишь. И сейчас не сбежишь, — юный жрец посмотрел, как солдаты начинают их на ночь сгонять: тесно друг к другу, в круг, чтобы легче им сторожить.

— Тут думай не думай, не придумаешь ничего, — добавил другой.

Увидев, что идет к ним солдат, руку держа на эфесе, начавший разговор заключил:

— Сделаю то, что наши братья сделали в Гамле. С борта корабля прыгну я в море.

— Ты же погибнешь, а руки на себя наложить — это грех, грех великий.

— Это не грех, это *Кидуш га-Шем* (дословно: освящение Имени, т.е. освящение Бога, *иврит*).

Он долго ворочался, стараясь решить, какой грех какого страшнее: убить себя самого или быть оскверненным. Не решив, утешился мыслью, что в дороге всякое может случиться, а если и доплывут, может, он никому не понравится.

Засыпая, думал о тех — о них слышал и раньше — которые бросились со скалы.

— Их было несколько тысяч. — Это гость, рассказывающий отцу, что было на севере, в Гамле.

— Бросились со скалы? — Отец переспросил, словно не слишком гостю поверив.

— Ты ведь был там?

— Давно, до женитьбы.

— Ну, вот можешь представить: город на вершине горы, над ним за стеной, над ней нависая, к небу возносится острый пик, вокруг которого коршуны кружат, а внизу под пиком река: зимой разливается и несетя, грохотом наполняя округу.

— Это ведь духов земля! — добавляет отец, словно пытаясь себя убедить в правоте рассказавшего ужасное гостя.

— Неделю воды реки были от крови красны. Много тысяч погибло. Отцы старших детей в пропасть швыряли, а младшего к себе прижимали и прыгали в бездну.

— Ужасно, ужасно. Но были такие, кто грешил на солдат, мол, это они сталкивали бегущих.

— Всякое говорили, даже такое, что они, от солдат убегая, друг друга давили и вместе падали в бездну. Но было не так. Они сами выбрали смерть, плененными быть не хотели.

С первым лучом помолился. В этот день римляне торопились, гонец сообщил: в Яффо за рабами пришел корабль.

Понукая, выгнали на дорогу, и за ними потянулся столб пыли, издаലെка похожий на дым, над жертвенником поднимавшийся. Но это было не так: Храм разрушен, а с Храмом и жертвенник. Жрецы — кто убит, кто, как они, меся пыль, тянется к морю.

А может, они — это жертва, угодная Богу?

К вечеру были в разрушенном Яффо. Там только солдаты. Большинство жителей были убиты, лишь немногим удалось оттуда бежать. Говорили, бежали на север, в далекую Галилею. Еврейский флот римляне потопили. Кое-где в бухте торчали мачты потопленных кораблей. На следующий день с утра на лодках их стали возить на корабль, с борта которого на юных жрецов-рабов смотрел важный римлянин в белой тоге, прибывший за рабами из Александрии. Один из солдат сказал, что он важная шишка, был префектом Египта, а теперь отправляется в Рим, где его примет Веспасиан, недавно императором провозглашенный.

Когда поднимался по лестнице, качавшейся вместе с ним, черноволосый, невысокого роста префект очень пристально на него посмотрел. Посмотрел и не забыл. Он был тем, кто, совсем не торгуясь, купил его в одном из домов за рынком рабов. Его хозяина звали по-разному: одни — Тиберий Александр, Юлий Александр — звали другие.

Завернувшись в отцовский плащ — единственное, что спас из горящего дома — он пристроился под оливой, простирающей корявые ветви, над которыми нависала желтым птенцом луна: через несколько дней Новолуние. Где и как сумеют они тонкий, едва народившийся серп освятить?

Рядом с ним еще долго шептались два юных жреца, решавших, вправе здесь и сейчас дать обет: после того, как их Храм погиб, никто из евреев не вправе есть мясо и пить вино. Но за всех они давать обеты не вправе, значит, дадут обет, что они никогда больше не будут есть мясо и пить вино. Подумал: а как без вина освящать? Как без вина освятить субботу?

С этой мыслью, голову спрятав под плащ, и уснул. Все последние ночи, едва он ложился, закутавшись в плащ, вначале не мог, а затем наловчился, чтобы холод сквозь прогоревшие дыры не проникал, он засыпал мгновенно. Всегда в родительском доме долго ворочался, мешая уснуть младшему брату, которого очень любил. По родителям, братьям и сестрам он говорил три раза в день обций *кадиш*, а о Едидье, младшем, любимом, — всегда особый.

И, откликаясь, каждую ночь тот во сне спускался на землю таким, каким он его помнил: темнокожим — «наш негритенок» назвала его мама, а за ней все повторяли — с густыми курчавыми волосами. Его в семье — и снова за мамой — называли и «наш одуванчик» за пышные волосы. Так получилось, что за «негритенком», когда того отняли от груди, больше всех присматривал он: мыл в деревянном корыте с отгрызенными краями, в котором раньше мыли его самого, а когда Едидье исполнилось пять, водил его в школу, пока не подрос.

Но в эту полнолунную черно-желтую, светлую, снами полную ночь брат явился таким, что он его не узнал. Черным-черны волосы, а тело — светлее, чем у него. Брат не ходил, не бегал, не дрыгал ногами, но тихо, уверенно и бесшумно передвигался не по земле, а где — не понять. Потому что кроме его белоснежной с черным венцом, словно на дереве крона, фигуры, вокруг не было ничего: ни домов, ни деревьев, ни облаков. По сравнению с прошлой, еще не забывшейся ночью Едидья вытянулся, щеки втянулись, как бывает с мальчишками, когда они, подрастая, приближаются к юности.

Так было и с ним. Он помнил: ведь было недавно. Но у него выросли волосы в тех местах, где у детей не бывает, а у брата ничего не чернело.

Только успел подивиться всем случившимся за одну только ночь переменам, как брат — не знал, как это назвать — оказался к нему очень близко, и рукой взмахнул белоснежной. Брат его звал. Раскрыл было рот узнать, куда Едидья зовет, рот раскрыл — и ни слова, ни единого звука не вышло. Странно, но брат его понял и, ввинтившись в пространство, ни слова ему не сказав, позвал за собой. Удивительно, он его понял.

Вздрогнул во сне, поежился: в одну из прожженных дыр ворвался холодный воздух ночной. Вдруг, не понял, как это случилось: он рядом с братом, тот за руку держит, и вместе они поднимаются по лестнице вверх, не касаясь ступеней, а на каждой ступени — левиты, звучит чудная музыка, в нее влетаются голоса: псалмы распевают, Творца всего сущего восхваляя.

Поднимаются вверх. Под ними горы, и море, звери лесные и полевые, птицы, огромные, малые, рыбы, среди которых, играя с волной, плещется *левиатан* (морское мифологическое чудовище, *иврит*). И всё, что он видит, весь мир, что под солнцем, звездами и луной, всё вместе с левиатами Творца воспевают.

Но только они, он и брат, поднимаются вверх по ступеням, проходят один двор, второй, к огню приближаются на жертвеннике пламенеющему. И тут он понимает: Едидья, любимец Господень, спустился с небес не случайно, не потому, что он читает *кадиш*, он вовсе не брат, а Господень посланник, и пришел его срок вместе со всеми жрецами служить.

Пытается отгадать, что на первых порах ему будет поручено делать: дрова подносить или класть на жертвенник хлеб, солью его посыпая. Не успев отгадать, смотрит по сторонам: нет ли рядом старших жрецов. Никого.

Он один. Перед жертвенником один. Он знает всю службу, он учился служению, но как бы не сбиться, ведь сказано слушать старших жрецов, исполнять в точности, как прикажут. Иначе горе им всем, он помнит, что сказано о сынах Первосвященника Аарона.

— Знаю я, знаю, — однажды сказал он учителю, за что был строго наказан.

Теперь эти слова он сам себе говорит, и воли помимо, в ушах его зазвучало:

— Было у Первосвященника два сына, его надежда, опора, бессмертные. Они были немолоды, но еще не женаты, и это отца удручало. Зато радовало, что жрецы-сыновья в служении Господу неутомимы, тщательны и ревнивы. Однажды взяли братья совки, огонь на них положили, а на него — воскурения. И принесли перед Господом огонь, которого Он не велел.

**Вышел огонь от Господа, их пожрал, погибли они пред Господом. Сказал Моше Аарону:  
«Это то, что сказал Господь, говоря: Близкими ко Мне освящусь...»**  
(Возвал, Ваикра 10:2-3)

Он стоит у жертвенника, глядит на огонь, и про себя повторяет:

— Близкими ко Мне освящусь.

Тихо. Безмолвно. То ли слова заглушают чуждые звуки, то ли в это мгновение весь мир притихший внемет голосу тонкой тишины.

Беззвучно горит на жертвеннике огонь. Беззвучно в синее небо с сапфировой точкой на горизонте восходит дым.

Безмолвно перед огнем, восходящим дымом, и жертвенником неподвижным стоит юный жрец, в первый раз избранный у жертвенника служить.

Но среди белого дня небо темнеет. Точка ширится, разрастается, и густеет. Миг — и безмолвный мир погружается в сапфировый мрак, из которого прорывается в небо крошечный трепещущий огневой язычок: птица в силках, бабочка на игле, дыхание умирающего.

Хочет закрыть ладонями, защитить, но огонь не только безмолвен, огонь неподвижен, а он оглушен тишиной. Он только взгляд, только глаза, которым с каждым мгновением все больнее смотреть на умирающий язычок: в мертвое небо дым от огня уже не восходит.

Стоит неподвижно и повторяет:

— Близкими ко Мне освящусь.

Из всей бездны слов на тех языках, которые знает, у него остаются лишь эти:

— Близкими ко Мне освящусь.

И едва в голове отзвучало: «Мне освящусь», как небо разверзлось, и тьма отступила, и хлынул пронзительный свет, затопляющий мир. И в этом неистовом свете погас язычок жертвенного огня, и в свете, для глаз невозможном, исчезли хлебы, и дрова, и жертвенник вместе с Храмом. И в безжалостном свете явилось видение: брат Едидья был светом, и свет был его братом.

Свет, облаком, словно плащом завернувшись, двинулся перед ним, обретшим зрение, слух, способность идти. Он шел за Господом, за ним шли жрецы, за ними весь еврейский народ. Шли повторяя:

— Близкими ко Мне освящусь.

— Что тебе снилось? — Утром, только проснувшись, к нему обратился рядом лежавший некрасивый и неуклюжий, горящийся тем, что его никакой богач не возьмет, лучше стать гладиатором и погибнуть, или, в крайнем случае, умереть в каменоломне.

В ответ плечами пожал: как такое расскажешь? А тот продолжает, вопрос задал с единственной целью: о своем сне рассказать. И, не дождавшись:

— А ко мне приходила Лилит. Голая и... — Он замолкает, услышав окрик солдата:

— Еда и вода! Еда и вода!

## 11. Фоно

Наконец светофор проснулся, и, минуя последний городской перекресток, он рванулся наверх, подумав: «В прошлое — это, пожалуй, вниз, а мне — круто наверх. А, может, неверно, и прошлое — тоже наверх?» Додумать он не успел: дорога повела, потянула его, потащила. Вверху зеленые склоны, внизу, под дорогой — террасы. Двигаясь снизу вверх по горе, человек добрался до середины, большего не успев. Оставалось добавить: пока. Дорога вилась, пробитая в новые времена, посередине горы: впереди над ущельями — горы, позади — городские районы.

Огибая, охватывая, обнимая, дорога вырезала из террас золото куполов, нездешнюю снежную белоснежность. Где-то здесь — поворот, резкий, крутой, в непогоду опасный.

Пробегаю по коридору, был остановлен:

— Вас просили перезвонить.

— Кому?

— Минуточку. Некто Фоно, вначале сказал иначе, а потом передумал, мол, передайте: Фоно.

— Не перепутали? Точно Фоно?

— Именно так.

— Что ж, давайте, спасибо.

Записку с именем и телефоном он рассматривал долго, внимательно, тщательно, словно это была не писулька, а, по меньшей мере, археологическая находка, мировая сенсация. Фоно был его троюродным братом, прозванным так, потому что учился играть. Вначале было Фно, но из-за неблагозвучия само собой сменилось Фоно.

В последний раз они виделись лет... Господи, когда это было? Фоно, его почти что ровесник, прибыл на дачу, пережидая, пока папа и мама устраивали дела: они, получив приглашения на работу, отправлялись куда-то в Сибирь. Так что тот летний месяц на даче они были вместе, что-то делали вместе, но чувствовалось: дороги им выпадут разные. Бабушка относилась к Фоно как к внуку, а к его прозвищу все так привыкли, что она созывала:

— Фоно! Левушка! Ужин!

Мама Фоно, бабушкина племянница, вышла замуж за азовского грека, о котором все говорили, что в его облике ничего греческого не наблюдается. Как будто они каждый день видели толпы греков и знали, каким должен быть подлинный грек.

Трепя Фоно по загривку, дед смеялся:

— Союз Иерусалима с Афинами. Впервые в истории! Спешите видеть: проездом из Жмеринки через Сибирь в Нью-Йорк.

Как в воду глядел. Добившись в Сибири немалых успехов, папа-мама Фоно, когда двери едва приоткрыли, укатили, правда, в Бостон, а не в Нью-Йорк. В год, когда сын кончил школу, дождавшись, что он определится с университетом, родители разбежались, видно, союз Иерусалима с Афинами оказался не слишком удачным, а, может, просто выполнив назначение и породив Фоно, себя исчерпал.

И вот, он едет на встречу, которую ощущал путешествием в прошлое. Впрочем, по телефону, объясняя дорогу, Фоно его удивление предупредил:

— Я живу в монастыре. Уже скоро три года я православный монах.

Удивился. Но промолчал. Православный. Монах. Вот, и Афины. Ну, и Фоно. В ответ на молчание трубка сказала:

— Несть эллина и нудея.

Надо было ответить, и он сказал красноречиво и емко:

— Ну, да, конечно.

Трубка ответила залившимся смехом и попрощалась:

— До встречи.

На повороте асфальт сменился на гравий, и, прощурив сотню метров, уткнулся в ворота, к которым тотчас же подошел высокий чернородый монах и, открыв, показал рукой направо: стоянка.

— Привет, я Фоно. — И, уловив его взгляд, рассмеялся звонко, долго, залиvisto. Подумал: смех не монашеский. Тут же себе ответил: «Будто знаешь, как монахи смеются».

Оглянувшись: сутана, кресты, подчеркнута чисто и просто, он ощутил неловкость, словно зашел в незнакомый бар, населенный людьми, от мира отгородившимися наушниками. Но он обнял его совсем не монашеским жестом («почему не монашеским?») и снова залиvisto рассмеялся. Мелькнуло: дураки так смеяться не могут; так смеются счастливые люди.

Обнял, будто расстался вчера. Что-то бросив по-гречески монаху, стоявшему на ступеньках («там наши кельи»), он повел его в сад, где росло все, что может расти, и цвело все, что может цвести, зеленело все, что способно зазеленеть. Не удержался:

— Фоно, ты живешь в настоящем раю!

— Стараемся! — Словно этой реплики ожидал и, снова усы и бороду сотрясая, залился так заразительно, что и он, хмыкнув в ответ, впервые за много лет, себе удивляясь, затрясся от смеха.

Совместный смех сорвал пелену, отодвинул в сторону годы и, толкая друг друга, как в тот месяц на даче, они подошли к скамейке, над которой рос огромный платан, посаженный, как оказалось, сто лет назад тогдашним игуменом-настоятелем.

Говорил по-русски Фоно не очень, порой помогая себе руками, а чаще словами на греческом, английском, иврите. Закончив рассказывать о себе, он толкнул его в бок:

— Ну, жрец, теперь твоя очередь.

Удивился, откуда он его прозвище знает:

— Жрец? Почему?

— Как почему? — Фоно сложил пальцы в жреческом жесте. — Меня наша бабушка научила, хотя я рылом, точнее, родословной не вышел. Но, видимо, пишут и на простой, если кончилась... Как это, я позабыл.

— Если нет гербовой.

— Она пыталась и тебя научить, но у тебя времени не было, ты на даче был очень занят, бабушка говорила, соседской девчонкой. Забыл?

И вправду, совсем не помнил, ни бабушкино учение, ни соседей, ни их девчонку.

Значит, я не только Жрец, но и жрец? Почему-то было не слишком приятно, что кто-то чужой (ну, ладно, Фоно не совсем чужой) ему об этом сказал. Поди ж ты, сколько лет минуло с тех пор, а Фоно все запомнил.

Еще часок они посидели, повспоминали и потолкались. Видимо, именно эти толчки были для них самым главным из детства. Выезжая и высунувшись из окна, ему на прощанье махнул. Тот крикнул в ответ:

— Жрец, желаю удачи!

Она долго за ним гналась, впервые мелькнув в толпе перед отлетом. Потом, когда в полете вздремнул, рядом присела, длинные блестящие волосы склонив ему на плечо. Встряхивался — исчезала. Закроет глаза — тут как тут. Потом надолго исчезла, у паспортного контроля мелькнула, и все. Избегая мест людных и шумных, он бродил по древнему городу там, где приезжих не было вовсе, а местные, хоть и заглядывали, но редко, больше по делу, суетно, второях.

Спал спокойно, за день устав, словно провел несколько служений подряд. Ноги гудели. В голове больше не было места. Есть не хотелось.

В Риме, задрав голову, он следил движение фантазии скульптора от безликого триумфатора к лошадям. У каждой свой нор, повадка. Сгибаются под тяжестью в крови омытых трофеев. Там, у знаменитой подавляющей величиной арки, он вдруг заметил ее: добралась, настигла, догнала.

Отвел взгляд, и она промелькнула внизу, на дороге, идущей от Колизея. Повернулся: шла по дороге, по которой веков двадцать назад, правя квадригой, сын императора и сам император, сын бога и сам будущий бог, над разноцветной толпой возносился, чтоб, достигнув небес, с квадриги на пыльную землю спуститься, горячую, как камни горящего Храма, по которому солдаты снуют, добывая себе и ему земные трофеи. Дымилась, смрадом горелой плоти легкие наполняя, жреческие тела с лопнувшими глазами, пустыми глазницами, цепко держащими его на прицеле.

Мелькнула? Догнала? Достала? Он пошел дальше: город огромный, накопивший бездну чудес и богатств, город, давно позабывший римское право, видно, учебник открывавший давно, едва ли не в прошлой жизни. Это был город машин, маленьких и больших, но всего более — мотоциклов, сновавших по тротуарам и по газонам, одним словом, везде, где им хотелось. На одном мотоцикле была она, сидевшая как-то раскосо, небрежно, обняв водителя за живот, опустив ему ладони под пояс, но видно, в вечном городе нынче так принято. Ясное дело, ее не просто так парень подвозит.

Потный и пыльный, он поздно, мечтая о душе, ввалился в номер. Дверь открылась не сразу: карточку засунул не той стороной. Это чет и нечет статистически выпадают пятьдесят на пятьдесят. А карточка-ключ стопроцентно вытаскивается стороной негодящей.

Наконец дверь распахнулась, зажегся свет. Она была тут. Дожидалась, вероятно, с тех пор, как укатил парень на мотоцикле.

Дохнуло свежим, только сорванным с райского дерева яблоком, лилиями и нарциссами, и она, схватив его талию цепким объятием, дышала в лицо нежно, пронзительно, снежно. Ослабив

объятия, она опускалась, языком его кожи касаясь, руки перед ним поднимая, словно сдавалась в плен. Казалось, она говорила:

— Ты победил, мой жрец, мой повелитель, мой бог.

Он ощутил ее теплое небо, горячие губы, стремительный, как у змеи, язычок.

Потом увидел себя на кровати: она лежала на левой руке, а правой он гладил ей плечи и грудь с набухшим соском. Затем начала отдаляться, ее уход ощутил левой рукой, потом правая погладила воздух, и он успел лишь прокричать:

— Кто ты? Кто?

— Я суккуб, я Мара. Лилит.

Еле слышно дверь затворилась. Легкий ветер, свежий, как бриз, взволновал занавески на окнах.

— Суккуб? Мара? Лилит?

## 12. Тиберий Александр

День был страшный. Забиться в угол, закутаться в кокон, закопаться в пещере. Не видеть, не слышать. Ни звуков, ни запахов. В такие дни мечтал, чтоб время остановилось, была бесконечная ночь, без луны, без звезд, без муторных снов, прошлое возвращающих. Хорошее не вспоминается и не снится. В памяти и во сне только скверное. Забыть бы, да как?

В детстве мог закутаться в кокон, сказавшись больным, но тогда посылали за доктором, и он тискал, нюхал и щупал. Потом в рот вливали всякую гадость, так что радости в угол забиться было немного. Но самое страшное и сейчас, и тогда — это встать, выбраться из пещеры. В пещере темно, от жаровни тепло, а за дверью, за пологом — все, что угодно: и холод, и дождь, и зной, грохот рынка или военного лагеря.

В Александрии их дом был недалеко от базара, и с рассветом начиналось восточное буйство, нарастающее, чтобы к обеду утихнуть. В полуденный зной не только грохот, сама жизнь прекращалась. Лагерь — дело иное. В нем и в полдень с ума можно сойти от звона мечей, криков центурионов, подгоняющих нерадивых.

Тиберию Александру, которого Веспасиан оставил при сыне, было тоскливо, тягостно, ему нездоровилось. Точно так, когда слухи дошли о победах, и он в календы июля привел египетские легионы к присяге императору Веспасиану. Сбылось предсказание, полученное Сабинном, отцом нового императора.

В имени Флавиев был дуб, посвященный Марсу, и все три раза, когда жена Сабина Веспасия рожала, на стволе неожиданно вырастали новые ветви, указывающие на будущее младенца. Первая, слабая, скоро засохла: девочка не прожила и года; вторая, крепкая длинная, указывала на счастье; а третья была как дерево. Сабин, ободренный к тому же гаданием, объявил своей матери, что родившийся внук будет цезарем, но та расхохоталась: она еще в здравом уме, а сын уже спятил.

Нося имя своего благодетеля, Тиберий Александр, подражая Тиберию, всегда сохранял внешнее хладнокровие и показную жестокость. Однажды, обходя застенки, в ответ на просьбу, казнь ускорив, мучения прекратить, ответил, Тиберия процитировав: «Я тебя еще не простил». Тренировался, чтоб научиться, как тот, протыкать пальцем свежее яблоко, но, как ни старался, не выходило. Одно время, подражая Тиберию, любил поигрывать пальцами, хотя это считалось вульгарным. О богах, их почитании заботился мало, зато верил предсказателям и астрологам.

Не подавая виду, как римлянину, герою и победителю надлежит, Тиберий Александр бодро шел на полшага сзади за Титом, демонстрируя, что сын императора — наверняка будущий триумфатор, главный герой. А он, сын еврея Александра Лисимаха, ведавшего сбором налогов и податей, которыми облагались товары, поступавшие в Египет с Востока, один из богатейших людей империи, отказавший в кредите Ироду-Агриппе I, но давший деньги его жене, украсивший двери Иерусалимского храма золотом, серебром; он, племянник еврея-философа Филона Александрийского, ему посвятившего два философских трактата; он, родной брат Марка, женатого на сестре царя Агриппы II царице Беренике, умершего молодым, оставив Беренику вдовой; он, решивший не быть евреем и ставший гражданином Римской империи, он, Тиберий Александр, обративший Город в руины, идет следом за Титом на расстоянии полушага. За ними — префекты, центурионы, трибуны.

Они возвращаются, в последний раз посмотрев на руины того, что еще месяц назад было Городом, Храмом, живыми жрецами. А ныне — руины, рабы. Их отправят в Александрию, а самых лучших и дорогих — в столицу империи.

Тит, наконец, решился уехать. Он едет с ним. Не хотелось даже себе признаваться, но он завидовал Титу, которому все дано от рождения: красота, сила, незаурядная память. Как не завидовать. Тит отлично владеет конем, оружием, произносит речи и сочиняет стихи на латыни, по-

гречески, искусно играет на кифаре, даже писать скорописью умеет проворно, для потехи состязаясь со своими писцами, любому почерку подражая так ловко, что восклицает: «Какой бы вышел из меня поддельватель завещаний!» Наконец, обладает особенным даром снискать всеобщее расположение. В юности один физиогном предсказал, что будет Тит императором.

Сама судьба ему ворожила. Тит был отправлен с поздравлением к Гальбе, пришедшему к власти. Все думали, что Гальба его усыновит. По пути Тит спросил оракула Венеры Пафосской, опасно ли плыть дальше, и в ответ получил обещание власти.

Оставленный для осады Иерусалима, он поразил двенадцатью стрелами двенадцать врагов. Тит взял город в день рождения дочери, заслужив солдатскую любовь и всеобщее ликование, а когда отъезжал, легионеры не хотели его отпускать, мольбами и даже угрозами требуя, чтобы или остался с ними, или всех их с собою увел. Подозревали, что Тит задумал от отца отложиться, став царем на востоке. Он сам подозрение укрепил, в Александрии при освящении мемфисского быка Аписа выступив в диадеме: таков был древний обычай при этом священном обряде, но напугались люди, которые истолковали это иначе. Но обласканному славой любимцу простилось.

Тем, кто знал его мало, Тит мог показаться наивным, а, может, и недалеким. Но он знал: это лишь маска. К тому же, Тит и сам был не прочь, чтоб так о нем думали. Незадолго до взятия города Тит позвал его в свой шатер. От таких приглашений, даже самых невинных, он хорошего не ожидал и на всякий случай приготовил тонкую лесть, до которой истинный римлянин Тит был охоч и весьма. Расспросив о здоровье и о делах, тот вдруг — он это любил — огорошил вопросом:

— Прослышал, мой друг, что ты мне готовишь подарок?

— Истинно так, — мысленно себя похвалил за то, что тонкая лесть, которую загодя приготовил, ему пригодилась.

— Позволь узнать, что за подарок ты мне приготовил? — Тит велел себе и Тиберию Александру налить свой любимый напиток *decosta*, кипяченую воду, охлажденную снегом.

Собственноручно Тит подал бокал и стал пить, давая возможность Тиберию Александру последовать за собой и время — ответ придумать.

Но пауза была не нужна:

— Корабль с нильским песком отправляется завтра в Италию. — Сказав и увидев в лице собеседника удивление, он, следуя приглашению, сделал глубокий глоток и, дав Титу паузу для ответа, продолжил. — Через пару недель песок будет в Риме.

Тит рассчитывал после победы на блестящий триумф, после которого устроит битвы борцов, гладиаторов, и мелкий нильский песок — им посыпали арену — в Риме очень ценился.

Тонкость подарка Тит оценил, но позвал его не за этим.

— Благодарю, подарок, надеюсь, сделан ко времени. Но позволь тебя попросить еще об одном.

— Конечно, мой Тит.

— Знаю, ты возишь с собой жреческий нож (*secespita*, лат. — железный, длинный, остроконечный нож с украшенной рукоятью). Ты ведь не жрец? Не так ли? А мне скоро, очень скоро, надеюсь, придется принести Марсу жертвы. Не подарить, а если жалко, то не продашь?

Вот оно что. Кто-то Титу донес, и не иначе из самых ближайших, о его любимом ноже. Сменить. Всех сменить. Но не сразу. Это вызовет подозрение.

— Позволь, милый Тит, сегодня прислать нож в подарок! Он тебе скоро понадобится. А заодно попросить...

— Конечно, проси. — Весь в отца, скуповатый, Тит дарить ничего не любил.

— Попросить позволить мне подвести животное к алтарю, оглушить его молотом.

В ответ Тит радостно засмеялся:

— Нос *age!* («*Делай свое дело!*», лат., возглас жреца, подающего знак к жертвоприношению)

Но пока Тит соберется, много воды утечет. Успеет съездить в Александрию: там его вещи, драгоценности, книги, жена, его женщины и безбородые юноши. Он любил этот греческий город, который оскверняли евреи. Но те платили налоги, деньги немалые, и как подлинный римлянин он деньги не то, чтоб любил, но относился почитительно. За деньги много можно купить. А главное — власть. Этому его, мальчишку, отец научил. Но что отцовская власть? Разве сумел отец, оставаясь евреем, ею воспользоваться? Пустое. Да и дядя, хоть и мудрец, философ, почитаемый даже в Риме, власти никакой не достиг. Что Александрия. Разве там власть? Чепуха. Власть — это Рим, а Рим — это власть. Дядя решил выстроить мост, соединяющий греков с евреями, или, если кому по вкусу, с эллинами евреев. Ну, и чего он достиг? Греки поубивали александрийских евреев, а те? Сил не хватило от греков отбиться. Впрочем, дяде спасибо. Тот выстроил мост, и он по нему прошел и назад не вернется. Надо написать бы особо, чтоб свитки Филона тщательно уложили, да, погрузив на корабль, во дворце оставили копии. Мало ли что? Береженого бог бережет.

Над руинами — они их вспугнули — все небо в пятнах: вороны, по одиночке и стаями. И нужды в толкователе нет узнать, что они предвещают.

Осматривая руины, он с особенно равнодушным лицом вслед за Титом мимо жертвенника прошагал. На нем — обугленные головешки, от которых тянется ввысь тощий дымок — немощное воспоминание о днях, когда их, детей, его и Марка, отец привез посмотреть на Город, на Храм. Оказалось, что они из рода жрецов, а потому разрешили к жертвеннику подойти, посмотреть, как жрецы суетятся, поднося хлебы и дрова, жертвенное мясо укладывая для всеожжения.

Давно это было. Давно. Но и тогда ребенку не давал покоя дядин замечательный план. Если построен мост, глупо по нему не пройти. А еще глупее пройти и назад воротиться. Это не для него. Он едет в Рим не с тем, чтоб поселиться на острове среди Тибра с вольноотпущенниками-евреями. Пусть те скажут спасибо, что остров им подарили. А он получит обещанный пост преториа. Он его заслужил, пройдя в один конец по мосту, служа долгие годы империи.

Он гордо прошагал с Титом через весь немаленький лагерь, к самому центру, до его шатра и, дружески попрощавшись, с высоко поднятой головой, как положено римлянину-герою, отправился в шатер по соседству. Все, кто шел за Титом и им, теперь следовали за ним, Тиберием Александром, сыном еврея. Он знал, к его имени, когда он не слышит, это всенепременно добавят. И пусть. Пусть добавляют, но помнят, кто он, сын еврея, и кто они, потомки знатных римских родов, глушцы и тупицы.

Солнце скрылось за лагерьным валом. У входа в шатер обернулся и поднял вверх руку, прощаясь. Полог распахнулся, и он вошел внутрь, вернув лицу домашнее выражение: брезгливо поджатые губы, безвольно опущенный подбородок, опавшие ноздри. Сразу направился в спальню, велел, пытаясь отделаться от жуткого запаха гари, снять с себя пропахшую дымом одежду. Его раздели, одежду убрали. Но запах не исчезал, впитавшись, проникнув сквозь кожу в сердце и почки. Велел себя умастить, принести благовония. Все было тщетно. Запах, тягучий, больной, жестокий, не исчезал. Он свалился уставший, больной, изнемогший на большую кровать. Слуги, старые, верные, чуткие, к нему подскочили. Тут же был его врач: раздели, внесли жаровню, вино, растерли, благовония воскурили. Но как ни старались, какие восточные ароматы ни приносили, жертвенный дым ничего не могло перебить.

С раннего детства, как червь яблоко, его точила гордыня. Одни сверстники были первыми в школе, другие — в гимназии. Талантами его природа не обделила, а судьба — признанием. Но он хотел быть первым во всем и всегда. Вскоре понял: других победить не штука, главное — себя победить, и тогда его первенство признают другие. Начал с лица. Уголки губ то ли плаксиво, то ли брезгливо опущены. Разве это герой? Разве бывают с таким лицом победители? И он начал учиться себя побеждать. Простаивал часами у зеркала и научился. Пока слуга его одевал, он привычно совершал: выпрямить губы, подбородок вперед, ноздри слегка раздуты, как у лошади на ипподроме. Но лицо — это что. Начальная школа. Да, многого он добился. У императора Тиберия прошел настоящую школу, научившись быть скрытным, коварным. Тот вдали от чужих глаз — жестокий и сладострастный, любитель изнеженной роскоши, на публике умело прикидывался добродетельным и аскетичным. Он, многому научившись, многого и добился. Но, положи на сердце руку, разве музы, дочери Памяти, спасут его от забвения?

Тиберий. Аскетом прикидывался лишь тогда, когда еще императором не был. Но став хозяином полумира... Почему полумира? Разве люди дикие германцы на западе, а на востоке скифы? Звери. Став хозяином мира, Тиберий предался разврату, изнеженному, утонченному. Обеды с обнаженными слугами — это так, пустячок. Император на Капри подальше от черни с ее любопытством и склонностью не судить — осуждать, собрал толпы мальчишек и девок, и те, перед ним совокупляясь, стареющего Тиберия возбуждали. Особо ценил император изобретателей чудовищных сладострастий.

Главное, Тиберий ничего не боялся, ни сплетен черни, ни осуждения знатных, которые, хоть сами были не прочь предаться, от дел отдыхая, сладострастным утехам, не преступали закон: что можно делать с рабом, нельзя со свободнорожденным. Тиберий, закон преступив, на Капри привозил свободнорожденных мальчишек. Нередко среди них попадались потомки знатных фамилий. Говорили, что возвышение Виталлия — одного из двенадцати цезарей — началось после сексуальных услуг, оказанных его сыном на Капри Тиберию.

Мальчигов самого нежного возраста, с которыми забавлялся в постели, он называл «мои рыбки». Однажды, рассказывали, во время обряда, увидев несшего кадильницу прелестного мальчика, так распалился, что едва дождался окончания ритуала, и его, а заодно и его брата-флейтиста, лишил невинности. Мальчишки стали упрекать друг друга в бесчестии, и, видя такое, Тиберий велел им голени перебить.

Ипподром. Еще одна тайная боль. Александрия величественна и прекрасна. Город-корабль, между морем и озером основанный самим Александром Великим, окруженный могучими

стенами, протянулся двумя прямыми широкими, по-римски гордыми улицами: по обеим сторонам колоннада. Эти улицы, как ныне сын императора Тит и он, Тиберий Александр... Нет, не так, все знают, кто по-настоящему главный: не Тит, неженка, бабник, а он, так вот, он и Тит, они знают, что эти улицы городом правят. От них под прямым углом отходит множество мелких, малозначительных, от них другие, все мельче, еще незначительней.

Улицы его города всегда напоминали людей. Против города — остров Фарос, на нем мраморный знаменитый маяк, чудо света. От города до него совсем, совсем близко: семь стадий, потому так и назван: септадион. На обоих концах мола — мосты, соединяющие просторные гавани. Одну называют новая или большая, другую — старая. Есть еще одна гавань, на озере, ее называют болотной.

Дворцы Птолемея с парками и садами, гробница Александра и Птолемея, музей с самой большой в мире библиотекой, театр, храм Посейдона, гимназия с колоннадой. Всего и не вспомнишь. Бог создал все для нужд умного человека, научившегося пользоваться дарами Всевышнего. Стоп, опять этот Бог. Сколько раз себе говорил: «Бога нет, одного и единого, как в детстве его научили; да и какой такой бог способен все это, весь разнообразный мир в одиночку создать? Нет Бога — есть боги». А Бог, чьим жрецом он случайно родился, он там, за стеной ипподрома, в бедном квартале, где живет народ скверный — евреи.

Там вечно шумит, гудит и грохочет, а ему нужна тишина.

### 13. Мост

Лежа в постели и вспоминая, откуда вышел и кем сумел стать, слегка погасил яд бешенства, клекотавший в крови, утишил смешавшийся и сбившийся ум. Такое случалось всегда, когда вынужден был находиться в тени сильных мира сего, к тому же таких, с которыми никогда не сравниться.

Слегка усмирив мучительную гордыню, потребовал принести фалернского, недавно присланного из Александрии. Выпив вина, повернулся на бок и, словно ребенок, положив руки под щеку, он задремал. Привиделся мост. Дядя построил, он первым прошел. Дядя остался на той стороне, за стеной ипподрома, а он по мосту прошагал: через гавань, от Фароса — через море, вот, по мосту бодро шагает, а под ногами текут темно-зеленые воды великого Тибра.

Еще настоящий сон не пришел, а в руинах завывали шакалы, оглашая весь лагерь. На шакалов жаловался и Тит. Но что он, всевластный, в руке которого тысячи жизней, мог поделаться с этими мерзкими тварями, Единым, Единственным, Безымянным невесть для чего сотворенными? От бессилия он задрожал: снова яд бешенства клекотал, снова его колотило, словно голым на холод попал.

Уснуть он не мог. Не помогли ни вино, ни умощения, ни воскурения. Оставалось последнее средство.

— Приведите ко мне Вороненка. Быстрее.

Часто задумывался, почему именно он, Вороненок, мальчишка, способен даровать покой даже тогда, когда остальные средства бессильны. Однажды, склонившись над спящим, одяло поправив, он понял: тот единственный в мире, кого он победить не желает.

Глаза Вороненка светло-зеленые, с золотинкой, словно на месте глаз две хризолитовые миндалины. Мальчишку он подобрал полгода назад, когда с подчиненным ему легионом стоял под стенами города.

Мальчишка лежал у дороги, в канаве. Подумали: мертвый, но тот вовремя заскулил. Потом стоял перед ним оборванный, в пыли и слезах, руки свисают плетями, и он пыгается разобрать, откуда, из какого тот племени. На все вопросы тот отвечал молчанием. Видимо, давно от своих он отбился, а родители умерли или погибли: война. Эти безумцы о себе возомнили, что смогут выстоять, сражаясь со знаменитым Десятым, на счету которого множество славных побед. Мальчишка, в отличие от других, был не черным, но светлым. Прозвали белой вороной, потом сократилось, сперва до «вороны», но поскольку он был мальчишкой, то и стал Вороненком.

Вороненок не был стыдливым, то ли в скитаниях стыдливость он потерял, то ли таким родился. Учил его грамоте, игре на флейте, тот постоянно был под присмотром рабов, относившихся к нему как к сыну их господина. Только о прошлом, сколько его ни расспрашивали, молчал: то ли забыл, то ли очень хотел забыть.

Вороненок обладал удивительным свойством, которого не было ни у кого. Умел его успокоить. Сожмется в постели, прижмется, ладошки вложит в его, притиснется безволосым лобком к животу, его птенчик надуется, и, как бы ни был он зол, мальчишку ласкает, а потом, успокоившись, возбуждается, и тот клювиком-язычком нежит его обрезанный фаллос. Потом подскочит, сядет с размаху и давай, будто дурачась, прыгать на нем. Но только делает вид, что дурачится, на самом деле его подрастающий птенчик тоже вздыбился в поисках пропитания.

Отдав-получив, Вороненок прижался, уткнулся в подмышку и, посипев, уснул. Посапывание-почмокивание и его усыпило, и он без сновидений уснул: лагерь затих, прекратилось бряцание, даже шакалы притихли.

Спал, на щеке ощущая дыхание Вороненка, нежное, как летний — едва рассвело — ветерок. Спал, животом птенчик его ощущая. Тихая, беззаботная, славная ночь: ни Тита, ни Города, ни Рима, куда должен уехать. Надеется на награду, но кто его знает, что думает Веспасиан. Спал, и тревога, в душе поселившаяся с тех давних пор, когда он решил, перейдя по мосту, навсегда на том берегу остаться, все возматала. Не радовало ни дыхание Вороненка, ни его славный птенчик.

Тревога!

Затрещало, загрохало, забряцало.

Вскочил, плащ накинув, к пологу подскочил. Там, шатер охраняя, с удивлением на него озираясь, стояли легионеры. Все было тихо, лишь бесновались шакалы, но все к ним настолько привыкли, что когда те смолкали, многие просыпались.

Сделав вид, что решил просто проверить, вернулся. Вороненок, сбросивший одеяло, лежал на боку и шарил рукой: ягненок, потерявший материнское вымя. Набросив на него одеяло, лег рядом, положив к себе на грудь его руку, и тот успокоился: нашел, что никак не мог отыскать.

То, что его разбудило, трещало, грохало и бряцало, было не здесь, не сейчас, а там и тогда: в Александрии, в отцовском доме, когда их, полусонных, его и Марка, отец вывел на улицу, где ожидала повозка и несколько вооруженных. Всмотрелся в тревожные лица самых преданных старых слуг. На них отец полагался, как на родных. Младший Марк, очутившись в повозке, тотчас снова уснул, а ему отец что-то быстро, мешая слова, говорил. Тогда понял одно: им с братом надо спасаться, а отец с братом, дядей Филоном, будут охранять жизнь тех, кто остался, дома и имущество.

Вот оно что! Прошлое разбудило. К настоящему приспособился, с настоящим — Титом, руинами, Римом — сжился, но прошлого не избыл. Всю жизнь старался забыть, уничтожить, стереть. А когда уверился, что достиг, получилось, добился, догнало, вопя по-шакальи, безжалостно, гнусно, рыгая съеденной падалью.

О том, что тогда было в городе, ему, когда поутихло и они с братом вернулись, рассказал не отец, а дядя.

— Мы греков никогда не любили. И они нас, конечно. Греки — большие мастера улещать, морочить и притворяться. Лукавейшие из лукавых, порочное семя, в их душах нрав крокодила и яд змеи. Они уверили императора, что почитают как бога, не скупясь, награждали Калигулу именами, которыми обычно богов нарекают.

Вздохнув, дядя добавил:

— Калигула посвятил храм своему божеству, в нем поставил свое изваяние в полный рост, облачив в собственные одежды, назначил жрецов, установил изысканнейшие жертвы: павлинов, фламинго, тетеревов, цесарок, фазанов, — для каждого дня своя жертва. Должность главного жреца отправляли богатые, соперничая и торгуясь. По ночам, когда сияла полная луна, он ее звал в объятия и на ложе, а днем разговаривал с Юпитером: иногда шепотом, к уху его наклоняясь, подставляя свое, а иногда громко и даже сердито.

Помолчал и, вздохнув:

— Добившись расположения мнимого бога, греки обрели благосклонность префекта Египта и, зная о нелюбви императора и префекта к евреям, начали сплетать для евреев венок вины.

— Может, точнее сказать, удавку? — вставил племянник, желая польстить — чего-то ему тогда было нужно — дяде-писателю.

— Конечно, ты прав. Удавка — самое подходящее слово.

— Это случилось внезапно? Никто пожара не ждал?

— Да, неожиданно, но вместе с тем не внезапно. Ненависть тлела давно, но пожар вспыхнул вдруг. Исполнившись зверской ярости, александрийская чернь ринулась в наши жилища открыто, при свете дня, осыпая хозяев насмешками, оскорблением, бранью. В единый миг многие потеряли и кров и очаг, иные — и жизнь.

— А власть?

— Наместник все вмиг мог прекратить, остановить толпу, но притворился, будто не видит, не знает, тем самым надеялся Калигуле сумасшедшему угодить. Видя в этом бессловесное поощрение, бесстыдные греки совсем обнаглели. Толпа побежала к нашим молебням стены крушить топорами, в бешеном безумии жечь, тащить все, что блестело, властей вовсе не опасаясь, полагая — и справедливо — что император питает ненависть к еврейскому племени, и нет ему больше улады, чем видеть ненавистный народ ввергнутым в пучину всех ужасов, которые может вообразить человек. Поправ наши законы, эти животные в каждой молебне поставили изображения императора, а в самой большой — бронзового возницу, правящего квадригой. Отлить колесницу они не

успели, а потому притащили, кажется, из гимназия ржавую и поломанную, посвященную, как говорили, царице, прабабушке Клеопатры последней, тоже именованной Клеопатрой.

— А где во время погрома были евреи?

— Это всего страшнее. Всех с женами и детьми согнали на маленький клочок земли, надеясь, что там они погибнут от голода, скученности и духоты: воздух испортится из-за людского дыхания. Не в силах терпеть тесноту, люди хлынули на берег и кладбища в надежде вдохнуть не губительный воздух. Записные лентяи и лодыри, которые, поживившись, решили еще и развлечься, они окружили евреев: как бы не убежали. Весьма многие, гонимые крайней нуждой, намеревались бежать. Вот этих побегов и ждали они неусыпно, а пойманных тотчас уничтожали, всячески изувечив. Другие стояли у пристаней, чтобы хватать всякого причалившего еврея вместе с товаром. А в самой Александрии несчастных сжигали. Когда не хватало дров, приносили хворост и, сделав вязанки, забрасывали несчастных, и те, полусторевшие, погибали больше от дыма, чем от огня, ибо огонь от хвороста безжизненный, дымный. Многих, еще живых, волокли, набросив петли из ремней и веревок, волокли, наступая и не щадя даже их мертвых тел, расчленили, топтали ногами, уничтожая самую мысль о том, что можно останки предать земле, — такова была свирепость и жестокость этих зверей.

Под утро, хоть было темно, Вороненок проснулся и оглядывался спросонок, соображая, где он и как тут очутился. Он погладил мальчишку по голове, и вдруг, словно стреноженный конь, споткнулся о мысль: не усыновить ли его, тем более, у римлян нередко случалось, что юные любовники вдруг превращались в признанных сыновей. Но за годы служения римлянам Тиберий Александр познал на собственной шкуре смысл расхожей пословицы: то, что можно Юпитеру, то быку не положено.

Уложив Вороненка в постель и укрыв одеялом, он снова, как ночью, накинул плащ и, не глянув на стражников, словно пловец из воды, вынырнул из шатра.

Над руинами поднимался туман. Странно. Обычно туман поднимается с низменных мест, но здесь, в лагере, было ясно. Присмотрелся, и показалось, что над руинами не туман, но — дымок, то ли здесь и сейчас, то ли оттуда, из разгромленного квартала родной Александрии, в котором тогда и сейчас жили, живут евреи. Если вернется в город, в котором он вырос, в еврейский квартал не пойдет. Пусть спинет в тумане, дымом в небеса отлетит.

Пройдя по лагерю, что делал каждое утро, он, возвращаясь, вспомнил посольство дяди Филона в Рим. Петроний, сирийский наместник, получил письмо с пожеланьем Калигулы, чтоб его статую поставили в Храме, и, зная законы евреев, полагал: это вызовет бунт. Переубедить не пытался, но постарался, как мог, выиграть время. Принял еврейскую делегацию и услышал такое, от чего, сказал дядя, у него волосы поднялись бы дыбом, если бы не был он лыс. Подойдя к нему, евреи сказали:

— Мы с готовностью и радостью горло свое подставляем, пусть в жертву нас принесут, наше мясо на части разрежут для жертвенного пиршества. Мы сами обряд совершим. Лучших жрецов ты не сыщешь. Всех в жертву мы принесем: жен, братьев, сестер, отроков, чад наших невинных. А потом, встав среди них, родной кровью умывшись, с их свою кровь мы смешаем, над их трупами заколовшись. И пусть наша плоть, сторев на огне, дымом поднимется к Господу.

Солдаты откинули полог, но он, помедлив войти, оглянулся: руины дымились, и дым, птичьей стаей кружась над камнями, медленно поднимался, восходя в синее небо с белыми прожилками облаков.

Постояв у шатра, он вернулся. Вороненок лежал поперек кровати. Он стоял и смотрел, любясь юной, не изгаженной жизнью плотью. Вдруг что-то кольнуло, перед глазами мелькнуло, в ушах зашумело. Набросив на мальчика одеяло, присел на кровать, стараясь его сон не спугнуть.

— Сон — это главное для здоровья. — От матери в памяти остались лишь эти пустые слова, ни фигуры, ни облика, ни звука, ни запаха.

Ничего не осталось, кроме покоя, который вместе с ней навсегда из жизни ушел. Ни отец, ни дядя покоем не награждали. Их слова, словно были они из металла, были никогда не пусты, напротив, тяжелы, полновесны и неподъемны. Может, покой таится в пустых, легких, как пух одуванчика, бесполезных словах?

С того самого дня, когда, пройдя по мосту, не вернулся, тревога не покидала, утихая, как в бурю изнемогшее море. Она стала тенью: на мгновение в полдень исчезла, но сделала полшага — снова вернулась, словно существовать без него не могла.

Он забывался, Вороненка лаская, но и у него в глазах видел тревогу, не его, а свою. Чувствовал, что-то страшно точит, как яблоко, червь, гложет мальчишку, сжирает нутро. Но когда его звал, тот словно заново на свет появлялся, забывая тоску, себя ему отдавая, его тревогу вбирая. Может, только чужая тревога может изгнать свою? Как об этом спросить? Если бы даже мог, хотел

говорить, сумел бы понять, смог бы ответить? Такое словами не передать. Пробовал догадаться, но, верно, фантазия тоже осталась на том берегу, куда уже не вернуться. А иначе как в свою душу принять тревогу мальчишки? Да и вытеснит она то, что его пожирает ежечасно, ежеминутно, ежемгновенно?

Кому о таком рассказать, с кем таким поделиться? С тех пор, как перешел, он лишь приказывал, принимал доклады. Ну, и, конечно, докладывал, выслушивая приказы. Власть одинока. От кого это услышал? От дяди? Не помнил. Власти жаждал? Он ее получил. Жаловаться на что? Разве что на себя. А если все бросить, скрыться, сбежать, в тумане предутреннем раствориться?

В ответ услышал собственный смех.

#### 14. Вороненок

— Кино и телевизор — слову враги. На слове паразитируя, они его убивают. Пробираются внутрь, выхолащивая значение, смысл, даже звучание. Актеры, дикторы, чужие слова повторяя, понятия не имеют, что хотел сказать написавший. А слова породивший не ведает, что из них делают те, кому их отдаст. Отдаст — деньги получит. Скажут — деньги получают. Так и мечется беспризорное, никому не нужное слово между деньгами.

— И Сцилла Харибды не слаще?

— О слаще нет речи.

— Демократия, за которую грекам спасибо, из зол наименьшее, но все-таки опасное зло.

— Опасное? Чем?

— Диктатом серого большинства.

— Серого — непременно?

— Всенепременно! Большинство не серого не бывает. Образованных, умных и нравственных всегда и везде устойчивое ничтожнейшее меньшинство.

— Значит, монархия, олигархия все-таки лучше?

— Хуже, лучше — на слове меня не ловите. Не ловите — не будете словлены.

— Хорошо, но раз уж словил.

— Ловить будете — увернусь. А в отместку буду за вами охотиться. Истина побоку! Вперед, на ловитву. Серьезно. Океан серости неизбежен. Задача — открыть, заселить, обустроить элитарные — элитарные, элитарные, не бойтесь вы слов, загаженных дураками — элитарные острова.

— Остров ученых. Остров судейских.

— Смейтесь, смейтесь. Сами на таком острове обитаете. Скажу только вам, по секрету. Без таких островов демократия скиснет, скухнет и сгниет. Потому, еще рюмочка, друг мой: за элитарные острова, без которых все — глупая чепуха или, если угодно, чепуховая глупость.

У Первосвященника на стене в кабинете среди разнообразных, разноформатных дипломов, в рамочке, под стеклом висела квитанция — уплаченный штраф за неправильную парковку. При первом знакомстве он квитанцию заприметил, но спросить не решился. Когда вышел, спросил — рассказали.

Возвращаясь со службы, Первосвященник — тогда начинающий жрец — наткнулся на оцепление: теракт, амбулансы в дороге, у девушки кровь хлещет из шеи. Ввел в горло трубку — крикнув подоспевшему фельдшеру — а пальцем заткнул артерию.

В больнице рядом с кроватью шел до операционной. Когда на такси вернулся, от теракта не было и следа, а на ветровом стекле — штраф за парковку.

В углу кабинета со времен незапамятных было пятно, от времени порыжевшее. Заведя в первый раз в кабинет, шеф без тени улыбки, показав на пятно, заметил:

— След от чернильницы.

— Бывает. Лютер был вспыльчив.

— Не только Лютер. Да и не от чернильницы след, а от чая.

Так познакомились.

Когда Важный, так он его про себя называл, вошел, он не спал. Знал, что тот любит смотреть, как он, раскинувшись на кровати, лежит на боку или на животе. Пока тот от полога шел, он, услышав шаги, прикинулся спящим.

За время, что у Важного жил, Вороненок его полюбил. Тосковал, когда долго не видел, а тот, как назло, слишком часто отлучался из лагеря, а когда возвращался, все время был занят: приходили начальники, он их расспрашивал, он им приказывал. Его друг, его покровитель был в лагере главным, потому и прозвал про себя: Римлянин Важный. «Римлянин» отвалился. Понятно,

если тот важный, то — римлянин, кто же еще? Только странный какой-то. Римлянин, но обрезанный. Как это? Только евреи мальчишек обрезают.

С того самого дня он не мог говорить. Все слышал, все понимал, но как только хотел что-то сказать, в голове начинало греметь, клокотать. Научился и без слов говорить. К чему? Чужой слово поймет? А свой и без слов понимает.

Но вот Важный встал, одеяло поправил и снова ушел. Повернулся на спину, не открывая глаза, решил снова попробовать, сказать хоть одно, самое малое слово.

Грязный, вонючий кулак треснул его по губам. Затрепало, заклокотало и загремело. Трое шли по двору, огромные, металлом сверкая, кожей воняя. В руках у каждого меч. Последнее, что запомнил. После этого засверкало, хлынула кровь, головы по камням покатались, в живот матери вонзилось сверканье, и голова нерожденного маленькой луковкой по камням покатались.

Земля кровь впитать не желала, и она брызнула в небо.

Солнце переспелым гранатом распалось и лопнуло.

Градом кровавым зерна граната покатались за черные головы гор, отрубленные сверкающей линией горизонта.

Над главной горой все стремительней и сильнее жертвенный дым в небеса заструился.

Дневные заботы омутом завертели, и, спасаясь от дыма, который теперь был в нем самом, с радостью, словно разгоряченное тело воде, он им отдавался, доверяясь, как раб безбородый хозяину, господину, властителю.

Кто это знал? Кто это видел? Кто понять это способен? Знал только он, значит, никто. Раньше в подобных вещах и себе был не способен признаться. Но с появлением Вороненка что-то в нем надломилось. Ощущал себя волком, сломавшим зубы, обреченным на гибель.

Принял доклады, роздал приказы, но прежде всего узнал от рабов, как Тит почивал, и нет ли каких новостей. Была одна новость. Тит, несмотря на скорый отъезд, собирался из ненавистного лагеря смыться. Раб не знал, куда он собрался уехать, зато знал зачем. Впрочем, мог бы не говорить: любовницы Титу были куда как важнее войн и политики.

— Мой друг, без власти я кое-как проживу, хотя и не слишком приятно. А без женщин я не могу.

День прошел. Под вечер он, как обычно, осматривал лагерь. Хотелось осмотр продлить, зацепившись за что-то, но все было в полной исправности, и он вернулся в шатер. Едва вошел, как дневной, не слишком дымом насыщенный воздух, нанесенный восточным душливым ветром, его начал душить. И все, что случилось вчера — срывание одежды, умащение, благовония — все повторилось.

Голом рухнул в постель, решая: позвать Вороненка или сегодня без него обойдется? Решил попробовать уснуть без него. Велел подать вина и Овидия. «Метаморфозы» его увлекли, запах дыма, хоть не исчез, но ослаб, а затем он вздремнул. Но это длилось недолго. Снова запах стал нестерпим. Проснулся. Свиток с Овидием лежал на полу, у кровати. Кликнув раба, велел свиток поднять, унести, и когда тот уже выходил, остановил его криком, его самого испугавшим:

— Привести Вороненка.

Да, он слаб. Надо признать. Признать, чтобы с этим бороться и слабость свою победить. Иначе в Риме просто сожрут. Кому нужен беззубый, с выпавшей шерстью волк? Скрывай не скрывай, рано ли, поздно, скорей, конечно, рано, чем поздно, это узнают, и, пасти открыв, будут рвать его плоть, и кровь по мордам звериным их потечет.

Вороненок, стремительно полог отбросив, вбежал, чистый, светлый, промытый. Его клювик птенцом в клетке метался. Миг — и мальчонка прижался, целуя в шею, лицо, сползая на грудь, путаясь в волосах, а затем язычок кругами по животу побежал, в горловинку, играя и веселясь, проникая. И вот, не он входит в него, но рот Вороненка охватывает, возбуждая, лаская, а затем выпивая всю муку, весь этот омерзительный дым, который весь день в него проникал, оскверняя.

На этот раз он первым уснул. Вороненок прижался, положив его сонную руку себе на живот: ему так спокойно, эта большая рука не даст улететь и, в небо поднявшись, увидеть красные зерна граната и черные головы, отрезанные закатом.

Спят, друг к другу прижавшись, спят, друг в друга вцепившись, оба боятся взлететь, в голубой бесконечности раствориться. Легки, словно пух одуванчика, словно пылинки: дунут — и полетят, но носу щелкнут — и сгинут.

Спят лагерь, чутко, тревожно. Спят руины, таинственно, безнадежно. Род продолжив, затихли шакалы. Спят звезды, луна, тучей укрывшись. Только там, где когда-то был жертвенник, восходит тонкий дымок. И на месте Святого святых, отпустивая лис и шакалов, — голубое мерцание.

Усиливаясь, темнея, обращаясь в сапфировый свет, ночь пронзая, мерцание в шатер проникает, и спящий, его ощущая, дрожит, задыхается в крике. Вместе с мерцанием запах сильней,

удушливей, нестерпимей. Дрожа, задыхаясь, змеей, с себя сдирающей кожу, он извивается, и проснувшийся Вороненок, пытаясь его успокоить, гладит, целует, ласкает.

Тщетно. Ничто змее не поможет, пока старую кожу не сбросит.

В детстве в Александрии весной он увидел змею: та из кожи своей мучительно выползала. Закричал, отец прибежал, схватив меч, голову змее отрубил.

Давно нет отца, нет и змеи. Кто его, овладевшего жизнью, как девственницей, с которой пояс содрал, как женщиной, у которой с груди повязку сорвал, порвал ремешки бычьей кожи, кто его посмеет убить? Кто самого главного в лагере после Тита убьет? Кто руку поднимет на полководца Веспасиана?

Все сделает сам. Тщательно, как всегда. Сперва оторвет от имени ненавистное и чужое: Тиберий. Теперь он — Александр, и клочьями кожу, пропахшую дымом, всю в пятнах крови, сдирая, он выползет, отшвырнет. Он делает все по порядку, с ног начиная, он поднимается, лоскуты с бедер срывает, затем с живота...

Испуганный Вороненок гладит, целует, ласкает не так, как всегда — с ног начиная. Язык, руки движутся вверх, и Важный начинает спокойней дышать, а когда ласкает шею, лицо, проводит руками по голове, тот затихает. Устав, ластясь к огромному телу, он, измученный, засыпает, без сновидений, без памяти, без надежды. Уставший, напуганный, Вороненок забылся. К огромному, жаркому телу прильнув, услышал жужжание мельницы: в их доме, как и в других, мололи зерно. Но что-то его напугало. Звук похож, но не такой. Прислушался, ладонь к уху приставив.

И впрямь, это мельница. Но мелет она не зерно. Головы отрубили, на крюк тела вздернули: до самой последней капли кровь должна вытечь. Самый маленький жрец это знает.

Но звуков капель о камень не слышно, значит, вытекла, значит, тук, мясо на жертвенник отделили, а теперь мельница, дрожа и визжа, мелет кости: отца, матери, братьев, сестер. Прислушался: у соседей те же мельницы, тот же звук: мельница мелет кости людские.

Он выполз из вонищей, продымленной кожи и, вдохнув свежий предутренний воздух, побежал, помчался, понесся, смерть свою обгоняя.

## 15. Мимоза

Фоно его прозвали на даче. Родители занимались отъездом и с удовольствием, чтоб не мешался у них под ногами, отослали на дачу. Со своим троюродным братом они не очень сдружились. У того были свои дела, увлечения, интересы, он любил исчезать из дома, так что днем его почти не бывало, только когда приезжал дед, он прибежал, грязный, мокрый и пыльный.

Сидел больше дома. На речку он не ходил: плавать не умел, а барахтаться в грязном песке не хотелось. Привезя много книг, целыми днями читал. Когда книги кончились, дед привез огромные стопки только что купленных. Куплены не ему, но читать никто не запрещал. Среди них был любимый Марк Твен. «Тома Сойера» он читал раньше, но из всей груды для начала выбрал его, хотя, как только книга в руки попала, его настигла противная мысль, что брат, воображающий себя, конечно же, Томом, видит в нем Сида, тихоню и ябеду.

Сначала он, полистав, нашел пару любимых мест. Во-первых, конечно, пещера, в которой юные жители американского Санкт-Петербурга Том и Бекки пропали. Представил себе темноту, из которой свеча вырывает светлый клочок, лабиринт, по которому те блуждали: мокрый, узкий, противный; летучих мышей, которые носятся, норovia последнюю свечу загасить. Но главным было не это. Это только начало. Главное — воображал себя Томом, в кромешной тьме обнимающим ревущую Бекки.

Зимой, сонный и мокрый от гриппа, он полз на животе по тоннелю, отталкиваясь ногами, и каждый камешек норовил кольнуть побольнее, плечи протискивались сквозь склизкие стены, их стараясь раздвинуть, голова болталась бессильно, и думал он об одном: выползти, до света добраться. Пока полз, Беки была то с ним, то пропадала, он ее звал — молчала, не откликалась, словно воды в рот набрала. А вода каплями, ручейками, теплая и противная, забиралась ему под одежду, и, мокрый, он полз. Когда кончится бесконечный проклятый тоннель, будет свет, будет сухо, будет пахнущая цветами и летом теплая Бекки.

Другим любимым моментом было исчезновение Тома и Гека. Прочитав, все время мечтал, что с ним это случится. Пропадет, и весь город будет искать, волноваться. Только беда: одному исчезать не хотелось. Когда ехал на дачу, думал, может быть, вместе с братом исчезнет. Но понял: и в этот раз ничего не получится.

Но самым классным моментом он считал поступок Тома, спасшего от виселицы пьянчугу, не побоявшись назвать настоящего убийцу — индейца Джо. Запомнил эти слова наизусть:

**Он стяжал себе бессмертную славу: местная газетка расхвалила его до небес. Некоторые даже предсказывали, что быть ему президентом, если его до той поры не повесят.**

Однажды, когда дача кончалась, бабушка позвала, сказав, что хочет кое-чему научить. Мол, братца, как ни пыталась, не получилось, слишком уж непоседлив, а вот у него, Фоно, должно получиться. Учила, пальцы сложив, держать вращающуюся, и у него, привыкшего к таким упражнениям, получилось быстро и хорошо. Только почему-то, когда стало все выходить, она не слишком обрадовалась и сказала: не в коня, к сожалению, корм. При чем тут конь, какой еще корм?

Но было на даче и общее дело. Под вечер они брали бидон — его нес обычно он — и по металлической кружке. Отправлялись в деревню, за молоком. Бабушка поправляла:

— Не за молоком — за парным!

Она считала свежее молоко лекарством от всех болезней. Когда братец от похода хотел отвертеться, прибегала к крайнему средству, обещая деду все рассказать. Похоже, тот к чудодейственной силе парного относился скептически, но, не желая бабушкин авторитет подрывать, что-то мычал, хотя сам молоко, хоть парное, хоть из бутылки, не пил.

Походы могли обернуться делом приятным и скверным. Вопрос, кто будет доить. Им велено было являться, когда дойку лишь начинали. Стояли, смотрели, как из коровьих сосков брызжет в ведро молоко, сперва звонко, ударяя струей о металл, а потом, когда ведро наполнялось, струя тоненьким водопадом лилась глуховато. Пенилось, пузырилось и лопалось, было похоже на такие грибы, на которые наступишь ногой — взрываются противным коричневым дымом.

Когда пенная поверхность слегка оседала, им наливали по чашке, они выпивали, брали полный бидон и — домой. Впрочем, частенько — особенно если дома не было деда — братец по дороге сбегал, и домой он тащился один.

Как доят, смотреть интересно, но пить молоко, к тому же парное, противно. Особенно, когда доила старуха Матрена, толстая, с огромною грудью, переваливавшейся через край желтоватой застиранной кофты, с ногами, похожими на коровьи, красноватыми в синих прожилках.

Другое дело, когда на скамеечку перед выменем садилась Ириша. На нее глядя, он думал: как у такой коровы может родиться такая славная дочь? Года на два, на три их старше, светловолосая, тонкорукая, коленки сжаты, короткое платьице. Наливая им молоко, всегда улыбалась. Он считал, что только ему, ведь он в ответ ей тоже всегда улыбался.

Когда доила Ириша, пить молоко было не очень противно, а возвращаться домой одному скучно не очень.

Ранним утром ехал из аэропорта и незадолго до поворота на монастырь попросил водителя остановиться. Подошел к обрыву, сделав шаг от асфальтовой кромки. Под ним — ущелье, позднему, *вади* (иврит): ведро с пузырящимся парным молоком. Как сказали бы греки, чаша с пенным парным молоком.

Вспомнил другое ущелье. Мгновение встречи с ним ждал долго, отчаянно, с нетерпением. Наступило внезапно. Дельфы, вынырнув из ущелья, над ним орлом воспарили: вокруг пропасти, а над ними — обе вершины Парнаса. Зажмурив глаза, представил: статуи рядами на священной дороге, к Храму Аполлона ведущей, за ним — пещера, из которой рвутся пары, несущие Пифии дерзкое вдохновение.

Солнце взошло, и лучи, буравя белую, в клочьях поверхность, пытались, проникнув, добраться до истины, до сердцевины. Ощущая силу лучей, молоко оседало, медленно, неохотно.

Солнце было настойчивым: миг — и коснулось макушки одного из пяти темно-зеленых когда-то, а ныне веселых куполов золотых. Встретившись, с солнечным светом, купол и крест брызнули, засверкали, все вокруг задрожало. Еще мгновенье, минута, и белая тонкая полоса съжилась, скусилась, ступевалась, выставив дно ущелья.

Туман, в последний миг задрожав, вздрогнув, иссия, обнажая светло-зеленые склоны, кольца террас, объемлющих гору, на склоне которой, как на Парнасе Храм Аполлона, выросла пятикупольный храм, чьи золоченые шлемы в жажде сапфирового откровения, возносили кресты. Руки, шпильки, кресты — к земле прижимаясь, в страхе пластая, скрываясь в тумане, в отчаянье возносясь, тянутся, вопрошают, горизонт в лестницу обрaccia.

Стоя у самого края, в полушаге от обрыва, паденья, исчезновения, он тонкий запах вдыхает: у обрыва мимоза, то ли малое дерево, то ли куст, с корнем нестойким и неглубоким, едва проникающим в землю. Рядом с тонкой мимозой, буколической, словно флейта, полнотелой и грубой, из глубин земли вырастая, змеилась лоза: след заброшенного в давние времена виноградника на террасе. Виноградник был здесь тогда, когда ни дороги, ни церкви не было и в помине, разве что в Дельфах, на склоне Парнаса к небесам восходили стены Аполлонова храма.

Рядом с лозой, корнями цепляясь за бездну, грелась с сотворения мира на солнце маслина с редкими крошечными плодами. Но случится садовник, год, два, на третий воспрянет, корни, дотянувшись до бездны, будут пить сочную воду, а солнца хватит на всех: и лозе, и мимозе, и старой маслине.

Поверхностные и глубокие, толстые, узкие, корни, пронзая гору, ее изнутри укрепляли, а террасы энтропии предотвращали. На вершине, век от века друг друга сменяя, возникали и исчезали, из камня, огня, из дыма, жертвенники племен и народов, приходивших и уходивших, рождавшихся, умиравших.

Покрываясь серой золой, как патиной бронза, камни жертвенника раскалялись, благоволение Господа призывая. Жрецы молча служение совершали, и дым — на все времена и племена — восходил такой, как вчера: то стелаясь, то возносясь, воле Творца покоряясь.

Из рассеявшегося тумана вышло тучное стадо коров, пожирающих темно-зеленые желтые травы, и подвижные козы, стремительно объедающие легкие светло-зеленые листья.

К этому месту в туман или ярким солнечным утром он с тех пор приходил, случалось, чаще, случалось, реже, но ни разу ничего нового не увидел, и не стремился. Приходил перечитать тот единственный миг.

Полет, дорога, ущелье, в котором играет и пузырится звонкое молоко.

Над жертвенником и горой жидким, нежарким огнем — белопенный, размытый след пролитого молока. Отпрохотав, самолет, порушивший пастораль, задрожав, исчез, растворился.

Пахло мимозой. Хотя там, в самолете, сидя за ней, вытянув шею, словно хотел лучше увидеть что-то в иллюминаторе, а на самом деле приблизившись к ее волосам и затылку с колечком, тонким, едва заметным, словно легкий дымок, там, в самолете, он вовсе не знал, что так пахнет мимоза. Был запах, нежный, тонкий, влекущий, но не было слова. Мимоза? Что-то грузинское, в кепке и дорожке: сумасшедший базар, Восьмое марта, идиотизм.

В самолет вначале впустили летевших в нем раньше. Самолет кружил по Сибири, собирая сумевших в начале весны из снега, холода, грязи смыться, исчезнуть, на юг убежать, на синее море.

Ему было четырнадцать, он тянулся все выше и становился все тоньше. То ли трудности роста, то ли другое, никому неизвестное, но под конец зимы, едва потеплело, на него напал нескончаемый насморк, который он заливал, как водою пожар, бесконечными каплями, и к тому — бесконечная чесучая сыпь. Чесалось везде, особенно там, где прилюдно чесаться никак невозможно.

Друг семьи, врач-аллерголог, как и родители, сбежавший в Сибирь, где было вольготней, предложил варианты. Их было два. Один: лекарства, лекарства, лекарства. Будет толк, но какой — непонятно. Конечно, будем лечить. Вылечим, когда все пройдет. Другой: на юг, желательно с морем, Карибским, Черным, замечательно — Средиземным.

— Юноша, какое море желаете?

Выбор был сделан не им, но временем и родителями. Карибское со Средиземным были, как выразился отец, далеко. А в Батуми, в Аджарии жила его тетка, гречанка, по имени — оказалось, он не шутил — Пенелопа.

— Вот к ней и поедет.

— Как поедет? Один?

— Не поедет, а полетит.

— Как же школа? У него ведь экзамен?

— А для чего каждый вечер ты треп... — Тут папа запнулся и, исправившись, заключил, — беседеешь с Инной.

Инна была, во-первых, подружкой, тоже из беженцев. Из Европы сбежавшие, они себя с гордостью и затаенным ехидством так называли, в не слишком родной и привычной Сибири в стаю сбиваясь. Во-вторых, выслужилась в большие начальницы по просвещенческой части.

От аллергии, грязи, Сибири он летел, запах мимозы вдыхая, к тетке по имени Пенелопа. И хоть Гомера он не читал, но про Пенелопу и Одиссея был все же наслышан.

То ли мимоза, и в самолете, и сразу за домом, в котором ему досталась задняя комната с видом на заросли, то ли высокая и костлявая, вопреки общему мнению добрая Пенелопа, но на следующий день по прилете из носа уже не текло, зуд прекратился. С трудом дозвонившись, папа-мама были в восторге: аллергия исчезла, и они со спокойной совестью могут от него отдохнуть.

Но чудо было не в том, что аллергия исчезла. Чудо было в мимозе: после посадки мелькнув, с мамой они, не торгуясь, скрылась в такси, а он, зацелованный Пенелопой — в твоём возрасте отец был точно таким, — оказался в машине, которую вел один из племянников Пенелопы.

Чудо случилось! Он ее встретил на улице, около дома и проследил: они с матерью поселились в трех минутах ходьбы.

Но чудо чудом, а как снова вдохнуть запах мимозы? Для ног не расстояние, а для носа — настоящая катастрофа. Он решил так. Надо больше гулять, а поскольку Пенелопа далеко его отпустить не хотела, то будет гулять рядом с домом, поблизости. Пенелопа была просто в восторге: во-первых, аллергия прошла, во-вторых, очень послушный ребенок. Не может нарадоваться. Это все — маме. А папе:

— На тебя — ты не помнишь, что был хулиганом? — он совсем не похож. Чудный ребенок.

Отец, видимо, фыркнул в ответ, удивившись и не слишком поверив. А зря. Он ведь дома был тихим, правда, нередко своим поведением демонстрируя точность пословицы об омуте и чертях.

Стал гулять утром, вечером, днем. Улица и примыкающий парк стали противны до тошноты, как на даче, где к реке и песку прилагалось пузырящееся, парное, особенно омерзительное, когда доила толстая тетка, тошнотное молоко. Там, на даче его и прозвали Фоно, и хоть занятия музыкой он забросил, прозвище сохранилось, почему-то прилипнув.

На море он не ходил, отговаривался холодной водой. На самом деле появиться на море было бы мукой: на море одетым не ходят. Зимой как раз с аллергией его постигла другая беда: словно черной травой, ноги его обросли волосами. К тому же, когда лишь представлял себе пляж, становилось не по себе, низ живота набухал мучительно тянущей болью.

Заросли мимозы из зеленых давно стали желтыми, затем запылились и потускнели. Сперва пахло нежно, едва ощутимо. Затем настойчиво, сладостно. Но и теперь, когда пахло горько, неотвратимо, встретить ее не удавалось. Наконец, после месяца наблюдений, его страдания были вознаграждены.

Увидел!

Он был на другом конце улицы и побежал. Добежав: шофер ставит сумки и чемоданы в багажник. Они с матерью уезжали.

Когда скрылась машина, постояла минуту-другую, не зная, что делать, и вдруг сорвался: уехала, но мимоза была в его власти, и он сотворил ритуальное мщение, устроив костер из свеженаломанных веток. Гореть они не желали, сколько он ни старался, подкладывая газеты, с разных сторон поджигая. От сырых веток появлялись клочочки сероватого дыма, черные обрывки газет ветер разносил по округе.

В конце концов надоело. Ногой расшвырял неудавшийся жертвенник, наломал еще несколько веток мимозы. Запах мимозы заместился запахом гари, и он побежал домой, слезы кулаком вытирая.

Как-то Пенелопа сказала, что завтра утром она едет в горы, в село — название не запомнил — участвовать в ритуале, который только там, в горах сохранился. Называется он *курбани* (от тюрского *курбан* — жертва, восходящее, в свою очередь, к *корбан*, иврит — жертва). Было скучно, и он напросился. Пенелопа долго отнекивалась, но упрямил.

Поехали рано утром. Повез родственник Пенелопы — сжав губы: седьмая вода на киселе — за всю дорогу не проронивший ни слова. Зато Пенелопа говорила без перерыва, рассказывая о местах, которые проезжали. Все эти деревни — в этом Пенелопа была совершенно уверена — когда-то, даже не так давно, ну, лет двадцать-тридцать назад, населяли одни только греки. Потом в них поселились чужие, и вот, смотрите — как раз мимо заколоченной церкви они проезжали — ничего нашего не осталось.

Как ни спешили, но едва успели, пристроившись в хвост длинной процессии. Что было там, в голове, сразу он не увидел: люди в белых одеждах, многие в венках из цветов тянулись по узким каменным улочкам. Каменными были стены домов. Камнем вымощены улицы. На горе — каменным грибом выростающая церковь. Понял: туда и взбираются.

Идут медленно. Но и такая ходьба Пенелопе не слишком по силам. Он идет рядом, и когда они, последними, добираются, то едва находят местечко на пяточке, который все площадью величают, за ней церковь к скале прилепилась. И впрямь, похожа на гриб.

Перед церковью — большой плоский камень. Перед ним замученный слепнями и мухами бык: рога позолочены, разноцветными лентами разукрашен. Ленты спадают бессильно. Хоть бы маленький ветерок. Распевелил, оживил бы быка. С быком рядом флейтист. Звуки в зное едва шевелятся. По другую сторону — девушка в белом. Держит корзину. За камнем — костер, незажженный.

Вдруг толпа колыхнулась, от каменных стен отпрянув. Всех обносили кувшином с водой. Людей много. Кувшинов лишь два. Они медленно шли по кругу, друг другу навстречу. Подошли и к ним с Пенелопой. И они руки помыли.

— Омовение рук, — громко, наверное, даже бык этот шепот услышал, ему в ухо подула.

Потом воду полили и на быка, и ему в корыто налили. Бык оживился. Хвост быстрее завертелся, отгоняя мух и слепней. Опять с двух сторон — корзины. Каждый брал ячменные зерна и швырял: кто поближе, швырял на плоский камень и на быка, кто подальше — на землю.

После этого к девушке в белом, стоящей с корзиной возле быка, подошел Бородатый. Выудил нож, чем-то белым прикрытый. Осмотрел, по сторонам повертел: мол, глядите, все без обмана. Тем временем за камнем костер разожгли, и, срезав со лба быка рыжеватый клочок шерсти, Бородатый бросил в огонь.

Что было потом, он сначала не понял. Возле шеи быка сверкнуло. Взвизгнула Пенелопа, вслед за ней женщины завизжали, на камень хлынуло красное. Бык зашатался. Ленты развилась. Рога заблестали. И, не выдержав крика, колени у быка подогнулись, и, качнувшись, он рухнул на землю.

Люди хлынули к камню, пальцы в кровь окуная, на лбу крест рисовали.

Замутило. Отпрянул, вжавшись в стену из камня.

Пенелопа, ринувшаяся к быку окунать в кровь свои пальцы, обернулась и отпрянула вслед за ним.

Внимательно поглядев, взяв за руку, вниз его потащила. Когда спустились к машине, почувствовал дым. Понял: наверху жарили мясо.

Обратно ехали молча. Даже Пенелопа молчала. Лишь подъезжая, взглянув на него и решив, что оклемался, промолвила:

— Жертвоприношение — общая трапеза. — Сделала паузу, словно забыла и вспоминала. — Всевышнего и людей.

## 16. Видение мира

Римские жрецы перед штурмом во время принесения жертв обратились к еврейскому Богу, призывая покинуть город, на разрушение обреченный, и перейти на сторону победителей, обещая в награду хорошее отношение.

Вернувшись после жертвоприношения и ужина с Титом, велел немедленно приготовить ванну и растереть тело маслами. Как всегда, стараясь не признаться в этом даже себе, жертвоприношение вызвало в нем странное чувство: смесь восторга с гадливостью. Восторга причастности к великому Риму, гадливости... Если быть честным, то и гадливости к этому великому миру. Как это в нем, бывшем еврее, а ныне верном слугителе римских богов, уживалось, никто не мог бы ответить. Дядю спросить... Нет уже дяди.

Восторг улетучился быстро. Гадливость осталось. Ее постарается смыть, развеять чудным запахом благовоний, недавно присланных из Александрии. Ну, а на крайний случай есть всегдашнее средство: мудрый дядя и ласковый Вороненок.

Выйдя вдохнуть темной ночной прохлады, взглянуть на колючее звездное небо, он, слегка успокоенный, велел подать свет, папирусы с дядиными сочинениями и позвать Вороненка.

Стоял под луной и звездами, вчерашний сон вспоминая. Он летит ранним утром, солнце только взошло, примостившись на горизонте, летит над городом, то ли обратившись в орла, то ли орлом вознесенный. Орел — предвестник победы. Римской победы.

Под ним улицы города, пустые — ни человека, ни зверя, то ли все спят, хотя давно пора и проснуться, то ли все умерли, а может, сбежали. Опускается ниже, силясь разглядеть свидетельство малое: город жив, просыпается, вот-вот мельницы зажужжат. Но пусто и тихо. Что молоть мельницам? Зачем просыпаться?

Пролетает над Храмом. Пусто и здесь. Тихо, безмолвно, пустынно. Над жертвенником ни всполоха, ни дымка. Зола на решетке. На камнях пятна жертвенной крови. Он парит, опускается ниже, пытаясь в безмолвии и разоре увидеть, услышать хоть что-то, слабый признак того, что продолжится жизнь.

Сон оборвался глупым, пустым разговором. С кем — неизвестно. Зачем — непонятно. Задавали один и тот же вопрос:

— Зачем ты их убил? Зачем этот город ты уничтожил?

Расталкивая другие слова, однозначное, по-римски твердое «ты» безжалостно выпирало. Пытался ответить, что вот он, город, живой, что вот, на стенах — защитники, что жизнь в городе продолжается. Но ведь и сам знал прекрасно, что если и так, то совсем ненадолго.

Но голос, задающий вопрос, этого знать не мог, почему же одно и то же твердил?

Умиротворенный славным мальчишкой, который тотчас уснул, носом уткнувшись в бедро, он лег повыше, осторожно подтянув Вороненка — тот просыпался, когда он его не касался, слов-

но младенец, потерявший материнскую грудь — и начал читать дянины рассуждения о братьях Каине, Авеле.

Он всегда этих братьев называл именно так: первым Каина, тот ведь был старшим, а вот дядя думал иначе: младший на первом месте. Как об этом у дяди?

**Порок старше добродетели, но в значимости и достоинстве уступает ей, и потому, когда ведется речь о рождении, быть первым Каину, когда же дело идет о поприще, Авель пусть первым будет.**

Он это читал множество раз. Ну, Каин, ну, брат его Авель. Бог с ними. Ведь дядя сам говорил: аллегория. Но в этот раз слова Филона его зацепили, словно жертвоприношение, с которого он вернулся, было жертвоприношением Каина. Но разве тот был язычником?

Вороненок зашевелился, привстал, сел в постели, глаза полузакрыты: не понять, то ли спит, то ли проснулся. Погладил его, приподняв ему подбородок, поцеловал в ложбинку между горлом и грудью, маленькую долинку, крошечный пяточок между горами. Вздрогнул, в щеку губами уткнулся и, добившись, чего во сне пожелал, сполз ему на живот и, лизнув, снова уснул.

Нет, сегодня Каин и Авель или, пусть будет по-дядиному, Авель и Каин, сегодня они успокоить его не сумеют. С тех пор, как стал почитателем римских богов — имена главных долго ему не давались — он читал только то, что могло успокоить. Это ведь юность ищет смятения, бурь — бороться, в силе своей утвердиться. Зрелые годы требуют мудрости. А разве мудрость без покоя бывает?

Авеля-Каина отложив, потянулся к другому. Папирусы слегка испорчены. Видно, давно их не смотрел. Дянины сочинения он хранил ревностно, тщательно. Заметив испорченное, тотчас велел переписать на самом лучшем — александрийском папирусе, а самое ценное — на дорожном пергаменте.

Он читал о жертвоприношениях у евреев, их разных видах, а главное — сущности. Дядя, верный себе, во всем видел лишь аллегория. Даже в тесте, от которого надо жертвовать Господу. Для дяди «тестом» были сами евреи. Они названы тестом, потому что Ваятель смешал в каждом из них разные сущности, потому еврей есть смешение, вот и названы тестом. От смешения этого, делимого в первую очередь на душу и тело, и нужно жертвовать Господу святые побуждения души и тела, которые есть аллегория пшеницы и злаков иных.

Завтра непременно надо спросить, как обстоят дела с подвозом зерна. Египет — зерновая база столицы. Большую часть хлеба возили суда. Конечно, он сейчас не в ответе за это, но все же.

**Но Авель жертвует не только от первородных стада своего, но — от их тука, показывая тем самым, что Богу должно отдавать все веселье, все богатство души, все, чем она дорожит, чему радуется.**

Похоже, ошибся. Это не отдельный трактат, а продолжение прежнего. Ладно, завтра не забыть приказать все разложить и отдать переписчику. На пергаменте.

Сегодня ему доложили, что в пустыне недалеко от города поймали еврея с мешком, в котором были пергаменты. Допросили, думали, сумел из города выбраться, но тот отрицал. Врал. Конечно же, врал.

— Пергаменты? — для убедительности переспросил.

— Да, мой господин.

— Было в мешке что-то еще?

— Нет, мой господин.

— Золото? Что-то ценное? Хорошо посмотрели? Может, где-то припрятал?

— Мои люди тщательно осмотрели округу и ничего не нашли.

— Знаю, на твоих людей я полагаюсь, как на тебя.

— Благодарю, мой господин.

— Пергамент? Ценность невелика. На это время не трать. Что, понесем пергамент во время триумфа?

Он засмеялся, и вслед за ним и начальник разведки.

Взял другой лист и, укрыв Вороненка, стал снова читать.

**Ведь множество людей приходят каждый праздник в Храм из разных городов, с запада и с востока, с севера и с юга, по суше и по морю. Там все они чувствуют себя в общем доме и убежище, которое находится вдали от человеческого шума и суеты... Во время жертво-**

**приношений и возлияний они делятся своими чувствами друг с другом и так достигают подлинного единства сердец.**

Ну, вот. Он тоже пришел. Вслед за дядей, великим Филоном. Тот прибыл по суше, а он вслед за войском вначале на корабле, а затем в горы поднялся. Только, может, Филон и чувствовал себя в Храме, как в общем доме, может, он испросил себе отдыха, спокойствия, тишины, дышать свободно и радоваться. Может, предался он святости и с кем-то, во время возлияний ему подвернувшись, делился тем, что он чувствовал. Может быть.

Он пришел с целью иной. Он, а не Тит, возьмет этот город. Пусть вся слава и почести, и триумф достанутся тому, кто римлянином родился. Но без него у ленивого Тита ничего этого не было бы и в помине. Тит ленив, но тщеславен. В своем шатре приказал выложить из мозаики карту империи. И каждое утро он, как ребенок, страну непокорную топчет и этот ужасный осточертевший всем город. Хотя в выдержке ему не откажешь.

Мало кто знал, что Тита при виде крови тошнит, что тот жертвоприношения ненавидит. Но кто такое может подумать? Вот и сегодня, когда жрец воткнул нож в горло быку и брызнула кровь — ему на одежду, Титу в лицо, тот и не дрогнул, не сдвинувшись, не моргнув, простоял до конца, когда, покопавшись во внутренностях, жрец объявил волю богов. И только по вздрагивающему кадыку можно было представить, чего стоит ему недвижимо сглатывать тошноту и бессилие.

Но скоро кровь будет не только на одежде, руках и лице. По узким улицам потекут ручьи крови. По широким — заплещутся реки. На площади перед Храмом раскинется море.

И еще живые жрецы, не успевшие умереть, окропят, черная кровь горстями из перерезанных глоток, — во славу Всевышнего. А левиты, мертвые и живые, со ступеней Храма будут славу Всемогущему возносить, ручьи, реки, моря, Им сотворенные, благословляя.

И плоть, лишённая крови, будет гореть во славу Бога Израиля, жир будет капать в огонь, а дым всесожжений в благоухание Господа в небеса восходить, глаза живым выедавая. Но сколько их будет, живых?

То-то будет триумфатору мука! То-то кадык заиграет!

Пусть Тит тщеславится. Ребяческие забавы — то, что Титу доступно. А этот город он завоюет. Он возьмет Храм. Дядя? Филон замечательно пишет, этого у него не отнять. Как это?

**Город Бога называется у евреев Иерусалим, и в переводе это название означает «видение мира». Потому не стоит искать город Предвечного на просторах страны. Не из камня и дерева построен он, но в душе, желающей мира, чей взгляд пронизателен. Своим назначением видит она духовную жизнь и покой.**

Замечательно! Видение мира! Предвечный! Душа!

Вот это и будет добычей. Не Тита — его.

— Спи, спи, Вороненок.

Тот спал, рукой обхватив его грудь, — жест, которым все его женщины бесполезно пытались его удержать.

— Спи, малыш, спи Вороненок.

## 17. Колечко

Вороненка искали три дня и три ночи. Вначале в лагере, затем вокруг городских стен, потом послали отряды прочесать всю окрестность. Допрашивали легионеров, дежуривших в ночь, допрашивали слуг, но даже намек на то, куда, зачем, почему Вороненок исчез, не нашли.

Нашли лишь колечко, которое он ему подарил: тусклый бриллиант, мутное золото. Вороненок часто играл с ним. Тогда золото, камень ярко блестели.

Три дня он не спал, участвуя в поисках, сжав волю в кулак: в трудные минуты он это умел. Лицо — окаменевшая маска — не выпускало наружу намека на чувства, которые в нем бушевали. Да, этому научился. Истинный римлянин, чувств не выказывающий никогда, никому.

Подавляя бушевавший вулкан, он заставлял себя думать, разматывая нить с той минуты, как случайно нашел Вороненка. Что мальчишку к нему притянуло? Почему он бежал? Чего ему не хватало? Что-то влекло? На любой из этих вопросов он давал не один, но много ответов. Слишком много, чтоб хоть один из них был правдив.

Через неделю после того, как в пролом под дождем стрел, лавой горящей смолы и гортанных проклятий храбрецы Десятого устремились, и полились ручьи, реки крови, впадая в море у Храма, после того, как зажгли и разграбили Храм — с трудом удалось самое ценное у пьяных от

добычи и крови отобрать для триумфа — через неделю видевший это издалека, от порога шатра, Вороненок исчез.

Исчез. Растворился в тумане? Пропал в черноте, ночной, беззвездной, безлунной? Провалился сквозь землю, в преисподнюю? Или разверзлась земля, обглоданные червями скелеты поднялись из ада на землю и в огне сожгли Вороненка? Молоху в жертву его принесли, как об этом говорили пророки? Вознесся с жертвенным дымом, в сапфировой тверди растаял и теперь одесную от Всевышнего в сонме ангелов Творца воспевают?

В детстве дядя, уча складывать пальцы в жреческом жесте, неустанно ему повторял:

— Ты родился жрецом Единого Бога. Ты — жрец Всемогущего Бога Живого.

Потом детским друзьям он с гордостью говорил:

— Я родился жрецом Единого Бога. Я — жрец Всемогущего Бога Живого.

Одни молча завидовали. Другие смеялись. Третьи лезли на него с кулаками. Первых он называл своими друзьями. Вторых презирал. С третьими дрался.

А теперь? Попробовал, сложил пальцы, как некогда в детстве. Получилось не очень.

— Тренируйся всегда, постоянно, иначе забудешь, и в нужный момент не получится. — Это дядя из мертвого мрака, из прошлого, из преисподней.

Выходит, дядя, философ Филон, был прав? Вот, момент наступил, и не получилось. Зачем это ему? Хотел страх отогнать? Но разве поможет?

Страх в его доме давно и навсегда поселился. Где живет он, римлянин, полководец, там и страх. Переменит жилье — тот за ним вслед. Липкий, потный, вонючий. Страх приходит с удушливым потом, не давая дышать, что самой малой твари доступно. Твари малой доступно, а ему, гордому римлянину, недоступно?

В жаркий день все лицо, все тело его Вороненка блестело: капли росы в утренней светлой мгле предрассветной. Едва заметный, чистый, словно едва зажелтевшей мимозы застенчивый запах, легкий, льдистый, летучий. И перед ним, нежно звучным, — вонючий, удушливый страх уходил, исчезал, забывался.

Знал: на мгновенье, минуту, на час. Но было в тот миг все равно. Что время, что вечность? Ничто, ничтожность, пустое. Миг, мгновенье, момент — вот и вся жизнь, все его бытие, земное и неземное блаженство, вся его вечность.

По утрам, солнцем разбуженный, он метался, выгибался и прыгал — схватить, достать, уловить. Но луч не давался, был стремительней и ловчее самого быстрого и ловкого человека. Луч солнца. Не дающийся Вороненок.

Ночью луна, к концу месяца вошедшая в зрелую мудрую силу, из темноты выхватывала то руку, то щеку его, то ложбинку, как тонкий лесной ручеек, плывущую вдоль спины. И все светилось, возвращая ему сострадание, ночным светилом дарованное утешение.

Мальчишка пришел в его жизнь даровать утешение и боль утишить. И тогда понимал: ничто не исцелит, никогда не уврачует. Только утешит, только смягчит страдания прокаженного. И это — великая милость Бога или богов, а может, судьбы.

Вороненок был с ним всегда: каждый день, каждый час, каждый миг. Нет, неправда, иногда уходил. Сядет, голову обхватит руками, лица и не видно, локти на колени поставит, в одну линию соединив ноги и руки, всего себя остального из мира убрав, и сидит, далеко-далеко, в себя прежнего уходя, от себя нынешнего убегая.

Он так никогда и не узнал настоящего имени Вороненка. Казалось, ну что тебе в имени? Но почему-то с каждым днем становилось все тяжелее именно от того, что имени он не знал. Что мог он поделаться? Выманить имя, как сделала это Исида?

Эту сказку он слышал в Александрии ребенком. Задумала в сердце своем Исида богинею стать, править на земле и на небе. Но для этого нужно похитить у великого бога его великое имя, которое и давало власть над другими богами и над людьми. Задумала Исида — исполнила. Из рта постаревшего бога капала на землю слюна. Подобрала слюну, Исида ее перемешала с землей, слепила змею и положила ее на трону, по которой каждый день бог нисходил в свое двуединое царство. И вот однажды змея его укусила. Яд заструился по божественным жилам. Великий бог, сраженный действием яда, зовет на помощь богов, чья власть небес достигает.

Среди других явилась Исида. Ее уста полны дыханья жизни, чары боль прогоняют, слова способны оживить даже мертвых. Увидев ее, Великий бог говорит:

— Я холодней воды, я жарче огня, я весь дрожу, взор мой блуждает, не вижу я неба.

Отвечала Исида:

— Назови свое имя, только по имени названный будет жить.

— Я сотворил небо и землю, я воздвиг горы, я создал моря, как завесу, протянул два горизонта. Когда открываю глаза, становится в мире светло. Когда веки смыкаю, воцаряется тьма. Я тот,

по чьему приказу Нил выходит из берегов. Я тот, чье имя неизвестно даже богам. Утром я — Кепера, в полдень я — Ра, вечером — Тум.

Но действие яда проникает все глубже, и Великий бог уже не может ступить по земле.

— Ты не открыл имя свое, — повторила Исида. — Открой мне его, и яд потеряет силу. Только названный по имени пребудет в живых.

Яд обжигал бога жарче пламени, он и сказал:

— Пусть имя мое перейдет из моей груди в ее грудь.

Сказав это, великий Ра скрылся от взора богов, и место его на корабле вечности опустело. Имя стало известно Исиде.

Может, и Вороненок поступил, как Исида, похитив вместе с любовью и имя? Подкрался ночью, как лекарь, ласками боль притупил, извлек из груди имя и сердце и в свою грудь пересадила?

В последнее время часто думал о будущем — своем и Вороненка. Он будет всадником. Почему бы и нет? Разве Тит не обязан его наградить? Разве не понимает, что этот город разрушил и сжег не он, римлянин от рождения, а бывший еврей? Понимает. И наградит. Всадник? Для Тита суший пустяк.

Затем усыновит Вороненка. Наймет самых лучших учителей, те сделают из мальчишки гордого властителя мира. А когда детскую тогу с полосой пурпурной сменил на взрослую, бело-снежную, когда побреется в первый раз и сбритое в жертву богам принесет, а остальное уложит в золотую шкатулку, тогда он созовет самых знатных. Может, явится сам император, Веспасиан или Тит — ему все равно — и он представит им взрослого Вороненка своим законным наследником.

Нет, ни Бог, ни боги ему ни к чему. Веспасиан и Тит — его боги. Боги бессмертны? Бессмертны, пока люди молятся им. Перестают — умирают. Вот он перестал им молиться, значит, боги исчезли, умерли, в небытии растворились. Не для других, для него? Ну, и прекрасно! Значит, он силен, почти всемогущ, а те слабы, бессильны.

А может, его бог — Вороненок? Слабый и незащищенный, возникший из небытия, в небытие ушедший. Разве такой может быть богом?

Убогий бог?!

Бог убогий?!

Когда тоска железными крючьями кожу с тебя, живого, сдирает, когда еще живого тебя приколачивают к кресту, когда под плевки, под палящим солнцем, под жадные жуткие клювы вороньего грая тебя на вершине горы на кресте поднимают, тогда с небес Вороненок слетает — высосать боль и слизать сосущую душу тоску.

— За что, Господи, меня наказал? За что живым швырнул в преисподнюю?

В бессилии сполз на землю.

— *Шма, Израиль* (*Слушай, Израиль*, иврит; начальные слова еврейского символа веры, который читают в том числе и в минуту смертельной опасности)!

Расставшись, спустя несколько месяцев случайно нашел под диваном колечко, которое когда-то ей подарил. Бирюза меняла свой цвет, от зеленоватого до голубого, то ли в зависимости от освещения, то ли, как она утверждала, в зависимости от настроения. Тогда спросил ее: «Чьего настроения?» Промолчала. Вспомнил: со свойственной ей настойчивостью рыскала по квартире. Искала? Теперь понял, зачем тогда она рыскала: глазами, скрытными, рысьими, руками-ногами настойчиво суетливыми. Она искала и не нашла. Он не искал — нашел. Ей оно было надо, а он в мусорное ведро швырнул.

Почему-то считала, что очень похожа на серовскую девочку, ту, в белой блузке, персики на столе. Персики обожала. Единственное, к чему не была равнодушна.

Впрочем, может, он и не прав. Похоже, к нему не была равнодушной: ненавидела тошно, завистливо, тайно. Как любил говаривать дед, тогда и постольку, когда и насколько к нему была благосклонна фортуна. Тогда в квартире при полном солнечном свете становилось темно, а в углах шевелилась сырая, жирная, липкая мгла. Словно были повязаны намертво. Сообщающиеся сосуды: у кого прибавится, на столько же убавится у другого.

Совершив первое в жизни служение, он, сев в машину, тотчас ей позвонил. Поздравила коротко, хрипло и в нос.

— Ты простудилась? Что-нибудь от кашля-насморка привезти?

— Все в порядке. Не надо. — И повесила трубку.

Ехать домой расхотелось. Так, зажигание не выключив, и стоял: руки на руль положив, уголки губ опущены, то ли брезгливо, то ли презрительно.

Глаза закрыл, успокаиваясь, вспоминая. Они спускаются к берегу, и горьковатый запах засохших трав сменяется сладковатым — водорослей тягучих, зеленых, гниющих.

## 18. Какой бывает реальность

Рядом остановилась машина, из которой, словно приторным чаем, плеснуло музыкой, ломкой, восточной, массивной, как браслеты-обручи на пухлых запястьях, лукумной, назойливой, как пропахший горелым мясом торговец. Бетховен и Моцарт из открытых окон машин почему-то никогда не доносятся.

Делать нечего. Тронулся. В те времена была у него аллергия. Она, единственная, из трав горьковатых, сладковатого запаха, всегда говорила, что аллергия бывает лишь на плохих людей. Ни кошки-собаки, травы-цветы здесь ни при чем. Аллергию он заливал димедролом, храня в доме несколько ампул. Как-то идиотка спросила, зачем. Объяснил и добавил, что трех-четырех вполне достаточно... Не досказал: для того, чтоб сутки без просыпу, но она, поняла это так, как хотела. У ампул почему-то никогда не было единого места. Где они, он, редко в доме бывавший, не знал. Зато знала она.

Спасенный водорослями и травой, прогнанный подгоревшим Востоком, он от двери отправился в ванную. И первое, что увидел — она постаралась — ампулы, салфеточкой еле прикрытые, словно клочочком тряпки в стриптизе. Лежат. Манят. Соблазняют. Раздавлив, содержимое вылил, в ведро зашвырнув.

— Идиотка! — Впервые в жизни скрипнул зубами.

С одного зуба отколопнулась эмаль. Отметина на всю жизнь.

— Почему родители разошлись?

— Мне тогда было всего восемнадцать, со мной не делились. Просто в известность поставили. Я тут при чем? Они не разошлись, они разбежались. Я разбежался первым, уехав в университет. Наверное, за долгие годы осточертели друг другу. У матери я спросил. Пожала плечами. Отец руками развел, сказал:

— Розы страшно подорожали.

— Чего?

Знал, что отец каждый год дарил ей розы, мать их очень любила, темно-красные, ей прямо в масть. Дарил дважды в год: на день свадьбы и день рождения.

— По числу лет?

— Именно так.

— А по какой причине розы подорожали?

— Вот это не знаю, наверное, какой-то розовый мор.

— Розовый мор? Слишком красиво.

Понял и подхватил:

— Еще лучше мор в розовом цвете.

— Прав. Это лучше.

Оба они не заметили, как солнце зашло и сумерки промелькнули, пятно от чернильницы на стене растворилось, стало прохладно, и вместо резких настойчивых запахов в темноте задышалось легко и тревожно лавром, лимоном: деревца, которые недавно ему подарили, создавали оазис в пустыне. Полумрак вобрал их тела, оставив лишь лица, сумеречные, неясные. Он видел лицо собеседника, словно впервые. Знакомое и привычное, оно постарело, черты обострились, высохло, стало пергаментным.

Взглянув на пятно, пергаментный улыбнулся:

— Виновника позовем?

Разминая, массируя пальцы — привычка, в детстве заимствованная у Фоно — ответил:

— К чему? Он ведь настолько глуп, что собственной глупости не стеснялся. Имею в виду не швырнувшего. После Достоевского и Томаса Манна о чем с ним говорить?

Оба прикрыли глаза. Они хорошо знали друга, но скажи им сейчас, попроси описать внешность другого, и не сумеют. Хотя что же здесь странного, коль они — слово и слух, которым зрение, понятие, помеха.

Сходились и раньше, но всегда что-то их подгоняло, и, чувствуя это, о главном молчали, оставляя все на потом. Но как-то недавно его собеседник сказал:

— Потом ведь может не быть, не так ли? Вы это лишь понимаете, а я уже ощущаю.

— Иногда и я ощущаю.

— Рано состарились?

— Может, и так.

— Впрочем, похоже, так быть и должно.

— Почему?

— Вас не случайно прозвали Жрецом.  
 — Почему не случайно. Разве в прозвище Длинный смысла больше?  
 — Это прозвище и вправду без смысла. Но в вашем — смысл и значение, как в тростниковом ковчеге — дитя, они скрыты от взгляда, зрящего и пустого. Вы — Жрец, потому что избранны и сами избрали.  
 — Да нет, я ведь знаю... Ну, да дед был жрецом.  
 — Речь не о нем, ведь случай есть выражение воли совсем не случайной.  
 — Предопределения?  
 — Пусть будет так.  
 — Ну, раз так, то обязанность доказательства ложится на вас.  
 — Ого! Даже обязанность!  
 — Пусть не обязанность.  
 — Ладно. Я принимаю. Коль так, будем говорить не о вас. Правда, без вас жреческий корпус будет неполным. Или предпочитаете слово «коллегия», как у римлян? Вот сейчас вы видите жертвенник: камни, огонь, кровь запеклась, запах мяса, рядом мужик с ножом, воняет горелым. Не так?  
 — Да, конечно, но что здесь неправда?  
 — Все. Жертвы здесь нет, а значит, и остальное есть ложь и подделка. Жертва, жертвенник, жрец — их смысл ведь не в этом. Вам продали миф по цене распродажи, и вы, не побрезговав, его прикупили, не дав труда себе разобраться, зачем он вообще появился.  
 — Зачем?  
 — Что было в начале? Слово? Начало мифа. Но слово ведь было от Бога. От Бога — кому? Себе Самому? Деревьям? Гадам морским? О чем с ними Творцу говорить? О погоде?  
 — Понятно, что — человеку, Адаму. И что?  
 — Для того чтоб его сотворить, пришлось Господу в жертву Самого Себя принести.  
 — Распните? И пригвоздили к кресту?  
 — Это начало мифа. А я зову вас туда, где миф еще не родился. Ну, скажем, в точку рождения мифа, когда Адам говорит: «Я услышал Тебя, мой Творец, Себя в жертву принесший, отделивший от вечного, абсолютного малую долю мне, человеку». Сотворив человека и нижний, профанный мир, ему Господь принес Себя в жертву. Тем самым ему, человеку, сказав: «Приноси жертву и ты, себя умаляя».  
 — Хорошо. Приносили в жертву животных, это можно понять: от себя любимого отрываю. Но согласитесь, вид такой жертвы сегодня, мягко говоря, неприятен. Кровь, вонь, грязь, дым.  
 — Вот потому такую жертву вы не приносите!  
 — Зато приносят другие. Мусульмане, к примеру.  
 — Один раз в году. Думаю, через пару веков и они перестанут. Впрочем, не мое это дело, да и не ваше.  
 — Такие кровавые жертвы уже христианам были отнюдь не по нраву.  
 — Может, просто не было где приносить? Храм — а это еврейский, общий их Храм, был разрушен.  
 — Была разрушена форма, которая давно стала пустой.

**К чему Мне множество жертв... крови быков, овец и козлов не желаю**  
 (Иешаягу, Исайя 1:11).

— Хорошо. Такое свидетельство не принять невозможно. А дальше, понятно, молитва, слова.  
 — Не слова, не просто слова. Ритуал! Творя ритуал, «я» умаляя, человек совершает деяние, охватывающее и то, что внутри, и то, что вовне. Я в Боге, а Бог, Он — во мне. Жертва не может не быть ритуальной. Отсюда — непреложность жрецов, хранителей правил, порядка. Неправильных жертв не бывает! Или — жертва. Или — пустое!  
 — Как горные тропы? Справа обрыв, слева обрыв. Альтернатива парализует.  
 — Добавьте, что вдоль дороги и справа, и слева — жрецы. Они не дают отступить и сплунуть.  
 — Все равно. Паралич. Человек волю к жизни теряет.  
 — Возможно. Только разве с вами такого никогда не случалось? Знаешь, что надо встать, и тысячу раз мысленно уже ты поднялся, а продолжаешь сидеть. Не случалось?  
 — Бывало.  
 — Жертва свидетельствует о том, что без Бога человек невозможен.  
 — Равно как о том, что Бог без человека немислим?  
 — Не просто свидетельствует. Жертва есть мост, если хотите, та лестница, которую построил во сне праотец.

— А, может, просто открыл то, что уже было создано. Не им. До него?  
 — Можно и так. И камни для изголовья, на котором он спал, становятся...  
 — Не камнями, но — жертвенником!  
 — К тому же обет. Если Ты, мой Господь, меня возвратишь, тогда я тебе...  
 — Звучит словно на рынке.  
 — И что? Ведийские формулы жертвоприношений точно такие: «Дай мне — я даю тебе. Предложи мне — я предлагаю тебе. Предложи мне подношение — я предлагаю тебе подношение».  
 — Но все равно между Богом и человеком — разрыв.  
 — Преодолимый жертвой, молитвой. Жертвоприношение — это реальность, но не физическая, это то, что думает ее приносящий. Какая ценность в лавровом венке? А у римлян — в дубовом? А то, что на место физически зримого приходит абстрактное — слово.  
 — Но молитва — изначально достояние магии: с помощью слова жрец богам расставляет ловушку, и в нее он их ловит. Гимны и мантры, песни, стихи бытием управляют, от них ведь ход мировых событий зависит!  
 — Зависит. Коль воля Божья будет на это. Если же волю Адама возвести в абсолют, то Бог совсем ни к чему. Разве Кириллову, ставшему богом, нужен соперник? Ни человек, сколь быстро не поднимайся он по лестнице Якова, Богом не станет, ни Бог в человека не обратится. Разве могут встретиться, пересечься, конечное с бесконечным, с вечным — вневременное?  
 — Но был ведь один, обратившийся.  
 — За него ни вы, ни я не в ответе. Ни человекобоги, ни богочеловеки нежизнеспособны. Жертвоприношение — это самоограничение для достижения связи с Богом. А жрец, он — сторож брату своему, тому, который по неведению или, не дай Бог, сознательно, способен сорваться, совершая ли жертву, молитву ли вознося, в пропасть профанного. Жертва сегодня — это ограничение гедонизма, потребления, информационной избыточности.  
 Тут зазвучал телефон, прерывая беседу.  
 Донеслись голоса, зацокали каблучки, заурчали водопроводные трубы. В часах вздрогнули стрелки.  
 Темно-зеленые подручные тени звали жреца.

## 19. Скажи нам, Кавафис

Фоно сидел у окна, наблюдая, как на карнизе соседнего дома тает сосулька. Таяла медленно, только днем. Ночью возвращалась зима, и сосулька сил набиралась, чтобы выстоять днем. Он сидел за партой один: Кузмин Михаил — классные имя-фамилия, даже такой дурак, как Комар, не перевернет — сидел дома и чаем с лимоном горло лечил. Подумал про Комара — и тот тут как тут зазудел, объявился:

— Скажи-ка нам Кафа... Э-э-э, Кава... — С первого раза Комар его фамилию еще ни разу не сумел произнести, — скажи ты нам, Кавафис, или точнее, Кавос, как определял симфонизм академик Асафьев?

И чего, дурак, привязался? До сих пор не понял, что подловить его невозможно: если услышал хоть раз, обязательно повторит. Стукнув крышкой — Комара это бесило — и медленно, класс веселя, отчеканил, разводя слова друг от друга подальше:

— Академик Асафьев писал, — здесь он запнулся, но тут же припомнив, продолжил, — симфонизм есть раскрытие замысла с помощью последовательного, целеустремленного музыкального развития, включающего противоборство и качественное, — здесь он взвизгнул, имитируя Комара, — преобразование тем и тематических, — глядя прямо, проникновенно на Комара, словно не издевается, а любит, — он повторил, — тематических элементов.

— Спасибо. Садись.

Стукнув крышкой, он сел, ожидая от Кузмина, от Михаила услышать «ну, ты даешь». Того, увь, не было, и Комар, постучав костяшкой пальца по парте, продолжал урок, который все ненавидели. Назывался урок «Теория музыки», и хоть Фоно играть очень любил, но ходить в музыкальную школу, особенно на урок Комара, было для него настоящим мучением.

Сел. Посмотрел на сосульку. Комар зудел мерзко, монотонно и бесконечно. Быстро-быстро частил, не давая, глотая слова, тремоло, насилуя единую ноту.

— Симфония, от греческого слова «созвучие», — музыкальный жанр крупной концептуальной формы фундаментального мировоззренческого содержания. В классической симфонии обычно имеется четыре части. Первая часть — в быстром темпе, вторая — в медленном, третья — скерцо или же менуэт, и, наконец, четвертая — опять в быстром темпе, в сонатной форме. Создателем классической формы симфонии считается Гайдн, значительный вклад в её развитие внесли Моцарт, Бетховен.

На Гайдне он осторожно, чтоб Комар не заметил, из портфеля вытащил книжку с вырванными листами и без обложки, положил ее на колени, подперев рукой щеку, будто бы без зудения ему не прожить. Книжку случайно увидел в щели у водосточной трубы на школьном дворе. Ясный пень, кто-то заныкал: придет, руку протянет. Как протянет, так и оттянет. Нечего листы выдирать. Хотя это, может, не он.

Вначале еще пытался слушать зудение:

— Программной симфонией называется та... например, «Пасторальная симфония» Бетховена, «Фантастическая симфония» Берлиоза...

На Берлиозе он от Комара отключился. Теперь только понял, почему повырывали листы. Таких картинок не видел он никогда. В учебнике истории древнего мира Венеру Милосскую и Давида напечатали до половины. То, что у Венеры сверху — это, черт с вами, глядите, любуйтесь. Но то, что ниже: ни-ни. В их классе в учебниках было пририсовано все, чего не хватало.

Оказалось, книга была об искусстве. На тех страницах, с которых она начиналась, речь шла о вазах, и все, что на этих вазах творилось, ему и не снилось. Да что там ему. Даже Кузмин Михаил, этого дела знаток, такого в жизни не видел. На красноватом фоне черные худые мужчины с огромными членами гонялись за девками и пацанами, а когда догоняли, приключалось то, что было на особой картинке большого формата, чтоб во всех подробностях каждый мог разобрать. На одной была даже коза, с которой долготеленный мужик делал то, что раньше с девками и пацанами.

Теперь было понятно и то, что половину картинок повыдирали, и то, почему заныкали за трубой. Куда с ней пойдешь? А если дома найдут? При входе в школу нередко у всех проверяли портфели: открывай, показывай, что несешь, нет ли там лишнего.

Всю перемену, спрятав книжку в портфель, он проторчал у окна, за партой. Куда такой он пойдет? Пиджак короткий, он не спасает. Следующий — снова урок Комара, теперь книжку до конца пролистает.

Домой возвращался, когда было темно. Шел, и фонари желто-зеленым старушечьим светом от него отрывали по стенам и по заборам плывущие тени, и те, на мгновение вздрогнув, плясали, словно картинки из книги. И он вместе с тенями в этих картинках плясал и гонялся, такое там вытворяя под зудение Комара, чего никто ни в школе, ни во дворе не мог и представить.

Помпеи, Везувий, вулкан, извержение. Ну, вулкан. Ну, Везувий. Но кто мог подумать, что они там, на стенах в Помпеях своих рисовали! Дядьки и тетки, девочки-мальчики, каждая с каждым!

Да что там Помпеи! Что дядьки с дядьками и пацанами, это он знал, хоть и видел впервые. Но тетки с тетками! Написано: античный краснофигурный сосуд керамический. Сосуд — значит, в него наливали. Краснофигурный — тоже понятно. На черном фоне — обе фигуры, две тетки, не красные, а так, красноватые. Но одна другой что-то там делает.

На другом сосуде бородастый стоит на коленях, а перед ним лежит совсем пацаненок, ноги на плечи бородатому положив, тот руками его обхватил и сует ему в попу. Молодому не больно, вроде бы улыбается, а бородатому не противно.

Фонарь оторвал от него безбородую тень, и вот, проходя мимо забора, он видит себя: улыбается, ноги на плечи задрал, и ему, как любит говорить Кузмин Михаил, это по кайфу. А над ним — голый Комар, схватил его, мнет и противно зудит, мокрым в попе елозит, не попадая:

— Скажи-ка нам, Кафа... Э-э-э, Кава... Скажи нам, Кавафис...

Вечером, после ужина ему меряют температуру и, хоть она чуть выше обычной, дают аспирин. Смотрят горло — да повернись же к свету, что за ребенок! — ложкой прижимают язык, так что тянет на рвоту, и, хоть покраснения нет, велют выпить чаю с лимоном. Наконец, отпускают, велев лечь в кровать: никаких книг, свет выключить, утром решим, идти в школу или вызвать врача.

Не идти в школу он вовсе не против. Только врач ни к чему. Ложится с фонариком под одеялом, сходя с ума от картинок, он извивается, тени — откуда только взялись — вместе с ним извиваются по стенам и потолку. Наконец, обессилев, он засыпает, продолжая рассматривать картинку во сне, извиваясь, и ему в подражание, даже во сне, серо-зеленые болотные тени извиваются на стенах и потолке.

Ему снится картинка. Даже во сне — у него классная память — он помнит подпись под ней: «Бледная богиня. Изображение тантрического ритуала. Тело богини покрыто священными символами. На щеках нарисованы солнце и луна — символы тонких каналов, по которым движется энергия кундалини. Змея кундалини, спавшая в нижней чакре, пробудилась и поднимается вверх». Половина слов ему непонятна. На кой черт, думает он, ему «тантрический ритуал», тем более, какая-то «нижняя чakra». Спросить бы. Только кого? Кузмин Михаил об этом знает столько, сколько он сам. Комара? Тот о музыке знает все, только зудит очень мерзко. Но это не музыка. В этом он ни черта не сечет. Кто на такого польстится? Это из фильма, который он видел недавно.

Фильм очень глупый. Комедия умной быть не должна. Только там «кто на тебя польстится?» говорит лысый дядька уродливой тетке. В конце концов они женятся.

И тут во сне слова исчезают. Лысый, пузатый дядька медленно раздевается, снимает трусы, с тетки сдвигает зеленое одеяло, и мнет ей огромные, как говорит Кузмин Михаил, дойки, а потом, одной рукой себе поправляя, другой тетке ноги толстые раздвигая, сует. И тетка, обхватывая его толстый зад руками, улыбается блаженно, настоящая идиотка.

Его тошнит. Открывает глаза. Глубже воздух вдыхает. Тошнота отпускает. Делает вдох, другой и засыпает, пока в его сон вслед за таинственной чакрой приходит богиня.

Бледная? Почему? Фиг его знает. Совсем не бледная — ярко-желтая, а фон — темно-зеленый. Она сидит, ноги расставив, чтоб всем все было видно. Но главное на картинке, похоже, совсем не богиня. Не желтый здесь, как Комар говорит, играет первую скрипку. Первая скрипка здесь красный, даже не красный — кирпичный. А кирпичом что угодно можно нарисовать на асфальте. В руках у богини желтые и набухшие, концы которых выкрашены как раз кирпичом. Один желтый, огромный и с кирпичом. Вот-вот между ног богине залезет, потом — рассказывал Кузмин Михаил — он задрожит (это он понимал) и кончит (это не понимал, но спросить не решался, боясь наткнуться на «детский сад» Кузмина Михаила).

Опять тошнит. Опять просыпается и, отдышавшись, вновь засыпает. Ночь еще впереди. Жарко. Во сне сбрасывает одеяло и вслед за ним валится в пропасть. Долетев, слегка разгибается, в мокрые стены упираясь локтями, головой — в потолок. Мокро, холодно и воняет: влажной землей, зеленью пожелтевшей, зелеными жабами.

Знает: надо идти, назад нет дороги. Откуда знает? Знает, и все. Идет, тащится, сгибается и ползет. И вот свет впереди, бледно-зеленый, мерцающий, и он замечает: кто-то идет, ползет впереди. Еще мгновение, и чувствует позади дыхание. Один впереди, другой позади. И он один, посередине.

Все длится долго, кажется, бесконечно. Он лиц не видит, ни того, кто впереди, ни того, кто ему дышит в спину. Не видит, но знает: впереди голый Кузмин безбородый пацан Михаил, а сзади — бородатый, голый зудящий Комар волосатый.

Он догоняет идущего впереди, хватая его за живот, и руки спускаются ниже — ого! — потом руки пригибают все ниже, и тот опускается на колени, миг, и, от его живота отделяясь, входит в Кузмина Михаила, надвое рассекая, а сзади, его опустив на колени, спину и попу щекоча волосами, козлотородый, гаденько подхихикивая, его самого расщепляет, и входит в него огромное, толстое, длинное, Комариное.

От того, что делает он, от того, что делают с ним, его долго мучительно рвет.

Открыв глаза, видит, что утро. Сперва вдыхает с трудом, а потом все легче, вольней. Над ним суетятся. Кладут на лоб мокрую тряпку. Термометр.

Появляется врач, похожая на желтого цвета богиню. Снова тошнит. Та его щупает. Его вырывает. Потом отстает. Становится легче.

Богиня пишет рецепты. Ни о какой школе неделю речи и быть не может. Тут полегчало. Неделя. Без школы. Он будет дома один. Неделю! Щупает под матрасом заветную книжку.

Не-де-лю! Сладкую, как повторяет часто не к месту зудящий Комар, как грех!

Вздыхает, глубоко, тяжело. Как бы они не подумали, что ему хорошо, про школу не пере-думали.

## 20. Истинный смысл и значение

Всякое за годы служения в этом ждущем ремонта храме, в котором он служение начинал, возносил руки к небу, в рукава попадая, словно Всевышнего заклиная, за эти годы всякое в храме случалось: улыбки и слезы, смех и истерики, исповеди, проклятья. Он даже изъявлений благодарности сторонился. Но как уберечься? Вот и в тот раз наткнулся случайно, внезапно: шиной на гвоздь:

— Разве не слышите в тишине, ночной, абсолютной, желтых листьев шуршание?

— Абсолютной? Такой не бывает. Галлюцинациями не страдаю. — Неуклюже, неловко попытался он отшутиться, вспомнив, как бродил, загребая ногами сухие опавшие листья, желтые, с червоточинами, снизу подгнившие. Вот рыжеватые, те, что давно упали, и красноватые — свежие. Голову поднимая: клен, однако, опавший. И опуская: желто-красная осень.

— А запах сирени?

Промолчал, вспоминая. Сиреневый запах. Палитра: от бледного — до густого. На склонах обрыва. Сиреневый запах над бездной, той, которая звезда полна по ночам, утром — тумана, в полдень — дурмана. Манящая бездна, сиреневым запахом опущенная.

Жрец? Что это слово, собственно, значит? Не швец и не жнец, и на дуде не игрец. Или: жрец и жнец, и на дуде игрец. Еще благозвучней.

Где-то близко визжал амбуланс: вдыхал на мгновение тишину и тут же выплескивал, завывая. Обычно эти тошнвые звуки недолго звучат. Амбуланс, включивший сирену, едет без остановки, на перекрестках едва скорость сбавляя. Иногда, когда пробку никак не объехать, выскакивая на обочину, на тротуар и даже на встречную. Так что, где бы ни услышал сирену, она тебя потревожит недолго, полминуты, а то и меньше.

Но этот амбуланс, наверное, просто взбесился. Может, стоит, сирену забыв отключить. Сирене назначено верещать, вот она верещит. А тот, кто включает и выключает, то ли глухой, то ли совсем идиот, а это, как известно, не лечится.

Только раз Первосвященник полубомолвился, заметив без видимой связи:

— Хорошо было б грекам и римлянам остаться язычниками. Жречеству распад семьи не помеха. С родословной статус жреца у язычников ведь не связан. Но язычники кончились. С ними на западе жречество пресеклось. У христиан и мусульман жрецов вовсе нет. Скверно евреям. Жречество у евреев — не наживное, а родовое. Папу-жреца жениться утраздило не на той. Все. Кончился жреческий род, пресекся.

Помолчал, словно печалась, и продолжил:

— Читали? Исследовали генетический код евреев-жрецов: европейских, восточных, короче, всяких и разных. И что? Генетика доказывает родство. Так сказать, все жрецы — братья. Не читали? Пришло.

Полутона, полуулыбки, полуслова, полужесты ей были неведомы. Порою казалось, она реагирует не на слова — на интонацию, и то с запозданием. Обладала удивительным врожденным отсутствием такта. С таким он встречался впервые. Впрочем, наверное, тотальное отсутствие такта невозможно никак обнаружить, не проведя с человеком много часов в едином пространстве.

— Понимаете...

Не желая пустыми словами заполнять пустоту, он промолчал. Первосвященник молчание оценил:

— Конечно, вы понимаете. Я вижу, что это вас угне... — Запнулся, поправился, — беспокоит. Что ж делать? В поколении моих родителей развод был делом редким, почти чрезвычайным. Если случалось, вся родня об этом твердила долгие годы. В моем поколении это было делом не частым, но весьма и весьма привычным. Ну, а вам остается смотреть на это спокойно. Кто из ваших друзей и знакомых был женат лишь один раз? Не припомните? То-то же. А сколько вообще жениться не собираются? Это — явление. Не станете ж вы горевать о землетрясении или цунами? Вот и все. С этим следует жить. Не смириться. Но приспособиться. Жить.

Гости съезжались, не на дачу и не на шабаш — в парк, на вершину горы. С женами и детьми, собаками и подарками. Дети носились, собаки резвились, жены, сплетничая, расставляли тарелки, мужья открывали бутылки: поляна дышала духами и ощущением праздника.

А на краю, у обрыва, под кронами дуба, чьи корни змеились из-под земли — год от года земля осыпалась — и вниз в мутную глубину уходили, там водрузили мангалы. Мешки угля распечатывали, зажигая огонь, хранители пламени вглядывались тревожно: небо серое, мутное, как бы не пролилось.

Пронесло. Огонь пометался — на вершине ветер сильнее — синевя, желтея, и пламя, колеблясь, к поддону приникло, ровный жар источая: такой и нужен для мяса.

Принесли два контейнера из пластмассы: один светло-синий, темно-зеленый другой: мясо во льду. Извлекли и, огонь опахалами убажывая, разложили кебабы и стейки, сосиски и шашлык.

Собаки, старые, молодые, большие и малые, пород редких, изысканных и дворняги, мясо почуяв, разогнались, круги постепенно, словно удавку, сжимая и подбираясь к мангалам. Только один самый старый, жизнью наученный пес бежал степенно вне круга, все равно, когда Нарру birthday прольется, он будет первым: этот день ведь его, куда всем этим павкам, его хозяина день рождения.

Этот пес был древнему дубу знаком, он его помнил щенком резвым, смышленным, таким, какими бывают собаки, выжившие на помойке.

Многое помнил. С вершины горы многое видно. Особенно в ясные дни, когда утром в долинах растает белая муть и терпеливые небеса засияют над горами лазурью, мир виден от края до края.

Только бы не наехали, не набежали, обнаженными не плясали, воздавая хвалу, словно богу, не падали ниц, не разводили огня, особенно страшного в зной, когда ветер, падкий на искру, готов огонь разнести от зеленого края до зеленого края. Разнести и развеять, разлить черный морок от мертвого края до мертвого края.

Дети утомнились, устали жены, осоловели мужья, и только собаки, виляя боками, продолжали чертить круги лениво, сыто, устало. А на краю, у оврага, под дубом догорали угли в мангалах. Возле них — лед растаял — стояли контейнеры, зеленый и синий. Сквозь крону дуба в уставшие небеса струился дымок, слабея, серея и пропадая.

Ни цифр, ни стрелок часов не видел: они его не интересовали. Важно одно: чтоб события развивались одновременно и параллельно в разных концах страны. Именно за это он, синхронизатор, и отвечал. С тех пор как началась параллельное действие, прошло много времени, все готово, продумано все, но все, не дай Бог, может случиться.

Поэтому он у пульта, на две части экран разделен: в одной из них реципиент А, Б — во второй. Две больницы друг от друга недалеко, но все-таки — береженого Бог бережет — изъятые почки повезут полицейские. Муж жертвует почку жене, но та ей не подходит: не та группа крови. Та же история на второй половине экрана: брат жертвует почку сестре, но та ей не годится.

Его величество случай, дай Бог, чтоб в результате счастливый: перекрестное донорство. Их нашли, назначили час, и теперь задача все сделать точно и быстро.

Подает сигнал. На экране, на обеих частях: телевизионщики занимают места. Служба public relation подобный сюжет не может, не должна пропустить. Для телеведущих и операторов, все видевших, все познавших, даже им такое в новинку. Если больницам впервой, то им и подавно.

Дверь отделения распахнулась, и доноры поехали навстречу друг другу. В наушниках:

— Мы готовы.

И эхом:

— Готовы и мы.

— Готовы? С Богом! Вперед!

Время тянулось, обвисло, словно в безветрие флаг. Казалось, все предвидено, ну, и расслабься. Но нависает обвисшее время — хмурое небо: тучи, как черепахи, серея, чернея, ползут. Но и они доползут.

На левом экране — уже извлекли, изучают, заворачивают и укладывают в ящик, заполненный льдом. Через минуту — то же на другой стороне.

— Готовы!

И эхом:

— Готовы!

Он:

— Вперед, понесли!

Дверцы машин распахнуты. Приняв контейнеры, один светло-зеленый, другой — голубой, они выезжают. На экране едут кровати. За ними и по бокам — родные, улыбки, объятия и поцелуи, чуть-чуть натужно и кривовато — попробуй сыграть уверенность и покой.

Снова распахнуты двери, и камеры настойчиво, нагло ищут крупные планы, не улыбки — улыбок навалом — но слезы и страх, и страдание, боль — это всегда в почете и окупает затраты.

Вслед за кроватями в коридорах мелькают контейнеры, зеленый и голубой.

Маски. Наркоз.

Теперь он может и отойти, чай или кофе, да и экран уже вовсе не нужен. Мавр свое дело закончил и может идти отдыхать, расслабиться и душисть Дездемонну.

Под вечер, закончив, жрецы, спотыкаясь о кабели, вышли и односложно помекали в объектив, после чего, созвонившись друг с другом, вернули словам, мало понятным непосвященным, истинный смысл и значение.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### 1. Умирать оказалось скучно

Умирать оказалось не больно, не страшно.

Умирать оказалось скучно.

Начала умирать она дома. Внук метался с работы домой и, несмотря на то, что вскоре появилась молодая и расторопная женщина с азиатским лицом, было ясно: долго так не продлится. Ее внук, ее мальчик это не сделает, потому надо самой.

Попросила врача все оформить и, дождавшись, когда у мальчика выпадет выходной, дав ему выспаться, сказала тоном, которым всегда говорила с ним или с дедом, когда речь шла об абсолютно решенном, возражения не допускающем. После того как мальчик подрос, а дед постарел, этот тон из употребления вышел. Но в юности, когда дед зарывался, тон сам собой появлялся. И внук, и дед ощущали тот миг, когда слова ее друг от друга начнут слегка отдаляться, и в зазор между ними, словно сквозь кран, неплотно прикрытый, сочится такое, чего приходится опасаться.

Когда из дома врачей стали один за другим пропадать соседи, а дед делал вид, что ничего не происходит, она вечером, убрав после чая, попросив книгу его отложить, пропедила несколько слов слишком внятно, чтоб можно было от них отмахнуться. Тут же все обсудили, назавтра она проводила его в Сибирь. Такой уж выдался год, такая страна. Раньше в Сибирь ссылали, в тот год, в той стране в Сибири спасались.

Проводив, украдкой руку пожав у вокзала — ей оставалось лишь ждать телеграммы — с трудом поплелась вниз, с горы, по улице, переполненной визгом машин, звоном трамвая, потом, подстелив газету, присела, взметнув со скамейки тучу пыли и мух. Было противно, но дальше идти не могла, ноги не слушались. Сидела, опасаясь свалиться, положив под язык валидол.

Трясло от бессилия. Что могла она сделать? Помочь мужу сбежать? Куда? Если те захотят — найдут. Одна надежда — на ленивых и глупых, к счастью, в этой стране таких большинство. Как пыли. В детстве бабушка говорила: «Поревы, все пройдет». Но этого она и тогда не умела. Сейчас поздно учиться.

Слегка оклемавшись, потопала дальше, и тут мелькнул огонек: зеленый. Чудо, не только мелькнул — остановился. Оказалось, таксист был пациентом деда, знал и ее. Спросил о профессоре, ответила односложно, и тот без слов, адреса не спросив, привез ее к проклятому дому, превращенному в лепрозорий.

На прощанье, протянув ей копейки сдачи, сказал:

— Храни вас Господь.

Совсем чужой, незнакомый, вместе с ней осознавая бессилие, проводил ее сочувственным взглядом, не решаясь помочь. Да и как, чем мог он помочь?

Когда она мальчику своему протянула бумаги, разборчиво, внятно и однозначно сопроводив ими решение, тот ничего не сказал, а, выйдя из ванной, спросил лишь:

— Когда?

— Ты сегодня свободен? — И в ответ на кивок. — Значит, сегодня, умойся, поешь и поедем.

— А вещи?

Кивнула на сумку, над которой женщина с азиатским лицом потрудилась вчера.

Ее устроили у окна. Впрочем, теперь о целом окне ей приходилось только мечтать. Попросила поднять подушку. Сестра крутанула, и голова поднялась вместе с кроватью. Стало лучше, благодарно кивнула. Теперь в окне стало больше неба, солнца, луны и звезд, меньше улицы, прохожих и зеленого палисадника с желтыми, синими пятнами. Мелькнуло: «А из вашего окошка только улицы немножко». Державный заика тщательно блюл табель о рангах.

Когда принесла домой Дядю Степу, дед случайно заметил. Можно было что угодно в дом принести — не видел, а тут — открыл, полистал и молча порвал. Ключки аккуратно сложил и отнес в мусорное ведро. Вернулся с сентенцией:

— Вот что случается, когда Михалковы идут служить к Михалковым.

И не будучи уверен, что поняли:

— Справка. Матрос Иван<sup>о</sup>в. Мичман Иван<sup>о</sup>в.

Дедовы слова подтверждая, из кухни раздавался свисток, призывный, противный: в отличие от деда, чайник вскипел.

Пространство сузилось, и заметно. Дома кровать продлевалась сперва до стены с огромным окном, за которым уходила во двор, улицу, парк, небо, до горизонта горы, зеленые, лысые,

исчезающие в тумане. За ними — море, волны, Европа, весь мир. Здесь оно поползло обратно, и штора, задернувшись, комнату отрезала, оставляя кусочек окна — декорацию умирания.

Первой, оставшейся навсегда любимой работой, было красное с черным платье Кармен. Для какой-то оперы-однодневки: мелькнули, пропели, исчезли. То ли сами они разбежались, то ли — в той стране и тогда — их разбежали, но из гастролей они не вернулись, а, может, лишь кто-то из них, это значения не имело. Главное, что исчезло платье, работа, о которой мечтала. Она это платье могла повторить, каждый стежок помнила наизусть, хоть шила портниха, но когда та, заупрямившись, от бесконечных переделок устав, взбунтовалась, сама села его дошивать.

На премьере они познакомилась. Когда труппа с платьем исчезла, они поженились. Потом крутая Петровская. Год приводила в порядок квартиру. Там и родился сын.

Промелькнуло быстро, стремительно, незаметно. Сын вырос, школу окончив, поступил в институт, оттуда пришлось уйти, закончил другой, женился, сына родил, с женою вместе погиб. Глупо, случайно, нелепо. Говорят, смерть всегда нелепа, глупа и случайна. Неправда. Вот она умирает. Разве это глупо, случайно, нелепо?

Сына помнила плохо. Он рос слишком быстро и незаметно. Может, все дело в ней? Не замечала? Спешила, неслась, торопилась? Не видела? А что же муж? Что чувствует он?

— А что скажешь ты? — Господи, спохватилась, мертвые ведь безмолвны.

Их с мужем спас мальчик. Внук рос медленно, тщательно, новыми подробностями взрослеющего бытия обрастая. Не в нем дело, конечно, а в ней. Остановилась и присмотрелась, словно от страшной, глупой и бесполезной гонки очнулась. Дед был мальчику панцирем, защитной черепашьей оболочкой. А она — ее внутренней частью, и там не осталось места ни красно-черной Кармен, ни гению-режиссеру, который во тьме растворился.

Там был мальчик: и сын, и внук. Все из души высосала тревога: за деда, за внука, за жрецский род, который — учил ее собственный дед — ты призвана сохранить. Выйдешь замуж лишь за жреца. Вышла, о жречестве не спросив. Смешно. К чему? Оказалось, к чему.

Племянница, дочь умершей рано сестры, вышла за грека. Маленького. Фоно она жесту жрецов научила. Только к чему? А мальчика, внука, жреца не сумела. Он не хотел. Заставлять не любила. Захочет — научится.

Теперь он к ней забегает в день по нескольку раз. Уставший, замотанный, повзрослевший. Нет, пожалуй, уже постаревший. Он говорит. Она отвечает, сыпо и односложно, теперь только так и умеет. Точнее, умела. Сегодня попробовала ответить и не смогла. В ответ улыбнулась. Это еще получилось. У нее. Он попробовал улыбнуться. Не смог.

Она кивнула: «Иди, все в порядке». После этого и решила: пора. От всего отвыкать: от неба, от звезд, а главное, от него.

Как отвыкнет, тотчас кончится скука. К ней она решила не привыкать. Ни к чему.

Уходя, внук пятился боком, занавеску рукой отводя. Та складками собиралась, словно платье Кармен, только цвет подгулял: то ли салатный, то ли светло-зеленый, блеклый, сухой, бакалейный. Почему такие цвета называли в студии бакалейным? Бог его знает.

Занавес режиссер отводил осторожно, лишь узкую щель открывая, каждый раз опасаясь, что увидит лишь пустоту. И знал ведь, что популярен, что на его спектакли билеты приходится добывать, а все равно трусил, боялся, до дрожи воображая тот страшный миг: приоткрыл узкую щель и увидел...

В него, как положено гениям, вся женская часть театра была влюблена. Вся мужская его ненавидела. Она успела там проработать три месяца: гения увели, а театр разогнали. Такое время. Такая страна.

Через многие годы прочитала о том кошмаре, о котором сам успел написать, и не где-нибудь, а в тюрьме. Много раз там проходила, словно пыталась сквозь стены увидеть того, кого первым она полюбила. За забором, конечно, не было никого. Но она медленно шла вдоль забора, а за ней визжал на повороте трамвай, мерзко, гнусно, стекольно.

Гебешники открыли архивы: было голодно, они привыкли есть сытно. Его дело заняло том. Подержала в руках, просмотрела. Протоколы допросов, слова, словно без покрытия чеки. Впечатление: и тот, кто задает, и тот, кто отвечает, заполняют время чем-то похожим на речь, на язык, на слова.

И вот — была уже ночь — наткнулась и уже не заснула.

Аудитория, публика, зал. Зачем они, почему и за что? Мне говорят: «Служение». Кому? Публике дуре? Театр — это храм. В таком храме не то что молиться, а даже испражняться опасно. Присел на корточках, жрец подкрался — и тяп за яйца другого. Артисты — жрецы? Умора. Их души с рожденья мертвы. Зачислила, зашвырнула и пальчиком пригрозила: «Ну-ну, глухой сверчок,

не позабудь свой вонючий шесток». Вот и сидят, как куры, квохчут, кудахчут, о бессмертном толкуют. Язычники, в приметы веруют, в знаки судьбы, предсказания. Черная кошка, покойник, нос зачесался. Это служители в храме. На сцене. По ту сторону зала.

А там? В самый нужный момент что происходит? Дездемонну душит Отелло, Джульетта проснулась: и на тебе, мертвый румяный Ромео. Одним словом, Дама с собачкой. И в самый нужный момент этой мерзкой, в жирных поддельных брильянтиках твари шоколад возжелался. И зашуршала, скотина, своим шоколадом. Уж лучше бы кашляла и сморкалась, все больше к месту. Душить Дездемонну куда приятнее с кашлем, чем с чавканьем.

Ночью в холодном поту просыпаюсь. На щелочку занавес приоткрыл — хлынуло, понесло, завертело. Где мальчонка голландский, в дырку пальчик воткнуть? Не мальчик с пальчиком — дура хлопает креслами, визжит и рычит, хлынула, дура, на сцену, сминая, срывая, затаптывая Дездемонну, Ромео, Собачку.

В руках у дуры, тысячеглавой, тысячерукой, тысячегрудой жирный, потекший, коричневый шоколад. Измазалась, изгвадалась, чернее Отелло, рвется, шипит, рыгает, руки в щелочку тянет — схватить, затискать, залобызать.

### **Паду ли я стрелой пронзенный, Иль мимо пролетит она?**

Паду. Не сомневайтесь. Паду — увезут. В черной коробке. Как золушку.  
*Шма, Израиль!*

## **2. Хроника сумасшедшей семейки**

Соседка в противоположном конце без окна молилась тихо, почти беззвучно, но слова, которых не разбирала, доносились тишиной, шелестением. И только *Шма* — подлинным словом: звуком и смыслом.

Ежедневно по очереди к ней приходили: два сына, две дочери. Сыновья ненадолго. Дочери сидели часами. Пыталась представить эту семью и не смогла. Одна дочь была модница. И хоть лет ей было не так уж и мало, а может, именно потому, она в подробностях рассказывала о новых обретениях. Пыталась представить, как выглядят эти обновы, и не смогла: ни лиц, ни платьев, совсем ничего. Иная страна, и времена иные.

Время от времени около кровати мелькали бледно-зеленые тени. Вначале пытались с ней говорить, но потом все делали молча, неторопливо, очень бережно, тактично и беспристрастно. Спрашивать не было сил, да и к чему? Все знала сама. Лишь одну, самую молодую, выдавало лицо. Совсем как его, ее мальчика, внука. Ее маленький жрец с детства себя выдавал. Вот и сейчас день за днем его лицо изменялось: сложное, критическое, безнадежное. Последнее слово произносилось, лед обычно закапливался.

Тогда, когда красно-черная примадонна вместе со всеми поехала на гастроли — у нее и в мыслях не было, что не вернутся — ее оставили дома:

— У вас, голубушка, будет время подумать, во что этих оденем (широкий, уничижающий жест), не голыми же на сцену? — Шутил оперный много, охотно и скверно. — Это будет незабываемо! Весь город у наших ног. Да что там город, весь мир! Да, да, подумайте, — запнулся, чтобы придумать, о чем ей подумать. — Рим эпохи упадка. Как-то в подарок Нерон получил маленькую фигурку девушки как охрану от всех коварств, и когда после этого заговор был раскрыт, стал почитать ее превыше богов, принося ей жертвы и требуя, чтобы все верили, будто она будущее открывает. Вот что девушка может! Учитесь!

И, захлебнувшись Нероновой славой, сладкую отраву испив, закаплялся, засопел, и, отдышавшись, по-наполеоновски руки скрестив, снова взвизгнул:

— Дружище Нерон! Пожар и крещендо! Буря и натиск, правда, это немножко другая эпоха. Все строго и в то же время роскошно. Подумайте, почитайте, посидите в читальне.

Она была наивна и очень хотела работать. Засела с бумагой, карандашом. Плутарх, Тацит и Светоний. Эпоха, нравы, одежда. До сих пор без запинки может она повторить разновидности тоги, отчетливо представляя: длинные широкие складки от головы до ног опадают, широкие пурпурные полосы отделяют юных свободнорожденных, магистратов, жрецов от белоснежных, по слову Вергилия, мира владык, в тоги одетых.

Туника до колен — у мужчин, короткая — у солдат, у женщин — до щиколоток, с длинными рукавами. Мечталось о тунике триумфатора, расшитой золотыми пальмовыми ветвями. Она

видела сцену: из черноты выступало белое, черное, красное, желтое, золотое — великолепие Рима в красках костюмов. Хорошо бы на сцене были весталки: валики повязок на головах, покрывало до плеч, белая туника на талии веревкой повязана, круглый медальон на груди.

Но больше всего мечталось о свадебной паре. Он строен и строг, рост и плечи — от баса, узкие бедра — от тенора; в тоге, ослепительно белой, на голове — венки.

Она. В этой роли представляла себя. На белую подпоясанную тунику надета ярко-красная пала, длинное платье до пят. На голове покрывало: огненный цвет, желто-красный. Подвески в ушах, и главное, роскошный браслет. Все придумала, все продумала, кроме браслета. Тот никак не давался. Увы, Рим не состоялся, прошел, в исторической тьме растворился, ей воскресить его не пришлось. На свою свадьбу она надела браслет, скромный, гранатовый, подарок от жениха, от своей матери его получившего.

Перед ней на стене часы и картина: на зеленом поле до сине-оранжевого горизонта море тюльпанов: красных, белых, желтых, сиреневых, фиолетовых. Совсем как на рынке, весной. Бессарабка, а на носу самый из советских праздников идиотский: Восьмое, прости, Господи, как дед добавлял, дурацкое марта. Ей не дарил ничего. Насте дарила она. А маленький жрец приносил ей тюльпаны. Дед фырчал, но не вникал.

Конечно, перед праздником не протолкнуться, но Бессарабку любила. Всегда появлялась у цветочного ряда и, вдыхая настойчивый аромат, пробиралась в конец. Здесь праздник кончался. В наступившие будни, минуя свинячьи огромные головы, сосредоточенно устремлялась к телятине, розовой и веселой, и, отказавшись от «завернуть», окунала ее в мясной особый пакет. После чего устремлялась на запах: овощи, фрукты, творог и сметана, снова к цветам, и домой с полными сумками, троллейбусом вверх и направо.

Бессарабка, на которую повелительным жестом указывал лабрадорский выкрестов внук, даже в самые тяжелые времена ее развлекала: карнавал, пиршество, упоение. Даже с зарплатой и гонорами деда не всегда, однако, доступное.

Чувства иные вызывал ежемесячный — в такую цену дед был оценен — визит в скромный подвальчик без вывески. Там строго по норме по вполне доступной цене добывалось хмуро, безрадостно пайковое пропитание. Особо ценилось то, что и на базаре добыть никак невозможно: шампанское, коньяки, икра и конфеты, то, что обычно известные доктора получали в качестве подношений, которых дед не брал никогда. Так и значилось на табличке, которую он повесил на дверях кабинета. Все знали, что принимают только цветы, которые дед, принимая небрежно, тут же дарил подвернувшейся под руку медсестре. Злые языки между тем утверждали, что цветы переппадают исключительно милотидным и молодым.

Иногда, перед праздниками в особенности, она в подвал брала с собой Настю. Посторонних туда не пускали, а домработницы и шоферы поджидали, толпясь у дверей. Шоферы курили. Домработницы сплетничали. И те, и другие на полузатылке, на полуслове бросались стремглав к двери, из которой, от непривычки скорчившись в три погибели, появлялась хозяйка, волоча закрытые сумки. Однажды, выхватив сумки, Настя произнесла бессмертное:

— Хорошего на всех не хватает.

Услышав, дед долго, в полный голос смеялся. Но вдруг, словно ножом срезало хохот, собственным голосом захлебнулся. Помолчав, произнес тихо, сквозь зубы слово, которое означало крайнюю степень презрения к власти:

— *Мелиха (власть, идиш).*

К словам относился равнодушно. Одни любил, некоторые — ненавидел. Среди них было слово «морочка».

— Что это за гнусное слово? Кто и зачем его изобрел? Есть «морочка». А не «морочка».

Но самым ненавистным было слово «подросток».

— Идиотское слово! Под чем он растет? Под родителями? Под властями? Под дубом или же под забором? Растет сам по себе, из себя. Говорить следует не «подросток» — «растущий».

Подумала: счастье, что некоторых новомодных слов дед не застал. Его бы от них не воротило — рвало. Представила: скорчившись от слух осквернившей отравы, дед в унитаз извергает смердящую моющими препаратами энергетику вместе с ГОЭЛРО, Кржижановским, лампочкой Ильича и ударными пятилетками.

Жизнь всегда представлялась ей цельной, непрерывной, единым потоком. Водовороты, стремнины, отмели, водопады — все лишь формы единого слитного времени. Настоящего в сущности нет, просто будущее незаметно для глаза становится прошлым и там остывает, как лава, долго, невидимо, бесконечно.

Уезжая в больницу, ясно осознавая, что назад не вернуться, взяла две фотографии. На одной из них дед, внук — на другой. Дед совсем молодой, еще неженатый, за год до свадьбы. Стоит в огромном овчинном тулупе, вширь и ввысь вырастая, в шапке овчинной — живьем таким его ни разу не видела — Сусанин, настоящий Шалапин, а может, и польский князь. Десница — на деревянном треножнике, вольно и твердо, левая рука за полу тулупа заложена. Барин, цыгане, тройки, шампанское, на завтра певчие и борзые. Облик его, старый и молодой, из памяти испарился, а этот, театральный, ненастоящий, все заместил. Что за странность памяти, что за причуда?

На другой фотографии внук. Двухлетний? Трехлетний? Сын и невестка подобрали щенка. Тот вырос в огромного ньюфаундленда. Как его звали? Забыла. По семейной легенде, маленький жрец впервые пошел, держась рукой за его хвост. Вот и здесь: он, держа в кулаке его хвост, еще неуверенно ковыляет.

Теперь жизнь непрерывной быть перестала. словно река, обмелела: острова, песчаные отмели, пустые, ни дерева, ни куста: глазу не за что зацепиться. Вместе с непрерывностью, стали из памяти пропадать события, лица, в беспомощности растворившись. Часы на стене перед ней, рядом с картиной, и те свой ход изменили: то идут, то стоят, выжидают. Чего ждут? Чего выжидают?

сюжетные линии бытия обрели законченность, стройность, единство. Завязка, сменившись развитием, уперлась в развязку, известно какую. От живого лица посмертная маска выгодно отличается только одним: не изменится никогда. Так любимого Пастернака, еще бесконечно живого, велено было спрятать подальше, а главным поэтом назначили бессовестно мертвого Маяковского, которого она, некогда полюбив, раскаявшись, разлюбила.

Любимый, живой. Мертвый, разлюбленный. А вокруг мечутся тени, и день ото дня быстрее носятся, пропадают и вновь возникают. И знает ведь, что это не тени, но, сколько она ни старалась, лиц разглядеть не могла. Без лиц? Значит, тени.

Дед был человеком тактичным и деликатным, что на хамов не распространялось. Правда, даже на этих никогда не кричал. Не умел. Он рычал. Однажды даже рыкнул на внука, чему она и маленький жрец удивилась. Посмотрел на деда ошарашено, удивленно, и в ответ, детский голос ломая, рыкнул в ответ. Теперь уже дед, ошарашенный, удивленный, вскинул косматые брови и, подхватив львенка на руки, подбросил его к потолку. Потом они долго, пока не прогнала, вместе прыгали на диване и дорычались тогда до того, что ей пришлось и львенка, и льва отпаивать молоком с содой, желтком и корицей.

Под старость у деда появилось новая страсть. Он читал Библию, Ветхий Завет, Тору достать не сумел. Читал обычно вечером, перед сном, итог впечатлениям подводил коротко, однозначно. Прочитав историю праотцев, патриархов, он, загибая пальцы один за другим, сообщил:

— Авраам, Исаак, Иаков.

Не удержалась, съязвила:

— Это ты сегодня узнал?

Поднял брови, но промолчал. Она продолжала:

— На службе узнал? Очень свежая новость.

Промолчал, ожидая, не добавит ли что. Она промолчала.

— Хроника сумасшедшей семейки.

Промолчала. Не возразила. Трудно было ей не признать его циничную правоту.

### 3. Славься, Отечество наше свободное

Скука, уныние и тоска были неотвязными, докучными, бесконечными, такими, как нестерпимая, томящая, сосущая злоба, невозможная гадость во рту и глухая, ноющая, упорная боль в левом боку Ивана Ильича. И так двадцать четыре часа в сутки. Потом вспомнила: он ведь возненавидел всех окружающих, домашних особенно. Вспомнив, она испугалась. И, заставляя себя, стала с наигранным дружелюбием поглядывать на занавеску, за которой в углу дожидалась смерти соседка. К ней каждый день приходил кто-то из взрослых детей. Пыталась улыбаться теньям, но те не заметили, и она перестала, себя за фальшь укоряя.

Светло-зеленая тень много раз на дне приходила: давление, кровь, таблетки. Но три раза в день их собиралась целая стая. Смену передавая, они налетали, умудряясь светло-зеленым шуршать, словно складками роскошного шелка, и говорили о ней в третьем лице. Вначале это ее задевало: точно о мертвой. Но ко всему человек привыкает. В конце концов, это работа, пусть не служение — служба. А к ней, надо признать, все они относились внимательно, даже с заботой.

Подобно Ивану Ильичу, она пыталась бороться с тоской, пыталась скуку прогнать. Чем? Средство одно: вспоминать. Тут дел было немало. Раньше жизнь свою считала на события не слишком богатой. Да, конечно, эпоха и перемены, Тютчев, Конфуций. Но это жизнь всех, не ее. А что ее жизнь после замужества? Муж, кухня, базар, потом внук, ну, еще призрачный долг.

И всегда то, что рано ли, поздно случится, легко, не слишком навязчиво, словно малая тучка, маячило вдалеке, на горизонте. За ним была тайна, тяжелая, непостижная. Словно отделяя сцену от зала, занавес колебался. Порой в лихие минуты, как тогда, когда дед в Шушенское убежал, щелочка обнажалась.

В те дикие дни до самого бегства всегда язвительный дед самого себя превзошел, невзирая на растущий, конечно же, справедливый, как в тридцатых в Германии, гнев, на состав аудиторией невзирая. Привыкший громко смеяться — хихикающие, прыскающие в кулак его раздражали — он раскатисто хохотал, словно это и было все решающим аргументом. Сейчас, спустя множество лет, ей было понятно, что так он заговаривал гибель, которая надвигалась стремительно, хохотом разрывал он удавку, которую вот-вот затянет взбесившийся страх.

Как-то, видно, самому себе отвечая, скрипнув зубами, он прорычал:

— Этим скотам из меня не сделать Михоэlsa.

Тогда не поняла, что имеет в виду. Подумала: мол, меня, как Михоэlsa, не убьют. Хоть общали по радио и в газетах, что авария, несчастный случай, но ходили упорные слухи, что в Минск Михоэлс был послан на смерть. Лишь когда дед был в Сибири, варут вспомнила.

До войны, году тридцать, наверно, восьмом она его затащила в кино, на фильм по роману Фейхтвангера, невероятно тогда популярного. Фильм назывался «Семья Опшенгейм». О евреях, считающих себя германцами, и о тех, которые напоминают возомнившим о себе самозванцах, кто они и откуда.

Нацисты приходят к власти, антисемитизм, коричневая чума. Тогда, в тридцать восьмом, фашистам оставалось быть еще год исчадием ада, вплоть до войны. Михоэлс (убаюкал он к тому времени на идише негритенка, или это случилось позже?) играл Якоби, врача, о котором кто-то из персонажей невзначай говорит, что это человек, напоминающий карикатуру. Понятно, с такой внешностью арийцы на свет не рождаются. Еще помнилось ей, как главный герой гимназист, мальчишка, унижающему его нацисту-учителю гордо бросает: я такой же истинный немец, как вы, господин учитель. Вот этого господин учитель ему не прощает. В конце концов юный истинный немец кончает с собой.

Дед, как это бывало почти всегда, еле досидел до конца, а когда выходили из зала, заметил:

— Какой дурак режиссер. У него взрослые мужики гимназистов-мальчишек играют.

Ей показалось, что это все, что он вынес из фильма, в котором актеры по-русски, но с придыханием, с упоением повторяют: Гете и Гейне. Оказалось, запомнил. Забудешь, если все это здесь и сейчас творится с тобой.

Поздно вечером в серо-зеленой и блеклой мгле они вместе придумали план. Шансов спастись было немного, но даже мизерный они должны были до конца исчерпать. Если не выгорит? Об этом не говорили. За стеной, постройки довоенной, серьезной, горланили так, что слышали не только они, но вся улица:

**Гремя огнем, сверкая блеском стали,  
Пойдут машины в яростный поход,  
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин,  
И Ворошилов в бой нас поведет!**

Им вторило радио, которое дед включил, как он заметил, на всякий пожарный:

**Славься, Отечество наше свободное,  
Дружбы народов надежный оплот!**

Дед ненавидел эту черную пластмассовую коробочку с рябенькой тряпочкой посередине. За что? Гадости из нее звучали не так уж и часто, глупости тоже, все больше музыка, конечно, Чайковский, которого очень любила. Но к дедову возвращению, пусть даже Чайковский, коробочку выключала.

Вернувшись из Шушенского, не обнаружив немало жильцов их медицинского дома, дед с тошнотной улыбкой изрек:

— Грачи улетели.

Она видела: у него чешутся руки, и, выплеснув страх, злобу, бессилие, он сорвал со стены черный пластмассовый коробок, швырнул его на пол и растоптал. Обломки, блестящие, мелкие, колкие, тщательно замела. С тех пор у них в доме больше не было радио.

Но хоть радио из дома исчезло, но крепостью он не стал. Самым страшным — на долгие годы — напоминанием стала соседка с предпоследнего этажа. Ее мужа забрали через несколько дней после бегства. Забрали — не диво. Через неделю кардиолог Фридман — поразительный ди-

агност — вернулся, и утром, как ни в чем не бывало, пешком пошел на работу, в больницу, днем читал лекцию, вечером принимал аспиранта, перед сном вычитывал гранки, лег спать, и утром из спальни не вышел.

На похоронах вдова была в огромной, откуда-то из сундуков извлеченной шляпе с вуалью и сизым пером. Под шляпой — надушенные и завитые седые волосы. С тех пор без этой шляпы ее не видел никто. В ответ на приветствия, придерживая шляпу рукой, отвечала коротким, едва заметным молчаливым поклоном, которым с тех пор ее отношения с миром живых ограничились.

Так в памяти и связалось: Шушенское, грачи, из-под шляпы едва заметный поклон, щелочка глаз.

Но что сквозь щелочку разглядишь? Темноту? Коричнево-зеленую поверхность болота? Чепуха. Все пустое. Глади не глади, все равно ничего не видно. Словно в буран, когда белый снег и тот становится черным. Потому — занавес и задернут, и если кто-то со сцены его приоткроет, все равно узнают лишь те, кто в самом первом ряду, избранные, назначенные.

Но вот теперь она здесь. В первом ряду. Рядом со сценой. Не слишком удобно, надо голо-ву задирать. Близость сцены не то что бодрит — обязывает. Программой не шелестнешь, не говоря уж о том, чтоб слово соседу сказать, да и нет их, соседей. Вроде зал до отказа заполнен: аншлаг, тем более первый ряд, но, осторожно садясь, по сторонам озираясь неволью, упираешься в мутную пустоту, бесцветную и глухую.

Занавес шелестит, колебля треножник. И пифия, густой пар вдыхая, дрожит, бессвязно, бессловно, звуком диким воздух сырой разрывает, а жрец мудро и трезво бессвязность в речь обра-щаает. Она, как источник, горяча и туманна. Кто это слово поймет? Разве что гений. За это и уве-ли: вначале со сцены, потом из театра и, наконец, из жизни. Откуда — понятно. Неясно — куда?

Пыталась воспоминания вызвать, но как? Сколько ни думала, ответ не нашелся. Устав от поисков, ненужных и бесполезных, она, случайно глянув на висевшую напротив кровати картину, вдруг по странной причуде — память представилась ей живым существом, чем-то вроде соседки по коммунальной квартире — вообразила: эти цветы вовсе и не цветы, а цыгане, то ли из табора выскочившие на сцену, то ли, напротив, в табор — со сцены. И все это буйство: краски, движения, жесты — все понеслось, взметнулось и закружилось, и припомнился Настин рассказ о том, что цыгане считают кощунством не веселиться на похоронах.

— Хотите верьте, хотите нет, но верят они, значит, цыгане, что коль в этом мире ты умер, то в другом ты родился. Потому в первый день похорон покойника за столом поминуют, точь-в-точь как у нас. Есть деньги, нет, но стол должен ломиться. На второй день — музыка, пляшут, поют.

Тогда ей казалось, что есть в этом рассказе немалая толика преувеличения. Хотя, то, что кажется диким... Разве не дичь чтимые народом гробки: едят, водку пьют на могилах, стаканы на надгробиях оставляют.

То, что случилось в тридцатых в Германии, тогда и оттуда казалось ей одноцветно-коричневым. Зато тогда же у них, изнутри, на кривой и горбатой улочке между верхним городом и Подолом, где до переезда в дом, властью помеченный, как кустик собакой, на который после по-стройки весь город приходил поглазеть, оттуда все виделось не одноцветным.

Каким? Красным — наверняка, особенно там, наверху, чем центральной, тем и краснее, властительней, агрессивней. А внизу? Там, где дома окружали сады, иногда огороды, упиравшиеся в подножья холмов, нависающих над домами в ясный день легко, зелено, стрекозины, но грозя-щих, дождавшись бури, грозы, сбросить их вниз, раздавить, растоптать, засыпать землею.

Там, наверное, доминировал, царил, властвовал цвет зеленый, стеснительный, робкий. Не белый — цвет пасхального благолепия, метельного цвета риз. Но — зеленый, цвет вечной надеж-ды, весеннего буйства, имя и цвет всех тех, кто в раздрайные дни убивал всех подряд: и белых, сре-ди которых, и то лишь на самом верху, была горстка евреев, и красных, среди которых евреев было много, на вкус многих — чрезмерно.

Там были красноватый — обычно дождливый — Ноябрь, октябрь собой подменивший и заместивший февраль, и до одури, астматической, аллергийной — хоть тогда это слово не зна-ли — лепестково-красное Первое мая — там, наверху, Первомай. Весна, ор разгульный, вначале сивухой смердит, а под конец — блевотиной, в которой, как опавшие лепестки чумных заморских цветов, плавают красные банты.

А здесь — кривятся, горбатятся вечнозеленые Пасха и Рождество. Конечно, громче, шиб-че, глумливей — разудалая, разбитная, разгульная Пасха. Яйца: красные, желтые, всякие, только зеленых не было почему-то. Расшибается скорлупа, раздираются орущие глотки. Сизы носы, мор-ды красны от вонючей сивухи, и под конец — родная, родимая, драгоценная блевотина.

Празднуя, и там, наверху, и здесь, криво, горбато, и те, что сподобились, дорвались, и те, кто еще не сумел, не пробился, — все смеялись, чтоб не рыдать, плясали, чтоб не упасть, хмель-

ным нажиралась. Знатоки обращались к Владимиру, который, князя, над городом летел и твердил, что питие для Руси есть веселие. Те же знатоки порой добавляли: единственное.

А по ночам и вверху, и внизу, и красные, и зеленые громко потели, мелким бесом в темноте исходя.

#### 4. Кольцо с хризолитом

С тех пор как оказалась здесь — часы, картина, кусочек неба в окне — она вспоминала давно позабытое, а многое, что, казалось, укрепились в памяти навсегда, неожиданно растворилось. Из желаний осталось одно: умереть так и тогда, чтобы как можно меньше нарушить сложившийся ритм внука-жреца. Хорошо бы под утро, в его выходной, чтоб сообщили, когда он проснется, примет душ и поест. Главное, чтоб поел. Иначе забегается, забудет. Может, и жаль, что он разошелся? Впрочем, с такой... Банально: нет ничего страшнее одиночества с кем-то. Лучше уже никакой. Один раз увидев, она поняла: лучше скорее с ней развязаться. Отговорить его не пыталась. Это от деда: чем больше пытаются отговорить, тем бесполезней.

Скучное, ко всему равнодушное существо принадлежало к редкому женскому типу, по случайному совпадению хорошо ей известному. Такой была жена брата. Тысячелетью на том дворе стояло известно какое. Болотные, коричневой жижей чавкающие годы. От завистливого существа можно было ожидать любого коварства. Но брат вовремя убежал: сперва к морю, а вскоре и за море. До самой войны от него приходили открытки и даже посылки, а потом связь прекратилась.

До бегства они нередко встречались, она была его confidentкой в семейных делах. Они оба с женой играли на скрипке, и хоть до бегства брат большой музыкальной карьеры не сделал, та умудрялась каждой малой его удаче завидовать угрюмо, тупо и тяжело.

— Скоро струны мне рвать начнет, — незадолго до бегства пошутил он угрюмо.

— Порвет — выбеешь в Паганини.

И за морем он Паганини не стал, но, избавившись от жены, завидовавшей его, хоть небольшому, но все же таланту, и от страны, завидовавшей неизвестно чему, он стал первой скрипкой одного из лучших тогдашних оркестров, исколесившего целый мир, кроме его замученной родины.

Возвращаясь с вокзала, пыталась высчитать время, когда придет телеграмма. Разумеется, на чужой адрес, в чужом городе, чужим людям, друзьям пушкенского главврача, которые с переговорного пункта ей позвонят. Будет это нескоро, но, положив мокрую салфетку на лоб, легла на диван, рядом с которым на тумбочке стоял черный пластмассовый вестник.

Лежала, считала, каждый раз выходило по-разному. Этим она занималась три дня, пока на минуту забывшись — жизнь, спотыкаясь, кое-как продолжалась — вдруг услышала длинный, не прерывистый, а протяжный, междугородный звонок. Вначале подумала, что звонят в дверь, сообщила с трудом: телефон.

Недоуменный простуженный женский голос, не представившись — поняла: конспирация — просипел, что сказать попросили, и, попрощавшись, исчез, растворился в черной пластмассе. Отлегло от сердца, не сразу, не полностью, но отлегло. В таких случаях говорят: камень с сердца свалился. У нее не свалился. У нее камень, словно шагреневая кожа, стал уменьшаться, мельчать, но даже когда дед вернулся, осколок остался на сердце.

В эти дни тягучего, сосущего ожидания, которое после смерти мужа назвала репетицией одиночества, она забывалась во сне, в который с гиканьем, посвистом и шипеньем врывался погром. Вначале бесформенный, он тащился по черной, выжженной ложью земле, испепеленной страхом — фундаментальными категориями тогдашнего тварь-дрожащего бытия. По холодной земле ползла белая тварь. Потом, обратившись поземкой, взвиваясь, змеялась, виртуозно, куртуазно, морозно.

То ли это было в крови, то ли виной были слухи, что повторятся перед их с внуком отъездом, но погром всадником на белом коне, усатым, приземистым и рябым, с красным мечом в деснице, сияющим скальпелем в шуйце, летел над страной и с грузинским акцентом орал:

— Какой же русский не любит?

Чего он не любит, не добавлял, и так было ясно: Янкелей резать. Он и летел, опускаясь — головы с плеч — рубил. С меча лилась кровь. Когда поток иссякал и крупные капли тяжело с небес бухали вниз, всадник, орудуя скальпелем, рассекал облака: перины и крупные градины, словно белые слезы, падали вниз и, не смешавшись с кровью, катились по улицам городов, дорогам, пугая прохожих, которым невмочь было от них увернуться.

Просыпалась, в себя тяжело приходила, словно после наркоза, счастлива тем, что выжила, уцелела, что дед далеко, что можно еще полежать, отдышаться.

Незадолго до дедова возвращения ей неожиданно приснился *сницар* (*резчик по дереву*, укр.) в *штетле*, местечке: беленые хаты, сады, двор кудахчет и кукарекает. Над хатами выются дымы, а в печи, принося Господу жертву, печется хлеб, жарится на гусином сале картошка, на субботу варится *юх* (*куриный бульон*, идиш) и долгую, как жизнь праотцев, зимнюю ночь томится, тая от вожделения, субботнее чудо — чолнт.

В сарае, в углу, за всякими пустяками, которые мастер точил на продажу, там, куда уходил вечерами после молитвы, стоял ковчег, который, в руках почувствовав мастерство, а в душе — избранность, *сницар* украшал цветами, птицами и зверьми, а главное — буквами, одно в другое влетающая, сталкивая и разделяя.

Четыре буквы имени Господа зияли вверху, словно путь в иной мир, туда, куда каждый придет после смерти. Собственно, букв было три: одна, с ней он связывал саму бесконечность, **ן** повторялась дважды. Так и решил: одна **ן**, одна бесконечность — его, Авраама, а другая — Сары, жены. Буква снизу открыта, это — земля, вечная, бесконечная, хлябь земная. Вверх — это небо, оно спускается вниз, будущее на замок закрывая. Но в будущем есть малая дверь, форточка, щелочка, вот туда они и уйдут, детей вырастят, вынянчат внуков, даст Бог, дождутся на правнуков одним глазком поглядеть, а потом путем всей земли поднимутся и уйдут, он и Сара, Сара и он, Авраам, жрец Ааронова рода.

Уйдут, а в ковчег, который он почти всю жизнь мастерит, поставят синагогальные свитки, все, которыми владеет община, и каждый раз их извлекая, будут дверцы ажурной резьбы открывать, вспоминая Авраама и Сару по фамилии Сницаренко.

А когда в первый раз ковчег в синагогу внесут, свитки святые положат, он праздник устроит. Будет это в субботу, когда читают главу *Эмор*, ту, которую он читал на *бар-мицву* (обряд совершеннолетия, иврит), главу, где речь идет о жрецах, ведь он ведет свой род от жрецов, приносивших в Храме Господу жертвы. А теперь, он, жрец-*сницар*, свою жертву приносит: рядом с буквами с именем Господа с одной стороны и другой — ладони: пальцы сведены в жреческом благословляющем жесте.

Проснувшись, пыталась представить Авраама и Сару, выступающих твердо, уверенно из темно-зеленого, впадающего в черноту, небытия. Впереди, потупив глаза, из скверной памяти выступала она. За ней Авраам, удивленный, ошеломленный и пораженный. Что заставило глаза опустить? Что его поразило? Была между смущением-удивлением и его ошеломлением связь?

Поразилась, спустя много лет свое виденье узнав на библейском экзерсисе Шагала.

Война в ее жизнь вошла слабым голосом из хрипящей тарелки, ошеломленным, испуганным «братья и сестры». Уж нет. Она ему не сестра. Слишком помнилось унижение. После внезапной смерти подруги, у которой накануне забрали отца, а она потащилась на первомайскую демонстрацию и шла всю дорогу молча, красным флажком махала и, чтоб никто не заметил, глотала слезы. Потом было бесконечное бегство и бесконечное ожидание вести от мужа, бесконечное скитание с сыном по железным дорогам.

Наконец добежали они до Урала, до Орска. Тогда же дед объявился и прислал аттестат. Стало легче. Колонка с водой, ведра на коромысле, печь, которую надо было научиться топить. Это не страшно. Домик, в котором сняли они комнатуху, был на самой окраине. Летом приволье: лес, грибы, земляника. Но зимой — сплошной вой: ветер и волки.

В марте, вскоре после того, как «братья и сестры» ушел в мир иной, и начали повсеместно устраивать изьявления публичного горя — было множество таких, как их Настя, горевавших по настоящему — приехала из Москвы одна из дедовых, довоенных еще учениц.

Черт ее дернул тогда пойти посмотреть. Вначале, рассказывала она, шли своими ногами и по своей, разумеется, воле. Поначалу вело любопытство и внутренний страх, который, казалось, можно изжить, лишь пройдя мимо гроба. Легко добрались до Садовой и до начала Цветного бульвара. Но дальше толпа густела. Выбраться было непросто. Любопытство растаяло, страх вылез наружу.

Толпа ускоряла движение, жившее само по себе. Теперь оно толпой управляло. Донесло до Трубной. Слышались крики и грохот, сперва приглушенный. Стало по-настоящему страшно. Выбраться из толпы — не было речи. Несет, ты бежишь, споткнешься — раздавят. На счастье, удалось юркнуть в ворота.

Дед умер, не проболев и дня. Вдруг, внезапно. И хоть мгновенно — случилось на службе — все бросились деда спасать, но сердце не поддалось.

За несколько дней — уже спать собирались — заговорил с ней о смерти, вспомнил отца, умершего мгновенно, и мать, которая после смерти мужа слегла и, промучившись год, ушла за отцом.

Вспоминая — пророчил.

— Смерти нет. — Помолчал и добавил. — Нет собственной смерти. Смерть человека не его ощущение, но — близких. Умру я — значит, твое. — И добавил. — А ты — ощущение мое.

Хотела его оборвать, прекратить этот тягостный разговор. Внимательно посмотрела: его разговор не тяготил.

— Собственной смерти нет. Страх смерти, предощущение смерти, близость конца? Да, конечно. Но самой смерти? Пока ты живой, ты смерти страшишься. Когда умер — тебя больше нет. Тоннель и в конце его свет? Пустое. Поведал об этом живой. Был одной ногой там? Но не двумя же!

После смерти деда себя словила на том, что стремится все сохранить, как было при нем. Если внук что-то переставлял, и это ей и ему было удобней, она автоматически возвращала на место, предотвращая появление новой среды, хоть в чем-то, в мелочи, пустяке не бывшей деду известной. Кому расскажи. Засмеют. Не рассказывала. Молчала. Да и кому интересно? Может быть, внуку? Но тот вечно занят. Вряд ли поймет, по крайней мере, сейчас. А потом... Потом, когда он поймет, ее рядом не будет.

Оставаясь одна, она закрывала глаза. Увиденное грубей, однозначней, примитивней услышанного. «Потому, — думалось ей, — ей не удастся его увидеть во сне, но, быть может, удастся услышать». Об этом она никому, тем более внуку, не рассказывала, и была страшно удивлена, когда незадолго до отъезда в больницу маленький жрец ей рассказал, что и сам закрывал глаза в надежде услышать, хоть дедово слово, хоть рык.

Перед отъездом в больницу решила оставить дома кольцо с желтовато-зеленым, любимым ею хризолитом. После свадьбы, сняв с пальца, его ей надела свекровь, которой кольцо перешло по наследству от матери мужа. С тех пор это кольцо она никогда не снимала, разве что на ночь, кладя в малахитовую шкатулку, еще довоенный, в безденежье, подарок мужа.

Все время себе повторяла, чтоб перед отъездом снять, но в последний суетливый момент, конечно, забыла. И теперь каждый раз, когда он приходил, она говорила: снять, отдать, отослать, но медлила, не решалась, словно вместе с кольцом расставалась не только с прошлым, но — с жизнью. Когда он женился, хотела надеть ей кольцо, но что-то остановило. Может, это она виновата, что у них не сложилось?

## 5. Сухие кости

Как-то, через год после вселенского горя, дед вернулся с работы, напевая, что было признаком скверным, «Марусечку». Знала: сегодня представляли нового главврача. Прежний, товарищ с довоенных лет и по фронтовому госпиталю, был в одночасье изгнан. Такое случилось, когда надо было срочно кого-то пристроить. Одним словом, ничего хорошего сегодняшний день не сулил.

«Марусечка», до финала не добираясь, крутилась на известных деду словах, которые заглазывались вместе с супом. Вытерев от супа и от «Марусечки» рот — бумажных салфеток не признавал, и Настя, чертыхаясь, салфетки стирала — подперев голову и из-за стола не вставая, он посмотрел на нее: не спрашиваешь? Неинтересно? Может, уже сообщили?

Надеялась: пронесет, назначат кого-нибудь из своих, в крайнем случае, хоть и чужого, но — человека.

— Ну и кого?

— Кого? Никого.

— И все-таки?

— Из блядей.

Накануне было несколько версий. Оказалось: самая скверная. Пристроили выработавшую ресурс любовницу очень большого начальства. Когда-то в юности та училась чему-то почти медицинскому. Спустили команду: пристроить, чтобы другим, на ее место идущим, было не жалко впуссию прожитой жизни.

Пристроили. Не впуссию.

Она ее как-то увидела, и та показала ей постаревшей толстовской Элен, красивой, по авторскому определению, тяжелою пышною красотой. Она добавила от себя: жлобоватой.

— Ладно тебе. Может, еще обойдется.

— Обойдется? Ты хоть знаешь, как эту... зовут?

— Какое имеет значение?

— Какое? Марусечка! — И тут дед взорвался фальшивой, неумной, истерической бодростью, подхватил, закружил, рукой задев лампу, и та бешено расшвыряла по стенам, полу и потолку кривоватые блики: того и гляди в окно камнем швырнут, и в него, на паркет роняя слюну, запрыгнет собака.

**Моя Марусечка, танцуют все кругом,  
Моя Марусечка, попляшем мы с тобой.  
Моя Марусечка, а жить так хочется,  
И как приятно, хорошо мне танцевать с тобой вдвоем.**

Слухи о погромах становились настойчивей. Их с рынка приносила Настя, сообщала шепотом, по привычке скрывая от внука, которого считала ребенком.

Одни знакомые говорили, что все это глупость, не те времена. Другие им возражали: мол, для чего-чего, для погромов времена всегда подходящие. Третьи считали, что слухи распространяет ГБ, затрудняясь ответить, зачем им это надо. Четвертые возражали, что власть теперь не у партии, а именно у ГБ, а им это надо, чтоб свою власть укрепить. Пятые, совсем сумасшедшие — их появилось немало — твердили, что Вечность не может предать Израиль. На что шестые им замечали, что вечность — дело хорошее, но им хочется жить сейчас.

Она ждала, когда внук проснется и скажет: «Поехали». Не дождалась. Он был занят своими делами: учебой, работой в лаборатории — у одного из дедовых учеников. Некогда спокойная, лаборатория после Чернобыля занималась мониторингом воды, и внук часто уезжал брать пробы.

Этого ученика она не видела много лет. Последний раз — когда тот был студентом. Пришел домой вскоре после дедова возвращения. Круглолицый, румяный. Дед по-украински его парубком называл. Парубок ел медленно и степенно, не слишком привычный к супнице, крахмальным салфеткам, серебряным ложкам. Она ему, отнекивания игнорируя, добавляла еду, и он, смиряя рвущийся из узды аппетит, благодарил, направляя на вилку убегающие куски.

Спросила, откуда. Оказалось, недалеко, из Сулимовки, деревни, забытой Богом, а некогда знаменитой.

— Что вы делали раньше?

От еды размякнув и осмелев, перешел на сподручный язык:

— Хвосты крутив коровам.

С тех пор из их лексикона исчезли коровы. Их место заняли коровы, которыми однажды гостя внук огорошил.

Ехать ей не хотелось. Но дело было не в ней. Не выдержав, решила поговорить. Как начать? Как вытянуть слово? В отличие от деда, не умевшего держать язык за зубами, внук был до немоты молчалив.

Знала: в деде до последнего часа жила жажда поступка, безнадежного и безумного. Но время! Оно кого угодно сделает осторожным. Поступок поступком, но жизнь-то одна. Семья, дети, работа. Шушенское считала несомненным поступком. Но он так не считал. Поступок? Постыдное бегство!

А внук? В нем живет жажда поступка? Не знала. Она все знала о нем — ребенке. И ничего не знала о выросшем. Отъезд — это поступок? А может быть, бегство? Решила одно: непременно, как можно скорей она должна с ним говорить. Оказалось: мучилась, сомневалась совершенно напрасно.

Со слухов начать? Скажет: глупость, для того распускают, чтобы, испугавшись, сбежали. Решила начать с анекдота. Мол, вчера рассказали. Встречаются два еврея. Беседуют. Третий подходит и говорит: «Не знаю, о чем вы, а ехать надо».

Не улыбнулся. Он торопился. Надевая пальто, обернулся:

— Не знаю, о чем ты. Но — собирайся.

Перед отъездом не думала, зачем, собственно, уезжает, деда одного на кладбище оставляя. Нет, понимала: внуку ничего здесь не светит. Но это было не все. Думала, отрезает всю прошлую жизнь, да что там ее персональное неуклюжее бытие. Отрезает поколения предков, оставляя их, как и деда, одних в чужой земле без присмотра. Тем немногим, кто спрашивал «почему» — их, дававших этот вопрос, было немного — она отвечала, улыбаясь горько-лукаво:

— Не почему, а зачем.

В ответ, головой кивая, будто бы соглашались:

— Мол, да, понятно, и мы не знаем: зачем?

Но выбора не было. Кому, особенно с ярмарки возвращаясь, охота в чужой дом отпрапляться?

Но она выбрала: да, в чужой. Было бы легче, если можно было бы деда забрать. Пусть не сразу. Потом. Через год, через пять. Главное, ей дожить. Ни тогда, ни потом внуку ничего не сказала.

А спрятав «зачем», отвечала: «От удущья. Воздух кончился. Нечем дышать». И «зачем», и про удущье было правдой. Ее разными сторонами.

Прочитала о безумной идее. В конце света восстанут мертвые во плоти. Какими были, такими восстанут. Только те, кто похоронены в Святой земле, здесь, восстанут сразу, без мук, без

страданий. Издалека будут с муками пробираться где-то там, под землей. По тоннелям: тесно и сыро. Такой вот безумный материализм. Посмеялась.

Но зерно не на камень упало. Рыхлая почва. В избытке влага. Что зерну остается? Одно. Прорасти.

Незадолго до того, как слегла, решила поговорить со знающим человеком. Не о возрождении мертвых. Хотя и хотелось — стеснялась. Поговорить о возвращении. Словечко мерзкое — про себя улыбнулась: научилась от деда — произносить не хотела.

Дед был гурманом. Натякаясь на любимое слово, он его про-из-но-сил. Потрясет — и вдыхает, букетом любуюсь, пробуя на язык, смакуя. Подденет, повертит, на место положит, вернется, отыщет, и, вывернув из скорлупы, медленно, боготворя — не вкушая, вдохнет, наслаждаясь.

Оседлав телефон, добралась до равнина. Один из немногих говорящий по-русски, не на заушном — человеческом языке. Коротко, внятно все изложила. Он тоже ответил четко и ясно. Переносит могилы, когда им угрожает опасность: размывают подземные воды или — вандалы. Он понимает, у самого остались родные могилы, но переносить прах не считает возможным. Ее право поступить, как сочтет нужным. Препятствий с захоронением быть не должно. Кремация? Запрещена однозначно. Ее дело — верить, не верить, он расскажет ей почему. И рассказал, кратко и четко — стилем деда напомнив — об идее возрождения из мертвых.

Напоследок кивнула: мол, поняла. Окончательно тогда не решила. А потом... Вспомнила диалог деда с кем-то забытым. Не диалог даже — обрывок:

— Вы все время о мертвых, никогда — о живых.

— Жизнь — состояние временное. Смерть — постоянное.

На старой, довоенной квартире, где они, несмотря на скверные — дед говорил: неоперабельные — времена прожили самые лучшие годы, она из подручных средств создавала то, что могло сойти за уют. Только одно раздражало: в большой комнате — дед ее величал гостиной — на обоях были два больших пятна. Обои выцвели, с дореволюционных времен цвет сохранили. Поменять из-за пятен? Обои? Пойди добудь. Повесить, как прежде, портреты предков? Но с их предков не писали портреты. Хорошо, если фотографии сохранились.

Уезжая, задавая вопрос «куда?», отвечала по-разному. Уже здесь формула отъезда — сперва говорила: бегства — менялась, пока не сложилась.

В провинцию. На край света. В центр мироздания.

Не все здесь было по нраву: иная страна и климат иной, все необычно и непривычно. Но — сама удивлялась — раздражения не вызывало. Напротив, вызывало странное чувство, словно вернулась в места, давно позабытые, но, словно погружаешься в воду, а память выталкивает на поверхность. Нет, одно ее раздражало, порою до бешенства. Восточная музыка. Конечно, пусть каждый слушает то, что по вкусу. Но ее часто врубали с громкостью дикой, объявляя граду и миру о своих музыкальных пристрастиях. О любви к Моцарту почему-то молчали.

Как назло, на восточный музыкальный кошмар она натякалась повсюду. Как говаривал в детстве Фоно, поглаживая очередной укус:

— Комары меня любят.

— За что? — ехидно спрашивал дед.

— За то, что пью молоко.

На это возразить было нечего. Поэтому дед ехидничать под ее настойчивым взглядом неохотно, но прекращал.

Впрочем, музыкальный кошмар им до войны пришлось пережить. Улица, где снимали квартиру, была чересчур музыкальной, особенно в пьяные праздники, других, впрочем, там не было. Она терпела, с трудом деда удерживая, чтобы не ринулся усмирять пьяный хор. А те о себе заявляли *urbi et orbi* раз от разу все громче и все пьяней.

Его дед пришел в Новороссию из Восточной Польши. И хоть сам он в Польше никогда не бывал, но питал к ней окрашенный странным, неведомо откуда взявшимся ностальгическим чувством живой интерес. С гадливым чувством читал в «Правде» речь Гитлера:

**Польша — государство, построенное на костях русских и немецких солдат и не имеющее никакого права на существование. Это уродливое порождение Версальского договора никогда не восстанет из праха. Это вам гарантируют две великие державы на востоке Европы.**

Сило, надтреснуто хрустнуло — кровать? позвоночник? Эпилог, написанный раньше пролога, с ним поменялся местами, скрипнула дверь, взвизгнули тормоза, пламя свечи задрожало.

Долго и тщетно пыталась она подстегнуть, пришпорить уставшую память, чтобы та даровала ей жизнь. Пыталась — и все-таки получилось. Слова, лица, события, словно сухие кости в пророческом озарении, вздрогнули, тысячелетний прах отрясая, оделись плотью, как дерево клейкими листьями. Жрец-изгнанник — кто же еще? — вернул ей желание жить, ведь что есть жизнь, если не память?

Слова, лица, события Господь долго таил, но Судный день наступил, Первосвященник в Тайное тайных дверь открывая, в мир живых их вернул, и они, словно воды в иссохшей от зноя бес-смертья пустыне, хлынули вдруг и внезапно, потоком мир затопляя, облекая плотью кости сухие.

И она расцвела, словно дерево, корни которого, заскорузлые и засохшие, страдая, сквозь засохшую вечность к воде добрались.

Душа ожила, встрепенулась, светлой бабочкой на светло-зеленом дугу заплясала. Вода прибывала. Река разлилась. Земля набухла, превращаясь в болото, в котором появились лягушки, всякая нежить. И страхом мгновенно набухла душа.

Она тянет руки и, голову поднимая, видит высокого старика: белые волосы, белая борода, белый *китл*. Судный день, Йом Кипур. Она только научилась ходить, переваливаясь по-утиному. Белый старик — ее дед, стекольщик. Всегда ходит от дома к дому с ящиком, полным стекол. В них отражается солнце, танцует, поет, звенит разноцветно.

Оставшийся пятячок, на котором она, промокнув до нитки, до костей оскудев, хоронилась, под воду ушел. Болото чавкнуло, и темно-зеленая жижа ее поглотила.

Оранжевым полушарием в полуокне засквозил метроном, словно река, вставшая на дыбы. Утренний свет, небеса озаряя, неудержимо вверх устремился, а, достигнув вершины, из сил выбиваясь, звездно-лунным холодным бенгальским огнем ночью падал на землю.

Так шампанское в новогоднюю ночь вскипало, пенилось, опадало, весело, возбужденно, тревожно.

Успей загадать желание, если звезда вспыхнула — и погасла.

## 6. Воистину воскрес!

Всю дорогу от свежей могилы до монастырских ворот ехали молча. Когда сквозь густую, тяжелую зелень мелькнуло золото куполов на фоне тяжелеющей голубизны, заметил, как Жрец взглянул в эту сторону. Через минуту, на прощанье обнявшись:

— Звони, брат Фоно, не пропадай.

— Конечно. Пока.

Он смотрел, как Жрец сел в машину, как медленно, нехотя, она развернулась. Подумал: «На обратном пути снова посмотрит?» И сам себе же ответил: «Посмотрит».

Жрец на обратном пути снизил скорость — обочины не было, остановиться там он не мог — и глянул на купола. Прошло всего две-три минуты, но они изменились: не блестели, но отливали густым тяжелым оранжевым цветом, обрели глубину, прочно, навеки осев в этом пространстве.

Впервые Жрец назвал его братом. Подумал: тяжелое слово. Все сегодня было тяжелым: взгляды, слова, особенно камешек, который он положил на могилу.

Брат Фоно. Это детское имя осталось там, за калиткой. Сквозь нее вошел в монастырь брат Феофил, которому вскоре читать самый большой из псалмов. Через час начинается утренняя — Страстная суббота, у которой еще два названия: Тихая и Великая.

Христос в эту субботу воскрес, но люди, об этом не зная, о смерти скорбят. Потому — тишина. Священники сперва в черном, но на литургии облачатся в белые ризы: победа Христа над смертью, Его Воскресение совершилась.

Черные ризы: Христос во гробе, Иисус сошел в ад, души умерших избавляя от власти небытия.

Белые ризы: Воскресение, торжество бытия.

Войдя в келью, Феофил вдруг вспомнил, как Жрец, запинаясь, с трудом выговаривая, читал у могилы *Кадииш*, и как перед этим, имя покойной выгядев на табличке, самый старый из похоронной команды толстым, неповоротливым голосом читал стихи из псалма, который и у евреев, и у христиан входит в чин погребения и заупокойных молитв.

**Увидь страданье мое — спаси:  
ученье Твое не забыл я.**

**В битве моей сразись — и спаси,  
по речению Своему — оживи.**

**Отведи от злодеев спасенье:  
законов Твоих не искали.**

**Безмерно Твое милосердь, Господь,  
по справедливости Своей — оживи.**

**Преследователям и врагам моим несть числа —  
я от заповедей Твоих не уклонялся.**

**Вероломных вижу — враждую:  
слово Твое они не хранили.**

**Смотри, заповеди Твои возлюбил я, Господь, по милости Твоей — оживи.**

**Истина — Твоего слова начало,  
праведный суд Твой — навеки  
(Тегилим 119:153-160).**

Этот псалом он будет читать сегодня в траурной части на переломе от небытия к бытию. Сегодня ему и брату, им, еврею и греку, выпала смерть. А завтра выпадет жизнь, и он будет читать фрагмент из пророка Исайи, который Христос читал в синагоге города Назарета (Лк. 4:17-19).

**А вы жрецами Господа наречетесь, Бога служителями назоветесь,  
добро племен будете есть, богатством их возвеличитесь.**

**За стыд, позор вдвойне будут рады доле своей:  
в земле своей унаследуют вдвое, радость вечная у них будет.**

**Ибо Я, Господь, люблю правосудие, ненавижу несправедное, грабеж,  
по делам, по истине Я воздам, вечный с ними союз заключу.**

**В племенах их семья прославится, потомки — среди народов,  
увидят — узнают: семья, благословленное Господом  
(Иешаягу, Исайя 61:4-9).**

За окном его кельи, на боках оплывая, темно-зелено восходит в небо свеча кипариса. Ночью слепое, безмолвное, а с рассветом в ветвистой, чешуйчатой плоти разливается звонкое зеркало птичьего пенья. Но это всегда, а сегодня не звонкое зеркало его разбудило, а тоска и тревога. Вспомнил дачу, отчуждение маленького жреца, походы за молоком, желто-зеленую в заводях реку, деда, которого он понимал далеко не всегда, нет-нет и выскочит незнакомое слово: вместо портнихи — модистка, сельтерская — взамен газировки.

Бабушку они со Жрецом оставили там, на вершине, с которой до горизонта, словно стадо овец, тянутся невысокие горы, до самой долины, а та упирается в море.

Дачу снимали с садом, и в нем — подобье беседки, в которой она учила его — Жрец не хотел — складывать пальцы в жреческом жесте. И хоть ему это было вовсе не нужно, научился, кажется, до сих пор пальцы способны сами сложиться. Попробовал — удивился, но получилось. Вспомнилось: Исайя, Христос, Назарет,

**А вы жрецами Господа наречетесь, Бога служителями назоветесь...**

Так и случилось: брат нарекся пусть не жрецом Господним, просто — Жрецом, ну, а он — назвался служителем.

Прислушался: птицы притихли. Взглянул на часы — рано, еще чуть-чуть полежать, сегодня день долгий, под вечер монастырь наполнится шелестом, шорохом, шумом: как бы не были люди безмолвны, а слова гулко гудят. Прикрыл глаза. Зазвучало:

**Гул затих. Я вышел на подмости,  
Прислоняясь к дверному косяку,  
Я ловлю в далеком отголоске,  
Что случится на моем веку.**

Когда брат Димитрий передал кадило, и он, вдохнув дурманящий дым горящего ладана, произнес молитву и стал совершать каждое малое — алтаря, иконостаса, людей предстоящих с амвона, Господу фамилам посвящая, неожиданно вспомнил бабушку, дачу. Это так называлось кадило. Консервная банка, все дно в дырках. Приладил к банке веревку, выложил дно бумагой, напихал шишек, засохшей травы и поджег.

— Фоно, ты решил стать монахом, священником? — Дед засмеялся и напроорочил.

Ночью приснился себе в черном плаще до пят, с капюшоном, скрывающим половину лица. И была во сне безлунная, беззвездная ночь, и он с кадилом на длинном ремне идет по улицам города, одиноким прохожим путь освещая.

В церкви свет приглушили, вместе с ним стих гомон, и, тишину обрывая, звонко и радостно зазвучало:

— Христос воскрес!

И вслед выдыхая:

— Воистину воскрес!

И тотчас к огромным свечам поднесли благодатный огонь, и через минуту-другую церковь Господним огнем озарилась.

И золотой перезвон колокольный, метнувшись от края до края, от моря до моря, от Великого — до Соленого, от Вифлеема до Назарета, перезвон колокольный, отпечаток златокупольный на земле оставляя, взошел в небеса, дымом жертвенным тая. А уставший звонарь присел отдохнуть на пластмассовый стул, зажег сигарету и задымил прямо тут же, у вечности на крыльце.

Когда читали пророка, всем мертвым пророчащего воскресение, жреца, во время войны жену потерявшего, а в изгнании — родину, на реках чужих внимавшего слову Господню, подтверждая, что кости сухие оденутся плотью, с дороги послышался звук сирены.

Везли зеленый контейнер, а в нем — холодное, пока еще мертвое сердце.

Сердце во льду.

А тем временем подручные темно-зеленые тени несуетно раскладывали в заданном традицией и жреческой волей порядке блестящие орудия. Ни стука, ни скрипа, ни шороха. Лишь ожидание, напряженное и тугое — в полете стрела, пущенная невидимым, за ее полетом следящим.

Ждали жреца.

## 7. «Странные игры»

Тяжелые зелено-коричневые испарения густым плотным туманом поднимались над озером, заросшим, усохшим, ставшим болотом. Хлюпало и урчало, повизгивало и свистело. Словно этого мало, в болотную какофонию вгрызались свирепые звериные звуки. Они неслись с берега, заросшего бесконечно зеленым: высокой травой, осокой, кривыми деревьями и кустами, которые, вцепившись друг в друга, переплелись, не понять, где какой начинался и где появлялся другой. Кусты друг за друга держались, словно боялись, что корни их подведут: ветер подует, и улетят, взлетят, разнесутся. Заранее их оплакать были призваны ивы, тяжелые ветви уронившие оземь, на кусты, на осоку и на болото.

Ветер подул. Тихонько, несильно, не больно, принеся дым, гарь, ощущение катастрофы. Горело! Может, и далеко, но ветер крепчал, и дым постепенно сгущался. Смешавшись с густым болотным туманом, заверченный ветром, он почернел и стал стремительно подниматься в темное непролазное небо и, загудев, смерч, с корнем кусты, деревья, все из земли вырывая, потащил эту грязно-зеленую хлябь в небеса, а вместе с ней все живое: птиц, рыб, зверей и людей.

Он был среди назначенных в жертву. Невидимый жрец, заклинанья вонзая — хлюпало, урчало, визжало, свистело — вместе с болотом тащил его ввысь: вывернув наизнанку, пвырнуть его в грязь, блестящую — появились луна и звезды — под ногами.

Знал: мгновение, миг — загремит, череп расколется, и мозги, с грязью смешавшись, будут блестять, весело и задорно, отражая лунный блеск отраженный. Вот так получается: отражение отраженного, жжение жженого, рождение рожденного.

Господи Иисусе, за что? Кто это спросил и кого? Допустим, он и спросил. А кого? Того, кто ответил: «За то, идиот!» Кто это ответил? Кому он ответил. Господи, я еще жив? Нет? За что раскрыли мне череп?

— Фоно, поздно, пора вставать, — кто-то тряс его за плечо.

Фоно? При чем тут Фоно? Кто знает его детское прозвище? Неужели есть еще помнящий это? Сиделся вспомнить, чей это голос. Не смог. Вместо этого на мгновенье во сне возникли дача, река, звенящая пенящаяся струя молока, огромные бесстыдные ноги молочницы.

Фоно. Кто его помнит?

Черт его знает, что его разбудило. Вышвырнуло из кровати, на которую он, оказалось, свалился одетый, набросив сине-зеленый плед. Что-то дикое снилось. Болото. Дым. Расколотый череп. Мозги. Заклинания. Жрец. В конце концов, страшное позади, осталось во сне. Теперь надо проснуться. Вернуться в реальность. Попытался. Получилось не слишком. Пахло болотом. Не пахло — воняло.

Сунувшись в ванную, сообразил: воняло оттуда. Кто-то ванную заблевал. Твою мать! Только чью? Чью, если комната три недели только его, а вместе с комнатой — ванная. Слова с трудом, но сложились. Значит, он, несмотря на проломленный череп, способен сложить из слов предложение. Ощупал голову. Волосы в двух местах словно схвачены клеем, но дырки не обнаружил.

Дышать было трудно: болото, пожар. Стоп. Это во сне. Здесь трудно дышать, потому что заблевано. Вывод? Надо искать, где можно дышать? Вон из комнаты. Вон из болота.

К общежитию дорога вела через парк. Правильно. Значит, туда. В парк. Отдышаться. Там и решить, что делать дальше с болотом и ванной. Чтобы уйти, необходимы ключи. Значит, искать ключи. Ощупать карманы. Нет. Значит, в двери. Из двери не торчат. Надо вокруг пошарить. Черт бы побрал, куда они подевались?

Надо припомнить. Пришел. Когда он пришел? Откуда? Путь оказался ложным. Черт с нами, с ключами. Главное, череп. Вон из болота. Дверь на себя потянул. Слава Богу, открылась. Ключи торчали с той стороны. Везет иногда! Ключи сунуть в карман. Нет, прежде закрыть.

Теперь лифт, вниз, направо и в парк.

Солнце было в зените. Тепло. Самая короткая ночь. Увидел скамейку. Вдалеке от дороги. Замечательно. В свидетелях он не нуждался. Доплелся и повалился. Вдохнул. Раз, другой. Чуть полегчало. Ощупал. Руки, ноги на месте. Поднял рубашку: живот в синяках и укусах. Какой-то упырь пил его кровь, наслаждаясь, причмокивая. И впрямь, тот причмокивал. Или та? Что-то, вытесняя болото и странным образом чавкая, булькая, начало проявляться. Вдохнул глубоко. Ночное, темно-коричневое, горелое и болотное до него донеслось, хрипло, едва различимо:

— Ты что, брат, охренел? Кочевряжишься? Раздевайся.

Кочевряжиться не любил. Просто что-то в голове помутилось, в глазах заплясали радужные круги, а в них то ли зеленые человечки, то ли зеленые свечки. А может, не свечки? Конечно, не свечки.

Огромная комната, вдоль стен курятся тренажеры. Дымок сладкий, не приторный, терпковатый. Тихая музыка. Вроде органа. Наверное, Бах: женский голос, орган, кантата.

Музыка. Дым. Но — крошечная темнота, слышно, как пульсирует кровь.

А потом? Потом все вмиг изменилось. Музыка стихла. Исчезли дымки. Хлынул свет — так, что глаза заболели. Засверкало и заблестало. И свет, словно циркач на манеже, совершая кульбит, кувыркнулся, осветив постамент, на котором возникли он и она. Оба с фиговыми листками на чреслах. Тело обрито. Адам и Ева? За ними — перевернутая пентаграмма, а в ней — козлиная симпатичная голова. Напротив лучей звезды — странные буквы, снизу вверх, справа налево:  $\uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow$ .

Музыка громче. Не Бах — кукарача. Свет вспыхнул сильнее, словно бензин плеснули в огонь. Горячая волна прокатилась по залу. Над тренажерами дымок закурился сильнее, уже не сладкий, но горьковатый. Звезда вздрогнула, затрепетала. Буквы на ней засветились и заплясали: крайние за руки взялись и вокруг средней, угрюмой и одинокой, скабрзные коленца выделявая, задрывали всеми своими частями, несогласованно, вразнобой. Козлиная голова вздернулась, глаза заблестели, бляеньке вырвалось и, словно эхо его разгоняло, по стенам, по углам поскакало.

Внезапно, неожиданно вдруг свет приглушили, музыка стихла. Даже дымки, горьковатость теряя, поникли.

Времени не дали осмотреться. Но пока свет приглушить не успели, он кое-что успел рассмотреть. Зал выстроен знаково-эклептично. Колонны отсылали во времена эллинизма и его римского тягучего послевкусия; конусообразный жертвенник, сверху покрытый решеткой, похожей на накрывающую мангалы, намекал на жертвенник Храма. Между колоннами, обвиняя их неуклюже, тянулись подсохшие ветки.

Об этом на семинаре совсем недавно шла речь. Догадался: омела, настоящая или то, что ее изображало. Вспомнил: друиды использовали ее для лечения и для предсказания будущего. Только как? Об этом сказано не было. Друиды подходящее растение выбирали долго и тщательно, на шестой день луны устраивая под деревом жертвоприношение с трапезой. Потом приволили двух белых быков, которым впервые связывали рога. Жрец весь в белом золотым серпом омелу срезал и укладывал в белый плащ. Затем в замечательной гамме — белое, зеленое, золотое — быков приносили в жертву, после чего омела обретала силу против любого яда.

В центральной части по обеим от жертвенника сторонам были две статуи. Пригляделся. Одна изображала женщину с молитвенно сложенными руками. Из складок платья стыдливо и целомудренно, словно новорожденный серпик луны из черной бесконечности времени и пространства, возникал тонкий аскетический лик. А внизу, расширяясь, обрастая полнозвучной чувственной плотью, словно кентавр, дева Мария возвращалась на землю в образе эллинско-римской мадонны.

Другая статуя изображала Христа с ликом утонченным и просветленным, о котором иначе не скажешь: анфас отсутствует, один только профиль. В нижней части Христа — Аполлон, с ернически огромными гениталиями.

Откуда-то из-за кулис вспыхнули металлическим имперским величием фанфары. Чекая шаг, с двух сторон выступили юные фанфаристы, закованные в мундиры: тугие, стоячие воротники, на нежных руках — перчатки, небритые лица припудрены. А под поясом — золотится латунная бляха — бледный след от тугих милитаристских трусов, а под розовой полосой — юные, торчком, гениталии, обритый лобок, счастливое детство.

Стихли фанфары, и с потолка, на котором светилось сотворение человека, зазвучало:

— Адама Господь сотворил, а, увидев, что плохо тому одному, сотворил ему Бог подругу.

Подпрыгнула козлиная борода. Буквы смешались, засуетились. Адам и Ева, листки с себя сбросив, занялись с упоением любовью.

А голос продолжил:

— Объявляя о рождении религии вселенской любви, позвольте представить! Встречайте:

### **Асмодей и Астарта! Пан и Лилит!**

Каждое новое появление встречалось аплодисментами. Оглянулся: публика стояла вдоль стен. Зал был полон. Он очутился у самой двери. Объявленные выскакивали с разных сторон, второя появление фанфаристов, на ходу срывая одежды, они восклицали:

### ***Nos est enim corpus meum* (То есть тело мое, лат.).**

И по примеру Адама и Евы с упоением предавались любви.

Похоже, на свежем воздухе отдышавшись, он задремал. Попробовал приподняться, вроде бы ничего, разогнулся и осторожно, будто что-то расплескать опасаясь, двинулся по дорожке. Потихоньку жизнь возвращалась, ночной тягостный бред вытесняя.

За спиной услышал скрежет роликов по асфальту: его догонял парень в футболке с цифрами 666. Глупости, ерунда. Недавно на семинаре по новым религиям профессор, которого все, он в том числе, считали крутым и клевым, рассказал, что это число, считающееся Числом Зверя, Антихриста, на самом деле просто ошибка. Под это число не слишком успешно подводили Калигулу и Нерона. Словосочетание Nero Caesar, записанное буквами еврейского алфавита, дает в сумме 666, только если к имени Nero в конце добавить еще одну «N». В противном случае получается 616. В Писании говорилось о том, что на тела людей начнут наносить римские цифры, и вправду случалось, что цифрами клеймили рабов. Но как ни крутили, толкуя и так и этак, 666 не получалось. Сын профессора и устроил вчерашнюю — как это назвать? — встречу.

Вспомнил: на животе синяки. Поднял рубашку: синяки по краям были обведены, словно фломастером, желтым. Присмотрелся: почудились цифры. Ну его к черту. Вчерашнее надо забыть. А лучше всего скорее смотаться.

Догнав его, 666 сунул в руку газету. Местная газетенка состояла из разнообразной рекламы, и в качестве приложения — местные новости. Какие новости в городке, существующем при универе? Ладно, присядем, проветрим мозги.

На первой странице (не захочешь — увидишь) снимок в четверть страницы. Пару лет он тащился от фото. Таскал аппарат, щелкал повсюду, и кое-что получалось. Притащившись сюда, остыл и забросил. Что здесь снимать? Глаз ко всему через неделю-другую так привыкает, что, закрыв глаза, повсюду пройдешь.

Кадр выстроен классно. На фото ни жертвенника, ни тренажеров, ни воскурений, ни обнаженных. И вместе с тем все это было: не намекалось и не угадывалось, но само, возбуждая, лезло в глаза. Супер! Он внимательно рассмотрел — может, сквозь фотошоп протаскили. Но швов, грубых, по крайней мере, он не заметил. Ладно, с фото стоит еще повозиться. Почитаем, что же там пишут.

Заметка называлась «Странные игры», и в ней сообщалось, что в доме профессора религиоведения творятся странные вещи.

*Мы, однако, не утверждаем, что профессор в них принимает участие, вероятно, их организует студент, его сын, с детства живущий с отцом, его родители разошлись, когда он был двухлетним. Именно от него, сына-студента, и получили приглашение на вечеринку, в большой зал этого дома, внешним видом напоминающего маленький замок. Подобные вечеринки, на которых происходит — мы не утверждаем, предполагаем — то, что вряд ли могли бы одобрить родители приглашенных. Вчерашняя ночь привлекла внимание нашей полиции. Одна из студенток была доставлена случайным прохожим в больницу с признаками тяжелого отравления. Состояние студентки определяется как критическое. Полиция начала расследование. При осмотре обнаружен ряд предметов, которые шеф полиции определил напоминающими театральные декорации. Кроме того, обнаружены многочисленные пузырьки с зелеными человечками на этикетке. Они отправлены на экспертизу. Редакция внимательно следит за развитием странных событий и будет держать читателей в курсе происходящего.*

## 8. Создавая религию

Вот оно что. Всего этого он не знал. Почувствовав дурноту, пользуясь тем, что был рядом с дверью, как только стоящие рядом с ним парень и девка вмиг побросывали одежды, тихонечко смылся и пошел домой, где превратил — Господи, как это убрать? — комнату в придорожный сортир.

Вспомнил, его замутило, и он, втянув в себя воздух, попытался переключиться на что-то повеселее. Но получалось плохо. Из головы никак не хотели убраться профессор с сыном. Говорили, что дело не в сыне, он только руки, а голос, точнее мозг — папаши. Тот проводит эксперимент, выясняя механизмы влияния ритуалов на сознание человека, для чего все это придумал. В зале, где все происходит, установлены камеры, а профессор сидит возле пульта и самолично снимает. Говорили, что смонтирует фильм, в котором и отразятся результаты исследования.

Еще много чего говорили о его отношениях с сыном, которого начал трахать еще совсем маленьким; не выдержав этого бреда, мать помешалась и убежала. Другие же утверждали, что и тот и другой — большие любители оргий, когда все, накурившись, бегают друг за другом. Короче, много чего говорили. Он слухам не верил, но, черт его знает, дыма без огня не бывает.

Дым, вившийся над треножниками, терпкий и сладковатый, сразу показался ему подозрительным. Полутьма, а затем и полная тьма — все вызывало, конечно, не страх, но опасение. Потому и пристроился возле двери. «Главное — вовремя смыться», — как говорил его сибирский школьный приятель Кузмин Михаил по прозвищу Эльва, единственный, с кем подружился, не так чтобы тесно, но с кем-то ведь надо перемолвиться словом. А в том городе, оставшимся чужим для него, жили такие дремучие, что вспоминать было тошно.

Господи, тошно было там и тогда. Тошно здесь и сейчас.

Сартр. La Nausée. Бувиль. Город. Грязь. Одиночество и свобода. Антуан Рокантен. Тошнота.

Получались стихи. Не хуже фонаря и аптеки.

**La Nausée. Бувиль.**

**Город. Грязь.**

**Одиночество и свобода.**

**Антуан Рокантен. Тошнота.**

И впрямь, чем не стихи?

То, чего нет в настоящем, не существует. Чепуха. Вот чего нет, так это как раз настоящего. Прошлое было, случилось, его можно, как податливый мячик, сжимать-разжимать. Будущее? Его можно придумать. А настоящего нет, не было и не будет.

Вечная тошнота хуже, чем вечная мерзлота. К той можно привыкнуть. А к этой? Нет, надо отвлекаться. Вдохнуть воздуху и отвлечься. А может, потопать к врачу? Нет, обойдется. Ему уже лучше.

— Эльва, Эльва, где ты был? На базаре х... дрович!

Эльва был тем хорош, что он его доставал. Тот обижался, но вяло. Вообще был спокойным. Слегка смахивал на корову. Постоянно жевал. Его мать была в поликлинике кем-то при спирте. Понятно, водку им покупать было совсем ни к чему. Вот, Эльва повадился, отыскав у матери шприц, протыкать иглой пробку и таким образом спирт добывать. А потом доливал в бутылку водичку.

Сейчас бы водичку. Домой? От одной мысли он вздрогнул. В универ? Там на каждом углу — автоматы с бутылками. Но идти не хотелось: еще на кого-то наткнешься, а на разговоры, особенно о вчерашнем, он был не способен.

Вдохнуть глубоко. Вот так. И отвлекься. Итак, возвращаемся. Любимое выражение. Сумасшедший профессор с сыном. Нет, этим не отвлечешься. Вспомнил, и — тошнота подступила.

Эльва? Главное: почему? В учебнике русского языка приводился пример склонения иноязычных фамилий. Среди них была Шнайдер Эльвира, которая не склонялась. Ее муж, тоже, разумеется, Шнайдер, портной, на все лады, засранец склонялся. Отец Кузмина Михаила был очень модным портным. Так? Значит, Шнайдер! А сын Шнайдера? Правильно, потому и Эльвира, но так длинно и неудобно, коротко — Эльва.

А профессор? Он был ему интересен. Даже не тем, что говорил он, а как. «Совокупление — это животное, человеческое — обнажение».

«Через унижение — к возвышению».

И много, много подобного. У него полтетради этим забито. Опять подступает, ну их, отца и сына. А кто у них дух святой? И вдруг, внезапно его осенило: святой дух для отца и сына — кощунство.

Однажды отца прорвало. Словно забылся. А может, нарочно? Кто его знает. Кстати, всего через несколько дней его пригласили.

На мгновение тошнота отступила, и услышал:

— Кощунство — один из путей выявления святости. Над профанным ведь не кощунствуют? Парадокс? Может, и парадокс. Только задача у всех религий одна: выявить, выделить, обозначить святое. Для всех: пусть маячит на горизонте. Всем нечего знать все. Достаточно малой крошки. У Пифагора, к примеру, было заведено послушничество.

Отошел к доске, записал:

### Paraskéié

— Длилось оно от двух лет до пяти.

Мелькнуло: Чуковский, и тут же: «Водители фрегатов», не Корней — Николай, его сын, деков подарок перед отъездом в Сибирь, на дачу привез, а там братец, который с ним не дружил, бабушка, жесту жрецов научившая.

— Послушники или слушающие.

Подойдя к доске, записал:

### Akoustikoï

— Послушники или слушающие во время уроков должны были соблюдать молчание. Полное. Абсолютное. Не возражать, не спрашивать, принимать поучения уважительно, в полном молчании.

Подумал: похоже, он сам этого хочет. Чтоб молчали, не возражали, молчаливо внимали.

— Новичку показывали статую: окутанная покрывалом женщина с пальцем, приложенным к губам. Муза молчания. А в день, который пифагорейцы нарекли золотым, Пифагор принимал новичка в собственном обиталище, торжественно присоединяя к избранным неопита. Со временем, если ученик доказывал верность и преданность, он проникал во внутренний двор, куда допускались лишь самые верные. Отсюда название «эзотерические» (те, что внутри), в противоположность экзотерическим (те, которые вне). С этого начиналось настоящее посвящение.

С Пифагором подкатило опять. Сколько его учили, чему быть, того не миновать, от тошноты есть единственный способ, он самый верный. Но нет. Сидит, глотая воздух, как рыба, Эльвой пытается от вчерашнего убежать.

Странно, ни его, новичка, ни Эльву в классе не трогали. За своих не держали? На всякий случай их сторонились? Кто его знает. А нравы там были суровые. Сибирь. Холод собачий. Каторга. Ссылка.

— Человечество, — в ушах звучал бодрый, слегка металлический профессорский голос, — рождается не тогда, когда Господь создает Адама и Еву, человечество появляется, когда разумное существо изобрело ри-ту-ал! Каин жертву Богу принес. Авель жертву Богу принес. Одну Господь принял. Другую отверг. Вот и повод для братоубийства. Ритуал и убийство. Убийство и ритуал. Всех и всяких начал начало. Общество, хоть самое дикое, хоть самое просвещенное, без ритуала существовать не способно. А где ритуал, там и жрецы, Господни избранные.

Профессор мастерски возбуждал тошноту. Мастерски? Может, снимок в газете — его же работа? Зачем? Пойми, что у него на уме. Профессора-тошноту надо унять. Чем? Чем угодно. Эльвой. Морозом. Снегом. Сибирью.

И там, у диких его одноклассников, были свои ритуалы. В конце года вся пацанва собиралась за школой с учебниками и тетрадами. Раскладывали костер, пили водку, пекли картошку, курили. И жрали, и пили-курили — до тошноты, до рвоты. Господи, есть в мире место, где нет тошноты? В костер, оглашая воплем округу, швыряли не сразу, а по порядку.

— Математика! — В клетку тетради, учебники математики швыряют в огонь, и тот, нажавшись, до самых небес взлетает.

В первый раз, появившись в раздевалке на физре, он увидел такое, что запомнилось навсегда. Самого тщедушного пацана, едва тот вошел в раздевалку, молча, без слов подхватили и через минуту, голого, безволосого пифагорейцы поставили на колени, и тот — бессловесно, беззвучно по очереди всем, совавшим в рот, отсосал.

Тогда его затошнило. Тошнит и сейчас.

Вскочил. Прыгнул в кусты. Через минуту, зашвырнув грязный платок, вернулся и, не сев на скамейку, пошел, думая про себя: кой черт он так долго терпел?

Шел, и кто-то ему шел навстречу. Присмотрелся: шел человек, волоча за собой бесконечность пространства, холодного, тихого, снежного. Сделав еще пару шагов, прищурился, присмотрелся: это был человек, очень похожий на него самого, тогдашнего, юного. Они шли друг другу навстречу, и поземка замечала следы.

Накануне Фоно был на лекции, которую, как всегда, профессор начал убедительно, интригуя. В чем в чем, а в этом был подлинным мастером. Начал он с обобщения. Даты, факты — требует сосредоточенности и внимания. Как такого добиться? Особенно если половина не выспалась, а вторая думает всегда об одном. Вот, он и начинает с бесспорного.

Подобно тому как на месте языческих капищ возникали синагоги, а затем мечети и церкви, так в отмеченные природой даты на месте языческих празднеств появлялись иные. Отсюда следует: место и время священо и вечно, а те, кто их заполняет, стрелки перевода, временщики. Вопрос: кто, все это зная прекрасно, изобретает доводы и аргументы для перевода стрелок? Ответ очевиден: жрецы.

Возьмем Рождество, дату которого церковь прямоком получила от предшественников, от язычников. Двадцать пятое декабря — день зимнего солнцестояния, его язычники-солнцеклонники считали днем рождения солнца. Дни длиннее, солнце греет сильнее. Представим: флейты, трубы, рожки, барабаны. Под гам выходят в одеяниях длинных холщовых, сами понимаете, только мужчины и, обращаясь к солнцу, поют: Happy birthday to you или что-то подобное.

Так везде праздновали сиром и скучно. А вот в Сирии и Египте празднование тем отличалось, что участники удалялись во внутренние приделы храма и в полночь выбегали оттуда с криком: «Дева родила! Свет прибывает!» Египтяне изображали новорожденное солнце в виде куклы, которую выставляли на всеобщее обозрение. Что же это за Дева? Кто и откуда? Звали ее Небесной Девой или Небесной Богиней, у семитских народов она выступала ипостасью Астарты.

А теперь — о другом. Точнее — о том же. Вопрос: в каком месте, в каком евангелии упоминается дата рождения Иисуса Христа? Не трудитесь, не напрягайте сонную память. Ответ: нигде, ни в одном. Первые христиане, представьте себе, Рожденье Христово не отмечали. Причина? Не знали, когда он родился. Однако со временем христиане Египта стали считать Рождеством 6 января, обычай праздновать в этот день Рождество к IV столетию по всему востоку распространился. А на Западе установили в качестве подлинной даты 25 декабря. Со временем с этим согласилась и Восточная церковь.

Почему? Причины? Главная: двадцать пятое декабря все равно праздник, к тому же — чужой. Что может быть хуже? Отменить? Невозможно. Что делать? Украсть, отобрать, присвоить. Цитата из одного сирийского христианина: «Отцы церкви перенесли празднование с 6 января на 25 декабря вот почему. У язычников был обычай того же 25 декабря праздновать день рождения солнца, в честь которого они зажигали огни. Христиане также принимали участие в этих торжествах. Когда церковные власти поняли, что христиане сохраняют пристрастие к этому празднику, они посоветовались и решили, что настоящее Рождество должно отмечаться 25 декабря, а 6 января — праздник богоявления (эпифании). — Извините, прерву цитату: праздник присвоили, а, украв, со своими решили не ссориться: и волки сыты, и овцам клоч сена. — Вот почему сохранился также обычай жечь свечи до 6 января». Конец цитаты.

Дата 25 марта была древняя, пустившая глубокие корни. К этой дате и приурочили восхождение Христа на Голгофу. Для тех, кого тема заинтересовала. День Иоанна Крестителя пришел

на смену летнему языческому празднику воды; праздник Успения Пресвятой Богородицы в августе вытеснил празднество Дианы; день Всех Святых в ноябре заместил языческий праздник мертвых.

Закончу советом. Создавая религию, внимательно изучите существующий календарь. Изучили? Дерзайте.

## 9. Дьявольская разница

Свой будущий монастырь увидев впервые, пораженный вытянувшимся в пространстве мгновением, Фоно мучительно вспоминал, где и когда раньше видел его. Во сне? Наяву? Единым кадром пытался остановить движущуюся картину, по которой, как посланцы Господни по лестнице Якова, восходили-спускались, из зелени вырезаясь, жемчужного цвета постройки: в самом низу коричневатая черепица, вверху — золото куполов. Потом, уловив движение, стал следить снизу вверх, а затем сверху вниз за восходящей и ниспадавшей серо-жемчужной рекой.

Память блуждала в потемках, в которых вспыхивало свечение, холодное, притягивающее необычной, нездешней, неземной красотой. Словно огромная сила, некий магнит тянул эту землю, склон горы, монастырь из зеленого плена, вросшего накрепко в бурюю землю, как пятна засохшей крови, просвечивающей между кустов и деревьев. Отошел, словно в музей, пытаюсь вспомнить, понять, разгадать.

И вдруг жемчужным свечением пронеслось: Нью-Йорк, Метрополитен, Эль Греко, Толедо. Там, в Испании, светло-жемчужный, холодного свечения Грек жил долго и умер, в конце жизни увидев снизу — вверх этот город, по улицам которого, порой невыносимо крутым, он вскоре поднимется выше небо пронзающей колокольни, возносясь в темно-синее, до черноты, разрываемое ледяным жемчужным безмолвием.

Подобно Дельфийскому храму, монастырь приютился на склоне горы. Кельи под черепичной, рыжеватой от времени крышей были внизу. Здесь же сбоку, словно выстраиваясь в параллельный главному ряд, слегка в стороне — хозяйственные постройки, над ними, выше по склону невысокая колокольня — горный воздух на многие километры разносил звон колокольный. А главное — шлем на горизонте над малыми возвышаясь — церковь, из зеленого обрамления в голубизну прорастая, самых немощных и ленивых ввысь поднимала, приближая к низким, в туман крест обнимающим небесам.

Зато и спускаться по широкой тропе, причудливым росчерком соединяющей небо и землю, на трапезу было легко. Говорили, что формой тропа похожа на вопросительный знак с точкой в самом низу. Только кто это мог доказать? Сверху не видно, а, поднимаясь, тем более не разглядеть.

В Нью-Йорке Грек поразил. И где бы он ни был, всюду теперь он искал Эль Греко, точкой отсчета которого был Христос. Позже, словно обретя краеугольный камень своей исторической памяти, он двинулся вперед и назад: к апостолам, богословам, к образам Библии и, что для Фоно оказалось еще одним откровением, к Иоанну Предтече.

За Иоанном — бурое небо, холмы, холодный жемчужный мерцающий свет, который, прорываясь сквозь тяжелые тучи, смиренно освещает лицо, фигуру аскета, крест тростниковый, острием в небеса устремленный. Как Толедо, как монастырь, Иоанн — изнемогшая мощь — сам подобен кресту между землей и небом.

Видел его идущим снизу вверх, то ли по монастырю к церкви он поднимался, то ли в Толедо, в небеса восходил: Иоханан, сын Зхарии, жреца Ааронова рода, Елисаветы из рода царя Давида. Когда не поверил благовествующему о рождении сына посланцу Господню, тот Зхариию покарал немотой.

Поздравить Елисавету с рождением сына в Эйн-Керем пришла Мирьям, беременная Иисусом, которого через шесть месяцев родила. Иоанново рождество близко к летнему солнцестоянию, к зимнему — Иисусово. Под знаком Христа солнце начинает расти, под знаком Иоанна — начинает оно умяться, как сказал сам Предтеча:

**Ему должно расти, а мне умяться.**

Иоханан га-Матбиль, Креститель, Предтеча. Думали, что тот пророк Илиягу, но жрецам и левитам, явившимся это проверить, он ответил стихом Иешаягу-пророка:

**Голос в пустыне зовет: «Горите Господу путь,  
ровняйте в пустыни нашему Богу дорогу»  
(40:3).**

Внизу, в долине — черепичные крыши рвутся из зеленого морока — из окна его кельи виден, как на ладони, Эйн-Керем, Виноградный источник, там, где ныне францисканцами в коричневых рясах белым шнуром подпоясанных — на шнуре четки, на ногах сандалии — выстроены на месте рождения Предтечи монастырь «Святой Иоанн на горах». Тут же, неподалеку еще один росток древа Франциска Ассизского — монастырь бедных кларисс Notre Dame de Sion, основанный Альфонсом Ратисбоном, крещеным евреем.

А в однодневном пути — пустыня, еще день или два — Кумран. Говорят, Иоанн был похож на Учителя Справедливости. А может, иначе: духовный вождь кумранитов был похож на Предтечу?

Оба они толковали «Голос в пустыне» как призыв удалиться в пустыню, став отшельником и аскетом. Таким и был он, Креститель: длинные волосы, борода, власяница верблюжья, посох, пустыня, акриды, пещера в желто-коричневой бесконечности.

Вспомнил, как дед его и маленького жреца сводил в музей с длинным названием, которое дед, как это часто бывало, начисто игнорировал, называя музей украинской фамилией. Первым делом подвел их к иконе, которая проделала длинный путь во времени и пространстве: с четвертого века, из Синайского монастыря Елены святой, через Одессу и Петербург, в век нынешний, в музей имени украинской фамилии.

На иконе был греческий, тогда им не читаемый текст. Зато текст можно было прочитать на табличке в переводе на русский:

### **Вот Агнец Божий, Который берет на себя грех мира.**

Но главное — изможденный старческий лик: длинное вытянутое лицо, длинные волосы, длинная борода. И дед, говорящий спешащим внукам, но почему-то к одному ему обращаясь:

— Фоно! Это икона Иоанна Предтечи, Иисуса Христа крестившего в Иордане.

Через много лет он увидел и Иордан, и пустыню, где отшельничал Иоанн. Тогда же узнал, что праздник Иоанова рождества, солярные черты обрета и слившись у восточных славян с культом летнего бога Купалы, словно в издевательство над аскетом, о котором молва утверждала, что он женщину не познал, превратился в праздник языческой плоти. Купала? Потому, что народная всемогущая этимология ничтоже сумняшеся порешила: Предтеча «купал» Иисуса.

Монастырей, как известно, без сплетен и без легенд не бывает. Одни верят в них истово: бль — не легенда. Другие скептически: кто знает, проверить-то как? А третьи, к ним относился Фоно, полагали, что было ли, не было — вовсе не важно. Коль родилась Афродита, за пеной морской остановки не будет.

Главной здешней легендой был рассказ о встрече двух матерей, отдохнуть решивших под дубом. Заросли мимозы вокруг, журчащий источник. Вода пробивается до сих пор сквозь мягкие известковые скалы и, озерцо образуя, падает метров с двух, и течет между камней, окрашивая подступающие деревья мхом зеленым, который в знойные дни высыхая, обретал коричневый привкус.

Это было единым во всех вариантах. Затем рассказ, как олени рога, ветвился, на версии расщепляясь, а те более о рассказчике уже говорили. Впрочем, и матери, кузины Мария-Мирьям и Елисавета были во всех версиях непременно, ведь даже у человекобога с предтечей матери быть должны. И не для того, чтобы родить, а для того, чтобы ребенка любить.

В первый день Пасхи, поднявшись к заутрене, он, опаздывая и торопясь, поднимался в церковь, наверх. Миновав колокольню, шел вдоль кустов. Ветви мимозы пахли желтой утренней свежестью и привольно, о садовых ножницах позабыв, хотели, играя, прохожего зацепить, словно игривая желто-зеленая собачонка, норовившая прохожего куснуть, ухватить. В другой раз, может, остановился бы на мгновение: взглянуть на долину, на дне темно-бурую, играющую красками на впалых боках, вдохнуть дурманящий аромат. Но сейчас времени не было, и он, укоряя, что снова проспал, торопился. Почти дошел, точнее, почти добежал. Исходило из церкви:

### **Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ.**

Торопился — и зацепился. Зацепился — споткнулся. Зацепился за ветку, коварно, искусителем-змеем вытолкнув на дорогу. Споткнулся — и растянулся. Растянулся — кожу на ноге разорвал. Встал, хромя, шагнул. И, охнув, коварные ветки перебирая, боль за собой таща, до скамейки доковылял. Крови не было, но боль не отпускала. Никого вокруг. Он, как всегда, последний. Надо дожидаться, когда, помолвившись, братья будут спускаться трапезничать вниз.

Обидно, почти успел, добрался, почти добежал. «Почти» — словечко малое, неприметное, но многозначное, как Толстые.

Солнце уже припекало. Безлюдно по-прежнему. По дороге, огибающей монастырь, беззвучно неслись машины. В кустах жужжало, шуршало, гудело. Время шло, и, споткнувшись, устало остановилось, под шелестение ветерка задремало.

Это ж надо, на ровном месте споткнуться, свалиться! Споткнуться — почти добежав. В том-то и дело: почти! Не слово — пробел, закорючка, зазор. Малое, незаметное, но — коварное! Курьезное, но — огромная каверза. Мал сатана, да козни его велики. Не козни, но — ковы.

Вот оно, на пути, в дорожной пыли лежит это «почти». Притворилось, будто «еще чуть-чуть», а на самом-то деле, не шепчет — орет:

— Почти! Яви уважение, колени предо мной преклони!

Надувается и растет:

— Почти!

Ширится, разбухает:

— Почти!

И, надувшись, разбухнув, хватая прохожего за ногу, валит его на дорогу:

— Почти! Поклонись, за труд не почти, отвесь поклон, преклонись!

Серое, несуразное, а туда же, мнит о себе, восклицает:

— Почитайте меня, мать мою и отца! Почести раздавайте!

Откуда у такого ничтожества прыть? Из пыли дорожной, не почитаемой — попираемой, из грязи — да в князи!

Не просто в князи, а в князи тьмы. Пророк Зхария говорил:

**Показал Он мне Иегошуу, Главного когена, стоящего перед ангелом Господа, а сатан справа стоит — преграждать. Сказал сатану Господь: Разгневается, сатан, Господь на тебя, разгневается Господь, Иерушалаим избравший, сатан, на тебя!**

(3:1-2).

Редчайшее в библейском тексте явление. Кто он, сатан? Обвинитель! Персонаж, который, едва появившись, скрывается между букв, исчезает. Но это — сатан.

А что сатана, которая по дороге из иудаизма не только пол изменила, но и роль свою в мире, попутно обрстая поклонниками-синонимами: дьяволом в греческом, чертом в немецком. И вот этот греческий дьявол предлагает одному еврею превратить камни в хлеба, броситься вниз с Храма, предлагает власть над всеми царствами мира, взамен требуя одного — ему, дьяволу, поклониться. Но у образованного еврея, как водится, на все есть ответ, и не просто так, от себя — из Писания! Какой дьявол стоит перед этим? Вот и этот уходит со сцены, а место его ангелы занимают. Но так просто его не прогонишь! Тем более, эпоха попалась такая, что облизнешь даже грязные пальчики. Возрождение! Ренессанс! Вот тогда Сатана-Дьявол-Люцифер и сделал карьеру. Великому флорентийцу огромное от Дьявола исполать. Поэт «первопричину зла» поместил, в пародийные одежды ее облачив, в глубине ада: три лица — троица, шесть крыл — «серафим шестикрылый».

**Мучительной державы властелин  
Грудь изо льда вздымал наполовину;  
И мне по росту ближе исполин,**

**Чем руки Люцифера исполину;  
По этой части ты бы сам расчел,  
Каков он весь, ушедший телом в льдину.**

**О, если вежды он к Творцу возвел  
И был так дивен, как теперь ужасен,  
Он, истинно, первопричина зол!**

(«Божественная комедия», Ад, 34:28-37, пер. М. Лозинского)

Некогда дивный, ныне — ужасный, вмерзший в лед, падший ангел. И это лик абсолютного зла!? Но этот вопрос, конечно, не к Данте, не к Возрождению, но — к романтизму.

Браток, на груди поправляя массивный, до зуда натирающий кожу, говорит громко:

— Конкретно!

Из утесов, слегка картавя и заикаясь, трусливый фраер проблеял:

— Джжжжж.

Браток от подобной, повторенной дважды наглости зеленея, набычившись, загудел:

— Не дрожи, фраер, по делу п...ди.

— Джжжжж.

И тут до братка доходит, и он, нежно потрепав фраера по загривку, как умел, изображая к малым сим милосердие, просипел:

— Да ладно, фраер, какой такой Дж.? Мильтон? Байрон? Или, того гляди, мать твою, оба?

— Джжжжж. Мать твою, оба.

— Чью это мать? Мильтона мать? Байрона мать? Или обоих?

— Джжжжж. Вы правы, коллега, обоих.

— С какой стати ты, мать твою, со мною на «вы»? Не один ли филфак кончали?

— Джжжжж. Вы правы, один.

— Ну, вот, брат, а почему ты нашего позабыл? Не помнишь? «Дух изгнания», «счастливый первенец творенья», который

**Ничтожной властвуя землей,  
Он сеял зло без наслажденья.  
Нигде искусству своему  
Он не встречал сопротивленья —  
И зло наскучило ему.**

Понимаешь, не только ему, и мне это наскучило. Так что ты не дрожи. Лучше послушай.

Если дьявол сопротивления не встречает, если некому и некогда добро сотворить, если вот-вот во всеуслышание будет объявлено, что Бог умер, то не остается иного, обязанность творенья добра на того возложить, кого олицетворением зла почитали, — Мефистофеля, с чеканной точностью Гете и Пастернака, убедившего, что его миссия — «творить добро, всему желая зла». С этой инструкцией и появляется в омерзительно большевистской Москве Воланд, неспособный изменить ни на йоту испорченных квартирным вопросом.

— Да, браток, джжжжж, ты прав, — но забыл! Забыл начало сатанинской карьеры! А все начала, как известно, трудны.

— Трудны, но — плодотворны!

— Так вот. В книге Иова сатан — провокатор, но не мелочь пузатая из кино о батьке Махно. Помнишь барина Алешку Толстого, графство свое за чечевичную похлебку Сталину уступившего? Сатан — провокатор масштаба космического. И первый, кого он спровоцировал подвергнуть испытаниям непорочного Иова, был Всевышний Господь! Вот оно, начало карьеры! Данте и за ним вслед другие хорошо постарались для его реабилитации. Не случайно в европейских, холодных и умеренных широтах языках он пишется не с маленькой буквы — заглавной!

А вот евреи после Иова не нашли сатану достойного места. У них (хоть в иврите вообще нет заглавных), сатан пишется с самой маленькой, ну, очень — вчера были по пять — маленькой буквы. По театрально-киношному рассуждая, он звезда разве что мюзикла, а так, это роль, может, и яркая, но — плана второго.

Для христианства Сатана-Дьявол-Люцифер есть олицетворение всеобщего зла. Для буддизма — преграда к всеобщему добру.

Согласитесь: дьявольская разница.

## 10. Заведите врагов

Спустя годы, когда отвердело, застыло, линия ее тела — легка и стремительна — в рассветном светло-розовом, рассеянном лазурью окне, единясь с оглушавшим безмолвием, оживала, вспухая зеленым полем с белыми одуванчиками, словами, недосказано, несказанно гением выдохнутыми в заколоченное крест на крест морозом окно.

Любила, на цыпочки становясь, вытягивать руку, отделяя изгиб, дарованный небесами, жизни разгадку она возносила, отрывая от темно-зеленой хляби, от чавкающей под розовой пяткой бездны — в хрустальную твердь, полную холодного голубоватого света.

Он давно по ночам не дежурил. Официально, за деньги. Уходил поздно вечером, бывало, и утром: пару часов поспать и обратно. Но кто-то уехал, у другого рожала жена, его попросили: остался. По старой привычке, от которой отвык, словил тот канал, с которым частенько коротал бесконечные ночи. Выловить канал было непросто: то ли забивали другие, богаче, успешнее, как бы то ни было, его найти было трудно, в машине во время движения совсем невозможно. Назва-

ние канала отпугивало и слушателей, и рекламодателей. Назывался: канал для интеллектуалов. Как один из слушателей ядовито заметил, интеллект денег не делает, деньги делают насилующие его. Ну, и ладно. Зато ему канал помогал одолеть бесконечную зимнюю темноту, глухое безмолвие, готовое ежемгновенно взорваться криком о помощи и, что того хуже, вечным молчанием.

В этот раз включился на финале Малера, который ко времени его подбодрил. За симфонией последовал разговор о цветах. Так объявили. Но речь, оказалось, пошла не о пестиках, си-речь тычинках — семестровый курс по ботанике был обязательным — а о цвете эпох. Собственно, экскурс был кратким, речь шла об амбивалентности цвета. Эпоха уже предыдущая была названа красной, возбуждающей, разрушительной и творящей. Ее сменила зеленая, во-первых, надежда, постижения человеком природы, после чего он, достигнув гармонии, потихоньку начнет возвращать то, что отнял в красный период. Во-вторых, зеленые времена — через тернии к звездам — вернут зеленое племя ислама в братство народов, хотя сперва исламскому миру суждено завершить свой красный период.

Цветной голос, похоже, был оптимистом. Он представил круглощекое парня, слегка к сороковнику польсевшего, доцента не слишком известного заведения в Новой, скажем, Зеландии или же на Аляске, слегка располневшего, недавно женатого.

Отвлекся, а недавно женатый, закончив, отвечал на вопросы: откуда цвета, и с чего раньше был красный, а ныне зеленый? Польсевший доцент встрепенулся: сейчас он, как фокусник кролика, из рукава извлечет эффектный, придуманный раньше ответ. Замелькали даты, названия, имена. Но сквозь нектати зарывавший эфир он выловил только Скрябина и Набокова.

Тем временем задрожал и запрыгал по столу телефон. На ночь он звук отключал, переходя на режим эпилепсии. Отвыкший, он смотрел на корчащийся в конвульсиях телефон, соображая, что происходит.

Поняв, что звонят, удивившись, он включил звук. Записанное сообщение передавалось автоматически: тревога, теракт, множество жертв, большинство раненых, в первую очередь, самых тяжелых мы принимаем. Значит, случилось поблизости. Слушая, подошел к окну: темно, черно, беспросветно. Даже фонари помутнели.

Всем, кому это предписано, немедленно спуститься в приемный покой, остальным — нулевая готовность, первой готовности — прибыть на место немедленно, не располагающим транспортом — вызвать такси. Дежурный начальник штаба экстренного реагирования. Конец сообщения.

Выключив телефон, перевел с эпилептического на звуковой. Словил несколько станций: молчание, еще ничего не знали. А может, готовят экстренное сообщение.

Выглянул в коридор: все было тихо. Нет, надо пойти, посмотреть, все ли в порядке. Не ровен час, и до него доберутся.

Скрябин, Набоков. Второй концерт для Рахманинова с оркестром. Зеленые времена. Господи, прости идиота!

— Не мучайтесь, друг мой, не надо. Себя не измените, разве если сломаете. А это и вовсе вам ни к чему. Жрец, извините меня за сравнение, он и в Африке жрец. Руки-ноги, гляди, голова: че-ло-век!

Как все, человек. Только не до конца. Кентавр. Скачет, как лошадь, умирает, как человек. Жрец, как ни старается, но полностью в этот мир не влезает. Вроде пристроился, влез. Глядишь, что-то все равно выпирает. И внутри, и вовне. Жрец во все времена, на всех континентах — изгой.

Как ни верти, как ни толкуй эти буквы, но дело не в корне — в приставке. Ее и толкуйте. Не куда, не зачем, не по какой, скажем, причине. Ее неумолимое величество «из». Вот и всё, идите, дышите, живите. А впрочем, минуточку, погодите.

Сделал паузу и, настраиваясь, для чего за ухом он почесал:

**А вот искатель счастья упрямый  
В венке и одеянии жреца.  
Он доведет, что начал, до конца.  
Земля разверзлась, жертвенник из ямы  
Поднялся кверху в дыме фимиама,  
Пора священнодействие начать  
(Гете, «Фауст», пер. Б. Пастернака).**

Через пару недель он получил от Первосвященника сообщение, удивительно точно совпавшее с новым, неожиданным настроением:

**Когда тебя женщина бросит, — забудь,  
Что верил ее постоянству.  
В другую влюбись или трогайся в путь.  
Котомку на плечи — и странствуй**  
(Гейне, пер. С. Маршака).

Каждый раз, очередную смывая любовь, он вспоминал море, солнце, бездонность, безбрежность. И, опомнившись, мучительного видения испугавшись, отгонял его изысканно омерзительным: глянцевою тошнотной обнаженностью. Ее, живую, словно змея, обвивал и душил гламур. Что с этим поделаться? С назойливой вездесущностью, диктующей миру стандарты? Содрать вместе с кожей железными крючьями?

Первосвященник начал в своей манере, словно прежнее продолжая. Но осекся, запнувшись на «в принципе да, однако же...» То ли принцип, то ли укрощающее «однако» его подвели. И вдруг, начиная совершенно новую тему, спросил:

— Я сочиняю сказку, хотите послушать начало? — И, не дождавшись ответа, продолжил. — Однажды на старом еврейском кладбище древнего города, который не одного жреца искалечил, в том числе и о замке затеявшего процесс. Этот жрец ушел в мир иной, в который не верил, не дождавшись результатов процесса. Как? Подходяще?

— А дальше?

— Дальше? Пока это все.

— Продолжение будет?

— Скорей всего, нет. Да и зачем? Сказано все, что хотелось.

— Что ж, если так, поздравляю с успехом.

— Благодарю. Вы очень любезны.

Чем больше времени его, живого, отделяло от Первосвященника, мертвого, тем чаще всплывали перед ним эпизоды, его слова, даже жесты.

С какого-то времени чуть не при каждой встрече он стал ему повторять с частотой артикля фразу о том, что он обязан научиться тому, что его ненависти достойно... В первый раз, не осмелившись высказать прямо, улыбаясь по-детски, смущенно, вокруг да около битый час пробродив, он все-таки это сказал, предварив целой лекцией, что ненависти достойное не стоит разминать по пустякам.

— Вам повезло, умеете любить от рождения, научитесь теперь ненавидеть. Без этого не может быть полноценного — уж поверьте — служения. Если человек родился с недостаточной функцией какого-то органа, выход один: трансплантация. Плохое должно сменить, пусть не хорошим — достаточным. Себя ненавидеть умеете. Значит, осталось перенести на того, кого вы обязаны ненавидеть. Не можете перенести на реального человека — придумайте! Воображения не занимать! Но не-на-видь-те! Иначе кончится тем, что сожрете не кого-нибудь, а себя. А мне это было бы, — виновато развел руками, — прошу простить мне назойливость, — запнулся, словно внезапно перед ним появилась преграда, — мне это было бы неприятно.

Повисла пауза. И осторожно, словно в воду входя, будто забытые слова вспоминая, добавил:

— Князь Лев Николаевич Мышкин, нет спору, прекрасен, но вам самоедство, знаете, не пристало. Заведите врагов.

И через паузу:

— Господь наказал египтян, обратив воду в кровь. Господь наказал многих евреев, обратив их кровь в воду. Мне не хотелось бы, чтобы среди них вы оказались.

Как-то он, торопясь, левой рукой стуча, правой — дверь открывая, влетел в его кабинет. Лишь оказавшись у письменного стола, сообразил, что хозяина нет. На столе — обычно пустом — в прозрачных кульках лежали две вещи: духи в изящном флаконе, изображавшем античный сосуд для благовоний, и кукла с голубыми — Мальвина при виде Пьеро — глазами, палос длинные голубоватые волосы. Духи, кукла, ну мало ли. Пока рассматривал, хозяин вернулся и, садясь, правой рукой ему сесть предлагая, левой, ящик открыв, словно от глаз чужих прикрывая, схватил оба кулька и, словно застигнутый на постыдном, сгреб их, поспешно, но аккуратно.

Через несколько дней после смерти Первосвященника его попросили прийти в квартиру покойного присутствовать при формальностях. В одной из комнат — там раньше он не бывал — в глаза, словно яркий свет сразу из темноты, бросились две длинные застекленные полки. Одна была заставлена куклами, и среди них в самом конце — его знакомая голубая Мальвина. На другой были флаконы, и среди них — знакомый античный сосуд.

## 11. Ощущенье другого

Он долго думал, что Первосвященник, ни разу никем в слабости не замеченный, презирает его. За бегство. Пренебрежение жреческим долгом. Так говорил, имитируя его слог.

Но оказалось, что он не прав. Напрочь не прав. Совершенно.

Однажды (промозглой зимой, помнится, он подумал, к Первосвященнику добираясь: сейчас бы водку, а не коньяк), наливая любимый напиток, герр Ольсвангер заметил:

— Я не настолько богат, чтобы покупать коньяк, изготовленный в год моего рождения, но и не настолько беден, чтоб не покупать изготовленный в год рождения ваш.

Рюмки были на три глотка. Выпив второй, Первосвященник вдруг — пути его ассоциаций уловить невозможно — вспомнил его постыдное бегство. Нет, Первосвященник так не считал, напротив, минуты слабости он ценил. В нем или во всех? А в себе? На это ответить он никогда так и не смог. Сократив паузу, словно коньяк ему чем-то мешал, Первосвященник, сделав третий глоток, завел речь о пророке Ионе. Мол, чем от других отличается?

— Во-первых, он ангел смерти. Другие пророки, даже предвещая несчастья, не являются их орудиями.

— Да-да, конечно. А во-вторых?

Понял, что помешал. Вторгся непрошено и незвано. На лице Первосвященника прорезалось несколько глубоких морщин, обычно едва заметных, явных в минуту неудовольствия, тем более — гнева. Морщины вырезали нос, губы, глаза, и все это начало жить собственной жизнью. Губы суетливо жевали, не решаясь выплюнуть непокорное слово. Нос становился уже, словно брезговал воздухом, которым дышал. Глаза? Глаза застывали, словно на маске. Видимо, Первосвященник понял, что собеседник помешал ему ненароком: понял и замолчал. Оценил. Как ценил любое проявление такта, который по-своему называл ощущеньем другого.

Морщины его ступевались — дед любил это словечко, порожденное архискверным — губы, нос и глаза вернулись на место, лицо гармонию обрело или, как Первосвященник любил говорить, симфонический лад. В детстве, до наступления кромешной ночи Хрустальной, юный Ольсвангер учился играть на скрипке.

Когда Будденброки взбесились, на что оставалось уповать Опперманам? На то, что те подведут черту под своей родословной? Взбесившиеся были не из таких. Напротив, они полагали, что Опперманы должны быть стерты с лица земли. И не кем-нибудь. Будденброками! И не когда-нибудь, а сейчас. И не может быть — непременно.

В конце концов, поделом: слишком долгое время слишком сытно, привольно и безмятежно жилось им в тени Будденброков. Поди теперь разбери, кто из них тень. Вот, от злости позеленев, Будденброки в коричневое нарядились. Взбесились! Не случайно, в их имени два твердых «д». Не то что двойное «ш» — совсем незаметное, что одна буква, что две — Опперманов.

«П» — пустяки. Зато «д» — ландскнехты.

Бог с ними, с безумными Будденброками. Но что было делать их жертвам? Для начала по капле выдавить из себя Будденброков, а затем, очистив кровь от бешенства и безумия, позабыть навсегда, что они дети лавочников. И вспомнить, что они внуки пророков. За это хоть не *данке шон* Будденброкам, но *мерси*, исполать. За что? За то, что напомнили: вы внуки пророков. Жестоко, кроваво, безумно. Но разве бы поняли, если б напоминали иначе, мягко, спокойно, ощущая другого?

Отец хотел повременить. Выпестованную еще отцом его клинику (и по сей день работает в Кельне) оставить было непросто. Но мать рассудила иначе. Большую часть имущества оставив на попеченье родных и друзей (вскоре и тем стало не до имущества), они бежали в нищую жаркую Палестину, где и отцу, а затем и Первосвященнику больше всего недоставало любимого Вагнера.

— Это во-первых. А во-вторых?

Герр Ольсвангер улыбнулся в ответ, он оценил его ощущение другого.

— Раз так, это во-первых, а ангел смерти все-таки во-вторых.

— Ладно. Сочтемся, когда счет принесут. — Он повторил давнишнюю фразу, которой Первосвященник его одарил за обедом в одной из совместных командировок.

Они долго бродили, выдыхая бессчетное множество слов, услышанных за день. Устав, проголодавшись, зашли в первый же ресторан. Открыли дверь — шибануло: запах дешевого курева, дешевой еды, дешевой попсовой музыки. Но есть хотелось безумно. Зашли. И поначалу не пожалели.

К запахам притерпелись, музыка ушла отдыхать, возле столика было окно — открыли, и в него дым улетучился. По этому поводу пока закуски несли, Первосвященник рассказал неведомо где и откуда почерпнутый анекдот.

Молодой монах пришел к старцу, мол, живу я в пустыне недолго, но уже несколько раз саранча появлялась: проникает повсюду, самое скверное, что и в еду.

— Ты в пустыне живешь уже сорок лет. Что ты делаешь с саранчой?

— Когда саранча мне попала в еду в первый раз, я еду выбросил. Во второй раз я выбросил саранчу. В третий раз съел еду с саранчой. А теперь, если саранча пытается выбраться, я ее отправляю обратно.

Но сразу же после закусок послышался гул, словно после долгого сна вулкан оклемался, а затем, словно лава, полились пьяные звуки, которые, в слова не слепляясь, вылетая из глоток комками, бесформенно шлепались на сковородку, и скверно прожаренное возвращалось в глотку, смердящую неочищенным алкоголем.

Ноты, играя в прятки, ускользали от хриплых мужских голосов. Женские, пытаясь хоть какую догнать, сбивались на пронзительный визг. Надеяться, что пьяный репертуар будет исчерпан? Безнадежно. Такой репертуар бесконечен.

— Иона в своей верности Богу сломался! Вот в чем отличие! Возникает вопрос: что прочнее? Сломавшийся или несломленный? Напрашивается, что несломленный! Но слишком бесцеремонно такой ответ вытирает!

— Гармонию нарушая? Ломая симфонический лад?

— Именно так. Опасайтесь очевидных ответов.

— И банальных вопросов?

— О, нет. Банальность и очевидность отнюдь не синонимы. Хотя, наверное, словари удерживают иное. К тому же, помните? Не бывает целого сердца без сердца разбитого.

— В печку, в огонь словари?

— Нет-нет. Ни в огонь, ни даже в погасшую печку. Этот профессор с невозможной фамилией, — недавно он дал Первосвященнику перевод «Собачьего сердца», — доживи до хрустальных книжных костров, даже Энгельса с Каутским не стал бы сжигать. Впрочем, опиши ваш земляк, что было с этим профессором дальше... Он ведь понял: преображая... Как он сказал?

— Нарвался!

— Именно так! Вот, и Иона. Нарвался! На собственное бессилие нарвался пророк. Нарвался — сломался! А сломавшись и выпрямившись, во сто крат стал сильнее! Потому нет ему равных. Пророк из пророков! И это бессилие, сломленность эта, по-моему, главный сюжет этой судьбы. Вообще, ни одним из сюжетов судьбы не стоит пренебрегать.

Он понял: увлекся, потеряв ощущение другого. В ответ захотелось ответить, что, вот, а в вашей судьбе были сюжеты, которые хотелось бы позабыть? Но! Ощущение другого! И прикусил свой «празднословый», «лукавый».

Оценив, Первосвященник, губу закусив и улыбнувшись слегка виновато, налил еще по одной, неурочной. И неожиданно по-немецки:

— Nach Canossa gehen! — И повторил: — Ладно, оба мы хороши. Пошли навстречу друг другу, в Каноссу.

Ожидая, когда позовут, отвлекался, настраивался, читая газету:

**Зная, что родители зарабатывают слишком мало, чтоб приобрести ему iPad и iPhone, о которых мечтал, юный школьник продал почку, чтоб их купить. Этот случай произошел в Китае с учеником десятого класса. Узнав, что сыну уже сделали операцию, родители начали разыскивать покупателя, согласившегося купить почку у парня, однако поиски не увенчались успехом. Между тем здоровье самого школьника, не думавшего о последствиях, резко ухудшилось после операции.**

## 12. Вертоград

Только здесь, в монастыре, приоткрывшемся в невысоких, близких к небу горах, он впервые понял, что такое прозрачный воздух, из которого вдалеке выросла зеленый с каменными прожилками, словно в розовой ветчине белоснежное сало, в жару исходящий потной смолистой одурью, над зеленой узкой долиной вздуваясь сверху приплюснутый небом, покатым холм. Рядом с ним — *larsus linguae* (*обмолвка*, лат.) — случился неведомо как один-единственный домик, едва светящийся из зеленой глухой бесконечности черепичной, терракотовой крышей. Может быть, дача?

Дача сдавалась с садом, неухоженным, одичавшим, вместе с удушливым запахом маттиол, просыпавшихся к вечернему чаю. Сразу у входа, за калиткой справа — цветы, слева — петрушка с укропом. Дед в саду не бывал. Бабушка дальше цветов и укропа не заходила.

Сад считался их общим с братом владением, а точнее, его, Фоно, одного. Будущий жрец в сад заглядывал редко. Прошмыгнет вдоль забора с малиной — и назад с красными пятнами вокруг

рта, на подбородке, испаряемыми руками. Под густолиственной вишней с плодами, зелеными, редкими, стояла кровать. На ржавую сетку притащил старый матрас, дырявое одеяло и, поднимая глаза от книги, в зеленом блистающем мареве видел: небо, белое, голубое, слепящее солнце, входящее по дуге над запущенным садом и ржавой кроватью, над ним и над братом, над короной, молочницей, дедом и бабушкой, над книгой, в которой под ярким полуденным солнцем неслись по волнам древние корабли греков и финикийцев: весла вздымались и падали, чтоб от воды оттолкнувшись, корабль подгонять: бог ветров паруса надувал.

В монастырском саду царил образцовый порядок. Деревья благодаря искусству садовника были похожи на ухоженных пуделей. С утра, до жары в нем появлялся брат, несший в саду послушание. Он же облюбовал здесь себе уголок и на часок-другой перед вечерней приходил сюда с книгой под легкоименную пинию.

Сев в плетеное кресло, часто вспоминал паруса, корабли, запущенный сад. Однажды, когда потемневшее небо прижималось к земле, он задремал. Оба сада, дачный и монастырский, соединились, и он увидел себя идущим по этому саду, запущенному и ухоженному.

Все жужжало, кружило, дрожало. Пчелы, бабочки и стрекозы. Между деревьев, с цветка на цветок, изысканно, прихотливо. Жизнь, жажда и вождение. Цвета, краски, оттенки. Флейта, скрипка, свирель. Запахи — вся палитра: от нежно-снежного до густо-медвяного. Слова и листья вкрадчиво шелестели, подрагивая на ветру.

А впереди, на пригорке над флорой, иной бы сказал, возвышаясь, над хлябью к небесам возносясь, утром в рассвет, а в закат в легкие сумерки уходило дерево с сапфировой кроной, Бог знает, какими судьбами и чьим попечением выросшее на этом пригорке. Утром светилося, блистало, торжествовало. В сумерки свет выдыхало, Творцу возвращая.

Он шел к сапфировому сиянию, минуя деревья, кусты, которые норовили схватить, остановить, удержать. Флейта кружила. Снежно флейта кружила. Сонно жужжала свирель. Медвяно скрипка дрожала.

Он шел, напевая, и думал о том, кто же прав: те, кто поет, что золотой город с садом — под золотым раскинулся небом, или те, для которых он над небом вознесся. Шел, размышляя и напевая: раз так, раз по-иному:

**Над (под) небом голубым есть город золотой.  
С прозрачными воротами и яркою звездой.  
А в городе том — сад, все травы, да цветы,  
Гуляют там животные невиданной красы.  
Одно, как желтый огнегривый лев,  
Другое — вол, исполненный очей.  
С ними золотой орел небесный  
Чей так светел взор незабываемый  
(Стихи Хвостенко и Волохонского).**

Там, в городе в этот час ползали зеленые, под цвет утренних, солнцем позолоченных гор, автобусы. По этому городу хотелось бродить, петлять, пропадая, а, скрывшись, исчезнув, взлететь, воспарить и кружиться, с небес на землю взирая.

Вспомнилась рублевская «Троица»: из золотого глубинного фона вырастает темно-синий, сапфировый цвет — отраженье небесного. И это золотисто-сапфировое сияние заключено в золотой оклад, украшенный ослепляющим сиянием глубоко-зеленых, отливающих золотом хризолитов, камней, украшающих в Апокалипсисе седьмое основание Небесного Иерусалима.

Он шел вдоль забора с малиной, но там сквозь колючие ветки краснели не ягоды, но слова, что прорывались сквозь хрипы и вой: толпа напирала, требуя то, что ей было смертельно желанно. Колючие ветки, словно вспухающий жертвенный дым, простирались ввысь, в ширину, а внизу они по земле едва заметно змеились. Чем больше колючих ветвей, тем меньше слов, спелых, и красных, на ветках.

Может быть, каждый растертый этой толпой, членораздельное произносил. Только кто мог услышать? Слова, изо рта вылетая, сливались с другими, чужими, и вместе превращались в хрипы и вой, словно шакалы, предчувствуя кровь и любовь на жирных от плоти руинах, сзывали подруг. Вот-вот, они чуяли, стены падут, и слова защитников города и осаждающих, друг с другом совокупившись, сотрут, стинут, исчезнут, кровью впитаются в землю, умащая ложе шакалей любви.

В этом глухом углу, неухоженном, диком, было кладбище слов. На их скудных могилах рос невнятный бурьян, колючий чертополох, мелкие без имени, без названия то ли слова, то ли невнятные звуки. Не разобрать. Он среди них пробирался туда, в середину сада, где росло вещее де-

рево, с нежным цветом манящим. Оно зацветало в столетие раз, рождая главное слово, за которым задолго до созревания устремлялись философы и поэты, да мало кому жизни хватало, чтобы добраться.

Вокруг него росли деревья, похожие на дубы: мощные, но с мелкими и невнятными плодами-словами. Всем дубы взяли: ростом и статью, густою листвою, только главным не вышли, родив вместо — пусть хоть не главного — мелкоотравчатый звук, пустышку, насмешку.

Казалось, чем ближе к Главному дереву, Главному слову, тем больше должно расти тех деревьев, плоды которых есть слово истины и надежды. Но все было не так.

Чтоб отыскать слова, надо весь сад облазить. Глядишь, на помойке, на кладбище слов подзаборном, растет неприметный изломанный куст. Подойди и смотри: на ветках кустятся слова, росой на спелых боках сверкают. Не срывай, подожди, видом насыться и, вобрав в себя благоуханье живой, подлинной истины, не срывай — прикоснись. Прикоснись — и запомни. Кто знает, что будет с ним завтра? Сколько плодов из живых, полных дыхания грядок очутились здесь, не на смиренном — благо бы так — на помойном, шакальем кладбище.

Он сидел под тонкоствольной с роскошной увенчанной волосами-ветвями гордо поднятой головой красавицей-пинией. Рядом с ней — кривоногая, изломанная маслина. Но плоды! Сравнить? Бесполезно. Словно Плутарха с Иосифом, ставшим Флавием в насмешку судьбе и роду.

Сидя под пинией, смотрел на маслину, думал о саде, из которого, как от посеянного рукой сеятеля-поэта, выросли многочисленные идиомы и тропы. И в русском языке, и в иврите «сад» не имеет точных синонимов. Но поэту одного «сада» было безумно мало. И он не побрезговал, заимствовав из фарси недостающий, позарез необходимый синоним.

**Сад затворенный — сестра, невеста моя,  
ключ затворенный — родник запечатанный:  
Пруд твой — *пардес*, где гранаты...**  
(Песнь песней 4:12-13).

Hortus conclusus. Сад затворенный. Мирьям, Дева Мария с младенцем в прекрасном саду, за высоким забором, в окружении святых жён и ангелов сладкозвучных. А затем — вертоград, по-старославянски — сад, виноградник. Так на Руси назывались сборники изречений святых или их жития.

Оставив раскрытую книгу на кресле под пинией, он шел по саду, и на его шаги откликались слова — одни гулко, уверенно, колокольным, малиновым басом; другие в небеса взмывали васильково, пронзительно, не от мира сего сопрано; третьи дрожали льдистым тающим дискантом. Это — живые. Но были и мертвые. Что скажешь о мертвых? De mortuis nil nisi bene.

Но были и грубые — на коже соль пятнами выступала — как сказал бы протопоп Аввакум, они блядословили. Вот еще слово! С судьбой жестокой, несправедливой. Корень один, но как пути разошлись.

В древности, с тех достопамятных пор, когда начали на бересте, папирусе завозном, черепках, затем на бумаге записывать на века, хоть не всегда получалось, тогда «блуд» и «блядь», хоть корень один, но каждая ветвь, как добро и зло, от другой далеко отстояла. «Блуд» — это разврат, не духовный — телесный. «Блудилище» — дом разврата. Развратник — «блудник», а развратница, конечно, «блудница». «Блудничество» — проституция, «блудолюбие» — это беспутство.

Но «блядь» — дело иное. В мужском роде — болтун, пустомеля. А в женском — заблуждение, ересь, ложнословие тож: блядослов, блядословец, блядословие, блядословник. Такая семантика, конечно же, не подарок, но все же не блуд!

Но долго ли до греха? Столетье? Другое? Зло все побеждает? И некогда блуд, совершенно зазорный, в своих глазах вырос безмерно. Почему? Фон изменился. Теперь уже блядь все и вся победила!

Et voilà (*Вот так-то*, франц.).

Такие вот времена.

Такие вот нравы.

### 13. Господь праведника испытывает

Как бы ни был долог, лучше сказать, бесконечен, путь под землей, но и он когда-нибудь да кончается. С рассветом, подняв полосу дерна, он, словно Иона из чрева кита, возвращается в этот мир. Молится и, передохнув, съев и выпив последнее, торопится. Путь не близок. Идти не легко.

И, кажется, ветки деревьев, его провожают словами. Словно слова растут на деревьях! А может, и впрямь растут? Если рты пересохли, не в силах вымолвить слово, то, может, Господь отдаст деревьям слова?

И впрямь, разве слова доносятся оттуда, из римского лагеря? Разве слова? А не дикий, пикалий вой? Разве слова? А не скрежет металла? Разве слова? А не глухой, утопающий звук, когда копые вонзается в кожу щита?

А может быть, сбывается пророчество Ирмеягу, жреца и пророка? Может, теперь слова не нужны? Вместо них — грохот и скрежет? Может, отныне слово отнято у человека и отдано дереву, которое не предаст, не убьет? Кому как не ему, стойкому, сильному и прекрасному, владеть даром Господним, которым со времен Вавилонского дерзновения человек владеть не умеет.

Отряхнувшись от страшных мыслей, он продолжает путь по горной тропе, слово спасая.

Такие вот времена.

Такие вот нравы.

Идет туда, где ожидают жреца.

— Что ж, мудрость невелика: ночью все звуки слышнее, все боли больше.

Они сидели у открытой балконной двери, и между ними была темнота, которую время от времени разрушала луна.

На эту реплику не ответил. Что на такое ответишь? Волга и Каспийское море. Но, может, в иных обстоятельствах и Волга, и море могут значить намного больше вместивших их слов.

Он заглянул, все дела переделав, если что, все знают, где отыскать. Как всегда, обязанность первой фразы лежала на старшем, который то ли проснулся, то ли очнулся, и тут же с места в карьер властно его потащил по коридору, который сужался, обратившись в тоннель, по нему вскоре пришлось не идти, согнувшись, в себя самое вставляя, но, опустившись на четвереньки, ползти на коленях в надежде добраться, достичь, доползти, на ноги встать, плечи расправить, вдохнуть полной грудью живой сапфировый свет.

— В юности, когда еще тело с душой жиром не обросли, ты сходишь с ума от несправедливости: за что меня, меня — не кого-то, Бог страданием покарал. И не ведает юная нежная глупость, что не покарал — одарил.

Смолчал. Что на такое ответишь? Возразить? Обнаружить юную нежную глупость?

— Вы хотели мне возразить. Не нашлись. Слава Богу, что не нашлись. Возразите позже. Через, скажем, полвека? Согласен и подождать.

Темнота скрыла улыбку. Не вымученную — настоящую. Говорить и улыбаться его собеседнику было нетрудно. Как он в таких случаях отвечал: «Мне трудно одно, извините за откровенность, жить продолжать».

Его сердце, давно всех удивляя, продолжало поддерживать жизнь. От аппаратов он отказался. Шансы, что отыщется донор, таяли с каждым днем. Собственно, уверенности в том, что это может спасти, не было тоже.

— Понимаете, мой юный друг, как сказал, удивляя, рабби Аквива: «Возлюблены страдания». Он полагал, что Господь избранных страданием награждает. Человеку свойственно страдания избегать. Но есть и другая порода — жрецы, Божьи избранники. Если страдания — это награда, спросите вы, то награда за что?

Мелькнуло: Господь ищет предлог, чтоб одарить? Вспомнил певца: карлик взбирается на помост. И — голос. Не голос — но голос!

— Господь избранных избирает! Замкнутый круг. Как в него втиснуться? Где не дверь, не ворота — тоннель, малая щель земная? Говорите «гайна», «загадка»? Верно. Но я бы добавил: тоннель, по которому жрец навстречу воле Господней идет, сгибается в три погибели, на четвереньках ползет. Но — навстречу! А мог бы и убежать. Далеко не убежит? Э, как знать, ведь не каждого, милуя, Всевышний назад возвращает — к награде. А может, главное в том, что страдание есть сама жизнь. Без страдания — бесконечный молебен: свято, но скучновато. К стати, не помните это — откуда? В памяти слова зацепились, а кто произнес, написал — позабылось.

На мгновение замолчал. Закашлялся. И снова, вдохнув полные легкие, продолжил.

— Если избран, если ты жрец, то голос Господень услышав, даже нож на сына своего занеси. Это — твой путь, на коленях в тоннеле. Ангел руку перехватил? Нож на ягненка направил? Это дело Господне. Твое — жертвоприношение принести. Как это жертвоприношения не было? Было. Случилось. Не Господь жертвы приносит, но — человек! А Авраам Ицхака в жертву принес! Это знали отец и сын, Авраам и Ицхак. Беспольный вопрос: для чего? В жертву принесенный Ицхак, слепой, незлобивый, родит Якова, свое искупление, за страданья — награду, тот за страданья свои станет Израилем. Впрочем, достаточно на сегодня.

Подумал: рассказать бы Фоно. Что ответит со своей крытой золотом колокольни? «Возлюблены страдания»? Что скажет по этому поводу Византия? Нет страдания, откуда состраданию взяться? Нет сострадания — нет, значит, любви, а нет любви — значит, нет ничего? Хватит. Мало ли до чего можно додуматься в темную ночь.

Отчаянью его сострада, луна выползла из-за туч. Медленно. Неохотно. Осветила столик. Пустой. Только желтый одинокий лимон. Зеленая веточка лавра в баночке из-под сока.

Из балконной двери выкипал черный пронзительный холод. Вгляделся: похоже, собеседнику было не зябко. Подумал: чем укрыться, лучше всего, если б позвали. На беду, ночь выдалась тихой, спокойной. Все спали, от чужих глаз надежно укрытые темнотой.

А он сквозь темноту — привидится ведь такое — увидел: Севилья, собор, на паперти гробик с ребенком, снежный запах белых цветов, *талифа куми (девица, восстань, арамейский)*, в руках белые розы.

Первое свидание будущей матери мальчика он назначил на маленькой площади у огромного магазина, построенного на месте монастыря, от которого оставили арку, на которой прорезаны буквы в металле: «Девица, восстань».

— Нет, больше не будем о грустном. Давайте, пусть не о веселом — о светлом. — Опять улыбнулся, сейчас в лунном свете улыбкой, пусть плохо, но видимой. Мелькнуло: видимая сторона улыбки.

— Помните? Швеция. Младший Тарковский. Кино. Ракеты запущены, конец света назначен. Чем пожертвовать? Имуществом, жизнью? Такие, как Каин — не обязательно братоубийцы — принесут пустячок. Их, разумеется, большинство. От Каина — жертва от Каина. Вот если бы чудо свершилось и меня бы спасли... — Закашлялся, словно глотком лунного света вдруг поперхнулся, и, почувствовав это, луна снова скрылась за облаками. — Если бы... Я бы об Авеле, в жертву себя приносящем... Написал... Не только собой жертвует Абель! Он жертвует ведь и братом, обрекая на каинов знак, на лбу гордом отметину. А может, и не на лбу. Это ничего не меняет. Главное — каинов знак. Белый Каин с черной отметиной. Dixi.

На этой, навсегда застывшей в его памяти фразой, вышла луна и, спохватившись, на мгновение пронзительно их осветила.

Его вызвали — в свет тихий, голубоватый, в страдания. Через пару часов, от всего отряхнувшись, он стремительно вышел, словно ночное радение влило новые силы, вышел в раннее свежее утро, даже не оглянувшись, как делал всегда, на слова, встречавшие всех у выхода-входа:

**Я творю речение уст: Мир, мир — далекому, близкому, — сказал Господь, — Я его исцелю**  
(Иешаягу, Исая 57:19).

Он стоял в прихожей у зеркала, смотрел внимательно, словно надеясь, что оно может польстить. Всмотривался, будто вымаливая прощение. Но зеркало льстить не желало. Плоский нос, неуклюже прилепленный подбородок, уши, вмятые в череп, маленькие глаза серенько прикрываются нависающим лбом, губы — бледной полоской. Не красавец.

Спать не хотелось. Решил позавтракать в городе, в холодильнике было пусто. Соображая, куда в ранний час можно податься, поздоровался со старушкой-соседкой, которая с каждым годом становилась ниже и уже, а кепчонки, мальчишечки, разноцветные, на ее голове — больше и больше.

Потом наткнулся на местного сумасшедшего, говорили, некогда профессора теологии. Тот шел, улыбаясь виноватой полуулыбкой, прося прощение за то, что ненароком — так уж случилось — встречному подвернулся. Серенький пиджачишко, в холод — пальтишко. Глубоко посаженные глаза почти не видны: Толстому о таком человеке сказать было б нечего.

Машину не взял. Решил заглянуть в кафе возле парка, авось, открыто, и худо-бедно покормят. Было открыто. Встретил плакат: «Будь собой, так как роли другие давно уже заняты». Кроме него в кафе не было ни души. Где-то там, за кулисами, в недрах раздавались приглушенные звуки, вселяя надежду, на что — неизвестно.

Сегодня он был терпелив и в награду дождался омлета и булочки с кофе. Молчаливая официантка, небрежно скользнув опытным взглядом, удалилась продолжать прерванный этим невзрачным — черт его рано принес — разговор.

Права: не красавец. Он с ней согласен. Но испортила настроение явно не этим. Тогда? Отхлебнул скверный кофе: очень похожа на мать его мальчика.

Ни смеяться, ни, что самое страшное, плакать та не умела. Вместо смеха кривовато хихикала. Вместо плача — шипела. Перед ней за собой вины он не знал, разве что во сне называл ее

именем той, вечно летящей над морем. Не это было причиной. А что? Важна ли причина, коль следствие столь очевидно.

Вышел на улицу, свернул в парк. Кадры, снятые дрожащей рукой пьяного оператора: дорога, обрыв над морем, извивающиеся лианы, в волнах — белые точки ромашек на мокром зеленом — ее шапочка.

Что-то, всасывая, его потянуло. Болото? Тоннель? Сгорбившись, потащился — до ближайшей скамейки, сесть, отдышаться, выскочить из болота, выбраться на свет из тоннеля.

Навстречу шел парень возраста сына. Коса. Очки в пол-лица. На майке: мелкий веселый бесенок, милые рожки, в руке у милого сатаненка Посейдонов трезубец. Джинсы сползают. Остановился:

— Может, вам помощь нужна?

Сделал усилие. Улыбнулся. Отрицательно мотнул головой:

— Спасибо. Со мной все в порядке.

Хотел добавить: малыш, но постеснялся.

Смотрел ему вслед. Когда, унося бесенка, рожки, трезубец, тот скрылся, голову повернул. Лианы с лучами солнца играли, ныряя, как шапочка — на зеленом ромашки — в траву и взмывая в голубизну.

Вспыл любимый Первосвященником стих. Он настолько часто его повторял, что как-то начал, а все продолжили хором:

### **Всемогущий Господь праведника испытывает, видит почки и сердце...**

(Ирмеягу, Иеремия 20:12).

Почки и сердце... Стих данлся, звучал, но видение его заглушало: они с сыном стоят в зоопарке перед вольером с фламинго, и стучит молоточками в голову: «В быту у римлян были распространены рвотные перья фламинго».

Закусив воротник, голос свой подавляя, заорал, заревел, зарычал. Рядом с ним не было никого, кроме звериного крика.

Когда через день вернулся к месту служения, узнал: его собеседник умер.

Самолет шел на посадку. Слегка покачиваясь, окрашивая иллюминаторы всевозможных оттенков голубизной, он, вздрогнув, ринулся вниз, из облака ускользя.

Ее он помнил в движении, легком, чистом, изящном. Не лицо — тонкая линия от кончиков пальцев змеится осторожно и нежно, вырезая в пространстве линию нарастающей страсти, холмиком набухающей, и, скользнув по щеке, вместе с локоном, густым и тяжелым, сорваться вниз, зарываясь в медовый запах, в котором мечтается, замерев, задремать, остывая.

Мама-папа, тоже не долетевшие, были лишь фотографией. День свадьбы. Стоят, напряженные, в лицах обоих — законченность, завершенность, словно предопущенье ответственности перед ним, к которому долететь не сумеют. Одни говорили: он копия матери. Другие — отца. Бабушка говорила: дедова брата, с войны не долетевшего.

Фотография с мамой-папой, ставших частью привычного интерьера, стояла в книжном шкафу, статичностью черт — видно, этого и добивался фотограф — с устойчивым, законченным обликом комнаты гармонируя.

При посадке трягнуло.

Они с Фоно столкнулись плечами и отшатнулись. Молоко слегка расплескалось. Между ними — молочная лужа. Отодвинулись, чтоб не промокнуть. Кучер ругнулся и, огрев конягу вожами, выпустил дым. Коняга на вожжи мордой мотнула, слепней отгоняя.

## **14. Пещера**

Один из братьев, известных своим пристрастием к иудейству и мистике, за что прозвали его «брат каббалист», дал ему «Книгу творения».

**Утвердил букву Бет в мудрости, привязал к ней корону, сочетал одно с другим, сформировал ими в мире луну, первый день в году, правый глаз в душе мужчины и женщины.**

Зевнул. Встал, сон прогоняя. Окно отворил. Сквозь него заглянула, от любопытства сверкая, луна. Под ней между холмами — долина, чаща с туманом, у краев начинавшим редеть. Соединяющая холмы, дорога ластилась между ними.

Снова взял книгу.

**Пятым высь запечатал. Обратился к выси и запечатал в имени юд — гей — вав.  
Шестым запечатал низину. Обратился вниз и запечатал именем гей — юд — вав.**

Три буквы, особые, буквы Божьего имени.

Три буквы. Три товарища и три карты. Три товарища в три карты играли. Слова бело-снежные, снежинки-слова. Летают, в коронах, запечатанные, кружатся, и выюжит, жужжит, выюжный рой замечает, влечет на реку именем Снежить, с ним три сестры, попутчицы на Москву.

А в Городе не выюга с белыми пчелами, но — метель. Метельное слово, лютное, злочное и колючее, как игла, звонкое, как пощечина, бывшее, болезненное, как совесть. Метель — это ни зги, метель — это бес, метель — заячий тулуп непорочный, из которого неухоженный ветер, гудя натужно, протяжно, остатки тепла выдувает.

Как-то, выполняя давнишнее обещание, закончив служение, поехал к приятелю. Знакомы со школы, когда-то он дал ему «Тома Сойера» почитать, сто лет не виделись, случайно встретились здесь. Художник, раз за разом его к себе зазывая, приводил новый довод. Сперва был рассказ о поселке, основанном возле руин древнего Алмона, недалеко от арабской деревни Аната. Потом перерешили, возродив древнее Анатот: город жрецов и левитов, в нем родились воины Давида-царя, и — жрец-пророк Ирмеягу.

За эти годы тот превратился в огромного, длинноволосого мужика, похожего на пророка, с густым, не утратившим звонкости голосом. Он не говорил — громычал, распространяясь в пространстве, его до краев наполняя, чужое живое из него вытесняя. Закончив фразу, смотрел на собеседника выжидающе, а по телефону делал огромную паузу: охотник, подстерегающий дичь.

Однажды на дачу дед притащил две связки книг: знаменитую «Библиотеку приключений» в разноцветных обложках с рисунками, которые он от нечего делать рассматривал, прочитанное вспоминая. Почти каждую из двадцати он полюбил, по несколько раз перечитывал. Время от времени любимые обложки-цвета менялись, но неизменной любовью оставалась сиреневая про Тома. И когда было грустно — это помнил он наизусть — повторял слова Тома, как и он сам, сироты.

Когда Тома незаслуженно наказали, он представил себя смертельно больным. Над ним склоняется тетка и заклиняет — это слово ему особенно полюбилось — заклиняет сказать хоть словечко. Но Том, нет, он сам поворачивается к стене и, не промолвив словечка, умирает навеки. А затем тетка бросается на мертвого мальчика, рыдает и молит Господа Бога его, лежащего без признаков жизни, вернуть, возратить. Дальше он представлял не так, как в сиреневой книжке. Воображал, как по огромной улице — движение остановлено — тянется бесконечно толпа, и прохожие спрашивают один у другого:

— Кого так пышно хоронят?

Особенно нравилось это словечко. Раньше думал, что пышным могла быть булка или девчачье платье, или что-то такое. Но вот, где-то услышал про пышные похороны и вставил.

Но самым любимым продолжением все же было другое. Для этого надо было точно узнать, какие бывают признаки жизни. Наверное, есть и такой, какой не сразу заметишь. Спросил об этом у деда, объяснив, какой признак, совсем-совсем незаметный, нужен ему. Дед тотчас отреагировал:

— Человек окончательно умирает, совсем, безвозвратно и навсегда, когда перестают пятки чесаться.

В следующий раз длинноволосый пророк зазывал невесть откуда свалившимся в Анатот Левитаном:

— Великий русский художник родился в бедной еврейской семье, а потому предпочел в небогатой еврейской семье по соседству с памятником жрецу и пророку навеки веков поселиться.

Чтоб приглашение выглядело еще убедительней, пообещал показать ему ферму, куда нанялся, чтобы кормить многочисленное девчачье — пять дочерей — семейство. О пророке-жреце оказалось тоже не шуткой. В свободное от дочерей и лошадей время он поставил в саду памятник Ирмеягу. И добил он частушкой:

**В Третьяковской галерее  
на стене одни евреи,  
среди трех богатырей —  
Илья Муромец — еврей.**

И вот они идут садовой дорожкой к обрыву, и вдруг та внезапно свернула, из зеленого свитера художник выпростал руку и жестом жреческим, дирижерским, из симфонического небытия вызывая, на краю обрыва из кустов выпростал камень, в щелях которого пристроились голуби, а те выгнули горбатые клювы.

Под серым с бледно-зелеными прожилками камнем чернел черный металлический жертвенник, под которым зияла яма. При приближении изустно инструкция:

— Подходя к памятнику, удостоенный жрец сложит пальцы в жреческом жесте и, воздев руки горе, изречет громко и внятно, но тишину не пугая:

**И под ногами Его — как подобие кирпича из сапфира, как само небо по чистоте**  
(Имена, Шмот 24:10),

после чего заглянет в зияние бездны.

Улыбаясь, все это проделал и, как было велено, заглянул. На дне ямы, не слишком глубокой, увидел свое отражение: на дне лежали куски разбитого зеркала, которое, по мысли творца, делало заглянувшего в бездну пророком, устами Господа и изгоем.

Было занятно. Но почему-то пророком, устами, изгоем ощутить не получилось. Об этом он не сказал. Мало ли что. Вдруг обидится. Ни к чему.

Потом, возвращаясь, шли по дорожке, усыпанной листьями. Дорожку давно не мели. Видно с тех пор, как ее приобрел друг-художник, а может, и раньше — с Сотворения мира.

Листья шуршали, приклеивались к подошвам. А в ушах шуршало, Бог знает, как туда заскочившее: «Перед жертвоприношением пламя на алтаре должно пылать ярким пламенем, роль прислужника исполнять мальчик в белой одежде с ларцом для фимиама и сосудом для вина».

А тем временем, непонятно к чему, художник над ухом шуршал: «Жить надо долго, чтобы многое успеть позабыть, к тому же с возрастом получает развитие инстинкт вытеснения из прорывленной временем памяти слишком уж неприятного».

Могло быть и так.

Под вечер — они совсем недалеко отошли — сзади, по направлению к городу показались застывшие облака — клубы пыли. Оглядываясь, вначале подумал, это дым горящего города их догоняет, но когда облака приблизились, понял — не дым. Тот реял над городом, как хищная птица, и, рассеиваясь, в небеса поднимался.

Скоро криками и тычками стража согнала их на траву, начавшую уже выгорать. Так и стояли, ожидая приближения пылевых облаков, которые взбирались на вершину холма, где их остановили. И вот — груженные доверху чем-то тяжелым возы: каждый запряжен парой волов, но и те с трудом тащат едва прикрытый холстинами груз, сверкающий словно золото, серебро или медь.

Возы поравнялись, и, будто приветствуя, все головы в их сторону повернулись, на возах было золото, медь, серебро. Охранники тоже глазели, и — ему почудился голос: «Беги, юный жрец, беги!» — он тихонько скрылся за деревом, а затем, пригибаясь, исчез в зеленых, надежно укрывших кустах. Он бежал, потом, выдохшись, шел, ни на миг не присев, под вечер поплелся: только б уйти.

Бежал, шел и плелся, не думая ни о том, куда идет, что будет есть, не думая ни о звере и хищной птице, ни о змеях, которые здесь, в горах, обитали. Лишь одна мысль была в голове: уйти, убежать не от злого зверя — от человека.

Когда солнце уже почти скрылось, он, оглянувшись, увидел себя под скалой, на поляне, показалось, что здесь он когда-то был.

Однажды отец его взял с собой. Они шли горной дорожкой по направлению к морю. Ночевали в пещере, и это место было очень похоже на то, где тогда ночевали. Если так, где-то здесь, в этой скале, нависающей над поляной, должна быть пещера. Сил не было. Но выбора — тоже. Оставаться на ночь здесь, на поляне, — значит вверить жизнь, которую он только что спас, зверю, птице, змее. Собрав оставшиеся крупинцы, заставил себя подняться и подойти к скале. Не зря отец всегда говорил, что Господь помогает тому, кто сам себе помогает.

Раздвинув ветки куста и окунувшись в зелень, уже мокрую от росы, он обнаружил на камне стрелу. Поднявшись, куда стрела указала, жуя мокрые листья, увидел, что стоит рядом со входом в пещеру. Там были следы от костра. Все обшарил вокруг, надеясь, что будет удача, но не нашел ни крошки. Набрал мокрых листьев, утолив ими жажду, свалился, положив голову, словно это подушка, на маленький бугорок.

Солнце зашло. В темноте ничего не различить. И не пытался. Заснул, едва голову положив на пригорок.

Солнце, пробиваясь сквозь густую, от утренней росы мокрую зелень, дрожащую на ветру, входило в пещеру тенями, причудливыми, таинственными, словно что-то ему говорившими. Солнца не видел. Видел искорки на каплях росы, видел зеленый дрожащий куст на ветру, но более всего его занимали на стенах, полу, потолке косматые тени.

Подумал: наверное, ими Бог с ним говорит. Ведь мог же Всевышний говорить — отец рассказывал, что без слов — с пророком, с их предком юным жрецом Ирмеягу, из жрецов Анатота в земле Биньямина. Но как он может это понять? Язык теней, разве люди на нем говорят? Снова и снова вглядывался в ползущие, летящие, сквозящие тени. Но ничего понять он не мог. И как-то само получилось, что, заплакав, свалился на землю, уткнувшись грязным, мокрым от слез лицом в земляную подушку.

Лежал долго, то ли спал, то ли бредил. Слышал голос отца, рассказывающего о пещере, которая в далекие времена, при жизни их предка, жреца и пророка, была пристанищем для разбойников, грабивших мирных путников. Испугавшись, но не желая этого показать, он вопросительно посмотрел, и отец, догадавшись, его успокоил, сказав, что это было очень давно, тех разбойников нынче нет и в помине. Куда тем разбойникам! Ограбят одного, другого ограбят, но куда им до нынешних, пришедших из дальних краев убить весь народ, молодых в рабство угнать, разграбить подножие Господа, Его святой Храм.

Однажды к главарю разбойников во сне явился пророк. Не спросил у отца, понял и сам, что это был их предок, жрец и пророк. Он сказал главарю, что, если не перестанут разбойничать, то Господь их накажет, как страшных грешников из городов у Соленого моря — Сдома, Аморы.

Наутро главарь рассказал всей шайке свой сон. Но те не поверили. Тогда он сказал:

— Делайте, как хотите, а я больше грабить не буду, буду землю пахать, выращивать хлеб, а когда соберу урожай, половину его в Храм отнесу и Всевышнему помолюсь, чтоб и меня и вас Он помиловал.

Опять главарю не поверили. Сказали друг другу, что главарь их решил обмануть и предать, и за это прощение получить. А вслух, так, чтоб главарь не услышал, сказали:

— Ограбим еще один караван, и он будет последним, после этого разойдемся.

— А эта пещера, — отец продолжал, — была не просто большой — огромной! И когда разбойники едва выговорили «разойдемся», потолок обвалился. Пещера стала для них могилой. Только место, где стоял их главарь и где теперь у костра находимся мы, уцелело.

История, которую вспомнил, немного его успокоила. И, не надеясь язык теней разгадать, он сквозь прикрытые веки смотрел, как косматые пляшут, мечутся, веселятся.

И вот в этих тенях он увидел возы, до неба груженные. На них обломки позеленевших медных столбов, венцов с гранатами тоже из меди, подставок. Увидел двенадцать медных быков, сделанных царем Шломо дому Господню, медное море, которое изломали, чтобы в Вавилон увезти, котлы, лопатки, ножи и крошительницы, ложки, всю медную утварь, которую иногда ему поручали натирать обрывком холстины, чтобы блестели.

А на других возах блестели золотом и серебром блюда, совки, крошительницы, котлы и светильники, ложки и кружки из Божьего Храма.

## 15. Быть всей земле пустынной

Вспоминая пророчество жреца и пророка, великого Ирмеягу, он, зная текст наизусть, любил вспоминать его, с конца начиная, наверное, потому, что там праотец их пророчит, что поруганный, изгнанный в чужестранные дали Израиль вернется на родину, а врагам Господь отплатит сполна.

**Море на Вавилон поднялось,  
множеством волн он сокрыт.**

**Мой народ, уйди от него, человек, душу спасай  
от гнева Господня.**

**Господь Вавилон разорит, вопль великий Он уничтожит,  
а волны, как огромные воды, будут греметь, грохотать.**

**Вельмож его, мудрецов, правителей, наместников, воинов Я допьяна напою, уснут они  
вечным сном — не проснутся, —  
слово Царя, Всемогущий Господь Его имя.**

**Так сказал Всемогуший Господь: Широкие стены будут разрушены, ворота высокие — в огне сожжены:  
зря трудились народы, маялись племена.**

Юный жрец удивился. Но что мог он поделать? Ослушаться Господа? Убежать, как Иона? Стал про себя повторять Господни слова, пытаясь смысл их постичь. Господь велел передать мужам, чтоб распахали пашню, среди колючек не сеяли, будто и так непонятно, что весной надо пашню пахать, что среди колючек сеять не надо. Но больше всего непонятны были слова «обрезать пред Господом, удалить сердец крайнюю плоть». Так и не понял. А в ушах вновь звучало:

**Вышел из чащи лев народы губить,  
обратить землю в пустыню.**

**Потому вретischem препояшьте, плачьте, рыдайте:  
гнев, ярость Господня не отвратится.**

**Вот, возносится он, как тучи, как буря, его колесницы, быстрее орлов кони его,  
горе вам, вы погибли!**

**Глуп мой народ, не знают Меня, сыны глупые, неразумные,  
во зле мудрые, не ведающие добра.**

Словно что-то внезапно открылось, и в ответ пророк говорил:

**На землю взглянул я: пустота и хаос,  
на небо — и нет светил.**

**На горы взглянул — трясутся,  
колеблются все холмы.**

**Взглянул — нет человека,  
все птицы небесные разлетелись.**

**Взглянул: цветущее стало пустыней,  
сокрушены Господом города.**

**Ибо так сказал Господь: Быть всей земле пустынной,  
но до основания не разрушу.**

Долго повторял эти слова: «Быть всей земле пустынной, но до основания не разрушу». И вдруг — тучи рассеялись, хлынуло солнце — осознал, что теперь он не только потомок жрецов, он — Господни уста, Божий посланец. Что скажет Всевышний — запомнит, куда велит пойти — он пойдет, что сделать прикажет — он сделает.

Много раз Господь говорил, что нет в их городе, в их земле поступающего справедливо, правды взыскующего. Был бы, Он слабым, заблудшим простил бы грехи. Но грехи умножаются, преступления множатся. Потому лев лесной разорвет, волк пустынный набросится, кто выйдет за стены, того растерзает.

**Разжирели они, растолстели, меру зла преступили, судом не судили,  
правосудия бедным они не вершили.**

**Пророки пророчат ложь, жрецы с их помощью властвуют, возлюбил народ Мой такое;  
что будете делать?**

**Слушают — но не обрезаны уши: не слышат,  
слово Господне стало стыдом, они его не желают.**

**Всесожжения ваши Мне не желанны,  
ваши жертвы Мне неуютны.**

Однажды жрецу и пророку было слово Господне. Во врата Храма идти, всем говорить: если исправят пути свои и поступки, суд праведный будут творить, пришельца, сироту и вдову не будут они притеснять, кровь невинную проливать, красть, убивать, прелюбодействовать, клясться лживо, во зло себе идти за чужими богами, им воскуряя, то Господь беду отведет, и будут жить на этой земле, текущей медом и молоком, отданной праотцам их.

Больше всего поразило, что Господь дом, именем Его нареченный, назвал пещерой разбойников, где поставили мерзость, Его оскверняя.

— Потому ты не молись за этот народ, не слушавший голоса Господа, наставлению не внимавший, не возноси молитву за них, ибо Я тебя не услышу. Разве не видишь, что вытворяют? Сыновья собирают дрова, отцы огонь разжигают, месят женщины тесто, делают лепешки царице небесной, чтоб Меня прогневить. Разве не знаешь, что в Бен-Гиноме, в долине в огне сжигают своих сыновей? Что дочерей сжигают? Потому наступают дни, когда назовут это место Долиной убийства, и будут трупы пищей птице небесной и зверю земному. Потому земля эта станет безлюдной пустыней, и смолкнет в их городах голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты.

Голос Господа на мгновение стих, словно давая воздух вдохнуть, словно над его головой воды сомкнулись, и вот — вынырнул на поверхность, почти потерявший дыхание, зрение, слух, словно мир земной — трава, небеса — все растворилось, исчезло в сапфировом голосе, мучительном, несмолкаемом.

Но только он отдышался, Господь его голову вновь в воды вонзил, и Божьи слова, зияя, в его душу проникли.

— В это время кости ваших царей, и кости жрецов, и кости пророков вытащат из могил. Под солнцем, под луной их распластает, под воинством, которое возлюбили и шли за которым, пред которым они простирались. Не соберут их тела, не погребут, на земле будут валяться навозом. Тогда жизни смерть предпочтет уцелевший. Уста Мои, пророк, жрец Ирмеягу, им передай, Господь сказал так:

**Упадете — не встанете,  
отступившись — не возвратитесь.**

**Господь вас убил, напоил водой ядовитой,  
ибо вы пред Господом согрешили.**

**Вот, Я на вас насылаю змей ядовитых,  
против них нет заклинания.**

**Натягивают языки — лживые луки,  
от зла уходят к злодейству.**

**Ты живешь среди лжи,  
а они не желают из-за лжи Меня знать, — слово Господа.**

**Стрела острая их язык, изрекает коварно,  
говорит с ближним мирно, в сердце готовя засаду.**

**Потому, — сказал Всемогущий Господь, Бог Израиля:  
Накормлю народ этот польнью, водой ядовитую напою.**

**И рассею среди народов, которых они и отцы их не знали,  
меч нашлаю, пока не истреблю.**

**Трупы людей падут, как навоз, на поля,  
как за жнецом колосья — некому подобрать**  
(Ирмеягу, Иеремия 51:42, 45, 55-58; 4:7,8,13,22-27; 5:28,31; 6:10,20; 8:4,14,17; 9:2,5,7,14,15, 21).

## 16. Не горят свитки в огне

Господь наказал за то, что пошли они по путям народов иных, страшащихся не Господа, единого Бога, но — знаков небесных, поклоняющихся глухим и немым истуканам из дерева, из железа. Глупец, чей ум деревянный, пойдет себе в лес, дерево срубит, сработает топором, украсит золотом, серебром, гвоздями его укрепит, чтоб не упало. Стоит это пугало, как на бахче, не издаст ни звука, не ходит — носят его.

Глупец в никчемное дерево верит, а Господь, Бог истинный, Бог живой, сотворивший землю могуществом, вселенную — мудростью, сотрясает в ярости землю, от гнева Его изнемогают народы, издаст клич — в небе воды гремят, ветер из хранилищ Он выпускает.

Только мучит: почему путь злодеев успешен, вероломные благоденствуют?

В то лето иссохла земля, дождя в стране не было — не было и травы. Ослы на холмах стояли, ветер вдыхали, словно шакалы. Явился жрецу-пророку Господь:

— Не молись за этот народ. Будут поститься — не стану молениям внимать, вознесут все-сожжение — не пожелаю, мечом, голодом, мором их уничтожу. Нашлаю, — слово Господа, — меч — убивать, собак — волочить, птицу небесную и зверя земного — пожирать. Злосчастна родившая семерых, дух испускает, посрамлена, опозорена, солнце средь бела дня закатилось.

— За что, Господи? Люди грешили, а звери страдают?

Молчит.

В другой раз было слово Господне:

— Жены себе не бери, не будет здесь у тебя сыновей, дочерей. Ибо Я так сказал о сыновьях, дочерях, здесь рождающихся, о матерях, их рождающих, об отцах, их порождающих. От болезни умрут, не оплаканные, не погребенные, на земле будут навозом, умрут от меча и голода, трупы будут пищей птице небесной, зверю земному. Во все ваши дни не услышите голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Разнесу вас мякиной летучей — ветру пустыни. Но вот, дни наступают, больше не скажут: «Жив Господь, из Земли египетской сынов Израиля выведший». Но скажут: «Жив Господь, который вывел сынов Израиля из Земли северной, из всех стран, куда их изгнал».

И молил пророк Господа, умолял открыть ему, малому, неразумному, что есть зло, что добро.

Однажды, когда в городе замерли мельницы, мелющие зерно, но ни звезд, ни луны не было на безоблачном небе, услышал жрец голос. Сперва тихий, но слух свой прикрыв, голос этот, словно жаждущий воду, словно задыхающийся, воздух, стал пить осторожно, губы едва приоткрыв, вдохнул.

Господь сказал так:

**Проклят на человека муж уповающий, опорой себе плоть положивший,  
сердце от Господа удаливший.**

**Будет он, как в пустоши можжевельник, добра не увидит,  
живя в обожженной пустыне, в безлюдных солончаках.**

**Благословен человек, на Господа уповающий,  
Господь ему будет опорой.**

**Будет как дерево, посаженное у воды, корни у потока пускает, зноя не знает, листья его  
зелены,  
в год засухи беззаботно, плод, не переставая, творит.**

**Сердце лукавей всего, безнадежней,  
кто познает его?**

**Я Господь, сердца постигающий, почки испытывающий —  
по труду воздавать человеку, по плодам деяний его.**

Голос утих, и понял пророк, что Всевышний ждет его слово, и, рта не разжав, он промолвил:

**Исцели меня, Господи, — исцелюсь,  
спаси меня, Господи, — я спасусь:  
Ты мое упование, восхваление.**

В другой раз услышал:

— Встань, сойди в дом горшечника, там слова Мои возведу.

Сошел в дом горшечника. Тот на круге работает. Искривился сосуд, который делал из глины, заново сделал другой, ровный, красивый.

Молвил Господь:

— Разве Я не смогу, словно горшечник, сделать с вами, дом Израиля, то, что с глиной сделал рукою горшечник? Тотчас скажу о народе, о царстве: разбить, сокрушить, погубить. Но если во зле, о котором Я говорил, раскается этот народ, то и Я от зла отступлю, которое задумал ему сотворить. Но они Баалу возвышения возвели — сжигать в огне сыновей всеожженьем, потому, вот дни наступают, не назовут это место долиною Бен-Гинном, но Долиной убийства. Уничтожу, сразу их мечом перед врагами, души их ищущих, трупы отдам на прожор птице небесной, зверю земному. А их насыщу плотью их сыновей и плотью их дочерей, будут есть плоть ближнего своего в осаде, в отчаянии. А ты, ты на глазах людей этот кувшин разбей и скажи им, что Всемогущий Господь возвестил: «Так разобью этот народ, этот город, как разбивают сосуд горшечника, который не склеить».

Услышал о пророчествах Ирмеягу сын жреца, главный смотритель в Доме Господнем. Избил он пророка, в колоду его засадил, что в верхних воротах в Доме Господнем. И в горе, в страдании вымолвил жрец и пророк:

### **Зачем вышел я из утробы? Видеть муку и горе? И дни мои завершатся в позоре?**

Но царь послал царедворцев, сказав, чтоб пророк Господа спросил, ибо царь вавилонский с нами воюет, может, Господь сотворит подобное всем Его чудесам, и от нас тот отступит.

Явился Господь:

— Не царь вавилонский, но Я против вас буду сражаться рукою простертой, силой могучей в гневе, ярости и неистовстве. Предам царя вашего, рабов его, этот народ, уцелевший в городе этом от мора, меча и голода, в руку царя Вавилона, в руку ваших врагов, в руку душ ваших ищущих, и он вас мечом поразит, не жалится, не пощадит, не помиует. Народу этому ты, жрец и пророк, скажи, что Господь молвил так: Вот, Я даю вам путь жизни и смерти путь. Оставшийся в этом городе умрет от меча, голода, мора, ушедший, будет он жить. А вы, оставшись в живых, творите суд, справедливость, от руки грабителя ограбленного спасайте, пришельца, сироту и вдову не угнетайте, не обирайте, невинную кровь не проливайте. Если исполните, в ворота дома Господня будут входить цари, сидящие на престоле Давида, едущие на колеснице, он, рабы его и народ. А не послушаете, Собою клянусь — слово Господа — этот дом руинами станет. Идут дни, когда больше не скажут: «Жив Господь, из Земли египетской сынов Израиля выведший». Но скажут: «Жив Господь, который вывел сынов Израиля из Земли северной, из всех стран, куда их изгнал».

И вновь явился Господь. Страна опустела. Обезлюдел Иерусалаим. После изгнания царя, знатных и мастеров в страну севера — Вавилон.

Подошел к Храму пророк. Пусто. Перед входом две корзины с инжиром. Одна корзина с инжиром хорошим, другая — с негодным. И услышал он голос:

— Что видишь ты, жрец и пророк?

Ответил:

— Инжир. Великолепный, прекрасный, и скверный, дурной.

Всевышний сказал:

— Как хорош этот инжир, так Я благом отмечу изгнанье. В родную землю их возвращу, не разрушу — отстрою, не искореню — насажу. Сердцем их наделю Меня познавать, ибо Господь Я, и будут они Мне народом, а Я им — Богом: всем сердцем они ко Мне возвратятся. А тех, которые, как дурной инжир, их сделаю ужасом, скорбью для всех земных царств, позором и притчей, осмеянием, проклятьем везде, куда изгоню. Нашлю на них меч и голод, и мор, пока не исчезнут с земли, которую дал им и отцам их. Это будет, а ныне никто не услышит голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов, светильников свет не увидит. Вся эта земля обращена будет в руины, пустыню, и эти народы царю Вавилона будут служить семьдесят лет. А когда исполнится срок — семьдесят лет, Я их накажу — слово Господа — за их преступления, и землю в пустыню вечную обращу.

Все эти слова пересказал жрец и пророк в Храме народу. Их слышали жрецы, пророки и весь народ. Когда он закончил, что Господь повелел народу сказать, схватили его жрецы и проро-

ки, и весь народ, говоря: «Смертью умрешь. Смерть этому человеку, ибо пророчил он городу, как своими ушами вы слышали».

Сказал жрец и пророк всем знатным, народу всему:

— Господь послал пророчествовать меня о доме Господнем, о городе этом, сказать все те слова, которые слышали. А теперь исправьте свои пути и дела, внемлите голосу Господа, вашего Бога, и Он простит вас за зло, о котором сказал. А я, вот я в ваших руках, со мной делайте то, что в глазах ваших добро и справедливость. Но знайте, если меня вы убьете, возьмете кровь невинную на себя, на этот город и его обитателей, ибо, истинно, послан я Господом в слух ваш эти слова сказать.

Отвечили знатные и весь народ жрецам и пророкам:

— Не будет этому человеку смертного приговора, ибо именем Господа, нашего Бога с нами он говорил.

А когда пророк из Храма ушел, живой, невредимый, услышал голос Всевышнего: «Так сказал Всемогущий Господь, Бог Израиля всему изгнанию, которое из Иерушалаима изгнал в Вавилон»:

**Стройте дома, их населяйте,  
сады сажайте, плоды их ешьте.**

**Берите жен, рождайте сыновей, дочерей,  
жен сыновьям берите, замуж дочерей выдавайте рождать сыновей, дочерей.**

**Просите мир городу, куда вас изгнал, там Господа за него молитесь:  
будет с ним мир — и вам будет мир.**

**Ибо так сказал Господь: Исполнится семьдесят лет Вавилону —  
и Я вас вспомню, исполню Свое доброе слово — на это место вас возвратить.**

**Меня воззовете, ко мне, молясь, вы придете, —  
Я вас услышу.**

**Будете искать Меня — обретете,  
если будете всем сердцем искать.**

**Меня обретете, пленение возвращу,  
из всех народов, отовсюду, куда изгнал, вас соберу.**

И вновь было слово Господне. Сказал Бог Израиля:

— Запиши себе в книгу слова, что скажу. Дни наступят, и Я возвращу пленение Моего народа, верну их в землю, которую даровал их отцам, и будут они ею владеть. Не страшись, раб Мой Яков, — слово Господа, — не бойся, Израиль, издали спасу тебя и потомство, из страны пленения вашего возвратится Яков, покоен и безмятежен. В эти дни больше не скажут: «Отцы виноград ели неспелый, а у детей оскомины на зубах».

**Ибо с тобой Я, — слово Господа, — чтобы спасти, все народы, среди которых рассеял, Я истреблю, тебя — не уничтожу, по справедливости накажу, изводя, тебя не изведу.**

**А дам тебе исцеление, язвы твои уврачую.  
Вы будете Мне народом, Я буду вам Богом.**

**Вечной любовью Я тебя возлюбил.  
Туком душу жрецов напитая, Мой народ благом насыщу.**

Вавилонское войско осаждало Иерушалаим, а пророк был заключен во дворе стражи царского дома. Заточая, сказал ему царь:

— Зачем пророчил, слова Бога нашего в слух нам говорил: Вот, отдаю этот город в руку царя Вавилона, и он захватит его. Его, царя, в Вавилон уведет, там будет он, пока о нем Я не вспомню.

В яме страдает пророк, а насыпи к городу подступают, идут враги его захватить, воюя мечом, голодом, мором. Идут враги, подступают — сжечь город огнем: дома, на крышах которых

воскуряли Баалу, возлияния богам чужим возливали, поставили мерзости в доме, именем Господа нареченном, чтобы Бога гневить. Страдает пророк, но верит, ибо Господь ему говорит:

**Будут они мне народом,  
а Я буду им Богом.**

**Дам им сердце одно и путь один — все дни страшиться Меня  
на благо себе и после них своим сыновьям.**

**Заклучу Я с ними вечный союз, от них не отвернусь, буду творить им добро,  
дам страх их сердцам — они от Меня не отступят.**

**Буду рад им добро творить,  
крепко на этой земле их насажу всем сердцем, всею душой.**

**Как навел на этот народ зло великое это,  
так наведу на них все это благо, о котором Я говорю**  
(Ирмеягу 17:5-10,14; 20:18; 29:5-10, 12-14; 30:11,17; 31:13; 32:38-42).

Сказал Господь жрецу и пророку:

— Возьми свиток и все слова, что Я тебе говорил об Израиле, Иеѓуде, о всех народах со дня, когда Я призвал тебя, запиши.

Позвал пророк Баруха, и тот записал на свитке из уст пророка слова, что Господь ему говорил. Велел пророк Баруху:

— Я в заключении, в Дом Господа пойти не могу. Пойди и свиток, что из уст моих записал — слова Господа, прочитай в слух народа в доме Господнем в день поста, в слух всем из городов приходящим. Может, падет их мольба перед Господом, и человек отвратится от злого пути, хоть и велик гнев и ярость Господни, как Он об этом народе сказал.

Барух исполнил все, как повелел пророк: в Храме по свитку слова Господа прочитал в слух народу всему.

Услыхал вельможа Господни слова. Сошел в дом царя, в палату писца, а там сидят все вельможи. Пересказал им все, что услышал. Послали за Барухом и сказали:

— Свиток, по которому ты читал в слух народа, возьми и приходи.

Взял Барух свиток, пришел.

Сказали:

— Садись и в слух наш читай.

И Барух в их слух прочитал.

Когда прочитал, испугался один другого, сказали:

— Мы царю эти слова перескажем.

А Баруха вельможи спросили:

— Скажи, как ты записал из его уст все эти слова?

Барух им отвечал:

— Устами своими он говорил все эти слова, а я записывал чернилами в свиток.

Сказали вельможи:

— Уйди, спрячься, ты и пророк, чтобы никто, где вы, не знал.

Пришли вельможи к царю, свиток оставив в покоях, и в слух царя все слова рассказали.

Тогда царь послал одного из вельмож взять из покоев свиток. Тот взял его и прочитал в слух царю и вельмож.

А царь сидел в зимнем доме, перед ним горела жаровня. Читает вельможа три-четыре столбца — срезает ножом писца, бросает в огонь, который в жаровне, пока не сгорел весь свиток.

И не страшились, одежда не разрывали ни царь, ни его рабы, слышавшие эти слова. А тех, кто просил царя свиток не жечь — он их не слушал. Велел царь схватить писца Баруха и Ирмеягу, жреца и пророка. Но Господь их сокрыл.

Было сказано Ирмеягу слово Господне после того, как сжег царь этот свиток со всеми словами, что Барух записал из уст жреца и пророка.

— Возьми свиток другой и запиши в нем все слова прежние, бывшие в свитке первом. А царю скажи так: «Ты этот свиток сжег, говоря «почему ты в нем написал, что придет царь Вавилона и разорит эту страну, истребит в ней людей и скот». Потому сказал Господь о царе: у него не будет на престоле Давида сидящего, а труп его будет валяться на зное дневном и на холоде ночью.

Покараю его, потомство его и рабов за их прегрешения, наведу на них все то зло, о котором Я говорил — но не слушали».

И взял пророк свиток другой, дал его Баруху, и он записал из уст жреца и пророка все слова свитка, царем сожженного в огне.

Тогда подумал жрец и пророк, что не горят свитки в огне.

## 17. Не бойся, раб Мой Яков

Царь Вавилона поставил в стране царствовать Цидкиягу, и тот послал одного из вельмож к жрецу и пророку, сказав:

— Помолись за нас Господу, нашему Богу.

А Господь, Бог Израиля жрецу и пророку сказал: Так скажите царю, пославшему Меня вопросить: фараоново войско, что вам вышло на помощь, возвращается в землю свою, в Египет. Вновь вавилоняне будут воевать этот город, захватят, огнем сожгут. Не обманывайтесь, говоря, что отступят: они не уйдут.

Ушел из Иерусалима жрец и пророк в Биньяминову землю. Уже был в воротах, и там начальник стражи схватил его и сказал:

— Убегаешь!

— Ложь, — ответил, — не убегаю.

Но начальник стражи не слушал, схватил, доставил к вельможам. Разгневались вельможи, избили пророка, заточили в темницу. Так в яму попал Ирмеягу и сидел там долгие дни, пока однажды послал царь его взять и тайно в доме своем пророка спросил:

— Есть ли слово от Господа?

Ответил коротко:

— Есть. Ты будешь предан в руку царя Вавилона. — И добавил. — В чем я согрешил пред тобой, рабами твоими и этим народом, что вы заключили меня в темницу? Где ваши пророки, что пророчили, говоря: к вам, в эту землю не придет царь Вавилона? А сейчас, царь, мой господин, послушай меня, пусть мольба моя тобой будет принята, не возвращай меня в яму, чтобы там я не умер.

Повелел царь держать жреца и пророка во дворе стражи, давая на день буханку хлеба с улицы пекарей, пока не закончился в городе хлеб.

И пребывал тот долгие дни во дворе стражи.

Опять услышали вельможи, что говорил Ирмеягу народу. Мол, так Господь говорил:

— Умрет обитающий в этом городе от меча, голода, мора, к вавилонянам ушедший жить будет, добычей его душа его станет.

А о городе Всевышний сказал:

— Этот город будет отдан в руку войска царя Вавилона.

Сказали вельможи царю:

— Смерти предай этого человека, ибо руки воинов, оставшихся в городе, и всего народа лишает он сил, такое всем говоря, человек этот ищет народу не мира — беду.

Ответил им царь:

— Вот, он в ваших руках, ибо ничего с вами царь поделывать не может.

Схватили пророка, бросили в яму. На веревках спустили, и не было в яме воды — лишь грязь, и погрузился он в грязь.

Услышал царский раб Куши, придворный в доме царя, что бросили в яму пророка, а царь сидит во вратах Биньямина. Царский раб вышел из царского дома и сказал он царю:

— Государь мой, царь, эти люди зло причинили, сделав такое жрецу и пророку, в яму бросив, где от голода он умрет, ибо нет больше в городе хлеба.

Велел царь рабу царскому Куши:

— Возьми тридцать людей вытащить из ямы его, пока он не умер.

Взял людей, тот пришел в царский дом, взял лохмотья и ветошь, и на веревках в яму спустил их пророку. Сказал царский раб:

— Лохмотья и ветошь подложи под веревки, под мышку.

Сделал он так. На веревках вытащили, достали из ямы, и находился он во дворе стражи.

Послал царь привести жреца и пророка к третьему входу Дома Господня, и сказал ему царь:

— Я спрошу у тебя, а ты ничего от меня не таи.

Ответил:

— Если скажу тебе, разве ты меня не убьешь? Совета моего ты все равно не слушаешь.

Тайно поклялся царь и сказал:

— Жив Господь, душу эту нам сотворивший, не убью я тебя, не предам в руку людей, ищущих душу твою.

Ответил:

— Так сказал Господь, Бог Израиля Всемогущий: Если уйдешь к вельможам царя Вавилона, душа твоя будет жива, этот город в огне не будет сожжен, жив будешь ты и твой дом. Не выйдешь — город этот будет предан в руку врагам, и в огне ими сожжен, а ты от их руки не спасешься. Откажешься выйти, то вот, что показал мне Господь. Всех твоих жен и сыновей в Вавилон уведут, и ты не спасешься: будешь схвачен рукою царя Вавилона, а этот город в огне будет сожжен.

Сказал царь:

— Никто этого не узнает, чтобы не умер ты. Ибо услышат вельможи, что царь с тобой говорил, к тебе явятся, скажут: «Расскажи, что ты царю говорил, не скроешь — тебя не убьем». На это ответь им: «Простер я мольбу перед царем, чтоб в яму меня не вернули, там умереть».

И пребывал пророк во дворе стражи до дня, когда захвачен был Иерушалаим.

В девятый год царствования Цидкиягу пришел Невухадрецар, царь Вавилона, и все войско к Иерушалаиму и его осадил. В одиннадцатый год царствования Цидкиягу, в четвертый месяц, в девятый день месяца стены города были проломлены.

Увидев это, царь и все воины ночью царским садом сбежали из города, и ушел царь пустынной дорогой.

Вавилонское войско, погнавшись за ними, настигло царя на равнине Иерихона, схватив, его привели к царю Вавилона, и он вынес ему приговор: на глазах царя зарезать его сыновей. А самому выкололи глаза и, в оковы его заковав, отвели в Вавилон. О жреце и пророке царь Вавилона главе телохранителей так повелел:

— Смотри за ним, ничего дурного не делай,

Послал во двор стражи, взяли пророка, и он поселился в народе.

Господь так Ирмеягу сказал:

— Пойди, скажи рабу царскому Куши, что так сказал Всемогущий Господь, Бог Израиля: Вот Я исполняю слова о городе этом, на беду — не на благо. А тебя Я спасу, — слово Господа, — не будешь ты предан в руку людей, которых страшиться. Тебя вызволю Я, ты от меча не падешь, и душа твоя будет добычей твоей, ибо на Меня ты уповал, — слово Господа.

Взял глава телохранителей жреца и пророка, сказал:

— Господь, Бог твой беду об этом месте изрек. Навел Господь и совершил, как говорил, ибо вы перед Господом согрешили, голосу Его не внимали, за это вас беда и постигла. Сегодня освободил я тебя от цепей на руках, если хочешь со мною идти в Вавилон — иди, я о тебе позабочусь, не хочешь со мною идти — не иди, смотри, вся земля пред тобою. Хочешь, иди к Гедале, которого царь Вавилона поставил над этой страной, с ним поселись.

Дав пророку дар и еду, глава телохранителей его отослал.

Пришел тот к Гедале, поселился в народе, что в стране оставался.

В седьмой месяц пришел Ишмаэль из царского рода, и с ним десять мужей к Гедале, и они хлеб вместе ели. Поднялся Ишмаэль и бывшие с ним десять мужей и поразили мечом Гедалею. Тогда взял Иоханан и все военачальники, которые с ним, уцелевших людей, мужей-воинов, женщин, детей и придворных, и пошли все в Египет. В пути, на остановке подошли военачальники, и весь народ от мала и до велика. Сказали они жрецу и пророку:

— Мольбе нашей внимай, помолись Господу, Богу за нас, за всех уцелевших, ибо нас мало осталось из многих, как глаза твои видят. Пусть Господь укажет нам путь и то, что нам делать.

Сказал им:

— Я Господу по слову вашему помолюсь, и все, что Господь ответит, вам, не утаив, передам.

А они пророку сказали:

— Господь нам будет свидетелем истинным, верным: каждое слово, что Господь тебе ниспошлет, мы исполним. Добро или зло, голосу Господа, нашего Бога, к которому тебя посылаем, будем послушны, чтоб нам было во благо, будем послушны голосу Господа, нашего Бога.

Спустия десять дней было слово Господне. И сказал народу пророк:

— Так сказал Господь, Бог Израиля: Если вернетесь вы в эту страну, отстрою вас — не разрушу, не искореню — насажу. Я жалею о зле, которое вам причинил. Не страшитесь царя Вавилона, которого вы боитесь, не страшитесь — слово Господа, — Я с вами спасать, от руки его избавлять. Милость явлю — он вас помилует, на землю вашу он вас возвратит. А если скажете, что не будете жить в этой стране, не послушав голоса Господа, вашего Бога, скажете: «Пойдем мы в землю Египет, где не увидим войны, голос рога там не услышим, и там будем жить». Тогда, остаток народа, слушайте слово Господне: Если, лицо обратив, пойдете в Египет, то меч, которого вы

боитесь, там вас догонит, голод, которого вы страшитесь, там вас настигнет, там, в Египте умрете. Все, решившие жить в Египет уйти, умрут от меча, голода, мора. Как гнев и ярость Я обрушил на обитателей Иерусалима, так и на вас обрушу. Придя в Египет, станете вы проклятием, ужасом, срамом, позором, и родины больше вы не увидите.

И еще добавил от себя жрец и пророк:

— Не идите в Египет, ведайте, знайте, сегодня я вас остерег.

И в ответ женщины пророку сказали:

— Слово, что от имени Господа ты нам сказал, от тебя не желаем мы слышать. Сделаем все, что из уст наших вышло: воскурять, возлиять царице небесной, как делали мы и наши отцы, цари и наши вельможи. Мы хлеб тогда досыта ели, жили во благе, зла не видали. Прекратив воскурять и возлиять царице небесной, всего мы лишились, от меча, от голода умираем. Разве мы воскурляли и возлияли царице небесной, лепешки мы делали, изображая ее, без наших мужей?

И с горечью сказал им пророк:

— Вы против ваших душ согрешили, послав меня к Господу Богу, сказав: «Помолись за нас Господу, нашему Богу, что скажет Господь, наш Бог, говори, так и поступим». Я сказал вам сегодня, но вы не послушали голос Господа, вашего Бога. Так ведайте, знайте, что от меча, голода, мора умрете в том месте, куда вы прийти пожелали.

И еще в пути было слово Господа о Египте жрецу и пророку.

**Кто это вздымается, как река,  
чья воды бурлят, как потоки?**

**Египет вздымается, как река, воды бурлят, как потоки;  
говорит: «Поднимусь, землю покрою, город с жителями его погублю».**

**На коней садитесь, колесницы, летите, храбрецы, выходите:  
щитоносцы, несущие, натягивающие луки.**

**Нынче у Господа, Всемогущего Бога день отмщения: врагам отплатить,  
будет меч пожирать, насыщаясь, упиваясь их кровью,  
жертвоприношение Господу, Всемогущему Богу у реки Евфрат, в стране северной.**

**Взойди на гору, бальзам возьми, дева, Египта дочь,  
напрасно множишь ты снадобья, нет тебе исцеления.**

**Услыхали народы о сраме, твой вопль землю наполнил,  
наскочил на воина воин, оба вместе свалились.**

**А ты, не бойся, раб Мой Яков, не страшись, Израиль, вот, издалека вызволю Я тебя и по-  
томство твое из страны их пленения,  
будет жить Яков спокойно, благополучно, никто его не испугает.**

**Ты, не бойся, раб Мой Яков, — слово Господа, — с тобой Я,  
все народы, к которым изгнал, Я истреблю, а тебя не уничтожу, накажу справедливо, но  
уничтожить — не уничтожу  
(Ирмеягу 46:7-12,28).**

## **18. Кроме имени пацана**

День был будний, слава Богу, спокойный. Пару часов назад он подобрал новых помощников-добровольцев. Работали те по четыре часа. В их возрасте он тоже был в МАДА (*Красный маген-довид*, аббревиатура, иврит), потом в армии санитаром, однажды вытащил парня из-под обстрела. Кузены прорыли тоннель и ночью обстреляли патруль. Те вовремя спохватились, но одного зацепило. Вначале подумал, что пуля, кровотечение остановилось. Когда дотачил, выстрелы стихли. Ну, а врач то ли был сонный, то ли перепугался, велел вызывать вертолет. Его взял с собой. Так и летели: врач считал пульс, а он поддерживал ногу. При полете парень очнулся и спросонья спросил:

— Как там у них, у забора?

Врач не допер. Он ответил:

— У кузенов два трупа.

— А у нас?

— У нас только нога.

— Моя?

— С тобой все окей, не бзди.

— Куда летим?

— В «Сороку» (название больницы на юге Израиля). Идем на посадку.

Их ждали. Вынесли бережно, словно взрывчатку, и покатали. Пока врач оформлял, пошмонал, чего бы пожрать: с обеда ни крошки, а уже почти утро. Все закрыто, но в приемном покое — табличка «Для персонала». Персонал, наверное, уже до отвала нажрался, а может, девчонки и не жрут ничего, только взвешиваться бегают каждые полчаса.

Здесь его, дожевывающего третий, а может, четвертый шницель — он не считал — и отыскал лешла.

— Поехали.

— Что с пацаном?

— Все в порядке, кость, кажется, не задело. Сейчас на рентгене, зашьют и отпустят домой.

— Полетим? — Шницели молоком запивая.

— Ты даешь. Будут из-за тебя гонять вертолет. Представляешь, сколько стоит минута полета.

— Ну, уж, минута.

— Ладно, ты хоть что-то пожрать мне оставил?

— Да, командир! — Вскочил навтыжку, показывая на салаты, без шницелей осиротевшие.

— Ты не лопнешь?

— Никак нет, командир!

— Ладно, хоть вилку подай.

— Есть, командир!

— Хватит, пацан, надоело. А молоко после мяса не пей.

— Мне это можно.

— Почему это?

— Не религиозный я, мой командир!

— Ты что, дурак? Молоко после мяса — верный понос.

— Даааа?

— Дааа, ты просто дурак. А фамилия?

— Коген.

— Жрец, а пьешь молоко после мяса. Ладно, поехали. — Швырнул вилку на стол, словно салат ему опротивел, поднялся рывком, и тут он заметил кровь на его рукаве.

— Ничего, выбросим, получим другую. Пошли, а тебе, жрец-дурак, за парня спасибо. Ты его спас. А спасший душу одну — спас целый мир. Это ты знаешь.

Хотел сказать: «Знаю, мой командир!», но язык прикусил, отер с губ молоко, ему стало противно и стыдно.

Да, день, слава Богу. Хорошо, чтоб все были такие. Одного парня он знал: с ним ездил и раньше. Другого в кипе — мальчишка, видимо, новичок — видел впервые. По дороге домой — так медбратья, они же водители называли свое гнездо, станцию МАДА — можно зайти в синагогу, позову того в кипе помолиться. Будем идти, поговорим: биография парня вряд ли потянет минуты на три, пока за угол мы завернем.

Еще один светофор, и позвонит разрешения попросить. Хоть *минха* (полуденная молитва, иврит) всего-то минут на десять, если ждать десятого не придется, но порядок на то и порядок. Мало ли что.

После армии почти год он зарабатывал санитаром: в больнице, считай, был шофером: возил на кроватях лежачих. Потом год гулял в Индии. Поехал один, вернулся с Рахелью. Вот так получилось: Яков и Рахель. В конце концов, не они виноваты, что так их назвали? Да и родители тоже, если задуматься, ни при чем. Его хотели: Яков. Ее хотели: Рахель. А то, что он Рахель подцепил, а она — Якова, не родители — они виноваты. Но это все чепуха. Ему было с ней хорошо, а ей — он это знал — хорошо было с ним. Еще годик-другой, заработает денег, она кончит учиться, найдет работу, и...

— Стоп. Подъезжаем. Надо...

Досказать не успел.

Из телефона съгнуло:

— Яков, давай быстро в бассейн, пацан сознание потерял, разберись, приведи его в чувство.

*Минха* отменилась. Не страшно. На перекрестке он развернулся, сирену решил не включать: пусто, всего минуты три до бассейна.

В окошке показалась лицо:

— Шеф, почему развернулся?

— Работа! На всякий случай тащите носилки.

Вышел, прихватив саквояж, рванулся к двери. Никто не встречал. Идиоты! Не могли кого-то послать, чтоб не плутали.

— Куда?

У входа сидела бабуся, вязала.

— Что куда?

— Где больной?

— Что ты, что ты, слава Богу, здорова.

Рванулся по лестнице, за ним с носилками пацаны. На втором этаже дверь проскочили, попав в раздевалку. Пацаны мылись под душем.

— Где больной?

— Вот этот, больной на всю голову. — Вытолкнули голого рыжего, вечную жертву хорошо бы одних только шуток. Бывает и не такое.

Он впереди, носилки за ним — ринулись в еще одну дверь, распахнули. У кромки воды — несколько пацанов, один взрослый, наверное, тренер. Оттолкнув ближайших, увидел мокрого парня. Лежащий был без сознания. Плавки по нынешней моде призваны скорей обнажать, чем закрывать. Ладно, его не касается. Пульс ни к черту. Сердце? Вроде бы рановато.

— Сколько ему?

— Не знаю. Он здесь случайно.

Понятно.

— Полотенце. Одежду. Быстрей. И что-то под голову.

Дотащили, и в раздевалке поставил он капельницу. Все, как предписано. Диагноз — дело врачей.

— Вытирайте его осторожно. Не одевайте. Лучше укутайте в полотенца, — подручным своим добровольцам. Прежний вроде бы ничего. А новенький позеленел.

— Тащите еще полотенца, — мокрым и тренеру.

Принесли. Набросили полотенца. В ногах — одежда и обувь. Один носок свесился и свалился.

— Берите, — своим, — вместе подняли, понесли, в ногу шагаем.

К старшему пацану подскочил, взяв за одну ручку носилки, взлохмаченный тренер. К новенькому пристроился мокрый.

Теперь носилки двигались впереди, он за ними, вытащив телефон и кратко докладывая.

— Понятно. Реанимацию высылать не стоит. Пока доедут, вы уже доберетесь. До «Шнай-дера» (название детской больницы) пять минут. Там разберутся, твое дело — довести как можно быстрей. И аккуратно! Не забудь сирену врубить, в больницу я сам позвоню. Удачи!

Задвинули быстро и аккуратно. Тренер и Мокрый от двери отскочили, и он полетел, сирена завывала.

На повороте к больнице краем глаза заметил: автобус проскрежетал бортом по грузовику, борт смяло и искорежило, стекла выбиты. Представляя, что там внутри: рамы вогнуты, искромсанные сиденья, осколки, кровь, стоны и крики, успел прокричать диспетчеру — тот уже знал — и влетел под навес.

Их ждали. Носилки вытащили, и его, высохшего, только волосы мокрые, на кровать уложили и повезли. Санитаром такое делал десятки раз. На тренировках врубали секундомер. У него получалось неплохо.

Увезли. Возле раскрытой задней двери валялся носок. Пошел оформлять бумаги. Подручные за ним потащились. Они были ему не нужны: отослал умываться, приходите в себя и под ногами не путаться.

Закончил. Получил бумажку: доставил. Пацаны с мокрыми волосами — подумал: как у того — вернулись. Идут, о чем-то своим говорят. Подошли.

— Как там наш?

— Пока узнавать бесполезно. Сами врачи не знают. Да и не любят, когда в такие минуты им задают вопросы.

— А когда будет известно?

— Скорей всего, часа через два, — вот привязались, — поехали.

Кончая смену, он позвонил.

— Жив, пока жив твой мальчишка, хотя надежд почти никаких. Пусть молятся близкие.

— Родные наплись?  
— Пока нет. В кармане паспорт нашли. Фамилия наша, гражданство американское.  
— Что с ним?  
— Инсульт.  
— Сколько же лет...  
— Семнадцать. Все, извини, зовут, все на ушах, в паспорте нашли разрешение: я, такой-то, в случае смерти жертвую...  
— Органы?  
— Нет, две овцы и быка. Ты, парень, устал, ступай домой, отдохни.

Через день читал, сидя дома за кофе, заметку. Излагалось то, что он знал. Из того, что не знал: нашли его мать, сообщили о гибели мозга, и тамошние врачи получили от нее разрешение на пожертвование. Подписана заметка двумя: один журналист был здешний, другой — из Кливленда. Тот, вроде бы кливлендский, между делом, как бы в скобочках, отмечал, что мать покойного все время держалась уверенно и спокойно. Ну, а здешний в конце сообщал, какие органы и кому, да в какой больнице были пересажены ночью.

Из заметки он узнал все.  
Кроме имени пацана.

## 19. После потопа

Солнце стремительно исчезало за горизонтом — он дошагал. На Масличной горе, на самой вершине остановился. Под ним по склону скатывались могилы: с незапамятных времен здесь хоронили. На большей части горы могилы тесно жались друг к другу, словно страпась отбиться, связь потерять, в вечности затеряться. И только один участок поражал простором: могилы не жались друг к другу, одна от другой они разбегались, словно брезгуя или страпась. На камнях, на могильных плитах ладони, простертые в жреческом жесте. Участок жрецов, которым заказана близость со смертью. Главный жрец, Первосвященник, когда кто-то из близких его умирал, ожидал за углом, когда процессия удалится. Так до кладбища провожал.

Что вдруг подвигло? Тащиться наверх по жаре. На таком долгом подъеме и машина пыхтит. Так что? Жрец? И что? Мало жрецов, которые о жречестве своем и не ведают? Или желание хоть на день, хоть на два поменяться с предком местами? Тот — пусть поднимется на пыхтящей машине, а он по старинке, пешочком, правда, с сотовым телефоном, мало ли что, на всякий уж случай.

Перед последним подъемом поел и пошел. Флягу до краев родниковой водой наполняя, вдруг почувствовал: подхватило, подбросило, потащило, и не успел он опомниться, мня, что, словно пророк, живым взят на небо, зашуршало по гравию, скрипнуло, подкатило, и он увидел себя под маслиной, сквозь редкие листья которой землю ласкали лучи. Солнце стремительно заходило. Горизонт, подсвеченный розовым, истекал голубым, выше — синим, еще выше — сапфировым.

Этот сапфировый свет, цвет Господня престола, с детства его волновал: до боли в глазах впивался он в горизонт, пытался в сиянье сапфира различить черты Того, Кто невидим. Не виден? И что. Другие не видят, им не дано. А он, он увидит.

Иногда, казалось, что видит. В глазах — цветные круги. Когда глаза закрывал, круги исчезали, вместо них возникало свечение, сквозь которое, словно птицы, бабочки, лепестки, носятся друг за другом веселые буквы, слагаясь в слова. Из них и возникало что-то похожее на лицо: губы и нос, борода, белоснежная, как у деда, которого недавно хоронили в пещере, а вся семья — они ведь жрецы — шла поодаль, опасаясь пусть и родным, но мертвым нечаянно оскверниться.

Но чаще всего птицы, бабочки, лепестки — буквы слагались в слова, ими жрецы благословляли народ. Звучали слова, звучали, кружили, сплетаясь в благословляющий жреческий жест, которому дед с тех пор, как он едва первые слова произнес, начал его учить.

Дед был старый, в Храме уже не служил. Целый день учил своих внуков, да и чужие к нему приходили: маленькие жрецы. Их надо многому научить, а у отцов времени мало. Служба в Храме, омовения в *микве* (*бассейн для ритуального омовения*, иврит), да и сами должны учиться, без этого служба немислима: попробуй, запомни, какую, когда принести Господу жертву. Он не мог и представить, что сможет все это выучить и запомнит, и однажды сам возложит на жертвенник пресный хлеб или тук, а может, благовония воскурит.

Вдохнет сладостный дым, в небо идущий. Господь жертвоприношение примет. Бог возжелает, что от имени всех он, жрец, принес Всемогущему.

Позвали жрецов. Полкружки мутной воды хватило лишь на мгновение, а затем он почувствовал, как запекшийся, от жажды перекошенный рот, неподвижный язык повиноваться ему не готовы. Благословение. Как произнесет он его? Вместе с другими взойшел на пригорок с пожухлой, мертвой травой, напомнившей ему отцовскую бороду, выжженную на мертвом лице.

Когда дом запылал, и отец в огонь бросился хоть что-то спасти, успел ему крикнуть:

— Не подходи! Ко мне мертвому не подходи!

Знал и сам. Но это отец. Хотелось крикнуть в ответ:

— И ты тоже ко мне, ко мне мертвому не подходи! — Хотелось, но почему-то он не посмел.

Стоял вместе с жрецами, теми, кому исполнилось к этому дню тринадцать и, сложив пальцы в жреческом жесте, благословляя народ. Солнце только взошло, он чувствовал его теплый сапфировый свет, которым Господь с ним говорил.

Всю ночь напролет, то утихая, то вновь свирепея, ночь зверем раненым завывала. Дуло, последние листья срывая. Утром, проснувшись, город увидел себя обнаженным, желтым, коричнево-желтым, с кленовыми кровавыми пятнами и прожилками. Потом, в себя приходя, город начал мести, шуршать, собирать опавшие листья. Сквозь безмолвные, без листьев, деревья город с любого места был как на ладони. И было в этом разоре что-то совершенно бесстыдное, словно живущим в нем он говорил: «Смотрите, таким меня вы не видели». И хоть каждый год случалась такая ночь и такой завывающий ветер, но то ли прошлое забывалось — в отличие от города, у людей короткая память — то ли труды и заботы не оставляли сил и времени помнить, но каждый раз подобное было внове.

Потом у домов, в парках и скверах выросли кучи: уже не листья, но сор, не желто-коричневый с красно-черной отметиной, а какой-то серый, убогий, безродный, такой не жалко и сжечь. Вот и жгли — дворники и жильцы, а мальчишки, всегда охочие до огня, толпились и расходились. Листья жгут — классно, здорово, интересно. А кучи мусора — ну его, скучно.

Промокшие, подгнившие и озябшие, кучи скверно горели, не горели даже, но тлели, и только вдали над городом восходили дымы, и где-то там, в вышине, а может, в истории — сплетались в жгуты, в столбы единясь, жертвой лета зиме восходили над городом.

Ни в город пробраться, ни из города выбраться, было почти невозможно. Внутри zeloty, которые говорили, что смерть все искушит, потому надо всем не сдаваться, но умереть. Римляне, охранявшие Город снаружи, бахвалясь, близко к стенам городским подходили:

— И муха не пролетит! А залетит, тотчас ее и съедите.

Вначале в ответ со стен в них стрелы летели, но в ответ раздавался лишь хохот, похожий на конское ржанье.

И все-таки кое-кому удавалось проникнуть. По тропинкам пробраться, по которым проскокнет не всякая мышь. Были такие, кто сумел из Города выбраться. Отец рассказал, что будто сам рабби Иоханан Бен Закай сумел из города выбраться. Спокон веку мертвых в городе на ночь не оставляли, за стенами хоронили. Ученики вынесли рабби.

— Кого и куда вы несете? — Хоть стражник и видел, что несут они мертвого, решил все же проверить.

— Не видишь? Мертвого. Хоронить.

— Проткни-ка его копьём, — старший младшему стражнику.

Тот, Богобоязненный человек, подошел, поднял копьё, но не проткнул, сделал лишь вид.

— Не пикнул. Мертвей не бывает.

— Значит, ему повезло, — и совсем, как римлянин, видно, от них научился, засмеялся, заржал.

— Ладно, несите, — махнул на носилки с покойным.

Так спасли рабби.

Рассказывал отец о жрецах, которые хоть по несколько человек, но уходят в темную безлунную ночь.

— Почему же нам не уйти?

Покачал головой и рукой на дом показал: мол, как нам уйти, мал мала меньше, как с ними уйдешь?

И правда, жрецы уходили. Уходили, оглядываясь: виден ли дым, вечно восходящий над Городом. Первое, что видели в город идущие, — дым, в небеса восходящий. Последнее, что теряли из виду уходящие, — дым, к Всевышнему восходящий.

Жрецы уходили, унося с собой запах дыма. Их не ждали нигде. Только здесь, в Городе их служения, жертвенника и дыма, человека с Господом единящего, они были нужны. Только здесь их ждали. Ждали всегда.

Дождаясь безлунных ночей, уходили. Сумевшие просочиться за стены и римлянам не попасться (те над бегущими издевались, а многих и убивали) шли по окольным дорожкам-тропинкам, пробираясь к Соленому морю, ночуя в пещерах, у жителей, у которых на последние деньги покупали хлеб, сыр, у кого было денег побольше — вино. Кое-как еду добывали: учились ловить птиц и зверей, что-то на склонах сажали, надеясь собрать урожай, и бродили в поисках ягод, плодов.

Жрецы уносили в пещеры свитки и утварь из Храма. Большинство жрецов, едва отдохнув и хоть воды вдоволь напившись — здесь было множество родников — отпраивалось дальше, на юг, в пустыню, на север, в дикую Галилею, решив основать жреческие деревни.

В этих диких местах Бога не знали. Кое-как, на свой лад молились по обычаю предков, так что за тысячу лет после Исхода все перепутали, перекрутили, испоганили вовсе.

Но что было делать? Идти в Вавилон? Попробуй, дойди. Да и что их там ждет? В Египет, в Александрию? Но тамошние евреи вовсе и не евреи: по-гречески молятся, сами не зная кому. По-гречески одеваются. Голыми в гимназиях бегают, прыгают, скачут. Дикие козы.

Вот и идут в пустыню, на юг, и на север, в далекую Галилею. От смерти к смерти. Большинство останется на дороге. Но те, кто дойдет, как дети Ноаха после потопа, землю заселят, разобьют виноградники, засеют поля, посадят деревья.

## 20. Жрец Бога Живого

С каждым днем город съживался, скукоживался, высыхал. А вместе с ним задыхались от гари, от недостатка воды высыхали, изнывая, слабели от голода жители, землистые, зеленые лица которых все чаще исчезали во мраке. Руки в бессилии обвисали, лица чернели, тела иссыхали.

И пресекая, по слову пророка, голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и светильников свет.

Кроме людей, живых существ в городе не осталось, даже крысы из него убежали. Хищные птицы терпеливо кружили, жадно, безжалостно выжидая. С восхода и до заката вымершие, безмолвные улицы мучились в липком, злом, расплавленном зное, под вечер смягчаясь сердобольным, с моря, с запада дуящим ветром. Но ветер был слаб и бессилен перед наступающей с востока пустыней, желтой, жадной, пожирающей душу. Ручные мельницы, бывшие в каждом дворе, давно не гремели, давно не журчали, словно вода, которую пить — не напиться. Молоть муку? Те ячменные зерна, которые еще были в домах, съедали и не смолов: сперва по мере — горстями, а затем лишь в богатых домах — по счету.

За стенами города жизнь, напротив, кипела: звенели мечи, по ночам выли шакалы, жгли костры, на которых жарили мясо, и липкий, жиром пропитанный дым возносился жертвой Юпитеру.

Те, у кого еще оставались силы рассказывать, чтоб чужим не услышать, шепотом говорили об одной богатой вдове, которая послала служанку купить белой муки. Пошла служанка, ни с чем воротилась. Затем послала купить хотя бы черной муки. Пошла служанка, ни с чем воротилась. Тогда послала служанку купить отрубей. Пошла служанка, ни с чем воротилась.

А еще рассказывали о другой, тоже вдове, против прежней куда как богаче. Был у нее сын. Единственный. Жизни дороже. Каждый месяц взвешивала его и по мере в Храм золото относила, Бога благодарила.

— А вчера, — сказывали слуги ее, — здесь голос говорящего затихал и, дрожа, будто изпод земли, из преисподней на свет возвращался, — а со вчерашнего вечера ребенок больше не плачет. — Говорящий вздыхал, набирал воздух и продолжал, голос опять в преисподнюю опускался. — Съела. Сварила и съела.

По ночам в темную, безлунную, беззвездную ночь тени на улицы выползали. У теней за плечами были мешки. Что в них, не знали. Говорили... Всякое говорили. Кто же поверит? Всему верит лишь тот, кто глух от рождения.

Тени с мешками сквозили вдоль стен, камней мостовой не касаясь. Тянулись к стене, город хранящей и от римлян, и от наступавшей пустыни. Там, говорили, был ход, тайный подземный, который тянулся в пустыню. Так говорили. Кто же поверит? Всему верит лишь тот, кто глух от рождения.

Их было совсем немного жрецов, которые поняли: мертвое не спасти. Храм умер, Господь покинул его. Поняв, пытались узнать, какова воля Господня. Некогда жрецы и пророки, и среди них его предок, чьим именем он наречен, жрец-пророк Ирмеягу еще до того, как враги стены Иерусалима проломали, кричал и вопил, но кто его слышал? Царь? Народ? Не слышал никто, и

только когда их, ослепленных, увечных, на чужбину угнали, там поняли и раскаялись, а от скверны очистившихся Господь на родину возвратил.

Так было тогда. Так будет сейчас.

Ни Храм, ни жертвенник, ни Иерусалим с собой не унести. Но они унесут слово Бога Живого. Так и решили: унесем, спрячем свитки. В пещерах, сухих, труднодоступных у Соленого моря. Но как их переправить? За стеной римляне каждый шаг сторожат, внутри — власть имущие сумасшедшие. Нашли старика, тот еще помнил, где начинался подземный ход, давно позабытый.

Долго, осторожно, ночами искали. Нашли. С тех пор отец жреца и сам жрец Ирмеягу дома появлялся не часто. Дни и ночи он пробирался где скорчившись, где ползком, а затем, испуганно озираясь, став пугливым, как лань, шел по ночам, днем скрываясь в едва заметных расселинах и лишь к пещерам добравшись, мог освободиться от страха — не за себя, за свитки, которые нес на спине в специально сшитом женою мешке.

В пещере, день-другой отлежавшись, отъевшись, взяв у братьев скудный запас — для братьев-жрецов и семьи — отправлялся он в путь обратный, а затем, дождавшись безлунной ночи, взяв мешок, вновь спускался у черного камня в свою преисподнюю, в подземелье. И все начиналось сначала: скорчившись и ползком, он добирался до выхода у острой скалы, нависающей над пустыней, и, дороги стороной обходя, козьими тропами шел, в кровь ноги сбивая.

С каждым разом путь был опасней. Римляне, словно шакалы, учуяли кровь скорой победы, а сумасшедшие готовились к смерти, решив раз навсегда, что смерть лучше жизни, если она жертва Всевышнему. Так замыкается круг: Господь дал жизнь человеку, а человек самый ценный из возможных даров ее Всевышнему с радостью возвращает.

Когда-то пытался их убедить, доказывал: данное Господом только Он вправе забрать. Господь дал. Господь и возьмет. Не человеку решать — но Богу. Но разве можно убедить сумасшедших? Господь сказал: выбери жизнь. Разве еще нужны вам слова? Лишнее слово подобно лишней чаше вина. Вино силу телу дарует, веселье — душе. Но лишняя чаша силу лишь отнимает, а веселье обращается горем. Так и слова. В нужных — сила и мудрость. В излишних — глупость и слабость.

Таковы сумасшедшие. Говорят-говорят. Бесконечно. Не других — себя заговаривают. Ходят по улицам и заглядывают: как бы кто в лагерь к римлянам не сбежал. Жертвы давно не приносят: нет ни животных, ни птиц, ни муки. Пока были дрова, сумасшедшие их сжигали, чтобы показать тем, кто в городе, и тем, кто за стенами, что у них все, как всегда. Видите, над жертвенником дым клубится.

А в лагере, хорошо видном со стен, жизнь и впрямь шла по порядку. В самом центре, рядом с палатками Тита и приближенных — жертвенник. На нем язычники приносят жертвы богам. Юпитеру? Марсу? Дым столбом поднимается до небес, плотный, уверенный в собственной силе. Кто с богами поспорит? Кто борется с Римом, на смерть обречен.

Спустившись на улицы города, прижимаясь к стенам домов, в тени врасстая, он пробирается сквозь гулкую пустоту, стремясь слиться с камнями, минуя даже в час полуночный не пустой перекресток, по тоненькой улочке он крадется. От нее, словно росток, круто вверх возносит его кривой переулочек. Еще десяток шагов — пригорок, и там кривая маслина, старая и бесплодная, а под ней — лаз, вход в тоннель, в подземелье.

Каждый раз — к спине привязаны свитки — спускаясь в тоннель, в темноту со *Шма* даже не шепотом — мысленно, про себя, он молил Господа даровать ему свет, вернув из преисподней на землю, даровать вновь увидеть Храм и семью. На этот раз кроме рукописей он нес в кожаном плотном футляре золотисто-оливковый хризолит из наперсника Первосвященника.

Приподняв дерн, ныряет под землю, и она смыкается, словно гасят свечу, а там, в подземелье, идет, карабкается, на ощупь ползет. Шаг, другой, и потная одурь хватает за руки, тащит, волочит, шею душьем сжимает.

Этот тоннель создан не для живых. Говорят, со всех концов света проложены Самим Господом Богом эти ходы, по которым, когда мертвые возродятся, в муках Божественной силой будут доставлены в Город. Здесь встанут, и каждый в том возрасте, в котором умер когда-то, отряхнувшись, пойдут.

Спускаясь в тоннель, себя чувствует отправленным Всевышним под землю живым. Но, в отличие от преступника Кораха, он спустился под землю по собственной воле. По собственной? Разве он имеет право на волю? Разве он со всем миром не в Божьей деснице? Разве он не орудие в Господних руках? Разве в руках Всевышнего человек не игрушка?

Может, мертвым и будет не страшно — кому это открыто? — но живому, ему каждый раз страшно спускаться в черную бездну. Но он жрец, а потому и не может сбросить непосильную ношу и, как другие, тайком исчезнуть из города. Конечно, опасно, но страшнее там оставаться: в

любой момент римляне могут ворваться, да и от страшных хозяев этого города можно в горло нож получить.

Глаза, привыкшие к темноте, различают сероватые мутные тени, но он знает, это совсем ненадолго. Еще десяток шагов, и — надо быть осторожней — голова уткнется в шершавый карниз. Теперь тоннель будет сужаться, и дальше идти осторожно, втянув голову в плечи, а потом, пригибаясь все ниже, как старец, сгорбившись, скрючившись, в самом себе утонув — на четвереньки, и в гнусной унижительной позе собачей на коленях ползти, вдали различая слабый, тлеющий огонек. Добравшись, сделает остановку, глотнет из кожаной фляги. Вода и отдых его подкрепят, и отправится дальше, исполняя свой долг перед Господом и перед людьми.

Отдохнув, пытается разогнуться, хоть сделать это совсем не легко. Но надо подняться, сделать трудный, самый ответственный шаг. Первый шаг, с него начинается любая дорога. Странно, но Первосвященник и Дед, оба любили эту расхожую сентенцию повторять. Еще оба всегда повторяли, что если запахло банальностью, значит истина рядом. При жизни деда он вовсе об этом не думал. Сейчас после смерти Первосвященника эти банальности все чаще — вовсе без спроса — сами к нему приходили.

Но все. Подняться. Идти. Еще десяток шагов, вытянет голову, вросшую в плечи, чуть-чуть затекшие плечи расправит. А затем, продержавшись до поворота, увидит маленьких светлячков, слабым зеленоватым свечением подающих душе надежду. Светляки вспыхивают и гаснут. И — вот, бурый, зеленоватый на кончиках мох, в прохладную ночь нежный и влажный, в жаркую — колючий, сухой.

Приникает к стене. Слегка отдохнуть. Всмотреться в зеленые подручные тени, которые, как водоросли, колеблются, успокаивая, убаюкивая.

Все. Оттолкнуться. Идти. Сквозь зеленые тени, вросшие в бурую землю: в потолок и стены тоннеля. Главное — свет. Впереди — большая пещера. Там остановка. Вода. Там еда. Пещера, словно конец тоннеля, который видят в последний миг жизни.

Вдруг задрожала земля, загудело. Обдавая зябким, простуженным страхом, прокатилась волна. Вспыхнул сапфировый свет. По стенам метнулись бледно-зеленые подручные тени. Корчась, метнулись — исчезли, в сапфировом сиянии растворились.

Заблестало, вспыхнуло, воссияло. Стены раздвинулись, раздались, исчезли.

Гул замер, погас и затих.

Сияние, музыкой наполняясь, повинуясь жрецу, звучало крещендо, набирая темп от адажио до аллегро.

Звуки рождали свет, а сияние — музыку, и светлые тени, мир наполняя, теснились у жертвенника, над которым восходил в небеса белый дым.

Так ранним утром туман поднимается из долины.

Он делает шаг, еще один и без сил оседает на землю, к рыхлой стене привалившись. Нет сил флягу достать. Нет сил достать сушеные смоквы. Нет сил ни на что. Но надо себя пересилить. И, крестом себя осенив, возблагодарив Христа за спасение, он озирает пещеру. В углах следы от ковров. На этой земле войны не редкость, и всегда находились, которым удавалось спастись, убежать.

Вот для них Господь создал пещеру.

Он потихоньку приходит в себя. Пьет. Жует сушеный инжир. Путь не окончен. Впереди еще — и сгорбившись и ползком. Но знает: раз до пещеры добрался, значит, дойдет, доползет, найдет в себе силы выйти из ада. А может, это не ад? Может, это чистилище? Ведь оно уготовано всем.

Кто без греха?

Праведник?

Сколько их в мире?

Все. Вперед. Встает во весь рост. Крестится, благодаря Всевышнего за воду и за еду. Делая первый шаг, крестится, просит у Бога благословение на дорогу.

Пересекает пещеру и, оставляя серый свет за спиной, шагает. Тьма, постепенно стущаясь, его поглощает, не оставляя и тени. Так человек во тьме исчезает: кто вспомнит? Пока живы его знавшие братья, может, и будут его поминать. А затем? Вечная жизнь.

А если она, как этот тоннель, со склизкими стенами в прохладную ночь? Сухими колючими — в жаркую?

Нелегко быть жрецом. Особенно, жрецом Дельфийского храма. Вот и ползет он по рыхлой, в мелких острых камнях земле. Ползет, вслушиваясь в крошечную тишину: ни звука, ни шо-

роха. Хоть бы мышь прощуршала, разорвав тишину. Хоть бы всплеск тихой воды. Но он слушает — самое страшное терпение потерять — тишину.

Он жрец. И он — кто же другой? — должен выловить в тишине бессвязные звуки. Для непосвященных — бессвязные. Не хотят боги людскими словами волю являть: трудитесь, внимайте, люди, учитесь.

Пифия уловляет. Он, жрец Дельфийского храма, ее бессвязные звуки — в горячке, в бреду — в слова перелагает.

Ползет по тоннелю, там, под ногами, пытается отыскать бессвязные драгоценные звуки, а наткнувшись, поднять, вместе с ними подняться, распрямившись, идти, бессвязные звуки, как волны пловец, раздвигая руками, уловляя горячее, изреченное теми, кто держит в руке человека, словно куклу — ребенок.

Еще шаг, и вот вместо безмолвия — целое половодье. Теперь он различает волю богов, перелагая в слова, доступные человеку.

Он добрался, дополз, отодвинул ветку куста, и его выталкивает на поверхность из преисподней. Звуки, запахи, краски окружают, подхватывают и несут. Не чувствуя груза, бежит, обегая кусты, норовящие цепкими ветками ухватить, задержать, повалить на бурюю землю.

Его путь не окончен. Но он доберется. Живой доберется. Он, жрец Бога Живого, свитки живые доставит, спасет.

Хаос, воле творца подчиняя, возник на помосте: фрак, манжеты, манишка — черно-белый курьез эпохи цветного кино.

Ладонями тишину зачерпнув, вознес, пролив и рассыпав, из небытия симфонию добывая, десницей призвал на служение струнные, левой рукой — духовые, вызволил из молчанья ударные: полилось, понеслось, голубиными льдинками тишину прошивая, взорвавшись и оборвавшись триумфом.

Смычком по пропиту, розу — в жерло трубы.

Все участвующие в служении поочередно вне связи с другими включались в его подготовку, словно группы инструментов в оркестре, играющие свое.

Взойдет дирижер, руку поднимет, палочку вонзит в тишину: из проколотого беззвучия хлынут звуки, покоряя пространство.

Служение.

Все готовились, нетерпеливо снося ожидание.

Ждали жреца.

# БРЕД ПОЭЗИИ СВЯЩЕННЫЙ



PRAEDICATIO<sup>1</sup>

\*\*\*

*есть* некая страна со своими  
четырьмя сторонами света,  
горою и морем и прочими составными  
всякой приличной державы, при этом

ее какбы *нету*; облик:  
смесь голубого с желтым, у птиц особо  
ценятся крылья то есть потребность воли –  
как отрицанье свободы;

\*\*\*

море – чернеет; гора – стеною  
скороет от прочих, от порчи, от сглаза и  
левоу-выпуклоу- стороною  
можно сползть по равнине в Азию;

\*\*\*

там чернозем человечьего роста:  
чуть перерос суелность свершений,  
там бытие обустроено просто  
то есть чем проще, тем совершенней;

колос там плотен, а семя отборно,  
но недород к послушанью приучен,  
почва там слишком жирна и обильна  
для ежедневных благополучий;

там землепашца подводит погода,  
а урожай настигает, как бедствие,  
там, опоздавшие к часу исхода,  
как подобает, спасаются бегством и

там *нет* границ, но случаются вехи,  
время без времени, бездны, там прежде  
чем заглянуть за злом дня и века  
нужно, как минимум, кончить надежды;

там *есть* река великая, будто  
путь из варягов в вальяжные греки  
в поисках смысла вещей праздных будь то  
мысли о жизни и смерти; там реки

в землю вплетают ленточку неба,  
а в половодье, как очи дев – карие,  
там нож реки, как буханку хлеба,  
целое режит на полушария;

---

<sup>1</sup> Praedicatio – высказывание с целью отражения существа события; в целом, утверждение или отрицание признака относительно субъекта; предикация сводится к значению глагола-связки «быть».

там – тьма красот; там их перечень полон,  
там *есть* все то, что *бывает* на свете,  
там для рождения ищется повод  
и всякий день благодатен для смерти;

\*\*\*

*есть* странная страна; ее искусство –  
*не быть*, но казаться, скрываться из виду  
взывает к рассудку и кормит то чувство,  
где в капле любви тонет море обиды;

\*\*\*

*есть* древняя страна; которой должно  
когда-то возникнуть по той причине,  
что дальше *не быть* уже не возможно,  
новремя топталось на месте и не

подоспевало, шло вспядь, на месте  
снова топталось, страшилось кончины,  
не наступая из чувства мести,  
ибо весомой *должна быть* причина;

\*\*\*

*есть* юная страна; скорее, проба,  
чертеж и набросок, шальная сила  
стучится в предсердь и следует в оба  
глаза смотреть, чтоб не шалила;

видимо, слишком она виновата,  
беспрекословно, навеки иначе  
чем оправдать, что убога, распята,  
вроде Стены, страна плача;

\*\*\*

*есть* горькая страна; которой *нету*  
дел никаких до того, кто в ней вдоволь  
поет страсть, как сладость, как медовую негу,  
кто за характер – сиротский и вдовый,

за хлебосольность красот и полезность  
потных хлебов, за удавку объятий,  
будто в горячке сердечной болезни,  
вместо любви ищет слов для проклятий;

\*\*\*

*есть* крестная страна, скопившая были,  
гордынный запас соловьиных традиций,  
затем чтоб ее, как смогли, полюбили,  
когда Бог сподобил корнями сраститься.

P. S.

мы живем в той стране вопреки  
той, оставленной Богом стране,  
за ее и за наши грехи,  
и за то, что едины мы с ней;

наши годы, как хмель, веселы,  
наши девы не горше утрат,  
наши речи просты или злы  
и, как малые дети, кричат;

наши кости прочны на излом,  
наша вера нисходит на нет,  
вопреки, наугад и назло  
мы живем в той чрезмерной стране;

а с холмов ее вечной реки  
отпевают две тысячи лет,  
но мы выживем вопреки  
даже смерти, которой нет.

ВЛАДИМИР ИЛЬИН

## ПОИСКИ ПРОДОЛЖЕНИЯ

\*\*\*

В поисках просветления  
заглядываю за спины деревьев –  
ищу открытые пространства...

\*\*\*

Небо смотрит глазами звезд,  
Земля – глазами людей, растений, животных,  
глазами пустынь, морей, океанов, лесных озер и рек –  
пространство встречных взглядов,  
заселение Космоса продолжается...

\*\*\*

Все время хочется куда-то вернуться,  
вот именно – совсем не то, что повторить!  
Пока не вижу продолжения...

\*\*\*

Воины, янычары, похоже,  
которые атаковали Карадаг,  
окаменели, так и не добравшись до вершины,  
некоторые – в нескольких десятках бросков.  
Ах, как досадно, как отчаянно их жаль!  
Еще бы знать, чего они хотели?!.  
И, как всегда, ищу себя  
и человекоподобные камни.  
Находятся, обычно, подобные рыбам...

\*\*\*

Какой-то безымянный двухмачтовый парусник  
взобрался к полудню на горизонт моего  
взгляда,  
когда уставшее солнце безуспешно  
карабкалось в зенит,  
и оставался там, пока я смотрел на него,  
а когда перестал,  
он уплыл – в загоризонтное море...

\*\*\*

...в конце концов я догадался,  
что этот ветер – женского рода,  
женщина-ветер – кто еще,  
кто мог столь нежным быть, игривым  
и пахнуть яблоками, облаками?  
Кандиль-китайкой этот ветер я назвал!  
А ты все спорила – Кандиль-синап...

\*\*\*

Общение с небом продолжается –  
на уровне круглосуточных откровений:  
днем не могу взлететь, ночью – уснуть...

\*\*\*

Легкое повествовательное движение облаков,  
сосредоточенное возвышенное молчание неба –  
всеобъемлющий успокаивающий взгляд...

\*\*\*

Если долго стоять на виду у гор  
и только на них смотреть,  
можно стать... ну, если не горой, то камнем...

\*\*\*

Считываю следы ветра,  
оставленные на вогнутой поверхности неба.  
Ветер и не думает читать мои взгляды...

\*\*\*

Небо – небо невысказанного...  
Я... только пытаюсь...  
Лучше бы дети оставались детьми...

\*\*\*

В песочнике летних дней  
совсем забыл про осень,  
придумал беззимний год...

Помолчим до зимы, если хочешь –  
твои взгляды осенние буду читать,  
переводить на славянский, записывать...

\*\*\*

Находишь свою звезду,  
задерживаешь дыхание и...  
и по возвратному лучу  
легко взлетаешь  
из Киева – в космос!  
Тут главное – найти свою звезду...

\*\*\*

Перемещение в пространстве представлений  
не приводит, разумеется, к реальности,  
однако предостерегает, ограждает от нее...

## ТИШИНА

Незримая,  
многоголосая  
Себастьяна...

Глоток вечерней тишины,  
и ты уже сам – тишина,  
и слышишь ее, и слышат тебя...

Всю ночь расшифровывал тишину.  
Дождь не дождался меня  
и начал сам свое повествование...

\*\*\*

Идея любви  
является раньше самой любви.  
А потом...

## СЕМИСТИШИЕ

Октябрь –  
последнее тридцать первое,  
и ничего уже не изменить...

\*

Знаю теперь,  
где вся моя память –  
в последней тишине октябрьской...

\*

Тычусь головой в тишину – чтоб утешила.  
Плачусь. Тишиной хочу стать –  
теленком послушным при ней...

\*

Вдохнул ветер –  
прошелестел клен  
а я подумал – услышали!..

\*

Не говори, о чем сейчас думаешь,  
о чем не думаешь – говори.  
То, что само в тебе говорит...

\*

Иногда тишины – сколько хочешь,  
а бывает – своей не хватает,  
тогда не достает и слов...

\*

Не скажешь так, как тишина, –  
так чисто, честно и тихо.  
Прислушайтесь, прошу вас!..

\*\*\*

Место встречи, как сказано,  
изменить нельзя.  
Но можно изменить время. И встречающих...

\*\*\*

Я к земле припадаю, ты – к небу,  
потом – наоборот,  
потому и встречаемся...

\*\*\*

Смотри –  
небо глаза закрыло!  
Сегодня не полечу...

## АВТОБИОГРАФИЯ

(краткий курс)

Всю жизнь провел на одной планете –  
слушал небо и Днепр,  
Вас, Господи, людей, ...себя...

\*\*\*

Это моя звезда –  
в самом высоком небе!  
Или... или твоя?..

\*\*\*

Синдром внезапной младенческой смерти  
Земли –  
как следствие систематической симптоматики  
нечеловеческого образа жизни людей  
на протяжении, без малого, уже полутора  
столетий.  
И если мы не вернемся к себе...

\*\*\*

Последний глоток остывающей ночи.  
Палубная авиация готовится атаковать Солнце –  
самое время для бомбометания!..

\*\*\*

Все передал, что выстрадал, надумал,  
и расписался взглядом – в 3d-объеме  
угасающей ночи.  
Приняли, приняли, приняли!..

\*\*\*

Два слова осталось –  
*прощение и прощание.*  
Я знаю третье – *прочтение!*..

\*\*\*

Сон постепенно приобретает признаки не сна, а...  
Во всяком случае...  
И мне все чаще хочется не просыпаться...

\*\*\*

У Времени-реки – свои берега.  
Ты – на каком?  
Я – с тобой!..

\*\*\*

Происходит превращение –  
обычной жизни в отчаянье,  
за сорок лет земных до веры.  
*Contra Spem Spero?!*

\*\*\*

Всему, похоже, предшествовало что-то.  
А времени – что?  
Я тоже не знаю...

\*\*\*

Ночью, прислушиваясь к тишине,  
лучше слышу себя – ничего интересного,  
но многое – узнаваемо...

\*\*\*

Когда ничего не вижу,  
вижу глаза Неба.  
Хорошо бы, Оно – мой?!

\*\*\*

Этой ночью общение с тишиной  
завершилось её вопросом:  
– Ты хочешь ко мне?  
Я сказал: – Нет, еще нет,  
но ты мне нужна!..

\*\*\*

Когда ни ночь, ни день, какое время?!  
Ты говоришь неответом,  
я говорю – мое!..

Без островов и кораблей, какое море?!  
Ты... А я опять спешу:  
– Мое!..

\*\*\*

*Мирославу Лаюку*

Не думаю и не забочусь о форме,  
совершенно доверяю словам  
и формообразующей способности смысла...

\*\*\*

Соотнесение с солнцем светом  
начинается с его и моего восхода –  
ведь мы оба смотрим, при этом  
ничуть не мешает несоразмерность энергий,  
масс, расстояний пространства и времени,  
я – на майдане Земли, в основании Киева,  
а солнце... Но мы оба смотрим, и в этом –  
иерархия света, вечности, духа...

\*\*\*

Ты идешь по дороге сто лет своих –  
в поисках смысла.  
А мысли все – на обочине...

Будешь уходить,  
скажи,  
позови!..

Знаю дорогу,  
знаю, за кем иду,  
верю, что встретимся...

\*\*\*

Странно живем:  
все что-то всем должны,  
Один не должен – служит всем!..

\*\*\*

Прозрачная внешность весеннего неба  
предполагает бесконечно-голубую нежность  
Вселенной.  
Ну, не совсем, наверное, и так, однако!..

\*\*\*

Минеральный закат –  
цветá минеральные неба,  
больше всего – лазурита...

\*\*\*

Хорошее и есть лучшее.  
Но иногда приходит второе слово, третье...  
И совестно тогда расставаться с первым...

\*\*\*

Поле памяти моей – в шелках,  
а над полем белый аист –  
белый ангел Юлий-Май...

\*\*\*

А здесь в деревне тихо, как во сне  
а там, во сне моём, – как в детстве,  
в котором я нечаянно остался...

\*\*\*

Просыпаюсь в поле, в небе –  
когда как получится,  
иногда возвращаюсь, а иногда...

\*\*\*

Расстояние до войны?  
Меньше мгновения, как и до смерти –  
меньше мысли о ней!..

\*\*\*

День мигрирующих птиц,  
время отцветающих капитанов  
и таких же людей, рас- еще и потерянных...  
Совершенно не чувствую вращения Земли –  
ни вокруг солнца, ни своей наклоненной оси?!

\*\*\*

А это – мое море,  
все – в островах облаков!  
Я уже выбрал, а ты?!

\*\*\*

Корневая система неба  
дождями нисходит к земле –  
так вырастают деревья и люди...

\*\*\*

Когда знаешь, что подошла твоя очередь,  
становишься частью времени  
и уже никуда не спешишь...

\*\*\*

...и мысленно плыву – по правилам Днепра,  
порой лечу – на высоте, мне разрешенной небом,  
живу иль не живу – тут все определяет время...

\*\*\*

Веселые майские грозы –  
какой уже день не уходят,  
как будто тут и живут,  
место прописки – над Киевом небо  
июню, боюсь, не уступят!..

\*\*\*

Уходит постаревший май в первоиюнь.  
Но много ль с ним уйти охотников найдется?  
А тем, кто не готов, – как быть, с кем  
оставаться?!

### ОТ ГРОЗЫ ДО ГРОЗЫ...

Паузы между грозами  
заполняются ожиданием новой грозы –  
как встречи с новым существом,  
а также надеждой не встретиться ...  
В состоянии грозы и ожидания –  
от грозы до грозы, от тревоги к тревоге...

\*\*\*

Возвращаюсь к истокам –  
с каждым ручьем говорю,  
с каждым ребенком...

\*\*\*

Насмотрелся глазами – всё небо,  
оно в глазах и осталось,  
теперь – слепой, зато – небесный!..

\*\*\*

Трудные времена июньские,  
еще и грудные –  
сердце болит и в тревоге душа...

\*\*\*

Я – первый,  
кто заговорил об энергии времени,  
и я же – последний,  
но она, энергия времени,  
и сказанное мною о ней остаются...

\*\*\*

Пришло время учить язык птиц,  
легких белых облаков и звезд.  
С кем же еще разговаривать в небе?!

\*\*\*

А после войны,  
чем бы не завершилась она,  
душе моей кто помешает  
свободно летать над Майданом, Днепром,  
Черным морем, Волгой, Байкалом?..

## ФЕЛИКС ЧЕЧИК

### САМОМУ СЕБЕ СИНОНИМ

#### НА ПЛЯЖЕ

Я приручу волну,  
как жеребенка глядя,  
и ласково кивну  
беременному дяде,  
что, лежа на песке,  
потягивает пиво,  
мечтая о треске  
и требуя прилива.

\*\*\*

ни облака на небе  
ни тучи на душе  
и о насущном хлебе  
не думаешь уже  
а думаешь о том лишь  
чего на свете нет  
но почему-то помнишь  
его нездешний свет

\*\*\*

куда же ты постои  
ты человек не птица  
из клетки золотой  
и в небе раствориться  
стать небом тишиной  
и мыслью о побеге  
где в колыбели ной  
и космонавт в ковчеге

\*\*\*

распятый в небе самолёт  
уже который день  
летит как будто слёзы льёт  
оплакивая тень

точней отсутствие её  
что означает тьму  
и вечное небытие  
и посох и суму

\*\*\*

Не участвую в хоре,  
исцеляюсь от злости,  
и на солнце у моря  
грею старые кости.

Не нарадуюсь гею  
и еврею и гою, –  
где хочу там и вею,  
где хочу там и вою.

\*\*\*

Господь, не приведи,  
во сне услышав слово,  
проснуться посреди  
безмолвия ночного, –  
и больше не заснуть,  
и, чтобы сердце пело,  
как в градуснике ртуть  
в безмолвии предела.

1961

Полубденье, полудрема,  
полусын, полуотец.  
Цифрового палиндрома  
бесконечность и конец.

Что ж, верти и так и этак,  
и не бойся выйти вон  
до того, как брызнут с веток  
стаи певчие ворон.

Пусть завидуют погодки,  
наблюдая по tv,  
погружение подлодки  
в океан Его любви.

\*\*\*

М.-А.Меламед

Покуда жил, пока  
жизнь представлялась длинной,  
смотрел на рыбака,  
стоящего над Пиной.

И принимал за клев  
обманчивые ряби,  
и ставил на любовь  
и наступал на грабли.

На тополях, вот-вот  
воспламенится вата  
и не погаснет от  
рассвета до заката.

И опадет листва,  
и занеможет вьюга,  
и мы, как дважды два,  
найдем с тобой друг друга...

С тех пор прошли века,  
невидимые глазу,  
и больше рыбака  
я не встречал ни разу.

Мой незнакомый друг, –  
надежда и отрада,  
ты удочку из рук  
не выпускай, не надо.

Пусть удочки полет  
над Пиной вечность длится,  
и ветер в ней поет,  
как на рассвете птица.

\*\*\*

Учиться влом, в любви облом,  
курить по кругу за углом, –  
и на линейке быть распятым.  
И чувствовать себя битлом –  
незримым пятым.

Слесарить, и качать права,  
и водку запивать чернилом.  
И аты-баты и ать-два  
в ЗаБВО метельном и унылом.

Но не подсесть на озверин  
от жизни брэнной или бранной,  
и петь про yellow submarine  
бурятке Йоке полупьяной;  
и снова ощутить – незрим, –  
в своей стране, как в иностранной.

Молчи, скрывайся и терпи, –  
живи бездарно и безбжно,  
пускай подлодкой на цепи,  
но только желтой, если можно.

С самим собой на интерес  
играй безвыигрышно и сонно  
под куполом чужих небес,  
где будущее невесомо,  
и получи вдруг смс  
от Джона.

\*\*\*

Вода точила камень,  
и превратила в нож,  
что голыми руками  
не очень-то возьмешь.

С восторгом страсготерща  
его пригрею я  
за пазухой у сердца,  
как сирое дитя.

\*\*\*

Прости мне, Господи, стихи  
во время боя, –  
они беспомощно тихи  
и громче воя.

Они, конечно, про любовь  
как таковую,  
а не про то, как льется кровь  
на мостовую.

\*\*\*

Мурашки-муравьи, –  
земляне и собратья,  
придите же в мои  
раскрытые объятия.

Нам с вами по плечу  
заоблачные дали!  
Топчу, топчу, топчу,  
пока не растоптали.

\*\*\*

твое из прошлой жизни фото  
где ты в змеино-черном платье  
как па-де-де из «дон кихота»  
барышникова в третьем акте

вдруг выпавшее из альбома  
летит не ведая износа  
на фоне неба голубого  
и дульсиной из тобосо

\*\*\*

Как самому себе синоним,  
соображаю на троих  
за праздничным потусторонним  
столом родителей моих.  
Отец – по левую, а справа –  
мать, и по телеку парад;  
и тает, тает переправа,  
и больше нет пути назад.  
А я и не хочу обратно,  
и буду с ними до утра,  
где папа мне заместо брата,  
а мама – старшая сестра.  
Уже не надо торопиться  
из ниоткуда в никуда,  
покуда спит ночная птица  
и светит на небе звезда.

## РАФАЭЛЬ ШУСТЕРОВИЧ

### АЗУЛЕЖУ

#### OCCASIONAL TATTOO В ТОЛПЕ

Одуванчик на правой лопатке  
Мелькает, играет в прятки.  
Нырнёт, задрожит, поманит,  
А то замрёт, перестанет.

Орнамент, татуировка,  
За ляжкой прячется ловко,  
Туманные шутки шутит,  
Туманный пасёт парашотик.

Летят парашюты с экрана  
Значками с ногного стана,  
Сиреневым по молочным  
Полям, примечаньям подстрочным.

Мерцающий одуванчик,  
Исчезнуть ему не давайте  
За сомкнутыми плечами  
Процессии чрезвычайной.

Гербарный, тон азулежу,  
Простишь ли меня, невежу?  
Из памяти не изглажу  
Случайную эту кражу.

### AZULEJO

Голубое и белое, белое, голубое,  
Каолин и кобальт в первом культурном слое,  
Это сцена охоты, сцена вступления в город,  
Это небо и облако, неба и облака стговор.

Голубое и белое, пир ли, война, забава,  
Голубое слева и, соответственно, справа.  
Это музы и ангелы, листья, цветы, собаки,  
Палачи и святые, трюкачи и зеваки.

Над негтуновой бездной движутся галеоны,  
За серебряной ложкой с ветки следят вороны,  
Персонал на вытянутых несёт перемену,  
Аристиппу местных роц посвящая сцену.

Выползают на волю лозы пещер Нерона,  
Если время есть – оно исключительно оно.  
Заводские печи множат и множат сущность.  
Голубое и белое, глина, куда ни сунуть.

Обживайте гратиккулы, резвые и менады,  
Голубое и белое светит в иллюминатор,  
И покоен взгляд на подпухших глазурных рожках,  
И вопрос «зачем?» давно не тревожит прохожих.

### ЛИЗЕТТА

Свет  
пронизывает границу двух сред,  
двух времён пронизает границу,  
несостоятельный,  
но амбициозный поэт  
переворачивает страницу.

Тень кружевная  
осеняет шитьё,  
словно коляску младенца,  
и другая швея,  
иглой у неё –  
жалящий луч, каленция.

Ниткой двойной  
размечается зной,  
током незримым простёгивается,  
но ещё не кончен урок дневной,  
история затягивается.

Благословенны шьющие,  
за рукодельем поющие,  
соединяющие ткань и ткань,  
благословенны склонившиеся,  
тем более – плывущие,  
сколько ты их не тирань.

\*\*\*

поёт ли ласточка в полёте  
поёт ли

поёт ли ласточка во сне  
в гнезде застывшем на стене  
в гнезде застывшем на дому  
где мы переживаем тьму

поёт ли ласточка когда  
она исчезла из гнезда  
птенцов оставила и вот  
поёт

## СОБИРАТЕЛЬСТВО

Боги, обжигающие горшки,  
Сеющие черепки по холмам,  
Собирающие вершки,  
Где корешки достаются нам,  
Куда вы глядите, когда грядёт  
Очи долу небольшой человек –  
Неустановленный Геродот,  
Полуневидимый няряк,  
Бормотатель волшебных слов,  
По карманам – черепковый улов?

Он пожинает византийский посев,  
Пересыпает персидский прах,  
В сердце – лев и сердце – лев,  
Слова сосновые на губах.

## ПЫЛЬ

Взглядом скитайся по зазеркальям,  
словно маршпан по стылым мансардам  
нищих художников, ждущих славы,  
пусть презираемой – вождельенной.

Автопортрету за амальгамой  
смейся, покуда он существует  
в воображении этих стекол –  
в темных ущельях, сырых туманах.

Что тебя манит, каких сокровищ  
ты добиваешься, странник несытый,  
по закоулкам, где свет поставлен  
самым безумным из режиссёров?

d581

Шуберта играют. Кажется, анданте.  
Кто не понимает, надо бы понять.  
Всё возьмите, Шуберта отдайте,  
Пусть плывёт по водам или вспять.

Сколько теперь, по клавиатуре,  
Сколько теперь, смычком по струне.  
Вдоль ручья по тропке, во поле, в порту ли,  
Но по звуку, как по волне.

Вот опять ближе, схватит-отпустит,  
Вот опять напомним, кто его слышал.  
Головы не чешет, парика не пудрит,  
Юный да ранний, мёртвый нахал.

Пробуйте, журчите, вы теперь свободны,  
Пробуйте, летите, вы теперь ничьи.  
Пальцы, струны, холодные колонны.  
Прозрачные птицы, светлые ручьи.

## РЫБА

(МАКС БЕКМАНН)

Ясное дело рыба:  
рыба – фаллический знак,  
высунет круглое рыло –  
и пропадает за так,

распроцаешься с берегом,  
разменяешься с Берингом.

Рыба подмышкой, рыба в руке,  
рыба с мальчишкой на холодке,  
рыба с медведем на перекате,  
со стариком – три дуба в обхвате,

рыба-жестянка, рыба-луна,  
рыба – морзянка с тёмного дна,  
рыба  
в символической сетке,  
ужина  
золотые обьедки.

## САНТ'АГАТА ФЕЛЬТРИЯ

Дом богача, дом бедняка,  
церковь, башня, река,  
рынок, замок, дремучий лес,  
хижина рыбака.

Ручка крутится, ворот скрипит,  
следующий пейзаж.  
Рабочий сцены – он не спит,  
он даже впадает в раж.

Восемь рядов, бирюзовый плащ,  
в каждом ряду шесть мест;  
каждый играющий жизнь неукложд,  
скоро ему надоест.

Вертят ангелы небосвод,  
судьбы тасует рок,  
рабочий вытаскил бутерброд,  
что он себе приберёт?

Бледная дева, румяный князь,  
ведьма, ханжа-монах  
перебивают друг друга, смеясь,  
плача, скрывая страх.

Сон бедняка, сон богача,  
замок, рынок, река,  
дом врача, дом палача,  
хижина рыбака.

## ОТАРА

бурьян атакуют овцы  
овец атакуют цапли  
коршун целит в цапель  
царствуй коршун царствуй

нищий герб пустынных вещей  
серединного моря прана  
цапля выклёвывающая клещей  
из взъерошенного барана

## ПЕРФОРМАНС (ЙОЗЕФ БОЙС)

этот лётчик падал с неба  
прямо в крымскую пургу  
рана лютая краснела  
на лавандовом луку

войлок сало сало войлок  
бред тевтонских октябрят  
первобытный мёрзлый творог  
из которого творят

так пикируют икары  
молодёжных мелодрам  
и бэкграунд вечной свары  
вырывается из рам

степь огонь лепёшка камень  
камень войлок степь огонь  
кто прикован кто прикаян  
кто пылает только тронь

снись юнцу снежок уютный  
спесь спасённого гонца  
снег уютный свет попутный  
пепла жидкая грязца

## FOUND

На свалке металлического хлама  
Найдём предмет на два-три килограмма,  
В нём по завету бедного Дюшана  
Отыщем элементы содержания.  
Приставим шестерёнку и рессору,  
Неявно воплощающую ссору,  
Струбцин эксплуатируя фактуру,  
Дадим им олицетворять культуру,  
Клубок колочей проволоки – этим  
Любви бессменной сложности отметим.  
Блажен тот мир, где ты во всякой дряни  
Предполагаешь тайный смысл заране,  
Где ты на складе мёртвого металла –  
Как будто бы одной природы мало –  
Найдёшь объект, подобный странной формой  
Прошедшей жизни – взвешенной, повторной.

## SKILLS

Случается, изобретёшь систему  
бессмертия – и носишься, как с торбой  
повапленной, и слушаешь с высот  
аплодисменты Одена и Фроста,  
и дантовы конструкции дрожат  
от восхищенья, и Фальстаф хохочет,  
и чепет пятку буйный Ахиллес.  
А ты меж тем изобретёшь другую  
систему – и несёшь её, как торбу  
повапленную.

## УТРО

Раз в триста лет находится отшельник  
и ворон на отшельника. Раз в триста,  
нет, в тыщу лет, находится ломоть  
увесистый – его приносит в клюве  
казённый ворон. Скажем, чёрный ангел,  
назначенный присматривать за тем,  
кто по утрам не ведает в пустыне,  
с чего начать, умывшись у ручья,  
день дармовой. Счастливым день студёный.  
День жаркий, день дождливый, грозовой –  
ломоть случайной, ненасытной жизни.  
Итак – рассвет, журчание ручья  
в промоине навстречу Иордану –  
и ворон на подлёте. Вот его  
привычный груз. И можешь быть уверен:  
для ворона день даром не прошёл.

## ИГОРЬ КАРАУЛОВ

### СТАНЦИИ

#### ЗЕМЛЯ

Мы новую землю добыли в бою,  
я старую землю в тебе узнаю,  
забытую прежнюю землю сырую.  
Украдкой ее отсыпаю, ворую.

Когда барабанщик молотит зарю,  
на старую землю я тайно смотрю  
глазами студентов-самоубийц  
и траурниц, падающих ниц.

На мыльные пленки фонарных садов,  
промоглой Мясницкой и Чистых прудов.  
Стучат молоточки восточного кофе  
про дружбу, зарытую в братском окопе.

Я здесь обживаю стеклянный ангар,  
я звездного хора теперь кочегар.  
Две тысячи солнц я отправил в утиль,  
чтоб свет надо мною турбину крутил.

Но жжется в кармане и в сердце болит  
земля фараонов, земля пирамид.  
Я землю с тебя отираю рукой.  
"Какую-такую? Не помню такой".

#### БРАТЬЯ

Имя, какое мне имя?  
Точно ли я человек? -  
всеми перстами своими  
с дьяволом братья навек.

Будто держались за ручки,  
слитно кружась на балу.  
Будто столичные штучки  
нам рассыпали хвалу.

О, этот миг нареченья,  
цепких наручников щёлк.  
Русское имя! – зачем я  
русский от пяток до щёк?

Русский, как вольная воля.  
Русский, как ветер и снег.  
Так и останемся, что ли  
с дьяволом братья навек?

Из заальпийских италий  
все воротятся войска.  
С дьяволом мы побратались,  
слышали звон пятака.

После чужих косогулов  
перемахнём через холм.  
Дьявол, безумный Суворов,  
чёрным кричит петухом.

#### АХАМОТ

Износилось пальто на вате,  
прохудился небесный свод,  
и в заброшенном автомате  
плачет девочка Ахамот.

Дождь стучит в пожилой посуде,  
жизнь – отлучница от груди  
гонит в дом, где чужие люди  
и нелепые бигуди.

За стеной замолчит пластинка  
и возьмется визжать кровать.  
У сиротки в кармане финка,  
очень хочется убивать.

Может, завтра уронит вазу,  
пустит пепельницу на слом,  
и наутро, никак не сразу,  
будет выставлена с узлом.

Но не век обниматься с горем:  
время парусу и веслу,  
и учитель за южным морем  
славно выучит ремеслу.

Там, где стены стоят, как горы,  
и подбородки острее скалы,  
и в вышине, заглушив моторы,  
словно грифы, кружат орлы.

#### fm

Не хочу твоих веселых песен,  
дорогое радио FM.  
Ты поставь мне песню грустную,  
безнадежную совсем.

Песня старая турецкая  
вьет веревку из меня,  
свету белому нерезкому  
несомненная родня.

Я боюсь, FM, твоих цикад,  
и твоих обнов, и перемен,  
и назад за песней, как солдат,  
иду в турецкий плен.

## e la nave va

А корабль летит, а море идёт ко дну,  
аргонавты дуются на жену,  
на всех одну –  
проклинала, махала скалкой.

Упадает в пропасть и дом, и священный лес,  
и мой зябкий Ёлк, и твой, брат, Пелопоннес.  
А скажи, Оганес,  
никого, ничего не жалко?

Были мы пиратами на морях,  
были мы солдатами в лагерях  
и на всех пирах неряхами из нерях –  
ели-пили-срали.

А теперь летим на Вояджере Один,  
разрывая носом чёрные пасти льдин,  
и в шестом отсеке сломан гетеродин,  
и конец морали.

И нам тоже конец, недалёко, за той чертой,  
но корабль летит, отчаяньем налитой,  
будто шарик из песни той,  
вдоль кометной тучи

туда, где тусклой овчинкой горит руно,  
и на нем грузины – чистое мимино –  
возлежа, из кратеров жаркое пьют вино,  
но армяне лучше.

## МАГОМЕТ УЕХАЛ

Русская воля. Русская смерть.  
Русское поле, гниющая снедь.  
Картофель, морковь, репчатый лук.  
Некому взять этой почвы тук.

Магомед уехал в Азербайджан,  
а Иван детишек не нарожал.

Не сжаты нивы, пусты элеваторы,  
зато размножились арт-кураторы.  
Там, где бурлила овощебаза,  
постмодернизма цветет зараза.

Магомед уехал в Азербайджан,  
а к нам не приехал ни Поль, ни Жан.

Приехал один Жерар.  
С Жерара стекает жир.  
Какой от него навар?  
Совсем он левый здесь пассажир.

Магомед уехал в Азербайджан,  
будет кушать сахарный баклажан,  
давить гранат, уминать хурму,  
помидоров не повезет в Москву.

Россия рушится во тьму!  
Россия рушится во тьму!  
Голод - русская идея -  
объединяет скина и гея.

Магомед уехал в Азербайджан.  
Нурахмет уехал в Узбекистан.  
Зульфия, где Киргизия твоя?

Рафик уехал нафиг.  
Ваха удрал от страха.  
Ильяс отчаянно жмет на газ  
на пути в Магас.

Мириады галактик бегут от нас,  
разлетаются в гиперпространство  
и Чингиз, и Олжас,  
и нойонство, и байство, и ханство.

И сквозь пустое русское Бирюлево  
сокрушенно шагает Слово.

## ОСТРОВ

Что ты делаешь, послушай?  
До чего себя доводишь?  
Жизнь уже не будет лучше.  
Лучше может быть погода.

Если сложится погода,  
мы пойдем на дивный остров  
шоколадного завода  
возле каменного моста.

Ты его не видел раньше,  
тратил время, делал деньги.  
Мы отыщем ресторанчик  
у кирпичной бурой стенки.

Там тепло и город глуше,  
не скребет стекло по жести.  
Там названья разных кушаний  
рифмуются по-женски.

Ты промолвишь «хачапури» –  
и откликнется кахури.  
Ты прошепчешь тихо «пхали» –  
и ответит цинандали.

Тьма уляжется над нами  
мохнолапая, ручная  
и засыплет именами,  
будто хлопьями до мая.

Я их не запоминаю.  
Я не знаю, кто хозяин.

Иногда выходит в зал.  
Дым, как галстук, повязал.

## СТАНЦИИ

Эти станции ловятся как голавли,  
терпеливый мартышкин труд.  
Представляешь себе, Анджелина Джоли  
и Бред Питт все равно умрут.

Они будут целую вечность любить друг друга,  
поменяют себе суставы, глаза и почки  
и еще одну вечность будут скакать по кругу,  
невозмутимые, как цирковые пони.

Вот он крадется к ней в меховых тапках,  
и она встает с постели, в лучах тая.  
А умрут они - от перебоев в поставках  
запасных сердечных клапанов из Китая.

А мы с тобой не Бред, не его лахудра,  
вообще не звезды сраного Голливуда.  
Мои все лежат в Царицыно. Это мудро.  
Мы скоро туда придем и устроим чудо.

## АННЕТ

Где помнили ту девочку босой,  
с игрушечной, под Палех, поварешкой,  
там нынче ходит женщина с косой.  
Как звать ее? Что стало с нашей крошкой?

Давно не видно пухленькой Аннет,  
похожей на кулечек с мармеладом.  
Не слышно деревянных кастаньет,  
и юбки не шуршат вишневым садом.

А незнакомка — если где взмахнет  
своим корявым, варварским орудьем,  
там исчезают дом и огород,  
и рыночек с соседским многолюдьем.

Исчезла школа, как и не была,  
библиотека имени Неруды,  
а вместо них — не кучи и не груды,  
а лаковая черная смола.

Я выжила, я просто подросла,  
я вырвалась из куколки-Аннеты.  
Меня не отражают зеркала,  
но в вещмешке я прячу кастаньеты.

Я ухожу в межзвездные войска  
и прошлое стираю для порядка.  
Пусть остается чистая доска,  
пером не оскверненная тетрадка.

Когда же первый вересень придет  
и в пустоте появится учитель,  
я все верну, вы только постучите.  
Тук-тук. Пора начать учебный год.

## ПЯТНИЦА

Я трижды совершил проклятое предательство,  
я дядей был, а дяди любят яд.  
И вот настала пятница, тринадцатое:  
они меня казнят, они меня казнят.

Щекастый принц, уж утопивший фрейлину,  
двух корешей пославший под топор,  
поглаживает дедовский пристрелянный  
«макаров» и читает приговор.

А вы-то что молчите, люди ратные?  
А ты, родная братняя жена?  
Но отвернулись очи ненаглядные  
и падают в стакан, как ордена.

В конце концов, не в том ли участь дядина,  
чтоб в ранний час, несчастного числа,  
в дверь колотили «просыпайся, гадина»  
и утренняя свежесть горлом шла?

## СУМЕРКИ

У нас будут целые сумерки, целые вечера:  
жужжание жука и жалоба комара.  
Сиреневые кусты, лиловые небеса,  
до станции полчаса, в варенье плывет оса.

Оклеенные газетами, стены сквозят дождем,  
взлетающими ракетами, боями за Сайгон.  
А я ничего не помню, ни музыку, ни слова.  
А ты накрой сачком меня, я мертвая голова.

Я буду твоя дивизия, разбитая в пух и прах.  
Закрученная провизия на полках и в сундуках.  
Вот мой пластмассовый ножик, на нем кровь стрекоз.  
Вот кладбище косиножек, здесь все всерьез.

А утром ахнем от синевы, пойдем в кинотеатр «Союз».  
Сегодня «Всадник без головы», я снова его боюсь.  
Там висит белое зеркало, от гардины к гардине,  
и никакой лазейки нет, чтобы сбежать посредине.

## ПЕРСИДСКАЯ МЕЛОДИЯ

Я иногда улавливаю голос  
сквозь шинный шум и грохотанье фур  
и снова вижу свой заветный город —  
Гондишапур.

Железными шкатулками с чеканкой  
дома стоят, дома кричат в тисках.  
Я был знаком с забавной персиянкой,  
она рассыпалась в моих руках.

Змеиный яд мы пили из колодца  
и грызли черствое подземное стекло.  
Однажды в небе выгорело солнце  
и больше там не рассвело.

Я помню войско с черными щитами,  
в кирасах из драконьих шкур.  
На башне поднял пепельное знамя  
Гондишапур.

А я – беглец? Не помню, чтоб бежал я.  
Скорее, умер я во сне.  
Зачем иначе скорпион оставил жало  
в моей спине?

Я счастлив здесь, в меня вбегают буквы  
на муравьиный водопои.  
Порой я чувствую себя, как будто  
я муравейник, улей, рой.

Но прежней жаждой тут же я расколот,  
напорот на ее шампур.  
Пусти меня, мой гордый, горький город  
Гондишапур.

Я всё слежу за гранями кристалла,  
за пляской войн, земель, огней.  
Как может быть, что смерть уже настала,  
а мы живем теперь и в ней?

Живем, живем, сжимаем мир до точки,  
живое солнце бьем в висок.  
Но я на сердце, в шелковом мешочке  
храню песок.

ГАЕБ СИМОНОВ

## СТЯНУТЫЕ ТЕКСТЫ

\*\*\*  
не отказаться построить церковь  
(как отказаться построить церковь?)  
но вместо этого предпочесть  
серию каменных ровных простых колонн  
непримечательных средних не слишком ярких  
не задающих совсем никаких вопросов  
просто стоящих немного неровным строем  
где-то у пыльной пригородной дороги  
так что их вид предлагал бы замедлить скорость  
но не настолько чтобы остановиться.

\*\*\*  
точное время  
следующая станция  
к пятому терминалу

\*\*\*  
снаружи от темноты -  
абсолютная видимость, дилтих  
прямоугольного интерьера;  
где (по мотивам  
реальных событий)  
вновь проверявший  
собственные следы  
вот-вот находит в гостинной  
пятую сухопутную милю.

\*\*\*  
вкус  
собственного языка

ни проглотить  
ни выплюнуть

\*\*\*  
пустырная полынь  
ветреная полынь  
разрозненный первоцвет  
беспорядочные восковницы  
бледные матовые  
незакрашенные края  
листа акварельной бумаги –

столь же неубедительными  
выглядят и другие догадки.

\*\*\*  
ни разу не сделав шага  
за белую простыню –  
что ещё? – спрятавшись  
с самого-самого края,  
лишняя ниточка  
в складках подола  
шепчет мелкую вязь  
из игольного где-то,  
куда-то ещё.

\*\*\*  
подземные птицы гнездятся в корнях дубов

\*\*\*  
и лет спустя выясняешь  
что твою бывшую учительницу французского  
языка которая ставила тройки ставила  
двойки пытаясь учить тебя французскому  
неинтересному тебе языку что ты потом  
всё равно забудешь ради немецкого сбита  
машина  
в Париже.

\*\*\*  
разбирая тетрадь –  
не на слова разбирая на  
скобки страницы и плёнку –  
отмечаешь  
ветхость  
тонкость  
краткость бумаги  
как будто уже содержащие в себе  
(преждевременное?) –

зимняя набережная;  
чаячий круг –

кто-то подходит к окну;  
кто-то машет руками.

\*\*\*

где-то внутри собаки уже находятся кости  
и треугольник случайного света  
проникший сюда сквозь щёлочку  
между окном и соседним домом  
это и есть –

ЕЛЕНА ГЕНЕРОЗОВА

## ДОСТАНЕТ ДРОВ И КОЛДОВСТВА...

\*\*\*

Покудова не пора – спи, тебе не ещё.  
По чаркам дней разливать рассвет не пора,  
Мария влюбилась. Вроде не горячо –  
Что были здесь, не пустились прочь со двора,  
Не след по синему снегу, не все цвета  
Теперь поменяло небо, сто лет подряд  
Спи-почивай, отчётливей лишь беда –  
Мария влюбилась сызнова, говорят.  
Содеялось, что и править, когда сама  
Мария влюбилась, – не верится, не с руки,  
Не истончился наст на склоне холма,  
Не просыпайся, время прибереги  
На пару часов до утра, на два шага  
До окончания снов, как водится, клином клин,  
Ещё спозаранку не выбила свысока  
Тетушка Марта снег из белых перин,  
Пока ты спишь, не шум надоевший зов  
Колокола воловьего – спи веселей, –  
Не ветер в ивах, кинописью следов  
Не разузорил ворон холсты полей,  
Спи налегке, покуда рекам вода  
Не вскрыла вены, синие ото сна,  
Пока ты спишь и снишься мне иногда,  
Пока влюблена Мария, пока весна.

## ПОЖЕЛАНИЯ

Твоим – еще веселья, приоткрой  
Хмельному Санте – свистнет в медный рог,  
Мешок со смехом свалит на порог –  
И на покой.

Тебе самой –  
Тепла из шерсти коз,  
Из кос с колен для молодых козлят.  
С невидимой руки  
Выгуливает пары Внук Мороз,  
И шрамы от коньков всю ночь болят  
Под рукавом реки.

В краю где спят, где в долгой вышине,  
В хрустящих кронах зреют снегири,  
Гостинца жду для декабря внутри:  
Оставишь мне

Белил для грунта, угольной сурьмы,  
Чтоб свежей кистью, вне земных чудес,  
Вне долговой тюрьмы,  
На цыпочках войти в притихший лес  
Со словарем зимы.

\*\*\*

*Три лилии, лилии три у меня над могилой...*

Г. Аполлинер

Когда я жила, я не думала, что говорю,  
Слова расточая, что дождь, убежала вода  
В бездонное русло подарком чужому царю,  
Не вняв сердцевине вещей, не оставив следа,  
Казалось, что все впереди, подвело естество,  
И я умерла, не успев рассказать ничего.

И, как скорлупа, раскололась моя голова,  
Дав волю ростку – протянулся, наверх торопясь,  
Звеня на ветру, лепеча, подбирая в слова  
Забывшие звуки, и листья раскинули вязь,  
И светлая липа, густая, прямая, как меч,  
Шумит у меня над лицом, словно горькая речь.

И солнце кружилось, и вишни бывали в цвету,  
Но не было имени слышать, кто вдруг позовет,  
И облик, что облако, всё исчезал на лету,  
И жизнь пробежала служанкой с корзиной забот:  
Никто не заметил, когда я была молода,  
Никто не заметил, куда я ушла навсегда.

Но красные маки растут у меня на груди,  
Чтоб ёкало сердце и радость жила в рукаве,  
Костры лепестков маяками горят впереди  
Дороги домой, пролегающей в долгой траве:  
Гляди же, прохожий, моя расцветает душа,  
Какая при жизни ничем не была хороша.

И выпцвели старые туфли, раскрылась земля,  
Сосна проросла, там, где были когда-то стопы,  
Стрелой до небес, словно мачта того корабля,  
Что был бы моим, если б дунули ветры судьбы,  
Но ветры молчали, моя не ступила нога  
За круг, где бы не было видно огня очага.

Назад не смотри, не увидишь за давностью лет  
Что было вчера или дальше в твоём забытии,  
Страна небольших расстояний, наборы примет –  
Для тех, кто уснул – золотые границы твои  
Не там, где могильные доски промыты ручьем,  
Не там, где вершинами гор проступил окоём,

А там, где их нет, и надорван убогий покров,  
Где, видя свое отраженье в небесной воде,  
Усталые звезды, рабочие пчелы миров,  
На ощупь стремятся искать продолжения, где  
Язык развязало мне дерево, сердце цветёт  
И тень от сосны отправляется в дальний поход.

\*\*\*

*Там – липа цвела...*

Улдис Берзиньш

В этой книге темного переплета  
Дверцу откроешь – выпадет, что придется:  
Травяное сердечко, ломкий гербарий.  
Выскользнуло из пальцев легкое что-то  
На колени, на дно колодца  
Золотой трухой, сказками в старой

Мельнице у воды – весела, говорлива,  
И у ручья ждала совсем не подруга  
(Перечти, потом снова начни сначала),  
Там к заутрени медные переливы,  
Там – липа цвела, там пришла как-то утром с луга  
Ноги в росе, передником вытирала.

Перебери по буквам случившееся не с нами –  
Свадьбы, причастия, что там еще было,  
Похороны, крестины, новые лица –  
Пальцы жгло невиданными цветами,  
Спрятать куда бы, между листьями вложила,  
Да позабыла в хлопотах, где хранится.

Пробеги еще небо и землю взглядом  
По берегам и дождю ныне и присно,  
Перелистывая года, привыкая к боли,  
Знаю конец – постареет твоя отрада,  
Высохнет цвет между страницами жизни,  
Библия ли, лечебник, не все равно ли.

\*\*\*

Покуда заметён порог и робок свет в окне,  
Давай-ка испеку пирог, оно не трудно мне  
Попуровать в большой печи, у нас под Новый Год  
Такие, Господи, харчи, что всяк об этом помолчи  
Покуда снег идет.

Пока чудит мороз, пока зима, как прежде, зла,  
Немного соли, молока, воды и ремесла,  
Пока сомненья правят бал, согреет мой пирог  
Тех, кто дорогу потерял и на ветру продрог.

Я знаю, всё не превозмочь и у судьбы для нас  
Найдется бед на злую ночь,  
На день кривой, на тень горой,  
На каждый новый час,  
Но угли жгут, пускай их свет попробует вернуть  
Тех, кто забыл в круженье лет, куда он держит путь,

И, если минует гроза, все будет, как теперь:  
Испечь пирог, погладить пса, открыть входную дверь  
И всех друзей в заветный срок собрать  
за старый стол –

Таков пирог, простой пирог  
Ваниль в нем, вишни и творог,  
Попробуй, кто пришел! –

Таков пирог, под теплый кров он собирает в круг  
Всех – молодых и стариков, детей, собак и слуг,  
Нетрудно мне, на раз и два,  
Здесь, в две проворные руки,  
Зимой, на склоне дня –  
Достанет дров и колдовства,  
Корицы, яблок и муки  
Для моего огня...

КАТЕРИНА КАНАКИ

### THREE LETTERS AND ONE FAREWELL

I

Не для того, чтобы ты перечитывать мог,  
не для того, чтобы мой ускользающий опыт  
выше парил, ухватившись за тонкие стропы,  
дольше себя от касания бездны берёт –  
нет, написать только, чтобы не сдерживать вздох,  
строгим лицом не обманывать воздух дразнящий,  
чтобы смеялся над нами неведомый бог  
звонче и слаще.

Детское царство, беззлобный младенческий смех  
в самом начале, до всех расставаний, до всех  
аэродромов, вокзалов, гостиничных комнат.  
Ты и не вспомнишь, а мне было странно припомнить,  
что я писала тогда о себе и тебе –  
или не я, а какой-то блаженный и дрёмный  
розовый плод в кровеносном живом пузыре.

Как он мерцал сквозь утробные мутные воды,  
схожий со мной, но ещё безымянный, ничей,  
так и сегодняшний образ мой – только зародыш  
завтрашней тени моей.

В самом пустом, что нам только способно присниться,  
истины больше, чем в наших прижизненных лицах,  
нежно-невнятных для наших прижизненных глаз.

В чём мы свершимся, что полностью выскажет нас –  
мёрзлого грунта слежавшийся старческий пласт  
или июль подростковый с фруктовой оскомой,  
сумма цветов, полыхнувших в дневном мираже,  
или бесцветный, беспамятный нуль невесомый –  
губы гадают, а мысль не гадаёт уже.

II

Взглянешь себе на ладони: морщинки, бороздки,  
Рябь искажает, незнание – застит черты  
путаных знаков. Что было в их первом наброске?  
Знаешь одно: эти линии старше, чем ты.

Разум – неважный ныряльщик, но всё же приносит вешку за вешкой, щепу за щепой.

Вспомнишь, как реки и скалы  
роднились с ещё-не-тобой,  
как от отчизны к отчизне  
шли племена по обугленной шкуре степной  
мимо ещё-не-тебя, рассыпая свинцовые брызги.

Кажется: вот оно, рядом. Покрепче всмотришься  
в буквы и камни, и долго плутовавшая мысль  
больше себя не обидит, –  
двинется вверх, и с орлиного пика увидит  
всю ойкумену судьбы.

Но – наклоняешься к книге и плавишься в лаве имён,  
лиц не имеющих; выйдешь курить на балкон –  
тратишься в солнце материи, в сладких напыльвах,  
вовсе лишённых названий. Кровинка бездумного *ich*  
катится в заросли, прячется в травах густых,  
каждая блёстка спешит преломить перспективу  
целой истории, множится нежная ложь,  
слой мотыльков и пыльцы застилает чертёж,  
памяти труд кропотливый.

Кто-то сказал, что в одном раскрывает земля  
смыслы неписанных хроник:  
в трении тел. Но и этого тоже нельзя.  
Если бы дольше скользила ладонь по ладони,  
если бы пальцы надёжней сомкнуться могли,  
клейма времён, проступив из неназванной мглы,  
в ясные строки сложились бы, видные глазу.

Нет, никогда. Всё дымится, мутнеет, кровит.  
В тусклом пожаре невидимы наши алмазы.  
Линии жизни, затёртые древние сказы,  
только туманней от морока этих обид.

### III

Вот что мне нужно: сказать о твоей нагоде.  
Камень и молния, уголь и пух тополиный –  
всё на земле приучилось к вульгарной латыни  
слов человека, к заносчивой их суете.  
Каждая вещь говорит себя сотнями ртов,  
лжёт, торопясь изложить содержание вкратце,  
но о твоей нагоде не расскажет ничто,  
больше ничто, если губы мои не репшатся.

Как начинается этот сияющий мрак?  
Хлопает створка оконная, тёплый сквозняк  
в комнату вносит обрывки дорожного гвалта,  
что-то кружится, звенит над моей головой,  
что-то глаза мои застит, и там, где стоял ты,  
в сером проёме колеблется столб световой,  
статуя света, натёртая матовым воском,  
я обнимаю тяжёлый мерцающий воздух,  
воздух искрится, пружинит и пахнет тобой.

Эта воздушная, полная пляшущей пыли,  
плоть, безупречная в смертности, страхе и силе, –  
стусок великих пространств, и поэтому мне  
незачем печься о памятных милых приметах,  
впадинках, родинках, шрамах. Безумное лето  
бредит и мечется в душном колющем огне,  
почва трещит от нагути его сухожилий,  
красные вихри играют в его забытыи;  
было бы варварством, если бы руки мои  
эту песчинку любили, а той – не любили.

Стусок пространств, и пространство вернётся за ним.  
Щёлочь и соль разъедят обжитые пейзажи.  
Дымчатый свет, притворявшийся телом твоим,  
девственной пустошью ляжет.

Стусок пространств, и пространства гремящая страсть  
больше, чем наша. Живущий гореньем живого,  
мир ненасытен и требует в жертву от нас  
каждый наш выдох, любое движение глаз –  
только себе.

Повстречаемся снова – и снова  
он подчинит нас. Всё то же цветное пятно,  
заверть измятых полотнищ и скрученных граней,  
будет сверкать и пульсировать там, где мы встанем,  
будет на кухне рассеянно хлопать окно,  
будет гулять по неприбранной тесной квартире  
питерский ветер. И я не скажу ничего,  
я не смогу рассказать о тебе ничего:  
только о мире.

### IV

#### (DAS ABSCHIEDSLIED)

Страшно ли выйти из тесного замысла пола  
к речи свободной, к величию яви в зрачках,  
к жилкам огня, пронизающим каждую пору?

О, этот голос. Как долго он слабнул и чах  
в пыльном простенке, как долго толкался впотьмах  
между безвольем моим и твоим притяженьем.

Твердь раскачала меня на могучих руках,  
ветер смахнул меня, смертный ненстовый страх  
дал мне дыхания. Я начинаю движенье.

Слышишь ли ты, как асфальт и бульжник скользят  
под ноги мне? Горизонты отходят назад,  
лопаясь, ягоды дней прилипают к подошвам.

Видишь, как я удаляюсь, а ты остаёшься,  
как ты стоишь, отступив к своему рубежу,  
где-то в дыму, за покровами зримого мира,  
вне перспектив, проносящихся мимо и мимо,  
солнечной мачтой маячишь, а я ухожу.

Что подарить тебе, тихий хранитель разлуки?  
Глаз своих дать не могу, а бессмертные звуки,  
как их ни мучь, не уместятся в смертной любви.  
Есть ещё малое: имя и облик мой,  
призрак двузначный, рисуемый светом по свету,  
мой силуэт и автограф поверх силуэта.  
Их и возьми на прощание.  
Их и возьми.

МИХАИЛ КВАДРАТОВ

## ВНЕЗАПНЫЙ ПРИСТУП ПАМЯТИ

\*\*\*

Аня тянет жизни провод,  
Спать ложится в полвторого –  
Длится проволока сна,  
К ней судьба приплетена.

Утром Ане примотали  
Крайне важные детали,  
Очень нужные дела.  
Дальше пошла.

\*\*\*

вьются тучи бьётся пыль  
мчится реанимобиль  
по заезженному полю  
злое сердце прокололи  
наши добрые слова  
сам виноват

\*\*\*

бешеный колобок  
лешего поволок  
ел его за кустом  
нервным порванным ртом  
впрок оставил кусок  
на потом

\*\*\*

не спи, красавица, не спи, не притворяйся спящей  
наверх поглядывай, следи за грифелем скрипящим  
где день безвидный был – взамен рисуют целый мир  
и будут нам двойной обед и розовый пломбир  
счастливые слова, приветливые лица  
и каждый праздник, несомненно, наш

но демиурга твёрдый карандаш  
примерно в этом месте рвёт страницу

\*\*\*

– открывай, полиция, кто там в доме  
– кто в доме, кто в доме – в доме гномы  
есть какие-то ещё, но мы не знакомы  
вот же, сволочи, приходят среди ночи

барабан заклеен противотабачным скотчем  
костяные дудки из съеденных животных  
в основном скелеты, но несколько плотных  
палки, верёвки, пелерины на вате  
– нет, не откроем – давайте, поджигайте

\*\*\*

отчего моя собака лает  
ведь не лает так собака выросшая в стае  
это просто глупая домашняя собака  
сердится на улице на первый встречный запах  
погуляли и назад подходим к дому  
радуется жучка запаху второму  
как собака рада мы к еде успели  
толстая собака что живёт в постели

\*\*\*

Папа Ангелина  
Летала на велике.  
Малиновый шарфик по ветру,  
Мелькают гетры.  
Напевает, весёлая,  
Над лесами и сёлами.

Ах, Папа, Папа,  
У нас здесь страшно,  
Не приземляйся, не надо.

Не слушала Папа,  
Вернулась. Обидели, гады.

\*\*\*

Пионерам быют отбой.  
Объявляет звеньевой  
сарабану – белый танец.  
Вот Она идёт ко мне:  
в лёгкой сумке на ремне –  
похоронный барабанец.

\*\*\*

Сгущалась осень. Близорукий сторож  
товарищества старых садоводов  
сидел на воздухе. У ног горел костёр,  
большая золотая саламандра  
лежала меж поленьев и дремала.  
Стихийные жильцы всегда при деле.  
В походном котелке варилась,  
булькала вода из ручейка.  
Туда попала нимфия случайно –  
сердито фыркала; однако, ей кипячение  
ущербом не грозит –  
стремительным клубочком пара  
всегда сумеет вовремя уплыть  
по воздуху обратно в водоём.  
Но сторож фырканья не слышал –  
его внезапный приступ памяти сразил.  
Бывает, мышеловкой прижимной

прихватит пальцы третий и второй  
неловкому охотнику за мышью.  
Так с памятью. Но память не отбросишь  
подальше от себя как мышеловку.  
Коварная вцепилась – не отпустит.  
И сторож пойманный сидел, глядел в огонь.  
Что помнилось ему – уж не узнать:  
восставшие сожгли сторожку.

\*\*\*

серый котик лёг в кровать  
только ты не хочешь спать  
поиграем во дворе  
пистолетик в кобуре  
на газоне полежим  
мышь съели третий рим  
продолжается игра  
улетаем, всё, пора

\*\*\*

соседке  
выдали букварь забыванья  
она старалась  
уже не помнит что Наша Маша мала  
что Норы сыры  
за год прошла почти все слова  
забывает буквы  
ну да

\*\*\*

время протёртое  
до полчетвёртого  
морщатся спящие  
мчится под городом  
вдаль по оранжевой  
литерный праздничный  
полон поющими  
время танцующих  
до пересадочной  
навьи черёмушки  
к выходу к выходу  
парами тройками  
тихо там  
тихо там

\*\*\*

спорщица –  
я идиот  
морщится –  
пятый пролёт  
крестится  
левой рукой  
лестница  
вечный покой

НАТАЛЬЯ ДОРОФЕЕВА

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

### НА СЕВЕР

Идти на север, продираясь сквозь  
Разломы трещин мерзнущего неба,  
Где вбит калёный лунный гвоздь  
На мёртвых дюнах звёздной ипанемы.

Уйти на север, оставляя страсть  
Ночных просмотров сборщикам рекламы,  
Ты пуст и чист, ты – перекрёсток рас,  
Твой путь – навстречу выбриту ламе.

Иди на север! Чувств горячих вздор  
Возьмёт себе владелец Ойкумены,  
Но крыша мира – север – будет добр,  
Любовь твою оставив на измене...

А впрочем... север – это снежный сор,  
Спрессованный ногами пилигримов,

И катится легко сансара-колесо,  
Пусть к северу, но – мимо, мимо, мимо...

### КАЛИНОВКА

запах листвы и гнили,  
осень бурлит кальвадосом,  
и, подпротыв, гундосит,  
слёзы льёт крокодила...  
дует в рожки берёсты  
сплывший свинцовый ветер,  
плачет не юный вертер,  
с ним облака-переростки:  
перья неровных линий  
в небе висят невесомы,  
игреком – хромосомы,  
кольцами – кундалини...  
мир застывает томно  
стомиллиардным бликом,  
стоит его окликнуть  
перед зимой бездонной?

\*\*\*

калиновский разрез и ягодная плоть  
в моих руках краснеющей брусничкой,  
нить паука, ведущая в дупло,  
а рядом ёж шиповниковых игл...  
собачий рай – розарий, шорох птиц,  
в повидле берега сплошные печатки,  
оступишься – края пустых страниц  
заселят мимолётно вопли чайки,  
калиновый разрез, размазан горизонт,  
вползает черепахою болото,  
но дёрнет воздух молодой осот,  
как пух спорхнёт душа, предчувствуя чего-то...

## ЛИСТОПАДНОЕ

бродячий сюжет перепуганных листьев:  
ныряют с дождём, но в любую погоду  
шуршат под ногами поэмами Листа,  
пергаментом карт для синдбад-мореходов.

шифровки лесных золотозубых шиастров  
летят, не скрывая морщин и прожилок,  
к пиратской границе осеннего царства  
и пляшущей охрою пишут: мы живы...

## БЛОКОВСКОЕ

ночная улица пуста,  
не светят фонари,  
мой караул давно устал,  
туман густой парит,  
дома дрожат во власти тьмы  
и держат небосвод,  
лишь провода гудят – «неммы»,  
и воет черный кот,  
оплывшая свеча лица  
в зажмуренном окне,

и нет ни смерти, ни конца,

но жизни тоже нет...

## НЕМНОГО О ЗВЕЗДАХ

В момент, когда небо завешено шторами сонными,  
А дома жуткое пекло, словно в аду,  
Она, проскальзывая меж отопительными сезонами,  
Шагает во двор, чтобы поймать звезду.

Звёзды искрятся, они бывают красные, жёлтые,  
Кружатся медленно, только летят стрелой,  
Ей нравится одна – цвета спелого крыжовника,  
И ещё – цвета розы, присыпанной золой.

Она спотыкается у крайнего серого тополя,  
Хватает за гладкие руки его тепло,  
Она вспоминает жутко страшного Вяя Гоголя,  
И думает: Вот бы мне ведьмино помело...

Но только звезда начинает подмигивать:  
Дескать, упаду, где ж твой сачок?  
Она замирает, достала жизнь её фигова,  
И мысль эта жалит как стая пчёл.

\*\*\*

Полиняет ночь, облака натянут веревки,  
Выйдет нежданное солнце из-за угла,  
В последний раз она вскинет седые бровки  
И вернётся домой одна:  
была... не была...

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

*«географ глобус пролил...»*

крошка-иней скрипит на зубах,  
клаумбы-бабочки спят под снегом,  
и на курьих ногах – изба:  
дом стоит под холодным небом.

солнце жёлтое – вечный взрыв,  
и луна – леденец и пряник,  
дышит дом, собою закрыв  
дым заводов и башни кранов.

рваный взгляд бумажных афиш,  
треплет ветер мёрзлые сплетни,  
протыкает звонкую тишь  
трель трамвая...  
опять последний...

## МИХАИЛА КОВСАН

### ПУШКИНУ (Венок сонетов)

1  
Осень и Болдино – слиянье и сиянье,  
Листва, кружа, переполняет мир,  
Безжалостен палач, ведущий на закланье:  
Горячей крови требует кумир.

Под шелест слов шуршащее отчаянье  
Влечет, он тонет, и с ним тонет мир,  
Бессмертен и – нечаянный, случайный,  
Не для него назначен этот пир.

Конь – на дыбы, ввысь поднята рука,  
По воле моря вспять течет река.  
Вздымается – и вскачь властитель грозный!

Он – дух и плоть, пред волнами один,  
Из воли Медный всадник и из бронзы,  
Но – вдруг созвучие сквозь безнадежный сплин.

2  
Но – вдруг созвучие сквозь безнадежный  
сплин,  
Иные доли здесь, совсем иные дали,  
Он вольно дышит, вышиб клином клин,  
Его таким доселе не видали.

А за окном ни елей, ни осин,  
Спросить перо, бумагу, здесь едва ли  
Отыщется еще пиит один,  
Такого волны здешние не знали.

К ней ластится веселая волна,  
Воды коснется ножкою она –  
На долгие доставшиеся дни.

Едва коснется и поэта ранит,  
А у него все больше впереди  
Тоскливая пора, осенний холод ранний.

3  
Тоскливая пора, осенний холод ранний,  
Солнце за облаком, за тучею луна,  
В пустыне стылой одинокий странник,  
Один в пустыне он, цель у него одна.

Беглец из прошлого, он памятью изранен,  
Чужая чаша выпита до дна,  
Он людям дик, невыносим и странен,  
Явившийся из тягостного сна.

Господень глас услышавший пророк,  
Молчи! Какой им в слове Бога прок?  
От пустоты сокрылся он в пустыне.

Сокрылся от неистовых стремнин.  
Без дома, без судьбы, издревле и доныне,  
И спит перо средь елей и осин.

4  
И спит перо средь елей и осин,  
От праздничных сует сюда, мой друг, бежали,  
От ярмарки помолвок и крестин,  
Туда, где белый крест и белоснежны дали.

Здесь светлые слова, и нет здесь слова «сплин»,  
Под благовест небесные скрижали  
Дарует миру журавлиный клин,  
Где нас любили, лаской окружали.

Туда, мой друг, туда, где исправляет слог  
Не цензор и не царь, но всё творящий Бог.  
Где осень, где сухие листья жгут.

Где возвращение давно благовестили,  
Безмолвные поля, они приезда ждут,  
Унылые поля навек его прельстили.

5  
Унылые поля навек его прельстили,  
Призывно звонок, юн был глас судьбы,  
Шумя листвою, осины голосили  
О том, кому дороги суждены.

По миру, словно по́ миру, носили  
Годы веселые, печальные года,  
Вослед столбы дорожные крестили,  
Миг встречи — и прощались навсегда.

Напутствие цыганских вещей слов:  
Остерегись! Высок, белоголов.  
И снова – стук копыт, слов бег, и вдруг – побег!

В мир вольный, где богатырей растили,  
Нет речек черных, есть веселый снег,  
Здесь, мира на краю, в центре России.

6  
Здесь, мира на краю, в центре России,  
В неизвестной заводи, у времени на дне  
Сходились, собирались и гостили  
Собратья по перу и по судьбе.

И все им нипочем: исколесили –  
Почтовых станций, стран, эпох не счесть,  
Не льстиво звали, тихо пригласили,  
И приглашение приняли за честь.

Благословила этот пир судьба,  
Лилось вино и пенились слова.  
Там пировали вечность напролет.

Но здесь, у бездны тягостных годин –  
Тридцать седьмой неотвратимый год,  
Ни берегов зеленых, ни ундин.

7  
Ни берегов зеленых, ни ундин,  
Ни песен праздничных, ни звуков карнавала,  
Грохочет гром и гулкий скрежет льдин,  
Все видела Нева – такого не знавала.

А он один в глуши, а он вдали один,  
Один средь бесами затеянного бала,  
И кружит, душит бес, чье имя «сплин»,  
Хоть слово это молвить не пристало.

Черной пурге, чертям наперекор!  
Но знак судьбы упадет, упрям и скор.  
Не вырваться, не избежать судьбы.

Сенат, Синод, бесчестия галера.  
Здесь – не пропасть, не сгинуть без борьбы.  
Там – праздничная песня гондольера.

8  
Там – праздничная песня гондольера,  
А тут лучины тонкий луч во тьме,  
Связали, заточили Гулливера,  
Есть свет в душе, но нет его в окне.

За ложью – ложь, за блажью – блажь, но вера  
Все приняла, что видел он во сне:  
Рука воздета, звон копыт, галера.  
И он без слов, с судьбой наедине.

Куда исчезнет этот дар случайный,  
Напрасный дар, едва-едва початый?  
Несет дорога, исчезает город.

Он пред беззвучным будущим один,  
И тихо меркнет, угасает голос  
В извечной бесконечности равнин.

9  
В извечной бесконечности равнин  
Ляхи – отсель, оттуда шли монголы,  
Запад одних, других восток манил,  
Простор безмерный, бессловесный, полый.

Герой, кумир и враг пути торил,  
Свергал царей и возносил престолы,  
Не пав на поле, он историю творил,  
Случайной кровью затопляя доли.

Но прежде кровью захлебнулся Углич,  
Народ безмолвствовал, не раздувая угли.  
Крестясь, шептались: впредь бы злу не быть.

Злосчастные, есть магия примера:  
Коль было – будет, и не отвратить,  
Умрет надежда и иссякнет вера.

10  
Умрет надежда и иссякнет вера,  
Но в клюве голубя дрожит благая весть,  
Лучины тонкий луч – и тает сумрак серый,  
Нет, весь он не умрет, нет, не умрет он весь.

И это тоже магия примера,  
Угли красны, сгорает лесь и спесь,  
Горит надежда, не сгорает вера,  
Глагол насыщенный воскресил нам, днесь!

Но – магия произнесенных слов:  
Остерегись! Высок, белоголов.  
Высок? Вдруг закружилась голова.

– А в Англии уж в моде кринолин!  
– Бесславье, слава – это лишь слова!  
Вместо невесты – вечный карантин.

11  
Вместо невесты – вечный карантин.  
Кордон, костры, чу, будто травят волка,  
Кровавая забава: волк один,  
А лес не стог, и волк в нем не иголка.

Свирепа свора, им не до смотрин,  
Вся недолга – убить во имя долга,  
Не до стихов, вина, не до ундин,  
Травить, ведь, надо по уму и с толком.

А как тогда писалось вдоволь, всласть!  
Царил не разум, властвовала страсть!  
Из их шатров – путь звездный в небесах!

Страх не знал волк резвый, юный серый.  
В безумный миг прощания – слеза!  
Такая выдалась угрюмая премьера.

12  
Такая выдалась угрюмая премьера,  
Злодей убит, герой исполнил долг,  
За око – око, и за меру – мера,  
Охотники пируют: схвачен волк.

Предаст пустыня белая, зверь серый!  
Ведь своры полк в ловитве знает толк.  
Ату его! Ату! Заложник дикой веры!  
Морошки! Гул затих, он выпел, зал умолк.

Был водевиль, в последнем акте – драма,  
За меру славы, ныне мера срама.  
Последний акт: не жизнь спасти, но – честь.

Динь-динь! А слышит: «Сгинь среди осин!»  
Не голубь – колокол вызывает весть,  
А он на ярмарке безумия один.

13  
А он на ярмарке безумия один.  
Волнуется ликующее вече,  
Словесный сор согбенных лестью спин.  
Одних уж нет, а те слова далече!

Зеленой бесконечностью равнин  
Слова он исцелит, от немощи излечит,  
Зажжет костры, воздвигнет карантин,  
Слова бессмертны, а творец не вечен.

Ехеги! Встать Горацию под стать!  
От жизни, Господи, не дай ему устать!  
Что слово вознесет, воздвигнет на века?

Любовь, надежда, вера?  
Могучий океан? Великая река?  
Не убежать, не избежать: холера!

14  
Не убежать, не избежать: холера!  
Впрок не пошел судьбы пустой урок,  
Вернулось слово, подана галера,  
Край бездны мрачен, тягостен зарок.

Закон неумолим: за меру – мера,  
И словом запечатано: пророк,  
На круги всё: последняя премьера,  
Точней рифм нет и тягостней: порок.



Какой-то гитарист печально,  
У бочки с пивом – алкаши,  
И крики чаек на причале  
Вонзятся в воздух, как ножи.  
Наносишь ручкой, что стилетом  
Слова на вырванный листок.  
И длится лето, длится лето,  
Как рейс Москва – Владивосток.

\*\*\*

Наши кони покрашены в белое,  
На штывки нас несут... Да, мы гордые...  
Мы умрём в этот день за империю,  
За Россию положим головы.  
У врагов наших кони – в красное...  
И в багряное... что за невидаль...  
Ну, а мы русским Богом наказаны, –  
Нам бежать из России некуда.  
Нараспашку шинель... пашки наголо...  
Фейерверками кровь в небо зимнее...  
И за нами спускаются ангелы, –  
У них кони покрашены в синее.

#### БАЛЛАДА О КРАСАВИЦЕ И ГУСАРЕ

замолвите слово о бедном гусаре  
он с пулей в груди как с фиалкой в петлице  
стоит и ждёт омский экспресс на вокзале  
но поезда нет и он хочет напиться  
её декольте ах какая улочка  
его прикрывал но не полностью веер  
она не придет кричат заголовки  
субботних газет но он в это не верит  
позвольте мадам почитать вам из сапхи  
и вот за спиной уже сплетни интриги  
и мажут её платье белое сажей  
ну что вы не стоит не нужно про книги  
да муж на югах он там лечит подагру  
какой нынче век такой уж и витязь  
вы знаете он вот совсем не подарок  
но меткий стрелок вы ещё не боитесь  
в тиши кабинета порывисты жесты  
и пало как троя на пол её платье  
какое некнижное это блаженство  
себя ощущать настоящего блядью  
я вам до последнего выдоха предан  
плевать я хотел что написано в прессе  
да да я приеду конечно приеду  
покрашенным в синее омским экспрессом  
дорога в москву и платочек искусан  
а дома скандал и разбитые вазы  
а муж был и впрямь дуэлянт искусным -  
её декольте прострелил он два раза  
внутри медальона её светлый волос  
за фото где вместе они затаился  
о бедном гусаре замолвите слово –  
он ждёт каждый вечер экспресс из столицы

#### НОСТАЛЬГИЯ ПО ПРОСТУДЕ

Осень шарит озябшей рукой по улице,  
Замирает секундная стрелка от холода...  
В чёрном небе звезда поскользнулась,  
Что б упасть на окраине города.  
То ли мыслями был далеко, растерялся,  
Состраданием к миру ужаленный,  
Только я по привычке дурацкой  
Не успел загадать желание.  
Может кто-то в февральское крошево,  
Под застывшими насмерть осинами  
Загадает, успеет – хорошее,  
Когда я упаду с неба зимнего.

#### ВИД НА ГОРУ АРАРАТ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Цезарь, не ходи сегодня в сенат,  
Ты поверь, что сказала тебе жена –  
Для крови твоей приготовлено много флагов,  
Там тебя порвут на британский флаг.

Цезарь, не ходи сегодня в сенат,  
Твоей жизни сегодня – плевков цена,  
25 кинжалов войдёт тебе в бок,  
И никто не вспомнит, что ты был Бог.

Цезарь, не ходи сегодня в сенат,  
Там твои убийцы стеной стоят,  
Им тебя сегодня нисколько не жаль:  
В каждом взгляде приговор и кинжал.

Цезарь, не ходи сегодня в сенат –  
Там в крови весь пол, и в крови стена,  
Там тебе на рога накинута хомута,  
Там тебя распнут, как того Муму.

Цезарь, не ходи сегодня в сенат,  
Лучше двинь паломником на Синай,  
Ведь в сенате сегодня громко орут,  
И глазами честными смотрит Брут.

#### ГОРОД АНГЕЛОВ

наверное смерть это повод побриться  
как выпивка после работы во вторник  
но нож в рукаве и накачанный бицепс  
тебя не спасут от любви в подворотне  
а в среду похмелье а в среду ломает  
и в городе солнцу светить запретили  
и в жизни твоей как в бульварном романе  
расставлены все запятыя  
и нож подносить белый белый к аорте  
себя загоняя вопросами в угол  
как профи боксёр новичка в этом спорте...  
написано. ватман и утол

## ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА

одев медаль «за помощь при оргазме»  
из дома выйти чувствуя вину  
за граждан что спешат в противогазах  
на службу будто на войну  
столкнуться с отраженьем в коридоре  
с потенциальной пулей в виске...  
нам скидку предоставит крематорий  
за то что жили также как и все  
петляя в лабиринтах тесных улиц  
сбивать со следа собственную тень...  
блокада города немного затянулась —  
нет свежих порнофильмов третий день  
чтоб не попасть в расставленные сети  
спускаешься по эскалатору в сабвей  
фотограф всё снимает на кассету  
кассету передаст он в фсб  
мы проиграли время цирк уехал  
менты а не шарманщик у ворот  
и если крикнуть то вернётся эхо  
в раскрытый перекошенный твой рот  
свобода ты одна вот так умеешь  
не попрощавшись не допив уйти...  
я манекен не больше и не меньше  
не трогайте мой ценник на груди

\*\*\*

даша наши души устарели  
и не подлежат они ремонту  
даша вместо приза в лотерее  
получаешь в подворотне в морду  
даша даша ноги из капрона  
мы с тобою выбыли из ралли  
развели нас даша лохотроном  
и сердца на органы забрали  
вмажем и покурим снова вмажем  
помнишь даша как я ждал в парадном  
даша даша я и сам бумажный  
скомканный эпохой лист тетрадный  
даша даша мелкие глоточки  
водку пьёт и не закусит даже  
вся вселенная свернувшаяся в точку  
между ног пульсирует у даши

## ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

а помнишь на исходе сентября  
ты в платье полустрогом но бедовом  
и штопором я открывал тебя  
как 0,75 французского бордо  
шли в школу первоклассники пока  
не зная слов правдивых непечатных  
на них давили сверху облака  
и не грехи а ранцы за плечами  
на животе твоём мои следы как воск  
автографом нечаянным застыли

сосед вбивал погнутый в стену гвоздь  
ругаясь скверно и не очень стильно  
в тот раз тебя нисколько не грузил  
я ни бэгэ ни цоем ни алисой  
и опшибался номером грузин  
всё требуя какуо-то ларису  
и делая все паузы длинней  
влетела муха в комнату помаркой  
и наши взгляды встретились на ней  
лоб в лоб как две красивых иномарки

## АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ

у павших и проливших кровь  
в глазницах расцветают маки  
а при писании стихов  
бывает больно и бумаге  
клеймом отмечено плечо  
и рюмки глаз налит печалью  
закрыто на переучёт  
где нас дожидаться обещали  
прожечь сигарой облака  
пить кофе материться в блогах  
мы не в претензии к богам  
мы сами в чём-то были боги  
и мы умеем морщить лоб  
в ответ на ложь телеэкрана  
и девочкам лизать взахлёб  
как пёс дворовый лижет рану

## ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ

такие сны мог видеть бы господь  
хотя судьба не выпнута подковой  
но говорит отчаяно гороскоп  
что жизнь начнётся после чашки кофе  
мы подрастрельные мы все зека  
пустившие на этих нарах корни  
и как на нескончаемый закат  
соседи до утра смотрели порно  
останется и твой здесь скромный след -  
лишь на стекле ладонью припечатан  
тобой пробитый в транспорте билет  
как целка старшеклассницы печальной  
конвейер и тебя пропггамповал  
в витрине простиошь ты в эту осень  
со скидкой и на ценнике слова  
внизу цены — укладчица сто восемь

## СОЛНЦЕ ДО ВОССТРЕБОВАНИЯ

в такие дни острее заметен голод  
по прошлому что кончилось так рано  
и осень накрывает этот город  
как школьника косяк марихуаны  
смотря тв опустошаешь тару  
выкуриваешь за день по две пачки  
сдают деревья карты тротуарам

и русский бог готов к медвежьей спячке  
твой друг в сибире (был бы он поближе)...  
мешая спирт отчаянно с кока-колой  
он тоже что-то там наверно пипшет  
заимствуя у бродского глаголы  
он пипшет что ни власти ни короны  
не хочет что вчера синиц с руки кормил  
и что в углу висит старинная икона  
как дверь отсюда в параллельный мир

## ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ СЛЕПОК С ЛЕТА

из чк пришли люди в сером  
гроб сваять за три рубля попросили  
да и как не попросить если  
под расстрельную статью пол россии  
из чк пришли люди в красном  
попросили написать с них портреты  
только нет у нас уже такой краски  
чтобы кровь лилась в стиле ретро  
из чк пришли люди в жёлтом  
обещали погасить солнце  
ты не стал внимать им ушёл ты  
перепутав в прихожей сланцы  
из чк пришли люди в синем  
матерились громко видно от скуки  
ну и ладно ну и бог с ними  
у тебя на антресолях бабука  
из чк пришли люди в чёрном  
и спросили где хранишь плюмбум  
ты ответил им ты жизнью учёный  
так ответил что потом зубы сплюнул  
из чк пришли люди в зелёном  
попросили написать на соседа  
ты сказал что ты не местный залётный  
и прибавил чтоб вся власть пусть Советам  
из чк пришли люди в белом  
говорили красивые фразы  
и читали наизусть Беллу  
до утра и не сбились ни разу

## РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

прописана в сердце джульетта  
вот этот ромео и лох  
явился без бронежилета  
в постели однако не плох  
а ты ни о чём не жалела  
невинности сдуру липась  
но помни навеки джульета  
монтекки стреляют лишь раз  
любовь до психушки до гроба  
и как рассказал менестрель  
джульетта лежит в луже крови  
во лбу у неё огнестрел  
ромео привязанный к койке  
вдыхает разлитый йод  
шекспир по глухой новостройке  
за водкой второго идёт

## НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ 2

мы все учились понемногу  
помногу пили после школы  
и выпив долгим монологом  
читали бродского без шпоры  
а бродский в это время виски  
глушил в каком-то баре грустно  
и рифмовал дорогой вывески  
на брайтоне такие русские  
я тоже с комплексом Ивана  
мешаю самогон и тоник  
и засыпаю снова в ванной  
пошли все на. Муму не тонет.

## В КИТАЕ ЕДЯТ СОБАК

З. С.

у нас похолодало, моё Солнце  
замёрзли слёзы у плакучих ив.  
я жду пока рукою прикоснётся  
ко мне декабрь вежлив и учтив  
ведь в декабре нам снега обещали  
синоптики (им это не в укор)  
и снег повалит хлопьями печали  
и занесёт всю мировую скорбь  
он занесёт все смыслы мирозданья  
все цели все дороги в никуда  
такси и почты, письма, расстоянья  
москву и питер голис и куда  
он занесёт меня по самый пояс  
вернее памятник который будет мне  
поставлен на перроне и твой поезд  
так верно ждущий в вечной темноте  
он занесёт наш дом и откровеньем  
как пепел будет падать он на стол  
где я пишу тебе стихотворенье  
и строчки чёрные на белом занесёт

## АНАСТАСИЯ ВИНОКУРОВА

### СЕАНС СВЯЗИ

\*\*\*

Время – безжалостный киберпанк –  
не признаёт гамбиты:  
те, что бесстрашно идут ва-банк,  
чаще бывают биты.

Время – насмешливая горза –  
копит в клыках отраву.  
Те, что бесстрашно глядят в глаза,  
чаще бывают правы.

Время плясать и встречать весну  
тысячеруки Шивой –  
те, что бесстрашно идут ко дну,  
чаще бывают живы.

\*\*\*

Йети-дети лепят снеговиков  
и хохочут низким утробным смехом.  
Отвечают горы протяжным эхом,  
уводя сознание вглубь веков.

Йети-мамы любят косматых чад  
и глядят на толстых мужей с укором:  
«Так ведь сам себя не поднимешь скоро!»  
Йети-папы морщатся и рычат.

Йети-сказки, созданные людьми,  
о прекрасных рыцарях и принцессах  
тонут в совершенно иных процессах –  
быстро развивается йети-мир.

В чистых школах йети-учеников  
учат наиболее важным ведам...  
...Двести лет от гибели человека.  
Йети-дети лепят снеговиков.

\*\*\*

Беспокойно, бездумно, рьяно  
ночь стучится в мишень виска.  
Гладь мерцающего экрана –  
спиритическая доска.

И уже ничего не важно.  
Только эхом висит вражда  
дней, сгорающих, чтоб не страшно,  
не так холодно было ждать.

Чтоб душевнее и добрее...  
...И ни слова про боль и стыд,  
как меня убивает время –  
мстит.

\*\*\*

пешаще до чёрных перьев, рвущихся из-под кожи,  
до саженца вишни, прорастающего из горла,  
до компаса в сердце с единственной стрелкой – выше!  
и смотришь щенячьим взглядом в глаза прохожим:  
а вдруг ты тоже  
из нашего тайного города?  
вдруг ты меня услышишь?

тут всё чересчур, тут всё непременно слишком.  
а солнце такое, что щурятся даже ящерицы.  
всё так, как тысячу тысяч раз написано в книжках.  
только – по-настоящему.

\*\*\*

Нет, мы не ссорились – просто огонь потух.  
Было бы глупо требовать постоянства.  
Я хаотична. Ты педантично глух.  
Вместе нам не дано было состояться.

Ты равнодушно шуришься из-за лип,  
Под ноги мне швыряешь большие лужи.  
И непонятно, кто из нас глубже влип.  
Кто из нас и кому был сильнее нужен.

Нам бы разъехаться, не дожидаясь, как  
Жгучей обидой усталость в груди всклокочет.  
Мой благородный рыцарь. Мой добрый знак.  
Город, который больше меня не хочет.

\*\*\*

на дворе трава на траве слова  
а в словах волшебба проклятухая  
но пока жива погоди вдова  
улетать во тьму чёрной тучею

прибери хлева поруби дрова  
сядь за стол с непроглядной полночью  
а во рту халва повторяй халва  
до тех пор пока не опомнишься

оглянись вдова шелестит листва  
и не все дороги измерены  
но кричит сова но ползут слова  
к изголовью тутими змеями

\*\*\*

Из какого такого детства  
зародилось и проросло  
наше горькое диссидентство –  
пресловутое меньшее зло?

Мы из той же сплочённой стаи,  
мы прилежно держали шаг.  
Как случилось, что мы устали  
от победного звона в ушах?

Что пока мы внимали первым –  
сладким трелям, увившим трон, –  
незаметно седели перья,  
превращая нас в белых ворон,

разгоня по душным норам  
(кто не с нами – тот враг и трус)  
к анемическим разговорам  
про святую и падшую Русь,

к песням скорби, что не поются  
в пику тем – искривлённым – ртам.  
Наше вечное бесприютство –  
быть не теми, не с теми, не там.

\*\*\*

Говорили они: ну гнида, но всё же – гений!  
Кто безрешен – пусть первым кинет в него бульбжник.  
В каждом слове его столько смыслов и откровений,  
Что любую вину искупают во имя ближних.

Мол, не время сейчас для ангелов и героев,  
Высший праведник нынче от силы –  
нейтрально-серый...  
Поднималась тревога бессвязным пчелиным роем,  
Из разинутых строк ощутимо сквозило серой.

Заливался откуда-то слева лукавым смехом  
Колокольчик соблазна, влекущий сильнее магнита.  
Лишь у самого края небес угасало эхо  
Запоздалым прозреньем – ну гений. Но всё же гнида.

\*\*\*

Бежала, редела, кружила, очнулась в Мангейме,  
почти не заметив, что всё ещё слишком жива.  
А в памяти грузно ворочалось что-то из Гейне,  
алкая покоя в душе каменели слова.

Вояж в пустоту, в бесконечные чуждые лица.  
Последнее средство. Простое, как мир, колдовство.  
Бродить. И не думать. И знать, что с тобой не случится  
уже ничего  
ничего  
ничего  
ничего.

\*\*\*

Бесконечность – это две белки бок о бок  
в ритуальной восьмёрке, обрушенной на бок.  
Это бег сквозь тиски загазованных пробок  
в изнуряющих поисках тёлок и бабок.

Лишь добраться до рейтинга самых прожжённых,  
опечатав границы велением мага –  
а иначе безжалостный мельничный жёрнов  
от тебя не оставит и зёрнышка мака.

Неустанно трудиться. Копить амулеты –  
телефоны, счета, острова, кислород...  
...Только вдруг незаметно случается лето.  
Ты идёшь средь таких же, до срока отпетых,  
и отчётливо знаешь,  
что никто не умрёт.

## РУСЛАН МРАКАБРЕД

### ПРИВОРОТ

#### МОЛИТВА

сыграй на мне немое соло озарений  
сыграй меня на венах жизни и напой  
сыграй меня на фоне Бога как на сцене  
сыграй в меня и не-меня с Самим Собой

### ПРИВОРОТ

не поспели хлеба озимые  
обереги не сберегли  
помяни меня пригласи меня  
нагадай меня да накличь

буду слышаться до денницы  
ветром шорохом сквозь траву  
к ночи видеться ночью сниться  
утром грезиться наяву

подошёл твой срок было знаменье  
чай на волюшке пожила  
заклинай меня проклинай меня  
загадай меня пожелай

\*\*\*

в струне биение музыки  
ты пальцем слушаешь пока  
сердца наполненные криком  
ласкает лезвие смычка

и воздух нотами измучен  
и с обагрённого смычка  
музыка тонкой струйкой жгучей  
течёт мучительно сладка

\*\*\*

в каждом городе в каждом город  
есть район богачей и звёзд  
есть трущобы для тех которых  
мы не видим их жребий прост

затаиться до ночи чтобы  
только стихнут шаги гудки  
толпы призраков из трущобы  
наводнили все закутки

есть кварталы в которых чисто  
и согласно людской брехне  
есть кварталы не для туристов  
есть туннели которых нет

и в отелях приёмных кроме  
есть подвалы но не о том  
в каждом городе в каждом доме  
в каждом город и в каждом дом

\*\*\*

здесь каждый этап очень важен  
здесь в форму поэзию льют  
не верьте тому кто вам скажет  
стихи не стахановский труд

всё выглядит лихо и ловко  
но сколько ньютонов тоски  
гнетут пока мысль-заготовка  
зажата в стихи как в тиски

## ЗАКЛЯТИЕ II

ясна солнышка клубок  
кошка-ночь за печь закатит  
позапугает дорог  
размотает мрак по хате

то не гром блеснул то нож  
то не путь бежит а пряжа  
что отмерю то пройдёшь  
где отрежу там и ляжешь

торопись несись лети  
схоронись крадётся вечер  
там где узел не пройти  
там где свито сбьётся встрече

позапугала дорог  
погулял-пожил и полно  
что отмерю то и срок  
где отрежу там и полночь

то не пряжа то не нож  
то не я судьба за делом  
что отрежу не вернёшь  
что свяжу то не разделишь

\*\*\*

Не жонглирует шут планетами,  
балансируя на орбите.  
Из-под купола каплей света  
он не падает, не смотрите.  
Не выглядывает, не снова  
лунный клоун наполовину  
из-за занавеса ночного.  
Всё – лишь фокусы, всё невинно.  
Эти звери не настоящие.  
Лев ручной и совсем не страшный.  
Тётю Деву не пилят в ящике,  
а стрелец – с холостыми ряженный.  
Вы ведь знаете: всё иначе.  
Вы ж большие! Спросите папу!  
Дядя звёзды в рукав не прячет.  
Утро не достаёт из шляпы.

## ОСЕННЯЯ

осень тасует листья  
самых чудных мастей  
сколько гроза продлится  
что они шепчут ей

осень не напасётся  
фокусов да чудес  
осень украла солнце  
и обобрала лес

в юбочном вихре пёстром  
кружит сердца слова  
осень пляши а после  
хоть не расти трава

рви струны грома просим  
капель гальпе быстры  
дерзкую ведьму осень  
скоро пожрут костры

## ВЕДЬМА

настоялись слова безобидные врозь  
но в котле колдовства обращённые в яд  
разгорается жар разливается злость  
бурно плещется вар да свершится обряд

ворожи поражай охмели отрави  
разгорается жар оплавляется жир  
настоялись слова на невинной крови  
бурно плещется вар в руслах вздувшихся жил

истекает обет приближается срок  
предрекаю тебе я беду где не ждал  
обрекаю тебя на предсказанный рок  
неподкупна судьба и пощады чужда

холодна голова но рука горяча  
настоялись слова и сложились в волшбу  
выкипает вода догорает свеча  
будь моим навсегда или вовсе не будь

## ИНГА ДАУГАВИЕТЕ

### ЛАДНО, ПОДРУЖКА!..

\*\*\*

Помню, мама всё качала сестру:  
«Будет принц тебе, красавица, спи...»  
Обещали снегопад поутру,  
станем завтра динозавра лепить.

«Сказку, мама! Где коза-дереза!»  
Помню бабушку, иконы в углу...  
Хорошо бы научиться вязать,  
будем петли пересчитывать вслух.

Сказку? Жил да поживал добрый царь...  
От сестры четвёртый год нет вестей.  
Перепутал наш Создатель сердца,  
дал не тем! И пользы что в красоте?

Мать на кухне допивает вино,  
скорбно смотрит – как всегда! – в потолок.  
За конфетами пойдём в гастроном.  
Сказку? Жил когда-то Бог... добрый Бог.

\*\*\*

Казалось, закрыть глаза и наступит лето...  
Полить цветы? Откладываете вязанье.  
Бесследно проходят годы, почти бесследно,  
зеркальный круг отражает забытый замок,  
распущенный гобелен и седые кудри.  
Ах да, цветы. Остаётся шагами мерить  
пространство спальни. Эхо на гулкой кухне  
вдыхает, играет ветер дубовой дверью.  
За окнами силуэты? – Скелеты башен,  
другое небо, иные, чужие зимы.  
И всё вязать, неизвестно зачем, рубашку...

Хотя бы имя вспомнить.  
Хотя бы имя...

\*\*\*

Сползает солнце за горизонт,  
становится небо сплошным желе.  
Затвор проверить – ещё разок –  
да вещмешок, да бронезилет.  
На всякий случай перекрестись, –  
свинья, неважно, такой же зверь –  
Эдем пылает, мелеет Стикс,  
и выцветает узор ветвей  
столетних вязов, дубов, секвой,  
кору отслаивает эвкалипт...  
Простое право – самим собой  
остаться здесь, в загоне Земли.  
Упрямо, ровно (в последний раз)  
патрон в обойму, колчан – стреле...

Молись – даст Бог! – не заметит нас  
петля предутренних патрулей.

\*\*\*

Можешь гадать – опять! – на кофейной гуще,  
или – по новой – перестилать постель.  
В гулком дворе бессчётно котов орущих  
и коридорные вопли чужих детей.  
Только не помнить, в проходах какой больницы  
шла восемнадцать вёсен тому назад,  
сколько проклятых лет продолжают сниться  
доктора обезумевшие глаза.  
К микрорайону тихо крадётся полночь.  
Ладно, подружка, вышей, потом прости.  
Кто был отцом? И цвета волос не помнишь.  
(Если бы не порвался презерватив!..)  
Не угадаешь... В гуще сюжетных линий  
что-то удачно, а где-то – давало сбой.  
Если бы муж (второй!) не мечтал о сыне!..  
Если бы он потом не ушел к другой!..  
Девочка, все уходят, всегда уходят.  
Папа и мама, дети, мужья, коты.  
Лучше, давай, в который раз о погоде,  
кофе в китайской чашке давно остыл,  
Карточный домик надежды бессильно рухнет  
под бесконечным «если бы он... а я...»  
В эту минуту мы всё равно б на кухне  
вместе с тобою пили плохой коньяк.

\*\*\*

Привычно просыпаться по утрам,  
перебирать слова, тарелки, мебель  
передвигать, а в равнодушном небе –  
не облака, а радуга реклам.  
Так жить в Париже, Рио... Где ещё –  
в Житомире? И всё такой же вечер,  
На горизонте купола мечетей  
или костёлов. Рабби или ксёндз  
угрюмо-равнодушен, как и тот,  
кто... Да простятся прегрешенья наши!  
Себя в себе не расплескать, как в чаше,  
в любой стране под небом-шапито.

\*\*\*

поутру выбирая обувь цвет и каблук  
Коломбина – помнишь? – браслет коленки  
строки Сафо  
негритянский блюз или соул на каждом углу  
саксофон под окном конечно же саксофон

так вытаскивай ящик засов антресоли чердак  
а фантомной раны – веришь? – залечен след  
бестолково-тонка граница меж нет и да  
полустёрто лицо на фото в рассветной мгле

подбирай на завтрак ложки прибор сок и стакан  
Коломбина любит пардон любила дешёвый сыр  
и с ногами в кресле ладони прижав к вискам

истекал цветами закат просто не было сил  
обеззвученный мир в этот миг золотой змеёй  
огибал вашу комнату кольцами на полу  
и ослепший ты видел не горизонт

неизмеримо дальше и дольше вглубь  
так раскаленная боль лунная пыль солнца луч  
в каждую клетку недвижимого тела выдох-вдох  
проникает под кожу напоминая стрелу

и растекается вертикально и вдоль  
как томительно-медленны стрелки на стене  
циферблат  
возвращаются звуки краски запах ваниль  
ровно дышать инструменту под окнами в такт  
Коломбины вены июлем воспалены

выбирай же слова вслепую вдоль берега вплавь  
оплетает толпа твой квадратный двор законный круг  
музыкант поднимает голову край стола  
кто-то где-то когда-то поставил свой штамп «approve»

\*\*\*

Да ладно тебе, заладил «зима, звезда»...  
Не стой на пороге, дует – захлопни дверь.  
Я знаю, на свете есть разные города,  
а здесь – до горизонта – то буш, то вельд.

Нарежу сыр, подожди, процежу вино,  
здесь стреляют с бедра, а спрашивают потом.  
Не замужем, нет, уже которую ночь.  
Да был тут один, всё в небо тыкал перстом.  
Рассказывать? Что? Всего-то и было дел –  
кричал: создатель, дескать... воскрес, с креста...  
Ах да, ещё пытался пешком по воде,  
Потом пришлось осушать городской фонтан.  
Забудь. Безумный город дрожит во сне.  
Здесь час – за день, а минута – всю жизнь течёт.  
Подбросить дров, за окошком – по новой – снег.  
Прислушиваясь – сверчок, говоришь?! –  
Сверчок.

\*\*\*

Чем дольше веришь – тише слова молитв.  
Светлее ночь. Размереннее строка.  
Невероятно яркок осенний лист,  
и растекается в рамке небес закат.

Из города все дороги ведут к воде,  
Чем ближе дюны – пронзительней синева.  
И в янтаре тает короткий день.  
Всё – забывай. Намеренно забывай!

Касается края воды золотой клубок,  
Идешь, почти не касаясь седой земли...

И вдруг понимаешь, как равнодушен Бог.  
И как – нечеловечески – справедлив.

## ВАДИМ МОЛОДЫЙ

### ПОСВЯЩЕНИЯ

РАФАЭЛЮ ЛЕВЧИНУ

*Допустим, как поэт я не умру,  
Зато как человек я умираю.*

Георгий Иванов

Допустим, да, а может быть – и нет,  
но, между тем, кому какое дело,  
кто на себя примерил это тело –  
и был он человек или поэт?

И чью выносит душу на бумагу  
поэзии высокая стезя?  
Кому Эвтерпа, пальчиком грозя,  
дарует безоглядную отвагу?

Кто, несмотря на жизни суету,  
пренебрегает славой и успехом,  
и сам с собой прощается со смехом  
не подведя последнюю черту?

Невнятность отдаленного родства,  
неясность звуков, непонятность речи –  
ложатся на подставленные плечи  
значенья естества и путешества.

Вершатся непонятные дела,  
рифмуются бессмысленные звуки,  
на берегу, заламывая руки,  
Офелия стоит, белым-бела.

Скучает парус, рушится анчар,  
орел топорщит перья у решетки,  
и на ходу сапожник рвет подметки,  
и месит глину сумрачный гончар.

Итак, и да, и нет, и может быть,  
все сбудется по сказанному слову,  
и мы бежим навстречу крысолову  
пытаясь не понять, а не забыть...

## ВЕРОНИКЕ КОНСТАНТИНОВНЕ АФАНАСЬЕВОЙ

*И входит... страх. На мягких лапах  
Крадётся он в гнущейся мгле.  
Как зверь, почуя крови запах,  
Минуты ждёт, припав к земле.*

Вероника Афанасьева

И входит ужас. В час рассвета,  
сквозь муть оконного стекла,  
когда, в предчувствии ответа,  
устало Морта рассекла  
тупыми ножницами пряжу.

Затих напев веретена,  
но я по-прежнему бродяжу,  
а ты по-прежнему юна.

...остановившихся мгновений,  
теней, мелькнувших на стене,  
бесплотных рук прикосновений  
в неопалимой кушине,  
игры судьбы, реки кровавой,  
старухи в пламени костра,  
толпы, следящей за расправой,  
вины...

Раскаянья сестра,  
а может быть, сестра надежды  
меня зовет. И оттого,

поэт идет – открыты вежды,  
но он не видит ничего.

АННЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ  
БАРКОВОЙ

Боги жаждут... Будем терпеливо  
ждать, пока насытятся они.  
Трут намок. Раскрошено огниво.  
Вязнут в плоти зубья шестерни.

Рвется пряжа. Атропос зевает.  
Энио таращится в окно.  
Над пустыней солнце замирает,  
покрывает пыль веретено.

Трубный рев обрушивает стены  
и плывет, угрюма и страшна,  
раздвигая тупей клочья пены,  
в низком небе мертвая луна.

Похоть душ взывает и взыскует,  
похоть тел сиренами поет,  
и Форкида смертная тоскует,  
в безнадежный ринувшись полет.

В борозде, ползущей вслед за Кадмом, –  
по иному нам не суждено, –  
задыхаясь в мраке безотрадном,  
прорастает мертвое зерно.

Боги жаждут... Так поднимем чаши  
за судьбу, которая свела,  
оболочки сброшенные наши –  
в никуда бредущие тела...

СОФИИ ПАРНОК

– Как в бане испаренья грязных тел,  
над миром испаренья темных мыслей.  
В бесплодной суете никчемных дел  
стоит пигмей в толпе надменных вислей,

Проснувшись, Лазарь рвется из глубин,  
спеша на зов. И, выйдя из гробницы,  
давно забытых родин и чужбин  
отряхивает прах. Его глазницы

кишат червями, череп обнажен,  
сползает плоть гнилая лоскутами,  
а рядом кто-то лезет на рожон,  
с ним поменяться требуя местами.

Венера в молью траченных мехах,  
любви преступной томная маркиза,  
а рядом Германн кается в грехах  
и рвет колоду праведная Лиза.

За далью даль... Вколачивает в гроб  
кривые гвозди плотник. Зябнут руки,  
а рядом кто-то падает в сугроб  
и затихают запахи и звуки.

Слиянье тел, разъединенье душ,  
мелеет Рейн, седеет Лорелея,  
и не слышны за воплями кликуш  
шаги судьбы по крыше Мавсолея...

ВАЛЕРИИ ЛЕВИТИНОЙ

Склад увядших теней, нелюбимых игрушек,  
недописанных книг, неразгаданных снов,  
ненадетых нарядов, немых погремущек,  
незаконченных дел, нежеланных обнов,

невеселых забот, недоласканных кукол,  
искалеченных судеб, изломанных тел,  
где незрячий творец забивается в угол,  
сам себе очертя неизбежный предел.

По забытой тропе пробегает тревога,  
заблудившийся ужас крадется в ночи,  
и в последнем кошмаре уснувшего бога  
разливается тьма над огарком свечи.

Догорает костер в опустевшей пещере,  
воя, мечется зверь в лабиринте аллей.

Недостойный любви получает по вере,  
недостойный судьбы – по надежде своей.

ТИГРАНУ

Дашь ли снова в придачу ты мне неудачу?  
Отпоешь поутру на холодном ветру?

Я к тебе прикоснусь, я с тобой посудачу,  
свежей кровью омою и слезы утру.

Возле лобного места скучает невеста,  
беспокойный жених пошумел и затих.

Он сатир, а она, как положено, Веста,  
впрочем, речь ведь о нас, а совсем не о них.

Струйка липкого страха стекает по коже,  
у разрытой могилы молчит патефон,

женихи не ложатся на брачное ложе,  
а невесты не носят истлевший шифон.

Пасторального рая не вспомнить, стгорая.  
Не познавший сомнений не знает вины.

Оборвется тропинка у самого края,  
разлетятся осколки глухой тишины.

Пусть железным копытом седого кентавра  
припечатано тело к уставшей душе –

ветви лавра накроют печального мавра,  
Дездемону схоронят в гнилом камыше.

Но однажды игрой наваждения злого  
ляжет черный туман на пороге моем

и – услужливость памяти – в звуках бывшего  
мы услышим Сирену и ей подпоем...

...так выходит и ты не заметил границы  
между явью и сном, между злом и добром?

Смотрят в низкое небо пустые глазницы,  
сытый ворон лениво шевелит пером...

## ТАТЬЯНА ЛЕРНЕР

### ВСЕМОГУЩИЕ

#### МЁРТВОЕ МОРЕ

«На стихи он поймал тебя, милая, на стихи...»,  
говорила подруга, солидно кивая в такт.  
«Да, читала и слышала, кажется, неплохи,  
но не Бродский. Хотя, безусловно, не дилетант.

Но не Бродский». Кофейню покачивал запах сдоб,  
колумбийского кофе, магнолий, альбомных гор.  
А подруга, почти медитируя: «Это – Сдом?  
Это – соль? Перебор с чудесами-то, перебор...»

Жали плёпанцы. Солнце горячечно шло в зенит.  
В морозилке томился заказанный нами штоф.  
И крамольно звенело во мне (и сейчас звенит):  
на любовь он поймал меня, господи, на любовь!

#### ВЕРДИГРИ. VERT-DE-GRIS

Мы пропустили нужный поворот  
и оказались в совершенно новом  
краю. Природе – лучшей из природ –  
угодно было от всего цветного  
перенести нас в нежный вердигри:  
оливы, сколько глаз хватало, – оливы.  
И ты шептал восторженно: «Смотри!»  
Я не смотрела. Я была счастливой  
и без олив. И без дорог. И без  
ненужных карт. О, я давно свернула  
куда позвал зелёно-серый бес  
любви, тоски и мутного загула.

Когда ты спишь – не Прага, не Париж,  
а свет олив под веками блуждает.  
Цвет глаз моих. Но ты легко хитришь  
с самим собой. С собой бессмертным. Да, я  
как жизнь твоя – на кончике пера.  
Пиши, пиши. Не только пить и плакать.  
Не спать, и пить, и плакать до утра.  
Перо легко пронзит бумаги мякоть.  
Перо – игла, которая в яйце,

яйцо, конечно, в утке, утка – в зайце.  
А заяц – в запечатанном ларце,  
ларец зарыт. Попробуй, догадайся,  
где он зарыт... Под деревом тех широт,  
где, помнишь: трасса, зелено, дождливо,  
мы пропустили нужный поворот.

И ты шептал. И я была счастливой.

### ПЕРЕДОЗ

Шторы плотней задёрнуть – и можно спать.  
Яд добывает луна из плодов лантаны.  
«На,» – говорит мне, небесный гомеопат.  
«На, по чуть-чуть, так и надо, привыкнешь – станешь  
неуязвимой. Каких бы потом отрав  
не подсыпали тебе в твой сухой мартини,  
выживешь. Вспомни ту зиму. И кто был прав?  
Что ты мне врешь, будто истина – посредине?  
Я же предупреждала, не пей любви.  
Еле спасла ты, дуру. Скажи спасибо.  
Либо сейчас принимаешь лекарство, либо...»

Ладно, луна, доставай, наливай, травы.

### ПОТОМУ ЧТО ЛЮБОВЬ БЫВАЕТ

У себя на столе я поставила их фотографию:  
некрасивая полная женщина с белыми розами,  
в платье белом, как розы. Хохочет.

Наверно, счастливая.

И её обнимает некто.

Хороший кадр.

Фотографию видно, куда бы ни шла я по комнате.  
Фотографию видно, рассвет ли, закат за окнами.  
Фотографию видно за чтением, за пеленанием.  
Фотографию видно чётко.  
Закрывать глаза

и забыть этот пошлый букет (мне дарил такие же!)  
и не чувствовать этих объятий (а что же чувствовать?)  
и шуршания белого платья не слышать (господи...)  
Потому что любовь бывает.  
А фотки лгут.

### ЧУЧЕЛКО

Вот сплету себе милое чучелко,  
шебутное, забавное, рыжее,  
чтоб мордаха сияла улыбкой и  
угольками сурьмяных глаз.  
Пузик мякотький, пальцы лучики,  
нос фамильный, понятно, лыжею.  
Ну а вместо сердечка хлипкого  
вставлю камушек. Смоук-топаз.

Это чучелко будет девочка.  
Хватит делать талантливых мальчиков.  
Так вот, дурами и красотками,  
мы пойдём. Только знай одно:  
я не бог тебе, моя Евочка,  
просто больно уж было заманчиво  
сотворить тебя. Многие ль сотканы  
из отчаяния? Смешно,  
как представляю твои чудачества  
стервы ласковой и жеманницы, –  
вижу лето. И волю. И весело.  
Дача. Счастье. Полуденный чай.  
Проживёшь мою жизнь, но начисто:  
сердце-камушек не обманется.

А меня вчера чуть не подвесило.  
Выручай меня, выручай.

### ПО НЕБУ И ПО МОРИЮ

А бабушке – семьдесят пять. Увядают  
в окне её желтые астры.  
Легко истончается ткань нажитая.  
Пылятся лепные пилястры  
громадины-сталинки. Бабушка помнит  
лишь свой из двухсот адресов.  
Полгода читает Шевченко трёхтомник.  
И спит по шестнадцать часов.

А дочке – четыре недели. Над домом  
раскинули сеть эвкалипты.  
Скворцы облетают маршрутом знакомым  
резные пустынные глипты,  
чтоб после – галдеть и насвистывать крохе,  
как тихий закат бирюзов.  
Она засыпает под грудью, на вдохе,  
и спит по шестнадцать часов.

А мама – не мама, а рыжая белка  
в тугом колесе циферблата.  
По небу – не страшно, по морю – не мелко.  
Там, сердце порвав на заплаты,  
храня от бесчестья родные гнездовья,  
сминаю простор голубой.  
Мечусь между странами, долгом, любовью.  
И круг замыкаю собой.

### ЛАДУШКИ

Над нашей группой кружатся шмели,  
огромные, почти с твою ладошку.  
Промчались громкой стаей кобели  
за сучкой или заблукавшей кошкой.  
Декабрь – а по-весеннему тепло.  
И, кажется, природа обманулась,  
прибавив солнца. Слышит всё село  
переживанья двух соседских куриц:

«Гляди, снеслась!» «И я, гляди, гляди!»  
(конечно, на иврите). Перегрета  
земля, но долгожданные дожди  
висят за головами минаретов  
на ближней горке. Груша зацветёт  
вот-вот. Не как обычно, к ту-би-швату.

А где-то там справляют Новый Год  
весёлые и пьяные ребята,  
лопатами отбрасывая снег  
с дорожек. День короткий иссякает,  
шипит на сковородке чебурек,  
в стаканах – по сто пятьдесят токая,  
поскольку водка кончилась, а нрав  
велит залить пылающую нежность  
ко всем рожденным от чужих шалав.  
Но – семьи, праздник, быт и неизбежность  
зовут лопатить. Боже, сохрани  
отважных этих, ветреных и вьюжных.  
Не знают сами, что творят они.

От груши тень – неровная окружность –  
их не включает. Их не помнит шмель,  
о них не плачет дождь, не шепчет строчка.  
Здесь полдень сладок, словно карамель.

Мы ладушки разучиваем с дочкой.

### ПЛЯШЕТ ЗИМА

*утренний ангел пустых бутылок,  
не покидай меня...*

А. Макаревич

Пляшет зима. Оголённые нервы,  
ломкие пальцы, салазочный визг.  
Знать не хочу её, бледную стерву,  
(я, как с похмелья, так релятивист).  
Жизни хочу. Разморённого юга.  
Течь по стволу, обратившись смолой.  
Прятаться в кронах бесшумной пичугой.  
В берег вцепиться ветлой пожилой.  
Солнцем закатным на волнах сторожких  
плыть, растворяясь. Но больше всего –  
яблоком вечным остаться в ладошках  
мудрого ангела моего.

### ВСЕМОГУЩИЕ

Пока мы ходили по лугу, по круту,  
пока мы спибили релейников пену,  
Пока мы с собакой мешали друг другу  
ловить богомола и нюхать вербену,  
Пока мы коляску в тенёчке качали,  
пока ворожили на завтра прохладу,  
Пока собирали шелковицу к чаю,  
нашли тайный лаз и чинили ограду,  
Пока мы варили овсяную кашу

на масле, кормили дитя и собаку,  
Пока обсуждали с соседями кражу  
их новенькой Хонды, погоню и драку,  
Пока мы событиям мерили цену,  
пока временам городили границы,  
нас медленный бог уводил с авансцены.  
На ней оставались орущие птицы:  
из гнёздышка горлицы выпал птенец.  
Он маленький, тёплый. Но мертвый.  
Конец.

## НАДЯ ДЕЛЛАНА

### ЭТОТ СОН ПОДОЗРИТЕЛЬНО ДЛИННЫЙ

\*\*\*

смотри уже осень летит с подоконника в сад  
и я тебя очень но что нам об этом писать  
у сердца над домом колесики смерти стучат  
мой сервер раздолбан и некуда вставить (молчать)  
полжизни которой я шла до тебя без тебя  
смотри уже скоро и небо начнет облетать –  
холодным и строгим всю осень мою занесет  
и книги и ноги и губы и волосы – все  
на родственник отзвук потянутся корни и рты  
я рядом я возле мне кажется я это ты  
диктант на проверку – согласна не произнесу  
молчу суверенно но – главное самую суть

смотри уже дремлет с дремучего дерева лист  
с задумчивым креном к молчащему центру земли

\*\*\*

Молчит ночная фаланга света  
молочнотеплым телячьим телом,  
ребенкоспящим, сосущим слепо,  
слепососущим, немовспотелым,  
собаколунным, собакобыко,  
пиши мне в небо на этот адрес,  
за все отвечу, за все и быстро  
все отвечают, как оказалось.  
Я помню тяжесть твою в походке  
моей, я помню привычки, вкусы,  
я ела кальций и мяту, хочешь  
теперь все то же, но только – устно?  
Другие связи, другие сети,  
земной объявлен сегодня поиск.  
Но браки – там, и оттуда – дети,  
пиши мне чаще, я беспокоюсь.

\*\*\*

Это – ноябрь, рассмотри его медленно, жук,  
чтоб, засыпая в хитиновой шкуре, ты снился  
небу его, сторожам его, вызволив звук,  
из небытия, из темницы. Букетик мелиссы

пахнет расплывчатым летом в соседнем лесу.  
Это ноябрь, собирай свои шмотки и ехай  
(как говорят в москвошвее), и денег не суй,  
чтоб задержалось, хотя бы – ответило, эхо.

Бабочки, птицы, жуки, полевые мыша,  
белки, лягушки и волки – растите большими,  
спите спокойно, всё зиму исправно дыша  
в норах, дыша, совершая такую ошибку.

Я продолжаюсь, и в самой глубокой норе  
спят обо мне этот сон подозрительно длинный.  
От ноября не уехать – в нем нужно стареть,  
в рифму ссыхаясь с листвой, с терракотовой  
глиной.

\*\*\*

Прерывисто дыханье сквозняка  
в щелях поддверных и сбокуоконных,  
дурного сна гнусавый пересказ  
пытается с собой во сне покончить  
и дышит, дышит, прорываясь в явь,  
и гипервентирует упорно  
нелёгкие предметы, их края,  
светящиеся дрогнувшие створки.  
Твой мир заходит за полночь, сопя,  
похрапывая, щёлкая суставом,  
но только там, где никогда не спят  
проходит безысходная усталость.  
Мой слух, он – это линия руки,  
течёт через две раковины бледных  
и чувствует, что вдохи нелегки,  
и выдохи как будто бы последни.  
Предметы притворяются собой,  
но ночью, но-но-ночью всё выходит  
из-под контроля, и Твоя любовь,  
дыша, в меня их обмороком входит.

\*\*\*

Снилась мне темнота. Как в детстве, в шкафу,  
в темную комнату тихой войдешь и в шкаф  
влезешь, в вещах утонешь, в больших вещах  
мамы и папы, а кто-то идет искать,  
кто-то уже ощупывает софу.

Нечем дышать, но спасенье – оно же смерть,  
надо терпеть. Надо ждать, а потом бежать.  
Вот и сидишь в темноте, крепко-крепко сжав  
что-то из шерсти, пока голова, кружась,  
ни упадет, продолжая во тьму смотреть.

Снилась мне темнота, просыпалась в сон  
битыми пикселями. Постепенно поверхность ее  
становилась гладкой, как слово «район»,  
и я отражалась в ней, и лицо мое  
было мне не знакомо, и все.

\*\*\*

Гербарium теней, библиотека лены  
и имени ее, сухие мотыльки  
под лестницей летят, блестя попеременно,  
то мертвой головой, то крылышком руки.  
Так снятся этажи сознания – и гулко  
и мраморно в костях под куполом, и я  
спускаюсь, шебурша шелками, в переулки  
хранилищ мотыльков и их нежибытья.  
Вперед, еще абзац пройди такой же полный  
пробел и выходи всей бабочкой в окно,  
в озоновую глубь, где можно и не помнить,  
откуда, и куда, и кто. Куда и кто.

\*\*\*

Задымление дня, освоенье туманом границ  
по обычаю емлимых оком, в тоске близорукой  
свет сочится молочною сывороткой и по кругу  
поворачивает мне земные орбиты глазниц.  
Я проснусь, шевели влажноватые комья её,  
аккуратно взойду неприметной распительной хренью,  
и весь день простою, отдаваясь посту и смиренью,  
проживая насквозь и наружу жигтьё-небытьё.  
У тумана внутри ничего, только уши заложит  
и, считай, полетал... раскрывая ковер-парашют,  
небо молча спустилось на поле, и крошечный шум  
разбитного шмеля панораму тумана тревожит.

\*\*\*

Это происки жизни, которая тащит гулять  
за штанину, виляя хвостатым своим восхищеньем,  
и я еду куда-то опять, и опять, и опять  
в загрудинном покое рассматривая через щели

просочившийся свет, и людей, говорящих сквозь рты,  
изгибая причудливо губы на фоне молчанья,  
говорящих без звука, из самой своей немоты,  
это происки жизни, которые я замечаю.

Поддаваясь внезапному детству, смотрю изнутри  
на печального дядю, лысеющего кучеряво.  
Ничего, все в порядке, на счет, разумеется, три  
я проснусь из него, но сейчас у меня все в порядке.

Я хожу им, как будто во сне привыкая к ногам,  
к расстоянию до пола, к пространству его обжитому,  
к преферансу злопамяти, к яблокам и пирогам  
бабы Нюры, к которой он ездил на лето в Житомир.

Это происки жизни хвостатой, летящей стремглав  
зачинаться и только успеть заскочить на подножку,  
но я смутно уже понимаю, и я бы могла  
не спешить, не заскакивать, просто уйти, если можно.

БОРИС ЮДИН

## ЛЕНТА МЁБИУСА

МАРК ШАГАЛ

На припёке у крылечка  
Греет кот радикулит,  
А над крышами местечка  
Пара облачком парит.

Струйкой пара – вальс бульвара.  
Юная мадмуазель  
Крутобёдра, как гитара,  
Волоока, как газель.

В кузне конь куёт подкову,  
В чистом поле босиком  
Ходят умные коровы,  
Наливаясь молоком.

Ходят умные коровы,  
Фрейлехс заиграл скрипач,  
И оброненное слово  
Обнимает бородач.

И лежат под лунным диском  
Скулы ставень, пыль да тишь.  
Между Витебском и Двинском  
Раскорячился Париж.

Плёск русалок, рыбы пашни,  
В кольцах сонная река.  
Фаллос Эйфелевой башни  
Протыкает облака.

Танго Строка, руки в presto,  
Грома дальнего раскат.  
Черноокие невесты  
Клином тянутся в закат.

МИФОГРАФ

Гомер состарился. Поёт  
О войнах в Доме ветеранов.  
Стекло гранёного стакана,  
Хлеб, лук и запах нечистот.

Он строен, седовлас, небрит.  
Гитара дребезжит от боли,  
И санитарка тётя Оля  
В двери, как монумент, стоит.

Бельм перламутр, и по спине –  
Мурашки, и в палате знобко.  
Приколот заржавелой кнопкой  
Генералиссимус к стене.

## КРЕСТООБРАЗНОСТЬ

Крест рамы, воробьёв токката,  
И женщина в лице окна.  
Ещё, пожалуй, не распята,  
Но намертво прикреплена.

Окрест газонов сухобылье,  
На церкви – купола бутон,  
Унылых перекрёстков крылья,  
Окраинный микрорайон.

У ног бормочет кот учёный  
О сладком таинстве ночей,  
В вечернем небе сетью чёрной -  
Кресты хохочущих грачей.

## РЕСТОРАНЧИК

Разврата рай. Там, словно чудо,  
Взвивалось тельце петуха  
И тотчас падало на блюдо  
Листком цыплёнка-табака.

Там вечная рабыня бара,  
Сошедшая с холста Мане,  
Была строга и сухопара,  
Как тень бутылки на стене.

Там песней плакалась толстуха  
И, словно лабух, сыт и пьян  
В своё раскормленное брюхо  
Стучал ногою барабан.

Стонала кришка под сурдинку  
И, демонстрируя задор,  
О столик звякала лезгинка,  
Заказанная «гостем с гор».

## ИЮНЬСКАЯ НОЧЬ

Распахнут небосвод. В истоме  
Сад ждёт упавшую звезду.  
И я, как двери в старом доме,  
Ночь напролёт открытй жду.

Чтобы однажды на рассвете  
Услышать в сонном городке  
Заржавленную песню петель  
О таинстве ключа в замке.

## ТАМ

Весна. Пальто из коверкота,  
Асфальт, как фото, глянецвит,  
Трамвай скрипит на поворотах,  
И дождь настырно моросит.

Лежат вдоль улицы пустынной  
Глазницы сонные окон,  
Собака возле магазина,  
Театра серенький фронтон.

В киоте подворотни мрачной,  
Храня невозмутимый вид,  
Пьёт Троица, ругаясь смачно,  
И грустно сквозь меня глядит.

## ЛЕНТА МЁБИУСА

*«Многие считают, что лента Мёбиуса  
является символом бесконечности».*

Википедия

Без проекта, плана – как придётся.  
Для телег, гонцов и беглецов  
Узкой лентой Мёбиуса льётся:  
Сельское «Садовое кольцо».

Строфы – в вену, водку – перорально  
В путаницу лет и городов,  
И стоит дорога вертикально,  
Осыпая оспины следов.

## РАСПУТИЦА

(А. Саврасов)

Горизонт с утра в белесой мути,  
Под окном стоит гриппозный март.  
Паутина вечных перепутий.  
Не ложится на ладони карт.

Падает промозглая денница,  
Волчьи расплываются следы,  
И седеют на пролёте птицы,  
Глядя на распутье с высоты.

## ИРМА ГЕНДЕРНИС

### ДАЙ КРЕН

\*\*\*

в шкафу устроили небольшой переполох  
оказывается, прибыла какая-то делегация  
галстуков (не пионерских, конечно) и бабочек  
фрак со смокингом  
выясняют отношения  
что есть белое, а что чёрное  
и кого сегодня оденут на фуршет  
снимут с вешалки на видеокамеру  
больше всего не повезло джинсам и свитеру  
они остаются выгуливать доберманов  
а носовой платок заявил:  
а я вообще никуда вечером не собирался  
и даже если позовут, я ещё посмотрю...

но всё оказалось проще  
всех примирило  
известие о трагической гибели  
пододеяльников —  
их протаранил дикий автомобилист-любитель  
вышить...

\*\*\*

горизонтали собак  
вертикали кошек

подворотни как забегаловки  
столики накрытых контейнеров

пять-шесть дружеских встреч  
три-четыре разборки между группировками

бумер тележки  
лексус

на заднем фоне  
кто-то объясняется с шефом  
висит на телефоне

на переднем плане свадьба  
куча свидетелей  
в общем-то голытьба  
без паспорта без прививок  
общество скисших сливок

полиция разгоняет всё мероприятие  
дворник чихает утивно

\*\*\*

убежало в укрытие  
как молоко по плите  
на большом огне  
на закатном  
волны короткие как обрез  
сделанный из ружья стандартного  
мол, мол, врежется своей линейкой  
миллиметр за миллиметром  
ты несёшься по ней  
несёшь расстояние  
состоящее из песка камней и цемента  
чтобы там, на последнем делении  
среди штиля и шторма на рубеже  
построиться...

\*\*\*

сегодня из подвала  
под руки и на носилках  
выходило выносило наружу солнце  
щурилось почти убито  
слишком глубоко ранение  
в лёгких слишком  
много застывшей с ледком воды

так что море  
делает только простые фигуры  
алебастровые и мёртвые  
петли.  
листья раскинули руки  
так и летят с сорок первого этажа  
войны  
с тысяча девятьсот девяносто первого  
и девяносто четвёртого  
и одиннадцатого, девятого. две тысячи  
первого.  
послушай  
ты можешь разбить все эти лепные скульптуры  
эти бюсты забвений и памяти  
эти часики золотые противоударные солнца  
только цепочка осталась в жилетке  
только пенсне.  
запотевшего в позе прицела.

\*\*\*

вот минута молчания  
крови в знак памяти  
выкачанной, донорской  
когда человек без памяти

даёт показания кровь  
главным свидетелем  
главным застрельщиком  
и растлителем

во избежание рецидива  
провалов каньонов  
во время отлива  
крови давать гормоны

\*\*\*

потрясающее открытие:  
деревья растут вниз  
в парке устраивают стриптиз  
в плавки засунуты долларовые купюры  
фонд охраны памятников от современной культуры

да я и сама уже хотела  
закладывала фундамент строила тело  
а тут опять теракт  
нужно укрепляться это факт

а то слово не вяжется с делом  
душа с телом  
высыпается то что было подмочено  
пусть всегда будет солнце мама тебе велела  
сама уже обесточена...

\*\*\*

песенка циферблата  
которую кот наплакал  
наскрипели стрелок качели  
раки нам насвистели

песенка с гулькин нос  
за ломаный куплена грош  
подставленными под нож  
отправленными в обоз

\*\*\*

В подкорковой железной раме  
портрет вождя-врага народа,  
и мозг-народ на каторге с кайлом,  
туннель до сердца пробивает и обратно,  
все сроки вышли, реабилитируй,  
внеси в свой список, Боже, горемычный,  
сорви портрет, сожги его прилюдно  
и новый фетиш заклепай в мозгу.

\*\*\*

жизнь тебя тырит у смысла  
летит с мигалкой времени  
идеал переводной картинкой смылся  
поистерся локтями коленями  
потрепался и ты не парься  
всё чаще будь релакс  
приходи факсом  
уходи феникс

\*\*\*

Дай крен, идущий слишком прямо.  
Скажи неправду, столь правдивый.  
Душа, ты стала полигамна:  
со многим жить тебе по силам.

Существование с тобою  
иглою сшито дикобраза.  
Притихнешь бомбой часовой.  
Повеет ядовитым газом.

\*\*\*

вот самолёт летит как вилочка  
неся ракеточки-грибочки  
и есть внизу такая дырочка  
куда он сбросит эти строчки

куда вся прорва эта денется  
осядет после рассосётся...  
но дырочка ещё надеется  
что ей щербато улыбнётся

#### В ЭМИГРАЦИОННОМ РЕЖИМЕ. АДАПТАЦИЯ

глаза пристреливаются к темноте  
тяжело в ученье в бою легко  
два твоих трассирующих остались навек в хвосте  
эха рухнувшего посреди лепных потолков

обступившая армия люстры звоном наполнит бокал  
хрустала чешский сведя язык  
ватт, и ампер выдернет шнур в оскал  
окон-клыков — мостовых мастик

и на лбу глаза губы свернулись в клубы  
паровозного дыма мороза картон  
забивает дыры заколачивает гробы  
стеклянных каменщиков и крон

подвал подымает на девятый этаж подол  
лифтёр запирает на ключ гараж  
крупной соли идёт в мелкий мелясь помол  
снег сдающийся октябрю в багаж...

#### РУССКИЙ ДЖИХАД

на носки встаёт темнота  
снег пьёт из реки  
себя, разрушая мост  
взрываются грузовики  
чёрного снега вразнос  
взрывается броневик  
и броненосец и крейсер  
и смольный напалал сугроб  
в нём прячется боевик  
стреляющий пулями в лоб  
бьёт кровь горячее чем гейзер  
Курильская снега гряда  
Карельский его перешеек  
и озеро снега Байкал  
полны турбанов тубетеек  
папахи идут в три ряда  
а снег идти перестал

#### ПО МОТИВАМ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК

Тук-тук, кто в тереме живёт? —  
Бабушка-чеченка, мама-некрещенка,  
проезжий добрый молодец,  
Дух Святой, Сын и Отец.

#### КЛАССИК. ИГРА ЧЕРНЫМИ

ать-два — часы в часы,  
от часу не легче быть.  
не мои слова просты,  
чтобы ими всё покрыть.

пусть покроет лучше снег  
ёлку по макушеньку.  
что тут скажешь, человек?  
как откроешь душеньку?

Всё бы было ничего б,  
уложилось в кубики б,  
не морщило бы лОб,  
Знало б свой загиб,

пальцев зНало б перечёт,  
лепоту фигур,  
всё бы ставило б зачёт,  
шло б на перекур,

всё бы шло в тартарары,  
стих-аккуратист,  
но по правилам игры  
Я не шахматист,

вырвется и шах, и мат  
не из этих уст.  
придержите мне квадрат.  
Круг сегодня пуст.

ВЛАДИМИР БАУЭР

## МЕНЯ ЗОВУТ ПЕТРОВ

\*\*\*

В соседнем цехе болты желты  
и так манят к себе оне...  
Но мастер мне сказал: «Пошел ты...»,  
и я шагаю, как во сне,  
над темной изгородью смыслов,  
морали мреющей поверх,  
а мне навстречу архипристав,  
неисследимый суперстерх.

Ни гения, ни идиота  
пласт понятийный тех высот,  
где нам доумевать охота,  
не знает: «Свет вам да пейот!»

42

Мне 21 год,  
меня зовут Петров,  
моральный я урод,  
с букашками суров.

Ликую, веселясь,  
и всяк поймет меня,  
когда я мира князь,  
кузнечиков членя.

Слетаются все пусть,  
чья жизни соль сладка,  
на пламя молотка,  
на страсть его и хрусть.

На жу́ковый жульен,  
цикадный холодец,  
пирожное Мадлен  
из розовых сердец.

... Уж 21 год  
моральный наш урод  
по имени Петров  
с букашками суров.

\*\*\*

Оптимизируют, суки, потоки,  
как их маркетинги, падлы, жестоки,  
гимн из откопанных тропомузык  
смаден и тёмн законов язык!

*Строки сии спрячь в укромные гроты,—  
если найдут, зазрелишь в патриоты,  
в неводах чьих до хрена мудаков.  
Век не отмоешься от ярлыков.*

Понаразвешали камер, ублоудки,  
коих стесняются лишь проститутки.  
«Столько бабла на безвредных блядей!» —  
жабой придушен, шипит иудей.

*Не оставляй доступ к файлам открытым:  
если прочтут — станешь антисемитом.  
Будешь распят в паутине лучей  
жалящих, миндалевидных очей.*

Необозримы, как овощебазы,  
люди замороженный грабят лабазы.  
Брошен спасти шум и ярость аорт,  
редкий средину прошмякивал торт.

*Весь этот бред утопи вместе с калом:  
разоблачат — прослывешь радикалом.  
Вряд ли на службу тебя кто возьмёт,  
если ты террорист-тортомет.*

Робкие трели, дыханье и шёпот.  
Проклят давно уже внутренний опыт.  
Мозг не свобода пьянит, но вина.  
Плещутся черти в чернильнице сна.

## ВОЗНЕСЕНИЕ ПУХА

Так жизнь устроена, чего  
греха теперь таить...  
Пчела садится на чело:  
«Ха-ха, тебе водить.  
Колись, бродячее жерло  
стиха, куда ж нам плыть?»

Давно пристреляны пути  
на сумрачной земле.  
«Куда-нибудь себе лети», —  
я говорю пчеле.  
Не стих сопит в моей груди,  
но пустота в петле.

Да, всё уже не «ла-ла-ла»,  
такие, брат пчела,  
сама давно бы поняла,  
несладкие дела.  
Пора срывать с себя крыла,  
нырять в дыру дупла.

Вот целый рой мой теребит  
покой со всех сторон.  
«Сейчас, свинячий содомит,  
пархатый Арион,  
ты будешь жадами прошит  
и не удержишь стон.

Когда, куда, зачем, кого,  
откуда и доколь, —  
ты всё расскажешь для того,  
чтоб превратилась боль  
в янтарной неги вещество,  
ну, скажем, в мёд.

Изволь».

Но, воле авторской не раб,  
я исчезаю враз!  
Мохнатомахом крылолап  
мча в стратосферный мраз,  
где над страной дорожных троп  
безмолвствует глонасс...

\*\*\*

Тут хотя б за кошку быть в ответе,  
ты ж меня — бери и володей —  
так хватаешь за места за эти,  
что страшусь твоих чумных затей.

Я проблемам экзистенциальным  
посвящаю грустный свой досуг,  
ты же с фонарем провинциальным  
ловишь мужика на сердца стук.

Нет тебя гетеросексуальней  
в тщетном и неверном свете сём.

Мир не всхлипом кончится, но спальней.  
Кошку отогреем и спасем.

\*\*\*

Налево загребай, налево,  
кривая, по кривой вози.  
Воспоминаний для сугрева,  
отвязных, как в метро Зази,  
вверни, ничем не поразит,  
а всё *движуха ля форева*.

Умчась в беспамятство, заплыв  
куда хотел, зачем — забыв,  
нырну, дышать стараясь ровно,  
припоминая перси дев  
(округлость, мягкость и нагрев),  
в звенящую изнанку слов, но,

когда уже сипят тела,  
когда не важно с кем была  
иль был тот или та, с которой  
или которым прежде ночь  
делили, словно клад, —  
невмочь  
смотреть на задник строф беспорый.

...Находчива, велеречива,  
раскинулась родная речь.  
У ней особенная грива  
и сердце жаркое, как печь.

Но всяк поэт имеет френч.  
Но смыслов торжествует нива!

\*\*\*

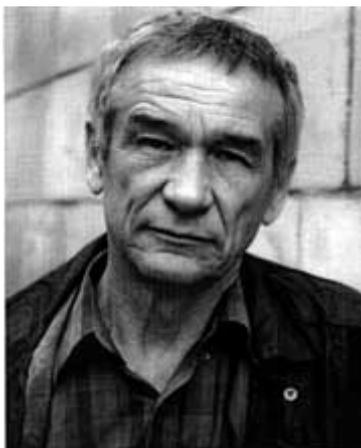
Поэты пишут быстро и легко,  
танцуют после этого в трико,  
грош неразменный у Евтерпы клянча.  
А если кто заплатит им за ночь,  
любить поэты спонсора не прочь,  
но это, в общем, редкая удача.

Бессмысленному утру вопреки  
поэты как бы спят на дне реки  
до вечера, свежи и молоданьки.  
А после, не забыв принять на грудь,  
в вечернюю страдать выходят муть,  
в которой вдохновение и деньги.

Поэт, когда его попросят, рад,  
раздевшись, выйти в цирке на канат  
и с наслаждением расслабить сфинктер.  
Гордясь, смотреть, как первые ряды,  
сорвав с сидений чуткие зады,  
*Пиндаф* кричат и что-то там про принтер.

Когда ж героя сунут в унигас  
и станет он в натуре пидорас,  
тогда, подобен козлоногой нерпе,  
кому уже неважно промычит,  
как чернота во рту его горчит,  
а неба свод зело многоочит,  
и пакости срамные о Евтерпе...

## ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ЛЕОНОВИЧА (1933 – 2014)



### Патриотическое

*Достоевский, милый пыц...*  
Тургенев

«Презренный жид», «проклятый лях»...  
Жидовствую, кичусь, нищаю.  
Любимых классиков прощаю,  
хоть улыбаюсь на полях:  
Иван Сергеич – милый пыц,  
а Достоевский – нет, и столь же  
визгливо горд и слёзно нищ,  
как шляхтич в оскорблённой Польше.  
Мне любо: я и жид, и лях  
по самой сути и для слога –  
покудова на костылях  
вся чернь стоит четвероного.  
Лакей спесив, холоп надут,  
хам величав попуще пыща,  
но миг! – и к ручке припадут,  
и лобызают голенища.  
Стоять – так на своих двоих.  
Сидеть – так на своей костлявой.  
О том свидетельствует стих,  
не осквернённый их халявой.  
Стоймя заклиньте в землю гроб!  
Снесу такое неудобство,  
пока ведётся хоть микроб  
великорусского холопства.

# МАЭСТРО

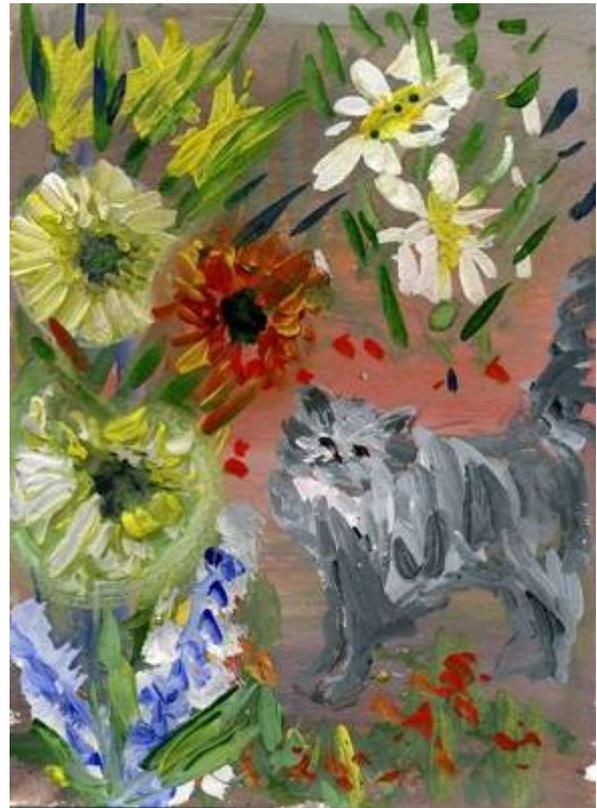
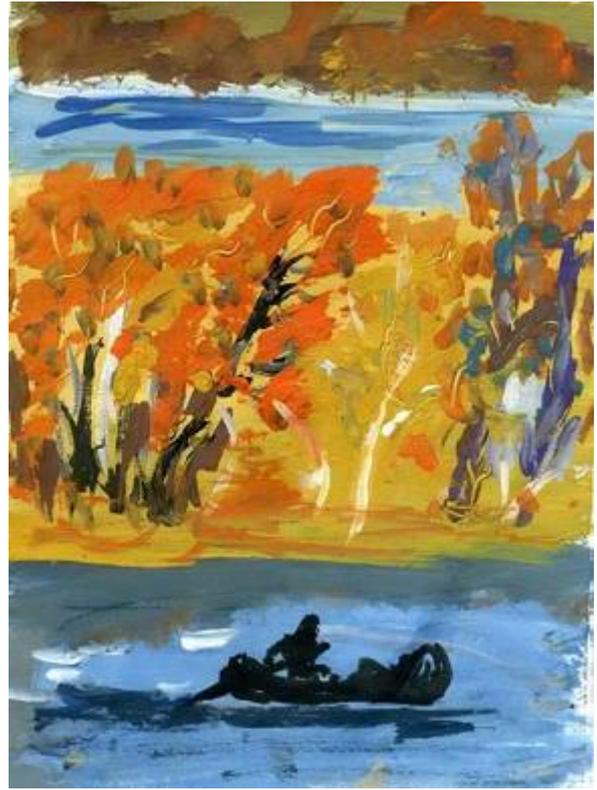


**ОЛЬГА БОЧЕНКОВА (КАЛУГА)**



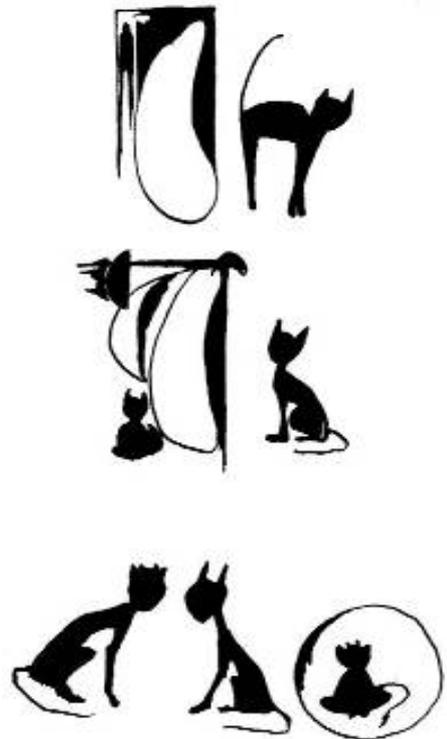






## ИРМА ГЕНДЕРНИС (ЛИЕПАЯ)







# ХОРОШО ПРИ СВЕТЕ ЛАМПЫ...



## «ПЬЯНЕНЬКИЕ»

(Образы алкоголиков в русской литературе на примере Мармеладова и Венички)

## «У вас тут такой литературный разговор...»

Уже несколько лет подряд я начинаю занятия с новой группой студентов-славистов Лейпцигского университета с того, что предлагаю им написать, не особенно задумываясь, все ассоциации, возникающие у них со словами „Россия“ и „русский язык“. Ответы, как правило, очень разнообразны: от матрешек до балета, от Pussy Riot до революции 17-го года... И только одно слово присутствует неизменно, практически, в каждом втором ответе: водка.

Мой маленький эксперимент всего лишь подтверждает и без того известное: наличие у западного человека мощнейшего стереотипа о русском пьянстве. И это несмотря на многочисленные исследования, доказывающие, что и в Европе в разные периоды истории остро стояли проблемы алкоголизма. Тем не менее, алкоголизм именно русского человека стал клише. Причем, это клише с давних времен существует и в самой России: «Народ наш не славится трезвостью» (Даль). Самое интересное - оценка пьянства общественным сознанием далеко не всегда негативна, на протяжении веков русское пьянство считается одновременно и грехом, и особенной формой добродетели, проистекающей из философских и эстетических особенностей русского характера<sup>1</sup>.

Русские писатели всегда живо откликались на социальные процессы, происходящие в обществе. Литература в России традиционно воспринималась не столько как средство индивидуального самовыражения, сколько как проводница социально-этических концепций.<sup>2</sup> Анализируя русскую литературу можно найти объяснение как укоренившимся национальным стереотипам, так и многим другим особенностям нашей жизни. Ведь что такое стереотип? По сути это - определенная картина мира, существующая у носителя стереотипа.<sup>3</sup> Литература также предлагает читателю в каждом конкретном произведении свою картину мира. Эти две картины могут совпадать или не совпадать. Бывает так, что литература разрушает имеющиеся стереотипы, а бывает и так, что создает. В обоих случаях, однако, мотив алкоголя в сочетании с другими мотивами служит „общему делу“ раскрытия основной темы и идеи произведения. Взаимодействуя с клише и стереотипами, имеющимися в обществе, „поэзия превращает [...] употребление вина [...] из физио-химического и физиологического факта в факт культуры“ (Ю. Лотман), и предлагает определенные модели для понимания русского пьянства как социо-культурного явления.

Какие именно модели и как они соотносятся с пониманием этого явления обществом (т.е. с имеющимися на этот счет стереотипами)? Например, пьянство может рассматриваться как сознательный социальный протест, как критика социальных условий, как способ преодоления „мировой“ скорби или же, напротив, как показатель мужественности, стойкости и т.д.

Очень интересно использование мотива пьянства в контексте ущемления гордыни, пьянства как подвига юродства в христианской картине мира. Мне хочется рассмотреть эту модель на примере двух произведений, в которых созданы, на мой взгляд, одни из самых пронзительных образов алкоголиков в русской литературе. В первую очередь, это, конечно, „Москва – Петушки“ Венедикта Ерофеева. Второе – „Преступление и наказание“ Ф. М. Достоевского. Идея сопоставления этих двух произведений не нова, уже одна из первых исследователей творчества Ерофеева Светлана Гайсер-Шнитман считала ее очень плодотворной: «Философская традиция и грани личности героя петушинской „поэмы“ ярче всего видны при сопоставлении его с персонажами Достоевского, которые цитируются в тексте. В „Преступлении и наказании“ три фигуры, судьба которых близка Веничкиной. Во-первых, несчастный чиновник Мармеладов [...]».<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Travert, 2008.

<sup>2</sup> Pörzgen, с. 42.

<sup>3</sup> Hahn / Mannova, 2007, с. 15.

<sup>4</sup> Geisser-Schnittmann 1989, с. 106.

Постараюсь провести сравнительный анализ, не упуская из поля зрения основную мысль, озвученную выше: исследование мотива алкоголя с точки зрения христианской концепции ущемления гордыни. Для этого, однако, придется немного углубиться в материю, условно обозначенную как

### Алкоголь и церковь или «Почему же смущаются ангелы»

Писатель и журналист Соня Марголина начинает своё исследование «Водка, пьянство и власть в России» (Берлин, 2004 г.) со следующего эпизода, описанного в одной из московских газет в 1873 году: жители одной из деревень во время пожара вместо того, чтобы спасти церковь, кинулись тушить кабак, хозяин которого пообещал им за это ведро водки<sup>1</sup>. Этот эпизод ужаснул Ф. М. Достоевского и послужил поводом к публикации статьи в журнале «Гражданин», а также к размышлениям на тему пьянства в «Дневнике писателя».<sup>2</sup>

Спустя более чем сто лет после описанного случая в селе Прямухино Тверской области разыгралась куда более страшная трагедия, известие о которой мгновенно облетело всю страну: в ночь с 1 на 2 декабря 2006 года заживо сгорели в собственном доме православный священник Андрей Николаев и трое его маленьких детей. И хотя официальные версии расследования называли причиной пожара неисправную проводку, большинство СМИ сошлись в другом мнении: священник поплатился за то, что не давал односельчанам пропить церковную утварь. «Даже страшно подумать, что люди дошли до крайней степени жестокости лишь потому, что им не давали спустить на водку церковное имущество», — пишет автор статьи Нина Егоршева.<sup>3</sup>

Оба приведённых эпизода можно назвать показательными: налицо своего рода сакрализация алкоголя и десакрализация церкви. На этом фоне несколько эпатажное заявление писателя Виктора Ерофеева: «Водка — русский Бог», кажется не таким уж далёким от истины.<sup>4</sup>

На самом деле взаимоотношения алкоголя и церкви — в данном случае Православной — имеют давнюю и сложную историю. Взять хотя бы известный летописный эпизод с князем Владимиром и его выбором между разными религиями в пользу христианства, не запрещающего употребление спиртного. Вино — центральный элемент Евхаристии, символ крови Христа. Ну, а первую водку, по легенде, изготовил в XV веке монах Исидор из несохранившегося Чудова монастыря в Московском Кремле. «На троих» — национальный вариант Троицы, — пишет Виктор Ерофеев. Водка — исповедальный напиток.<sup>5</sup>

С другой стороны, именно Русская православная церковь на протяжении веков вела борьбу с пьянством своих прихожан. Судя по всему, эта борьба не увенчалась успехом. Многие из служителей церкви и сами были подвержены пристрастию к алкоголю.

Пьянство духовенства нашло отражение в художественной и публицистической литературе и не всегда имело негативную окраску. Василий Розанов (1856-1919), кстати, очень почитаемый Венедиктом Ерофеевым, описывает следующий эпизод: «Бредёт пьяный поп... Вдовый и живёт с кухаркой. А когда рассчитывается с извозчиком — норовит дать Екатерининскую „семятку“ (2 коп.) вместо пятака. [...] Почему же я к нему подойду, отделяясь от тех, когда те разумны, а этот даже и в семинарском-то „вервии“ лыка не вяжет? По традиции? Привычке? Нет, я выбрал. Я подошел к мудрости и благодати. А отошёл от глупости и зла. [...] Чего, и дальше „за руку с попом“ не погнушается взяться и древний Платон, сказав: „он — от моей мудрости“. А я прибавлю: „Нет, отче Платоне,— он превзошел тебя много. Ты — догадывался, а он — знает, и о душе, и о небесах. И о грехе и правде“. И что всякая душа человеческая скорбит, и что надо ей исцеление», (Розанов, 319). Пьянство попа рассматривается как страдание, дарующее мудрость и знание о душе. Пьянство духовенства не только не дискредитирует его в глазах народа, напротив, оно делает его «своим», стоящим «по эту сторону», в отличие от государства. «Пьяный сапожник да пьяный поп — вся Русь. Трезв только чиновник, да и тот по принуждению», (Розанов, 340).

В массовом сознании подобное снисходительное, оправдывающее отношение распространяется не только на людей духовного сана, но и на всех пьющих. «Пьющие люди» — сино-

---

<sup>1</sup> Margolina 2004, с. 9.

<sup>2</sup> Достоевский, 1980, с. 142.

<sup>3</sup> Егоршева, 2006.

<sup>4</sup> Ерофеев, Вик. 2006, с. 12.

<sup>5</sup> Ерофеев, Вик. 2006, с. 22.

ним святости. – Горькие и убогие, судящие и судимые, умницы и придурки – в своей полярности они необъятны, безразмерны, непостижимы» (Виктор Ерофеев).<sup>1</sup>

Разумеется, Православная церковь не призывает прихожан к алкоголизму, наоборот, пьянство порицаемо. Однако, в своеобразной «иерархии грехов» на первом месте стоит гордыня, в то время как одной из главных добродетелей считается смирение. То что пьянство в данном контексте может восприниматься как унижение гордыни в человеке, прекрасно иллюстрирует миниатюра современного писателя Алексея Смирнова «Расстрига».

«[...] в милиции служил еще один незаурядный человек, Дима Ляхов. Он закончил институт прикладной математики на родине, во Владивостоке. А потом пошел учиться в духовную семинарию. С первого же курса его прикрепили к духовнику, которому Дима через несколько месяцев поведал о том, что он полгода вообще не пьет. Духовник, услышав о таком достижении своего подопечного, тут же налил ему и себе водки в большие глиняные кружки и повелительно произнес: „Пей!“ Когда Дима беспрекословно подчинился, духовник спросил: „Сын мой, ответь, что близит человека к дьяволу?“ Дима стал перечислять: „Не убий, не укради.“ „Нет, не только это, – оборвал его духовник, – Гордыня, гордыня нас губит, ибо возрадуется сердце Люцифера, если возгордится сын человеческий! Когда ты сказал мне о том, что уже полгода не пьешь, я понял, что ты возгордился. Поэтому и велел тебе выпить, чтобы победить в тебе гордыню“. Дима это понял по своему и со своим соседом по келье начинал каждое утро с вопроса: „Брат мой, а мы не возгордились?“ – после чего выпивал с ним по кружке водки»<sup>2</sup>.

Структура приведённого текста явно анекдотическая, не ускользает от внимания ирония, с которой преподносится взаимосвязь алкоголь – смирение. Однако существуют и более серьёзные и далеко идущие варианты преломления христианской идеи смирения в литературе.

### Мармеладов и Веничка

Интересен парадокс: в романе Достоевского тема алкоголизма задумывалась как основная («Роман мой называется «Пьяненькие» и будет всвязи с теперешним вопросом о пьянстве», Достоевский), но получила развитие только в качестве второстепенного мотива. В поэме Венедикта Ерофеева алкоголь – основной мотив, на нём «держится» вся поэма – но основная тема, идея произведения – изначально была и остается иной.<sup>3</sup>

Семён Захарович Мармеладов – второстепенный персонаж романа «Преступление и наказание». Веня Ерофеев – главный герой поэмы «Москва – Петушки». Оба они – алкоголики. Люди, находящиеся «на дне», не имеющие никакого социального статуса, несмотря на неплохие исходные позиции: Мармеладов – бывший чиновник, дворянин; Ерофеев – литератор, образованный человек.

У Мармеладова есть жена и ребёнок (дочь) от первого брака (плюс дети жены). У Ерофеева – любимая женщина (фактически, жена), ребёнок от другой женщины (сын). В обоих случаях явственна тема вины перед ближними, особенно – перед детьми.

Оба героя сами рассказывают свою историю от первого лица – мотив «исповеди». Их речь обращена к слушателям и рассчитана на достижение определённого эффекта. Примечательно обилие библейских выражений и цитат, придающих их высказываниям возвышенность, трагичность. В то же время использование «высоких» библейских выражений в купе с определёнными ситуациями нередко приводит к комическому эффекту.

Мармеладов живёт на четвёртом этаже в проходной комнате, у него, практически, отсутствует личное пространство. Также и у Венички нет своего личного пространства, мы видим его в общественных местах – подъезд, вокзал, поезд. Работая в бригаде, он вынужден делить комнату с другими рабочими. В Петушки он отправляется из четвертого тушика.

В кармане умершего Мармеладова Катерина Ивановна обнаруживает «пряничного петушка», припасенного для ребятишек, Веничка везет гостинцы сыну: конфеты «Василек» и два стакана орехов.

И оба героя оказываются в ситуации безысходности, по крайней мере, на физическом плане. «А коли не к кому, коли идти больше некуда! Ведь надобно же, чтобы всякому человеку

---

<sup>1</sup> Ерофеев, Вик. 2006, с. 21.

<sup>2</sup> Смирнов, А.: МО-МЕНТЫ (Московские Менты).

<sup>3</sup> Geisser-Schnittmann 1989, с. 22.

хоть куда-нибудь можно было пойти. [...] Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти?» Этот же мотив звучит в повторяющихся Веничкиных самоговорах: «Иди, Веничка, иди... [...] Если хочешь идти налево, Веничка, – иди налево. Если хочешь направо – иди направо. Все равно тебе некуда идти».

Оба героя умирают не своей смертью. Мармеладов попадает под экипаж (на улице, буквально – на земле), затем его приносят домой (замкнутое пространство), где он умирает, фактически, на полу («Соня! Дочь! Прости! – крикнул он и хотел было протянуть к ней руку, но, потеряв опору, сорвался и грохнулся с дивана, прямо лицом наземь»). Перед смертью его внимание привлекают босые ноги маленькой дочери: «А... а... – указывал он на нее с беспокойством. Ему что-то хотелось сказать. – Чего еще? – крикнула Катерина Ивановна. – Босенькая! Босенькая! – бормотал он, *полоумным* (курсив мой) взглядом указывая на босые ножки девочки».

Что касается Венички, то четверо убийц наступают и избивают его на улице. Пытаясь спастись бегством, он забегает в замкнутое пространство незнакомого подъезда. Однако четверо неизвестных наступают его, распинают на полу и «совершенно ополоумевшего» – убивают («Меня распять надо, распять на кресте, а не жалеть!» – говорит Мармеладов). Перед смертью Веничка успевает отметить, что его преследователи босы: «А когда я их увидел, сильнее всякого страха (честное слово, сильнее) было удивление: они, все четверо, поднимались босые и обувь держали в руках – для чего это надо было? Чтобы не шуметь в подъезде? Или чтобы незаметнее ко мне подкрасться? Не знаю, но это было последнее, что я запомнил». Если последние слова умирающего Мармеладова обращены к дочери Соне, то последнее, что фиксирует Веничкино сознание – это «густая красная буква „Ю“», как напоминание о младенце, его сыне.

### «Сугубо страдать хочу»

Для поздних романов Достоевского (к которым относится и «Преступление и наказание») характерна христианская картина мира. Даже если человек грешен и отвергает Бога через свои поступки (Раскольников, Мармеладов) – это ещё не значит, что он навсегда потерян. Бог «ищет» человека и проявляет себя через взаимосвязь поступка и следствия. Спасение достигается смирением, признанием своего несовершенства, покаянием. Спасение – это милость, а не заслуга.<sup>1</sup>

Православная концепция, выраженная в «Преступлении и наказании», подтверждается пометками Достоевского к окончательной редакции романа: «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты, но это непосредственное сознание, чувствуемое житейским процессом, – есть такая великая радость, за которую можно заплатить годами страдания. Человек не рождается для счастья. Человек заслуживает счастье, и всегда страданием».<sup>2</sup> В романе эта мысль озвучена Мармеладовым: «Пью, ибо сугубо страдать хочу». В этом «сугубо страдать хочу» можно увидеть своеобразное объяснение алкоголизма Мармеладова. В романе не объясняется, почему именно Мармеладов пьёт и продолжает пить, даже после того, как его из милости снова взяли на службу. Он «срывается» и пропивает не только новую, специально для него сработанную одежду, деньги, но ещё и просит на опохмеление у Сони её последние деньги. (Одним из объяснений, с современной точки зрения, может служить медицинский момент – Мармеладов болен и не может преодолеть тяги к алкоголю одной только силой воли, однако, в тексте эта причина не называется). Пьянство Мармеладова – это его преступление, но и его же наказание. Если Раскольников убивает двух человек (женщин), зарубив их топором, и тем самым губит собственную жизнь, то и Мармеладов своим пьянством фактически тоже губит две жизни (жена и дочь) и погибает сам. С христианской точки зрения и Раскольников, и Мармеладов – согрешили. «От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал!...» – говорит Соня Раскольникову. «А это не грех? – крикнула Катерина Ивановна, показывая на на умирающего. [...] Ихнюю да мою жизнь в кабаке извёл!»

Однако между преступлением Раскольникова и «несчастной слабостью» Мармеладова есть большая разница, которая позволяет говорить, скорее об обратном параллелизме героев. Это – их собственная оценка совершённого, выраженная через мотивы гордыни и смирения. Раскольников совершает преступление под влиянием собственных идей о сверхчеловеке, которому все позволено, в том числе – перешагнуть через человеческие и Божьи законы. В этом смысле Мармеладов – антипод Раскольникова, человек без гордости – совершенно маленький, униженный человек. Рас-

<sup>1</sup> Harreß 2007, с. 261.

<sup>2</sup> Цитируется по: Белов 1979, с. 23.

кольников пытается возвысить себя через свое преступление («Тварь ли я дрожащая или *право* имею...»). Мармеладов – сам себя унижает своим пьянством: «[...] *осмелитесь* ли вы, взирая в сей час на меня, сказать утвердительно, что я не свинья?».

Идея страданий и мученичества реализуется и в «Москве – Петушках». Во-первых, насильственная смерть героя, принятая им без всякой видимой вины (параллель между героем и невинно-распятым Иисусом Христом)<sup>1</sup>.

Во-вторых, как и в случае с Мармеладовым, Венино пьянство является постоянным и добровольным «наказанием» героя, его «самопроизвольным мученичеством».<sup>2</sup> Веничка сопоставляет своё пристрастие к алкоголю со стигматами святой Терезы – на первый взгляд, совершенно абсурдное сопоставление: «Господь, вот Ты видишь, чем я обладаю. Но разве э т о мне нужно? Разве по э т о м у тоскует моя душа? Вот, что дали мне люди, взамен того, по чему тоскует душа! А если б они мне дали т о г о, разве нуждался бы я в этом? [...] И, весь в синих молниях, Господь мне ответил: – А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны, но они ей желанны. – Вот-вот, отвечал я в восторге. – Вот и мне, и мне тоже – желанно это, но ничуть не нужно!» Характерно, что алкоголь появляется в тот момент, когда не находится главного «т о г о» в жизни героя: «И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен». Это прямо переключается со словами Мармеладова: «Разве я не чувствую? И чем более пью, тем более и чувствую. Для того и пью, что в питии сем сострадания и чувства ищю...»

### «Малодушен и тих»

« – Так когда же вчера ты купил свои гостинцы? [...] Между первым и вторым стаканом охотничьей? Тоже нет. Между ними была пауза в тридцать секунд, а я не сверхчеловек, чтобы в тридцать секунд что-нибудь успеть. Да сверхчеловек и свалился бы после первого стакана охотничьей, так и не выпив второго». Идее «сверхчеловека» (Раскольников) – идее непомерной гордыни, Веничка прямо противопоставляет алкоголь: «Да. Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от сомнения и поверхностного атеизма». Характерно, что у Раскольникова, помимо основного выбора – скрыть свое преступление, искупить его добрыми делами или признать свою вину и искупить преступление страданием<sup>3</sup> – была и ещё одна возможность: заглушить свою совесть алкоголем, «утопить в вине»... Бродя по закоулкам, он останавливается возле одной из распивочных: «Не зайти ли? – подумал он. – Хохочут! Спьяну. А что ж, не напиться ли пьяным?» Однако, он не рассматривает эту возможность всерьез, видимо потому, что непомерно горд. Пьянство же, заглушив муки совести, заглушило бы и голос разума, унизило бы его в его собственных глазах.

В Евангелии идею смирения иллюстрирует притча о фарисее и мытаре: «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбоден или, как этот мытарь; пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот; ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18, 9-14).

В «Преступлении и наказании» эта идея выражается в пьяных речах Мармеладова: «И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смиренных... И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: „Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!“ И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: „Свиньи вы! Образа звериного и печати его; но приидите и вы!“ И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: „Господи, почто сих приемлещи?“ И скажет: „Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего...“»

---

<sup>1</sup> Goldt 2007, с. 431-434.

<sup>2</sup> Лейдерман / Липовецкий 2003, с. 395.

<sup>3</sup> Harreß 2007, с. 264.

Веничка формулирует по-своему, но все в том же духе: «Все так. Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян». Проводя своего героя через все стадии алкогольного воздействия, Ерофеев выводит своего рода «диалектику пьянства», ведущую от гордыни к кротости, от трезвости — к похмелью. Именно с похмелья бывает человек «малодушен и тих». Герой Ерофеева «сбивает обе спеси, трезвую и пьяную, добираясь наконец до похмелья как состояния предельной кротости. Потому что похмеляющийся брезглив к себе и оттого все прощает ближнему».<sup>1</sup>

### «Дурак, и демон, и пустомеля...»

Неоднозначность образа Венички отмечалась многими исследователями. В некоторой степени в образе Венички проступают типы «лишнего человека», «философа», «святого». Наиболее же близок этот образ оказывается архетипу «мудрого шута» или юродивого.<sup>2</sup>

Легенды о юродивых и их жития существуют на Руси уже в XI – XIV веках. Особенно же актуально юродство становится в XVI и XVII веках, продолжение этой традиции встречается вплоть до конца XIX века.<sup>3</sup> В числе наиболее известных юродивых – Василий Блаженный (в 1647 году причислен к лику святых), в честь которого построен Собор на Красной площади в Москве.

Юродствующий Христа ради – это, своего рода, „ложный шут“, чья жизнь – экстремальная, воплощенная на практике форма подражания Христу, добровольное принятие унижений и оскорблений, жизнь в смирении и кротости, проявление любви даже к врагам и преследователям.<sup>4</sup> Основные черты, присущие юродивому: театральность его действий, «игра на зрителя», отрицание авторитетов – равное отношение к людям любых социальных слоев. У юродивого нет крыши над головой, чаще всего это – бездомный бродяга. Более того, юродство прочно ассоциируется с безумием, по сути, это и есть «священное безумие». Юродивый высмеивает мир «погрязший во грехе», выворачивает наизнанку стереотипное поведение, привычные моральные нормы, общепринятые идеалы прекрасного.

В контексте юродства во многом объясняется художественный смысл Веничкиного пьянства, описанного с такой тщательностью и подробностями, как «типичный символический жест „мудрейшего юродства“, призванного обновить вечные истины с помощью кричащих парадоксов поведения»<sup>5</sup>. О своем «безумии» Веничка свидетельствует и сам: «И вообще, мозгов в тебе не очень много. Тебе ли, опять же, этого не знать? Смирись, Веничка, хотя бы на том, что твоя душа вместительнее ума твоего. [...] Потому что я болен душой, но не подаю и вида. Потому что с тех пор, как помню себя, я только и делаю, что симулирую душевное здоровье...» Называя себя неоднократно в тексте «дураком», «блаженным» (традиционные синонимы юродства), Веничка мотивирует эти самоопределения «мировой скорбью», «неутешным горем»: «И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен. [...] Как же не быть мне скушным и как же не пить кубанскую? Я это право заслужил. [...] Теперь вы поняли, отчего я грустнее всех забудды? Отчего я легковеснее всех идиотов, но и мрачнее всякого дерьма? Отчего я и дурак, и демон, и пустомеля разом?»

Явление юродства очень занимало Достоевского. Черты юродства проявляются у персонажей многих его романов – князя Мышкина («Идиот»), Марьи Лебядкиной («Бесы»), Лизаветы Смердящей («Братья Карамазовы»). В «Преступлении и наказании» под определение юродивых попадают убитая Раскольниковым Лизавета и, в какой-то, мере Соня, считает Светлана Гайсер-Шнитман. Однако же, в равной мере это можно отнести и к Семену Захаровичу Мармеладову. Типичная черта юродства — его склонность к пьяным «проповедям», рассчитанным на определённый круг слушателей: «Его разговор, казалось, возбудил общее, хотя и ленивое внимание. Мальчишки за стойкой стали хихикать. Хозяин, кажется, нарочно сошел из верхней комнаты, чтобы послушать „забавника“, и сел поодаль, лениво, но важно позевывая. Очевидно, Мармеладов был здесь давно известен. Да и склонность к витиеватой речи приобрел, вероятно, вследствие привычки к частым кабачным разговорам с различными незнакомцами». Недаром Раскольников отмечает в своем собеседнике черты безумия: «Пожалуй, был и смысл и ум, – но в то же время мелькало как будто и безумие». Характерно определение «забавник», которое дают посетители и хозяин

<sup>1</sup> Эпштейн 1995. С. 11.

<sup>2</sup> Geisser-Schnittmann 1989, с. 105-114.

<sup>3</sup> Ottovordemgentschenfelde 2004, с. 55.

<sup>4</sup> Ottovordemgentschenfelde 2004, с. 60.

<sup>5</sup> Лейдерман / Липовецкий 2003, с. 395.

Мармеладову. Он как бы «забавляет» публику, в его поведении есть нечто от театрального представления<sup>1</sup>. Однако, вещи, о которых говорит Мармеладов – далеко не забавные. Подобно юридическому, Мармеладов обнажается – в прямом (вспомним состояние его одежды), но еще более в переносном смысле – он раскрывает перед слушателями всю свою «поднаготную», рассказывает обо всех обстоятельствах, включая глубоко личные и «постыдные». Так же, как и в случае с Веничкой, в образе Мармеладова проступают и комические, и трагические черты. Посетители пивной смеются над ним в голос, но замолкают в какой-то момент, пораженные силой его «проповеди». Более же всего черты Мармеладовского юродства проявляются в том, что за его смехом, за его «театром» кроется глубоко трагичное мироощущение, его упрек «неправильному», «грешному» миру, в котором не осталось жалости к ближнему: «Думаешь ли ты, продавец, что этот полуштоф твой мне в сласть пошел? Скорби, скорби искал я на дне его, скорби и слез, и вкусил, и обрел; а пожалет нас тот, кто всех пожалел и кто всех и вся понимал, он единый, он и судия».

Жалость – или иначе – любовь к ближнему звучит и в Веничкиных «проповедях». В тот момент, когда все вокруг смеются над рассказом Митрича о председателе Лоэнгрине, Веничка один понимает суть этого рассказа: «Первая любовь или последняя жалость – какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальства Он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру – едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву. И ко плоду всякого чрева – жалость».

Смысл Веничкиных проповедей, как и смысл его юродства – глубоко диалогический: «Праведник всецело завершен и закончен; он самодостаточен и поэтому абсолютно закрыт для диалогических отношений. Между тем греховность и малодушие, слабость и растерянность – это, как ни странно, залог открытости для понимания и жалости, первый признак незавершенности и готовности изменяться».<sup>2</sup>

### **Выход из «четвертого тупика»**

С 2009 года в России проводится новая антиалкогольная кампания. В отличие от Горбачевской кампании 85-87 гг с широкой оглаской и вырубкой виноградников (тем не менее, провалившейся), настоящая кампания более «тихая», но и более долгоиграющая. Официально это называется «Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года». В числе целей – сокращение потребления алкогольной продукции населением на 55 %, снижение уровня смертности в связи со злоупотреблением алкогольной продукцией, «переориентирование населения на ведение трезвого и здорового образа жизни».<sup>3</sup> Как видим, Государство озабочено не только социальным аспектом проблемы, но и имиджевым. Ломка стереотипов — дело непростое, и чрезвычайно интересно посмотреть, что же из этого получится. С этой точки зрения, модели понимания русского пьянства, которые дает нам литература, могут быть очень полезны для анализа причин возникновения в обществе тех или иных стереотипов, связанных с алкоголем. Впрочем, меньше всего мне хотелось бы ставить литературу на службу какой-либо государственной политике. Тем более, что произведения, о которых мы говорим, и больше, и значительнее заявленной в них «алкогольной» тематики. И в этом парадокс и особенность русских писателей (по наблюдению немецкого критика Ивон Перцген): они чаще других авторов выходят за рамки автобиографического и используют алкоголь не как самоцель, но как одно из средств для создания художественных образов. «Ведь в человеке, — говорит Ерофеев устами Венички — не одна только физическая сторона; в нем и духовная сторона есть, и есть — больше того — есть сторона мистическая, сверхдуховная сторона». Говоря о пьянстве, и Ерофеев, и Достоевский, говорят, в большей степени, о чем-то другом. Это «другое» открывается внимательному читателю по прочтении и остается с ним надолго.

---

<sup>1</sup>Ottovordemgentschenfelde 2004, с. 213.

<sup>2</sup>Лейдерман / Липовецкий 2003, с. 396.

<sup>3</sup>Концепция государственной политики... 2009.

## Литература

### Первоисточники

- Достоевский, Ф. М.: Дневник писателя 1873. Полное собрание сочинений в 30-ти томах. Ленинград 1972-1990. Т. 21.
- Достоевский, Ф. М.: Письма. 1860 – 1868. Полное собрание сочинений в 30-ти томах. Ленинград 1972-1990. Т. 28.
- Достоевский, Ф. М.: Преступление и наказание. Полное собрание сочинений в 30-ти томах. Ленинград 1972-1990. Т. 6.
- Ерофеев, Венедикт: Собрание сочинений: в 2-х т. Москва 2007. Т. 1.
- Розанов, В. В.: Перед Сахарной. // Религия. Философия. Культура. Москва 1992, с. 314-342.
- Смирнов, Алексей: МО-МЕНТЫ (Московские Менты). // Сетевая словесность. <[http://www.netslova.ru/ak\\_smirnov/mo-menty.html#5](http://www.netslova.ru/ak_smirnov/mo-menty.html#5)> (19.07.2008 13:03).

### Критическая литература

- Белов, С. В.: Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Комментарий. Пособие для учителя. Ленинград 1979.
- Даль, В. И.: Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах. Москва 1999.
- Егоршева, Нина: «Сожгли из-за водки?» // Труд. 5.12.2006. <<http://www.klikovo.ru/db/msg/8977>> (22.12.2008 16:53).
- Ерофеев, Виктор: Русский апокалипсис. Опыт художественной эсхатологии. Москва 2006.
- Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года. От 30 декабря 2009 г. № 2128-р. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. <[http://www.fsrar.ru/policy\\_of\\_sobriety/koncersia](http://www.fsrar.ru/policy_of_sobriety/koncersia)> (16.06.2010 15:00:05).
- Лейдерман, Н. Л. / Липовецкий, М. Н.: Современная русская литература 1950 – 1990-е годы. В двух томах. Т.2. Москва 2003.
- Эпштейн, Михаил: После карнавала или вечный Веничка. Предисловие. // Ерофеев, Венедикт: Оставьте мою душу в покое: Почти все. Москва 1995, с. 3-30
- Geisser-Schnittmann, Svetlana: Венедикт Ерофеев „Москва-Петушки“ или „The rest is silence“. Berne 1989.
- Goldt, Rainer: Venedikt Erofeev: Moskva – Petuški (Die Reise nach Petuški). // Zelinsky, Bodo [Hg]: Der russische Roman. Köln, Weimar, Wien 2007, с. 426-440.
- Hahn, Hans Henning / Mannova', Elena [Hrsg.]: Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung. Beiträge zur Historischen Stereotypenforschung. Frankfurt am Main, 2007.
- Harreß, Birgit: Fedor Dostoevskij: Prestuplenie i nakazanie (Schuld und Sühne). // Zelinsky, Bodo [Hg]: Der russische Roman. Köln, Weimar, Wien 2007, с. 250-273.
- Margolina, Sonja: Wodka. Trinken und Macht in Russland. Berlin 2004.
- Ottovordemgentschenfelde, Natalia: Jurodstvo: eine Studie zur Phänomenologie und Typologie des Narren in Christo. Frankfurt am Main 2004.
- Pörzgen, Yvonne: Berauschte Zeit. Drogen in der russischen und polnischen Gegenwartsliteratur. Köln, Weimar, Wien 2008.
- Travert, Polina: „Русский пьяница“ – живучий стереотип. // Regard sur l'Est, 08. 07. 2008. <<http://www.inosmi.ru/translation/242438.html> > (16.01.2009 12:00:05).

**ВОДКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО**  
(Лев Лосев и Венедикт Ерофеев: опыт общего прочтения)

*Эссе*

В течение последнего времени я много и усердно читал стихи Льва Владимировича Лосева, умершего пять лет назад, 6 мая 2009 года. Двигаясь к концу объемистого тома, я вдруг подумал, что в самом изначальном и главном этот поэт, один из лучших в нашей словесности, очень похож на Венедикта Васильевича Ерофеева, автора великих сочинений — поэмы «Москва — Петушки» и трагедии «Вальпургиева ночь, или „Шаги Командора”». Таким образом, у меня появился повод вновь обратиться к моим любимым авторам.

Я благодарю моего старшего друга, поэта Игоря Шермана, который сделал мне чудесный подарок — книгу лосевской лирики, выпущенную в 2012 году<sup>1</sup>.

\*\*\*

... Открываешь массивный том, основной свод лосевской поэзии — и вдруг останавливаешься на такой вот строчке из «Продленного дня»:

*Иной ко мне подсаживался бражник...*

Значит, подсаживался. И произносил, нет, травил, например, такое:

*Солдаты уходили в самовол  
и возвращались, гадостью налившись...*  
(«Рота Эрота»)

«В самовол» — значит, на волю. Хотя бы временно. До ближайшего ларька где-нибудь «на грядке возле бывшего залива». Или действительного, не важно, какого — Финского или Канда-лакшского, Стахановцев Арктики или Сахалинского. Воля на пару часов, зима — месяцев на шесть. Только бы согреться.

А по возвращении все на одно лицо — или на одну шинель, гоголевско-армейскую, которая вдруг оборачивается хлебниковско-пугачевским тулупом. «Тулупы мы», — так потом, уже в эмиграции, назвал поэт невеселые свои воспоминания.

*Окоченение к лицу  
не только в чреве недоноску,  
но и его недоотцу,  
с утра упившемся в доску.*  
(«Последний романс»)

Не важно, кто он, этот бражник, — пишущий ли стихи или им внимающий.

*«Понимаю — ярмо, голодуха,  
тыщу лет демократии нет,  
но худого русского духа  
не терплю», — говорил мне поэт.*

...

*И еще он сказал, распаяясь:  
«Не люблю этих пьяных ночей,  
покаянную искренность пьяниц,  
достоевский надрыв стукачей» ...*  
(«Понимаю — ярмо, голодуха»)

---

<sup>1</sup>: Лосев Л. Стихи. СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2012. Цитаты далее приводятся отсюда, хотя отмечу, что это собрание не избавлено от досадных опечаток. — Е. С.

Но ведь в том-то и штука, что монолог этот обращен к поэту, а значит, к самому себе, да и все это понимание, такая нетерпимость и нелюбовь — одна на двоих, с выходом «в заречье, где архангел с трубой погибал»...

Вообще у Лосева очень многое произносится так, что впору вспомнить знаменитое Веничкино: «И с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду»<sup>1</sup>. Только вот Веничкины ангелы не погибают, уступая смерть главному герою, а лосевское питье, в сочетании с лирическим откровением, гораздо легче, можно даже сказать, игривее, чем ерофеевское, но все равно приводит к одинаково шокирующему, полному безвыходного мрака, результату. Хотя бы количественно, от написанной давным-давно «Роты Эрота» до позднего сюжета «В Нью-Йорке, облокотясь о стойку» и «Вечной песенки».

Уже первый большой лосевский цикл именовался «Памяти водки». Если учесть, что в нем поэтические эпиграфы обращены к русским городам Москве и Пскову, даже к целой державе Литве, то национальный напиток меж ними обретает иное, чуть ли не территориально-картографическое, пусть и с генетическим кодом, бытование, и должен впредь писаться с заглавной буквы. По тем же правилам, как город или государство: Водка. И не важно, где ее нам нальют, Нью-Йорк со своим Гудзоном в этом смысле вполне укладывается «в русло».

С Ерофеевым у Лосева, как ни парадоксально, связь не только на уровне безводного ректифицированного этилового спирта из пищевого сырья, но, главное, на уровне речи, даже целой системы, пусть она и соткана, как определил сам Веничка, «из пылких и блестящих натяжек». Кому-то, может быть, это и вправду покажется этакой натяжкой, попросту сущим вздором, потому что любые влияния авторов друг на друга, разумеется, исключены. Нет, все гораздо глубже. Поколение, рожденное на рубеже тридцатых-сороковых годов в стране победившего социализма, сполна и повсеместно получило очень сходный жизненный опыт и заговорило на чудовищной маргинально-советской фене со стыдливými вкраплениями из Библии, казавшимися сором на общем фоне. К этому времени Серебряный век был заглушен и затоптан, а поздние напоминания о нем «Поэма без героя» и «Доктор Живаго» казались таким же библейским сором, ибо в них воскресал Бог и оживал Серебряный век, и это бесило больше всего. Их авторы и персонажи зашли на чужую территорию — территорию власти, а власть сама решала, кого и когда ей оживлять.

Старшим русским писателям хотелось заслонить себя и защитить созданное от языка советских аббревиатур, газетно-плакатных штампов, бытовой вульгарности и уголовщины. Бог и Серебряный век были такой вот защитой, генетическим кодом для отечественной культуры, а «Поэма без героя» и «Доктор Живаго» оказались необходимыми буквами его алфавита, повествуя о том, что на самом-то деле ничего у нас не исчезло, стоит только заглянуть в словарь, найти нужную интонацию, заполнить пробел. В самые разгромные годы Пастернак и Ахматова решили очень естественно эту задачу, вернувшись к началу собственной жизни, к истокам своего языка, а он работал с явлениями более высокого порядка — из поры позднего Толстого, Блока и Розанова. Это был самый верный способ обращения к традиционной словесности. Вспомним кстати, что у Ерофеева о Розанове есть замечательное эссе<sup>2</sup>, что сюжет «Соловьиного сада» встроен как парафраз в одну из главок «Москвы — Петушков», а блоковский персонаж в каких-то своих чертах оказывается сродни самому Веничке.

Рожденным в тридцатые-сороковые годы было гораздо труднее. Обойдемся без лукавства, про Серебряный век это поколение, за редчайшими исключениями — и Лосев с Ерофеевым как раз из таких — мало что слышало, зато хорошо усвоило главные формулировки партийных постановлений об Ахматовой и Пастернаке. А повзрослев к шестидесятым, именно эти люди поняли, что советский язык, при всей своей специфической выразительности, давно обзавелся своей классикой, оказался пригодным не только для революционного разрушения, но и для государственного строительства с новыми барокко и ампиром. Это был путь вспять, чуть ли не к державинскому присутствию, к барковским «срамным» одам.

Лев Лосев увидел это движение так (стихотворение «XVIII век»):

*Восемнадцатый век, что свинья в парике,  
Проплывает бардак золотой по реке,  
а в атласной каюте Фелица*

<sup>1</sup> Здесь и далее: Ерофеев В. Оставьте мою душу в покое (почти все). М.: Издательство «Х. Г. С.», 1995. — Е.С.

<sup>2</sup> «Василий Розанов глазами эксцентрика».

*захотела пошевелиться.  
Офицер, привлеченный для ловли блохи,  
вдруг почувал, что силу теряют духи,  
заглушавшие запахи тела,  
завозилась мать, запыхтела.*

*Восемнадцатый век проплывает, проплыл,  
лишь свои декорации кой-где забыл,  
что разлезлись под натиском пружей  
русской зелени дикорастущей.  
Видны волглые избы, часовня, паром.  
Все сработано грубо, простым топором.  
Накорябан в тетради гусиным пером  
стих занозистый, душу скребущий.*

Река здесь, конечно, не только действительная Нева с царственными увеселениями Екатерины Великой, не только мифологическая Лета, превратившая целое столетие в мифологический театр. Это еще и поклон Державину, его «Фелице», его лирам и трубам, да и вообще всей его грубой, наивной велеречивости.

Оказывается, к русской традиции можно прийти и таким, подчеркнуто театральным, выпадающим в декоративно-срамной, способом. Способ этот, разумеется, не единственный и, упаси Бог, не универсальный. Какая уж тут универсальность, если Нева в качестве устойчивого поэтического тропа работает не более двух веков. Как и Петербург, между прочим. Лосев нашел для него свою, лексически парадоксальную интонацию.

*Он построен на месте встречи  
Элефанта с собакой Моськой.  
Туда дамы ездят на грязи.  
Он прекрасно описан в рассказе  
А. П. Чехова «Дама с авоськой».*

(«Разговор с нью-йоркским поэтом»)

Коренные питерцы послесталинского времени, наверное, таким и воспринимали свой город. Стихотворение насквозь пропитано грубыми клише из литературного и житейского обихода, выявляя гремучую смесь классической традиции и субкультуры. У нас вполне нормально Крылова называть дедушкой, точь-в-точь как Ленина из детских книжек, а при упоминании Чехова мы обязательно скажем, что на сцене были три сестры и в зале дядя Ваня. Наше коллективное бессознательное убеждено, что сначала дедушка Крылов написал знаменитую басню, а уж потом немцы-голландцы во главе с Петром возвели пятимиллионный мегаполис на балтийских болотах, которые превратились в нормальную уличную грязь. А по ней шлепают чеховские дамы с авоськами вместо собачек.

Можно пойти еще дальше вспять, в древнюю Грецию, посидеть у воды «на фоне покоя и лени»...

*«Разберемся в проклятых вопросах,  
возбуждают они интерес», —  
говорит, опираясь на посох,  
мне нетрезвый философ Фалес.*

*II, с Фалесом на равной ноге,  
я ему отвечаю: «Эге».*

*Это слово — стежок в разговоре,  
так иголку втыкают в шитье.  
Вот откуда Эгейское море  
получило название свое.*

(«Классическое»)

Смешно? Ну, конечно, смешно. Намеренное смешение языка, зримый фрагмент то ли из комикса, то ли из школьного учебника по истории. Из того и другого сразу, и здесь на ум приходит детище Серебряного века журнал «Сатирикон», в котором это стихотворение наверняка нашло бы свое почетное место рядом с шедеврами Саши Черного, и пародийная «Всеобщая история», обработанная его ведущими авторами Тэффи, Осипом Дымовым, Аркадием Аверченко и ОЛД'Ором. Так действительно говорят школяры-гимназисты, всегда готовые передернуть всех и все. «Как ныне собирается вещей Олег спалить наши села и нивы...».

Фигура Саши Черного, хотя этого раньше, кажется, никто не замечал, обладает в лосевском мире очень мощным эхом, по-своему, пародийно открывающим дорогу к утраченной традиции. Вот совершенно частный случай — ерническая «Песня о поле»<sup>1</sup> старшего поэта.

*«Проклятые» вопросы,  
Как дым от папиросы,  
Рассялись во мгле.  
Пришла проблема поля,  
Румяная фефела,  
И ржет навеселе.*

*Заерзали старушки,  
Юнцы и дамы-душки  
И прочий весь народ.  
Виват, проблема поля!  
Сплетайте вокруг подола  
Весёлый «хоровод».*

*Ни слез, ни жертв, ни муки...  
Подыдем знамя-брюки  
Высоко над толпой.  
Ах, нет доступней темь!  
На ней сойдемся все мы —  
И зрячий и слепой.*

*Научно и приятно,  
Идейно и занято —  
Умей момент учесть:  
Для слабенькой головки  
В проблеме — мышеловке  
Всегда приманка есть.*

Стихотворный фельетон Лосева «Все впереди», с отсылкой к одноименному роману В. Белова, с беловским эпиграфом «Сексологи пошли по Руси, сексологи!», вполне стоит рядом. «Проблема-мышеловка» видится здесь не как плоды просвещения из декадентской поры, а как выражение поздней советской косности.

*Где прежде бродили по тропам сексоты,  
сексолог, сексолог идёт!  
Он в самые сладкие русские соты  
залезет и вылизует мёд.  
В избе неприютно, на улице грязно,  
подохли в пруду караси,  
все бабы сбесились — желают оргазма,  
а где его взять на Руси!*

Эхо Саши Черного расслышал и Венедикт Ерофеев.

---

<sup>1</sup> Саша Чёрный. Стихотворения. Москва, «Художественная литература», 1991

«... Все мои любимцы начала века все-таки серьезны и амбициозны (не исключая и П. Потемкина). Когда случается у них у всех, по очереди, бывать в гостях, замечаешь, что у каждого чего-нибудь нельзя. "Ни покурить, ни как следует поддаться", ни загнуть не-пур-да-дамный анекдот, ни поматериться. С башни Вяч. Иванова не высморкаешься, на трюмо Мирры Лохвицкой не поблюешь.

А в компании Саши Черного все это можно: он несерьезен, в самом желчном и наилучшем значении этого слова. <...>

Во всяком случае, четверть века назад, когда я впервые нашлся до такой степени, что превозмог конфузливость, первым моим публично прочитанным стихотворением был, конечно, "Стилизованный осел":

*"Голова моя — темный фонарь с перебитыми стеклами,  
С четырех сторон открытый враждебным ветрам,  
По утрам..." — ну, и так далее!*<sup>1</sup>.

Вот в этом вечном школярстве, в намеренном, даже агрессивном пародировании искусства заключается если не главное, то основополагающее качество поэтики Льва Лосева и Венедикта Ерофеева, очень близко подошедших друг ко другу в ее выражении. Их языка, если говорить проще. Пародия может быть и трагической, и за внешне легким отношением к классическим или современным образцам, за таким вот свойским обращением с ними кроется драматическое, с годами переходящее в откровенную трагедию, отношение к жизни. Лосев и Ерофеев, эти чудом спасшиеся школяры-гимназисты, пародийны «от мозга до костей». Причем пародийны именно трагически, до того упора, когда, как в лосевской «Гуттаперче» и ерофеевской «Вальпургиевой ночи», ирония осточертела, враждебные смерчи промчались и, главное, смертельная доза национального напитка давно перевалена. Как и перевалена общая для обоих доза детского опыта, советского языка и «тот миазм, который он исходит».

«Чтобы этот миазм оттенить», обратимся снова к геодезии и картографии, но в сочетании с сивухой. У Лосева есть написанное уже за океаном стихотворение «Разговор». Оно, так же, как и «Понимаю — ярмо, голодуха...», включено в первую книгу поэта, сюжеты их являются парафразами друг друга, такой вот двойчаткой. Монолог мизантропа оборачивается диалогом бражничающих друзей, которые вполне знакомо, в русской традиции размышляют о литературе и ставят «проклятые» вопросы вровень с тем, что лучше — наша белая головка или шведский «Абсолют». Советские этапы, польская Солидарность, свое и чужое писательство, эмиграция. Ностальгия по сивухе. «Ну, ладно, что мы, все-таки, берем?...»... Это лишь на первый взгляд, так сказать, сумбур вместо музыки, смешная зарисовочка из нашего быта в мире ихнего чистогана. А на деле выходит целое бытование русского человека, чьи «проклятые» вопросы ставятся в состоянии постоянного предсмертия, которое известно чем завершается. А уж в нашем случае — таким только резюме собеседника:

*«А, может, нам и правда выпить ролу —  
уж этот точно свалит нас с копыт».*

Веничка и его собеседник, Черноусый, едучи в электричке Москва — Петушки, за бутылкой столичной водки и коктейлем «Поцелуй тети Клавьи» столь же сумбурно, на грани пародии и предсмертия, спорят обо всем на свете — от Шиллера до «Евгения Онегина», от декабристов и Герцена до социал-демократов, и ставят те же «проклятые» вопросы.

«... — Ну допустим, ну разбудили они Александра Герцена, причем же тут демократы и "Хованщина", и...

— А вот и притом! С этого и началось все главное — сивуха началась вместо клико! разночинство началось, дебош и хованщина!.. Все эти Успенские, все эти Помяловские — они без стакана не могли написать ни строки! Я читал, я знаю! Отчаянно пили! Все честные люди России! И отчего они пили? — с отчаяния пили! пили оттого, что честны! оттого, что не в силах были облегчить участь народа! Народ задыхался в нищете и невежестве, почитайте-ка Дмитрия Писарева! Он так и пишет: "Народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины, оттого и

---

<sup>1</sup> «Саха Черный и другие».

пьет русский мужик, от нищеты своей пьет! Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского, а одна только водка, и монопольная, и всякая, и в разлив, и на вынос! Оттого он и пьет, от невежества своего пьет!"

Ну как тут не прийти в отчаяние, как не писать о мужике, как не спасти его, как от отчаяния не записать! Социал-демократ — пишет и пьет, и пьет, как пишет. А мужик — не читает и пьет, пьет, не читая. Тогда Успенский встает — и вешается, а Помяловский ложится под лавку в трактире — подышает, а Гаршин — встает — и с перепоею бросается через перила...»

А мы, как сказал бы Веничка, пока займемся игрой слов, каламбуром, причем сразу и ан зихь и фюр зихь. Потому что именно каламбур, игра слов приводит в действие эту пародийную речь, будучи ее пусковым механизмом, это школьничанье и пересмешничанье. Хотя бы, опять же, статистически, потому что игра слов у Лосева и Ерофеева неисчислима, как и ее смыслы. Искусство, политика, история, религия, биология — все берется в расчет и все расточается безвозмездно, все вбирается и превращается в новую метафору, в живую речь. Причем лосевские находки, прежде всего, лежат в области литературы и политики. Ерофеев, при своей погруженности в те же сферы, щедро прибавляет к ним еще музыку и религию. Может быть, религия есть подлинный смысл ерофеевского творчества, тогда как у Лосева главное — искусство, которое, в понимании поэта, значит не меньше Бога. То есть, равно ему.

Вот, навскидку, из Лосева.

*Недостройка. Плакат  
«Пролетарий всех стран, не вставай с четверенек!»  
(«Памяти Москвы»)*

Или еще, две первые строки из другого стихотворения:

*Спой еще, Александр Похмельч,  
я тебя на такси отвезу...*

А вот из «Классического»:

*... жнут жнецы и ваятель ваяет,  
жрут жрецы, Танька ваньку валяет.*

А тут уже почти гастрономия:

*Се возвращается блудливый сукин сын  
туда, туда, в страну родных осин,  
где племена к востоку от Ильменя  
все делают шкуру неубитого пельменя.*

Или историко-литературный каламбур, строфа из стихотворения с военизированным названием «ПВО, Песнь вещему Олегу».

*Еще некрещеному небу Стожар  
от брани и похоти жарко.  
То гойку на койку завалит хазар,  
то взвоят под гоем хазарка:  
«Ой, батюшки-светы, ой, гой ты еси!»  
И так заплетаются судьбы Руси.*

«В Нью-Йорке, облокотясь о стойку»:

*Он смотрел от окна в переполненном баре  
за сортирную дверь без ключика,  
там какую-то черную Розу долбали  
в два не менее черных смычка.*

*В скандинавской избе начались эти пьянки,  
и пошли возвращаться века,  
и вернулись пурпуроволосые панки.  
Ночь. Реклама аптеки. Река.*

А вот игра слов в «Москве — Петушках», созданной как единый, стилистически безупречный каламбур.

«Давайте лучше так — давайте почтим минутой молчания два этих смертных часа. Помни, Веничка, об этих часах. В самые восторженные, в самые искрометные дни своей жизни — помни о них. В минуты блаженств и упоений — не забывай о них. Это не должно повториться. Я обращаюсь ко всем родным и близким, ко всем людям доброй воли, я обращаюсь ко всем, чье сердце открыто для поэзии и сострадания:

“Оставьте ваши занятия. Остановитесь вместе со мной, и почтим минутой молчания то, что невыразимо. Если есть у вас под рукой какой-нибудь завалящий гудок — нажмите на этот гудок”».

.....

«Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости. Можно себе представить, какие глаза там. Где все продается и все покупается ... глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза... Коррупция, девальвация, безработица, пауперизм... Смотрят исподлобья, с неутраченной заботой и мукой — вот какие глаза в мире Чистогана...».

.....

«Он благ. Он ведет меня от страданий — к свету. От Москвы — к Петушкам. Через муки на Курском вокзале, через очищение в Кучине, через грезы в Купавне — к свету и Петушкам. Дурх лайден — лихт!».

Или вот — уже не из поэмы. Это из Веничкиных записных книжек.

«... философские камни в печени»

.....

«О! До чего горька была участь женщины-узбечки до Октябрьской революции!».

.....

«Кремлевские обс-куранты»

.....

«французские композиторы на М: Манто — Маникюр — Манекен — Медальон — Меню».

.....

А это уже целый пародийный сюжет, опять же из записных книжек. Источник его вполне узнаваем.

«Жил в Одессе маленький хроменький шибздик Яшка и все ходил на костылях, и вот приехал в Одессу большой-большой доктор и говорит маленькому хроменькому шибздику Яшке: „Слушай-ка, маленький хроменький шибздик Яшка, брось ты свои костыли и ходи нормально”. И бросил Яшка свои костыли, ступил один шаг, сбнулся и дух отдал».

\*\*\*

... Вот так и рождается, так и формируется, становится реальностью новый язык, живая речь, воссоздающая, казалось бы, навсегда прерванную и утерянную литературную традицию. Сочинения Льва Лосева и Венедикта Ерофеева, очень близкие и возникшие из единого источника, выразили наступившую реальность с наибольшей для себя и своего времени полнотой. Я же только попытался дать определение этому источнику.

## АНАТОЛИЙ ГРИНВАЛЬД

### ЗАЧЕМ ТЕЛЕГЕ ПЯТАЯ НОГА, ИЛИ «ЖЕМЧУЖНЫЙ ВЕК» РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Эссе

#### Прозаическое введение в тему

Наверное, любой поэт, говоря о поэзии, говорит в первую очередь о себе. Как и любой человек, говоря о человечестве, его проблемах или же достижениях, подразумевает и себя под человечеством, или же ставит себя ему в противовес. Поэт, говорящий о поэзии, и ставящий себя в противовес мировому литературному процессу, или же литературному процессу своей страны, является как минимум бунтарём, максимум, конечно же, гением, при условии, естественно, если в результате его медитации над клавиатурой появляются как минимум шедевры. Но писать шедевры крайне сложно, даже если ты гений, и ещё сложнее, если ты садишься за свой компьютерный стол с определённой целью написать шедевр. Потому что слова, этот рабочий материал, который ты используешь, вполне обыденны а не шедевриальны, и, чтобы уловить гармонию, нужно вначале почувствовать её в себе или в окружающем мире, а уж потом используя или не используя определённые слова, попытаться перенести её на бумагу. И как максимум вы получите просто хорошее стихотворение, что тоже, впрочем, не мало, но далеко не шедевр. Потому что с шедеврами не просто крайне сложно, а сложно катастрофически. В этом случае я согласен с русским писателем Андреем Геласимовым, который называет 10, максимум 20 книг, обязательных для прочтения. Это, говорит он, шедевры. А всё остальное просто хорошая литература. Может быть не просто хорошая, а даже очень хорошая, но, тем не менее, литература. Но с поэзией всё-таки немного проще. Можно, можно написать за жизнь с десятков, другой, поэтических шедевров. Но не книг. Встречается, конечно же, и поэтическая проза. Вроде написано прозой, а читается в одном ритме, захлёб, и током бьёт, как от поэзии. В современной русской литературе это, к примеру, «Нежный возраст» уже знакомого нам Андрея Геласимова, «Гортензия» Бориса Рохлина. В этих случаях градация на поэзию и прозу далеко условна. Что такое поэзия? Попытайтесь найти это определение у Брокгауза, или же в «Британике», или же в «Американе», или же в БСЭ. Попытались? Нашли? Я удивлён, если так. Особенно удивлён, если вас удовлетворили и вам понравились эти определения. Если нет, рискну предложить Вам своё: «Поэзия есть концентрация и передача от человека к человеку позитивной энергии (энергии плюс), которая выражается в предельно сжатом тексте, (то есть пользуется большим количеством ассоциативных решений)». Нет ничего страшного и в том, если вам не понравилось и это определение. Я не претендую ни на истину в последней инстанции, ни даже на то, что этот труд будет напечатан в одном из российских «толстых» журналов. Единственное, чего бы мне хотелось - чтобы моя бабушка, прочитав сегодня это эссе, всё таки купит мне 25 лет тому назад китайскую ракетку для настольного тенниса. Знаете, были такие, с поролоном, хорошей резиной. Одна сторона зелёная, другая – красная. И всего-то 15 рублей на чёрном рынке. И тогда я стану спортсменом. А не писателем.

#### Малиновый пиджак для диссидента

Советский поэт Евгений Евтушенко когда-то сказал фразу, которая стала крылатой: «Поэт в России больше, чем поэт». Да, в советское время, существовал своеобразный культ поэзии. Поэты собирали стадионы, их знали в лицо. Конечно, не всех, но знали. Этот культ поэзии насаждался самим государством, системой. Государству нужны были гимны. Культурное подтверждение своего существования. Поэты в то время, даже поэты «небольшой, но ухватистой силой», жили, в общем-то, более чем безбедно, если, конечно, не становились в позу по отношению к государству и не превращались в диссидентов. У поэтов были квартиры, дачи, машины, то есть все атрибуты принадлежности к высшему свету советской системы. И даже не нужно было откровенно петь песнопения во славу социализма и его вождей. Достаточно было написать 2-3 текста в угоду системе, чтобы твой сборник стихов был напечатан. Такие тексты назывались «паровозами», они тянули за собой всю книгу. Это одна сторона медали. Другая сторона – диссиденты и их поэзия. У этих ничего не было, кроме долгов, славы в своём кругу, и досье практически на каждого в столе полковника КГБ. То есть выбор был. Быть удачливым и немного испачканным, или же, питаться всю жизнь макаронами, но не отдать своего таланта на службу системе. Государство, с одной стороны, поставило поэзию и поэта на высший пьедестал, но, с другой, стороны, здесь существовала

опасность для самого государства - вдруг поэт захочет поиграть в свою любимую русскую игру «Поэт и Царь», и выйдет из под контроля? Вот именно поэтому государство зашвыряло всегда с поэтами, и, до поры, бережно относилось к ним. Потому что поэт - проводник тонкой энергии на землю, а поэзия в этом случае – универсальная российская религия, к которой время от времени обращаются миллионы. Ведь мир спасёт красота, не так ли?

### **И всё-таки она вертится**

Если рассматривать современную русскую поэзию, то можно выделить несколько её сегментов. Во-первых: это так называемые «толстые журналы». Это официоз. Сюда просто так не пускают. Наличие таланта скорее является минусом, нежели плюсом, если речь заходит о публикации. Предпочтительны просто добротные, ладно скроенные тексты среднего уровня. Как говорит русский поэт Константин Кедров, эти ребята боятся всех проявлений живой поэзии. Вероятно, есть какие-то инструкции сверху. Чтобы печататься в этих журналах, нужны хорошие знакомства и тусовка. Если я прочитываю несколько поэтических подборок из этих журналов, у меня возникает ощущение, что все стихи написаны одним человеком, быть может, и выпускником литинститута, но уж с очень узким взглядом на мир и с явно усреднёнными способностями. Что-то выдающееся можно иногда встретить, но это исключение, а не правило. Ребята на бюджете, всё более или менее понятно.

Второе – это проект «Вавилон». «Вестник молодой литературы» – говорят они о себе. Проект интересный, известный, печатает молодых и не очень авторов. Только, вот что касается молодых – здесь тоже, не так всё гладко – опять, как и в случае с официозом ощущение, что почти все тексты «молодых» написаны одним человеком нетрадиционной ориентации и склонностью к верлибру. Что тут скажешь, – мода.

Третье – так называемая «Ферганская школа». Это Азия. Серьёзные ребята. У них не так много материальных возможностей как, к примеру, у «Вавилона», и их не так много, но – суровое восточное качество. Некоторые поэты «Ферганской школы» представлены и на «Вавилоне».

Четвёртое – это ДООС. Добровольное общество охраны стрекоз. Звучит, да? Это более диссидентское движение, чем менее. Масса интересных поэтов. Теперь со своим ежемесячным журналом. Критерий отбора – качество текстов. О ДООСе и его идейном вдохновителе – позднее подробнее.

Пятое – многочисленные антологии и альманахи. Выпускаются в каждом уважающем себя российском городе, где есть хоть небольшая горсточка поэтов. Здесь – свои местные гении, свои Петрарки и Лауры.

И, наконец, шестое, и, как мне кажется, наиболее интересное, – это сетевая поэзия. Иными словами – сетература. Я не в курсе, чем закончился спор по вопросу на страницах «толстых журналов», есть ли сетература, и если, да, то что это такое? Может они там до сих пор ещё решают, есть ли она. Вот на страницах своего официоза, чьи тиражи наиболее успешного из них редко превышают каких-то пять тысяч экземпляров, решают, есть ли десятки тысяч авторов и поэтов рунета? Смешно, да? Им не смешно. Они решают. Они озабочены. Озабочены ещё и тем, что у среднего поэта, который всего лишь полгода тусуется на каком-либо поэтическом сайте, количество читателей в 20-30 тысяч – вполне обычное явление. Есть авторы в рунете, аудитория которых составляет полмиллиона-миллион читателей. Талантливый автор имеет обычно аудиторию в 100-200 тысяч читателей. И она растёт ежедневно. Конечно, в сети много мусора и графомании. Но много и по-настоящему талантливого. Есть сайты со свободным размещением текстов, есть сайты, на которых работают редакционные коллегии. Я могу назвать десятки поэтов, которые начинали свой творческий путь в сети. Это огромная лаборатория для самосовершенствования. Процесс погружения в сетевую поэзию похож на процесс добывания жемчуга. Поэтому наиболее подходящим определением для нынешнего расцвета русской поэзии мне кажется определение одной из сетевых поэтесс – «Жемчужный век»<sup>1</sup>. Да, были уже попытки определить этот расцвет и на официальном уровне, робкие, но были. Кто-то говорил о платиновом, кто-то – о железном веке. Как-то не прижилось. Я не претендую на то, что приживётся и это название – «Жемчужный век». Единственное, чего бы мне хотелось, чтобы та девочка, которой я в девятом классе отослал несмелую записку со словами «Я люблю тебя», прочитав сегодня это эссе, будет более благосклонной, чем 23 года тому назад. И я тогда стану прилежным семьянином. А не писателем<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Вита Савицкая

<sup>2</sup> В последнее время обратил на себя внимание динамично развивающийся проект «Мегалит», объединяющий в себя на сегодняшний день около 40 литературных журналов».

## Пусть будет так

Интернет стирает границы между литературной провинцией и столицами. Один клик мышкой и ты уже читаешь любой из толстых журналов, клик второй, и ты на каком-нибудь сайте, стоящем в оппозиции к официозу. Информации не просто много, а ужасающе много, и стоит немалых трудов найти искомое, нередко ныряя за ним сквозь толщу пластов либо «добротных», но усреднённых текстов, либо явной графомании. И поэтому Жемчужный век. Мне не представляется сейчас реальным кого-то выделить из сотен поэтов рунета – говорить либо обо всех, либо ни о ком. А если обо всех, то получится огромный труд на сотни страниц, в котором никогда не поставить точки. Поэтому – как бы ни о ком. Пусть этот как бы никто, как бы будет существовать реально, и в тоже время как бы нет. Пусть он будет олицетворять собой примерно среднестатистического автора рунета, пусть ему будет около 30 лет, пусть его не будут печатать, и о нём не будут писать литературные критики, пусть он будет широко известен только в узком кругу пары литературных сайтов, где он выставляет свои произведения. Пусть он будет из провинции. И пусть его будут звать Эдуард Ротарь. Пусть он, к примеру, говорит так о своём, к примеру, Барнауле:

*Усталый дворник режет тишину  
Ему плевать на сплице кварталы  
Июльский воздух липнущий к окну  
Приносит запах жаренного сала*

*Два старых фото профиль и анфас  
Канистра пива звуки рок-н-ролла  
II пожелтевший общий унитаз  
Уносит прочь таблетки валидола*

*Зеленый дым набитых папирос  
Гранёный звон наполненных стаканов  
На стенах ядовитый дихлофос  
Сопутствующий травле тараканов*

*Тебя мне будет трудно уберечь  
От этих глаз стреляющих под юбку  
Что хочешь делай только не перечь  
II не включай электромясорубку*

*А женщины толются у дверей  
Единственного в городе сортира  
В парадном у холодных батарей  
Тревожно спят солдаты дезертиры*

*А я мой друг по прежнему люблю  
Тебя и крепкий кофе с шоколадом  
II этот блюз мой пригородный блюз  
Напичканный неразборчивым ядом.*

Или, к примеру, так, о своей стране:

*Веселый край где вечная зима  
Где небо по земле ползет на брюхе  
Где и с трамвая сходят и с ума  
А женщины с рождения старухи*

*Где за окном горящие стога  
Собачий лай положенный на ноты  
II замечают первые снега  
Остатки отступающей пехоты*

*Где все дела решают через суд  
По очереди нянчат младенцев  
И медленно покойников несут  
В последний путь на белых полотенцах*

Пусть он, несмотря на весь трагизм ситуации, не будет лишён чувства юмора:

*У всех всё хорошо у многих даже слишком  
Все на своих двоих и каждый при своём  
Лишь старый Будулай за Олимпийским Мишкой  
Гоняет по лесам с обрезанным ружьём.*

Пусть он скажет так о своём поколении:

*Испуганный мальчик в свои двадцать восемь  
Не знает откуда берутся дебилы  
За окнами город а в городе осень  
По осени кто-то копает могилу*

*Мы редко рождались и медленно жили  
Стараясь спасти чистоту горизонта  
В больничном покое на строгом режиме  
В глубоком тылу и на линии фронта*

*Цветной календарь временами лукавил  
И теплые ливни сменялись снегами  
Любовь без причин без конца и без правил  
В огромной стране населенной врагами*

*В казарме напротив темно и безлюдно  
Опять самоволка избыток свободы  
Разрушенный город как старое судно  
Выходит под флагом в нейтральные воды*

*И время сжимается как на допросе  
И трудно преследовать прежние цели  
Испуганный мальчик в свои двадцать восемь  
На скользком карнизе в оконном прицеле*

Или ещё вот так об эпохе:

*Сосут ночные фонари  
Земную влагу  
Здесь вам не Мюнхен и не Рим  
И не Чикаго*

*Здесь в моде горькое вино  
И злые речи  
Здесь вой сирены за окном  
И свист картечи*

*Здесь все давно подключены  
К одной системе  
Порнографические сны  
Гнилое время*

*...Из телефонных проводов  
Свяжи мне свитер  
И я до первых холодов  
Уеду в Питер*

Так о творчестве:

*От зорких глаз от цепких рук  
Давай укроемся подальше  
Как мало музыки вокруг  
Как много подлости и фальши*

*Спиной к спине лицом к лицу  
Кто на игле кто на аренде  
Все в сером словно на плацу  
И воздух словно в секунд хенде*

*Гляди ползет по стенке гном  
Он будет нашим секундантом  
Всё измеряется талантом  
И лишь поэзия вином.*

А так о своей смерти:

*Что было под рукой тем я и застрелился  
Под старым фонарём у каменных ворот  
А по земле вокруг холодный снег стелился  
И залетал ко мне за шиворот и в рот.*

И пусть он умрёт не так, как писал об этом – совсем не зимой, а летом. Пусть его сердце не выдержит либо душных летних вечеров, либо этой душной эпохи. Да, умрёт он где-то в июле или августе, и не будет падающего на него снега... Не будет фонарей и каменных ворот... Ничего не будет... Кроме одной большой жемчужины зажатой в его ладони, которую он достал для ожерелья «Жемчужного века».

В рамках проекта, или интервью с Константином Кедровым

– Уважаемый Константин, в 2004 году, когда Вы были номинированы на Нобелевскую премию, в своём интервью Вы говорили, что российские литературные журналы боятся всех проявлений живой поэзии. Вы говорили об эстетической диктатуре советских времён, которая и сформировала вкусы этих людей. Изменилось ли что-то на Ваш взгляд за прошедшее время?

– Ситуация только ухудшилась. По-прежнему бал правят Чупринин и Наталья Иванова «Знамя», ненавидящие все выходящее за пределы советской эстетики. Теперь они раздадут премии, как правило за консерватизм и бескрылость. Их вкусы реализм и только реализм. Такова же Барметова (Октябрь), а в «Новом мире» серенький и бездарный, как пробка, Василевский (помню этого студента примечательного своей полной непримечательностью во всем). Отличить один толстый журнал от другого невозможно. Все те же советские стихи, только на другие темы, часто с навязчивым повторением слова «Бог», заменившим «Партию».

– В тоже время, как это ни парадоксально звучит, 7 лет назад Вы говорили о расцвете современной русской поэзии. Ваше мнение сейчас по этому вопросу, Вы также оптимистичны? И если так, то какова, по Вашему мнению, роль интернета в современной литературной жизни? Не выполняет ли он оппозиционную роль, несмотря на все свои минусы?

– Интернет-единственный свет во тьме, но он же и тьма графоманов. Для меня лично интернет по-прежнему окно в мир для моей поэзии, изгоняемой и замалчиваемой с каким-то неистовством на официальном уровне. А мне плевать. В интернете «Журнал Поэтов» теперь официально зарегистрированный и ежемесячный. Конечно, с уходом Парщикова и Вознесенского образовалась зияющая дыра – их никем не заменишь. Назову гениальное – саунд поэзия Сергея Бирюкова, палиндронавтика Елены Кацюбы, дадаистский постмодернизм Витухновской, неожиданный

взрыв тончайшего остроумия Кирилла Ковальджи. Расцвет несомненный, хотя официально поэзию представляют совсем другие авторы, понятные и близкие литературным чиновникам.

– Ваш «Журнал Поэтов» теперь выходит на бумаге. Ставите ли Вы, как редактор, целью Вашего журнала, оппозицию к официозу? И для кого открыт Ваш журнал?

– Журнал не оглядывается не на кого. Плевать я хотел на эти толстые журналы. жиреющие на грантах. Я их при советской власти не читал и теперь вижу, лишь, когда насильно под нос суют. Я не оппозиция, мы-позиция! Принцип Телемского аббатства Рабле – «каждый делает, что хочет», или

*Земля летела  
по законам тела  
а бабочка летела  
как хотела*

К нам слетаются бабочки и стрекозы со всего мира от США до Монголии, от глубинки до столиц. Журнал открыт для всех авторов, пишущих своим почерком, а не с высунутым языком по прописям в букваре.

– Константин Александрович, если допустимо говорить о поэтической биографии, то она в Вашем случае удалась. И это несмотря на то, а может благодаря тому, что Вы всегда шли против течения, как и сейчас, являясь редактором «Журнала Поэтов». А можете ли Вы рассказать о зарождении понятия «Метаметафоры» и о ней самой более подробно? Для меня, к примеру, её определение кажется несколько обтекаемым, из того разряда, что нельзя явно потрогать руками. Или это понятие нельзя расшифровать словами, и всё здесь – на уровне чувствознания?

– Метаметафора дает совершенно иной образ мира. Здесь внутреннее и внешнее относительные понятия и могут меняться местами: «Человек-это изнанка неба//Небо-это изнанка человека». Такое космическое выворачивание или инсайдаут мне весьма свойственно от природы. Еще в 15 лет я написал:

*Я вышел к себе  
через-навстречу-от  
И ушел ПОД  
Воздвигая НАД*

Можно считать это первой метаметафорой. На уровне смысла и звука-это анаграмма. Например: СВЕТ выворачивается в ВЕСТЬ. Или слова вкладываются друг в друга и извлекаются друг из друга, как матрешки:

НЕБЕС ПОКОЙ  
НЕБЕСПОКОЙ.

Но этим все не исчерпывается, конечно. «Метаметафора-амфора нового смысла». Вот например теорема Пуанкаре, доказанная Григорием Перельманом есть в моем стихотворении «Яблоко».

То яблоко вкусившее Адама  
теперь внутри себя содержит древо  
А древо вкусившее Адама  
Горчит плодами-их вкусил Адам...  
ЧЕРВЬ вывернувшись наизнанку ЧРЕВОМ  
в себя вмещает яблоко и древо

(1980)

Несомненно, это тоже метаметафора. Метаметафора это литота в гиперболе и гипербола в литоте одновременно. Потому она так трудно поддается традиционной терминологии. Иногда всеобъемлющие математические формулы являются одновременно метаметафорами. Например  $E=MC$ . Если бы мы эмоционально вживались в эти формулы, они стали бы метаметафорами. Словом, Вы абсолютно правы, смысл метаметафоры неисчерпаем.

– Сложно будет перевести на немецкий эту игру смыслов и поэтическое жонглирование.

– Теперь немного о другом. Сегодняшняя бесцветность официоза порождена, вероятно, во многом политической ситуацией. А когда Вам было проще идти против течения, тогда, во времена Брежнева, когда протест при наличии таланта возводил в ранг героя, или сейчас, когда можно вроде и крикнуть, но мало кто услышит, просто голос потеряется на фоне тотального засилья тоже кричащего, но безвкусия?

– Литературные палачи и надзиратели остались те же в тех же толстых журналах, но ситуация изменилась кардинально. «Журнал Поэтов» не мог выходить в советское время ни при каких обстоятельствах. Сейчас меня замалчивают (иногда шельмуют), а тогда шельмовали, замалчивали и 30 лет НЕ ПЕЧАТАЛИ. Это очень страшная пытка для поэта. Я сегодня рассказываю, как новость, то что открыл и создал 30 лет назад. Пожалуй, в истории российской поэзии такого случая еще не было. Вообще многие просто не понимают трагизма поколения поэтов моего возраста: Губанов, Хвостенко, Бирюков, Кацюба... мог бы добавить еще десяток имен. Нас просто не впустили в поэзию. А когда пришла свобода, всем стало не до поэзии! Сейчас ситуация улучшается, хотя и очень медленно, судя по интересу к «Журналу ПО». Официоз бесцветен всегда! Но я к нему не имел, не имею, и не буду иметь никакого отношения.

– Извините, быть может, если Вы найдёте следующий вопрос нетактичным Константин Александрович, в этом случае Вы можете на него не отвечать. - Вас не печатали 30 лет. С другой стороны, Андрей Вознесенский был Вашим другом. Он никак не мог помочь в продвижении Ваш творчество?

– С Вознесенским я познакомился в 1984-ом году. Он пригласил меня с Парщиковым и Свибловой к себе на дачу. Но сблизилась мы по-настоящему в 1988-ом, проведя вместе вечер «Минута немолчания» во Дворце молодежи, где впервые вышли на сцену из андеграунда Сапгир, Холин, Айги и молодые поэты Парщиков, Кутик, Еременко. Помочь мне при советской власти Андрей не мог. Многие не понимают, что он сам был полузапрещенным. Например, чтобы написать о Вознесенском в «Литгазете», надо было просить разрешение в ЦК. И оттуда же шла ругань Латыниной на «О», прорвавшаяся в печать. Его издавали и рассовывали по сельмагам. А достать сборник Вознесенского было практически невозможно. Только на черном рынке у спекулянта за большие деньги. Сдружились мы прочно в 90-х после его возвращения из США. С 1995-го вместе во всех номерах «ПО». И не счесть совместных вечеров (многое сохранилось на видео) Он посвятил мне дивные стихи «Демонстрация языка» и «Эфирные стансы» А из Индии из под дерева Будды продиктовал по мобильнику «Настанет Лада CREDOVA// Constanta CEDROVA»

– Ваше дворянское происхождение, как оно сказывалось на Вашей жизни?

– В 1952-ом году мне было 10 лет, когда из концлагеря вернулась сестра моей бабушки Софьи Федоровны Чилищевой – Мария Федоровна, она и рассказала мне все. Как по личному приказу Ленина в 1918-ом их всех погрузили на подводу и выселили из имения в Дубровке Калужской губернии. Я был там месяц назад. Сохранился фундамент нашего барского дома и 6 лип, посаженных моим прадедом в 1907-ом году. Цветут там заброшенные сады и множество километров строевого леса, который он посадил. Беседовал с правнучкой садовницы, которая эти липы сажала с моим прадедом. Моя мама всячески свое дворянство скрывала, но после возвращения Марии Федоровны из концлагеря тайна была раскрыта. В 1957-ом я получил открытку от своего двоюродного деда Павла Челищева из Италии. Он младший брат моей бабушки. Думаю, что КГБ не случайно присвоило мне кличку «Лесник», это род занятий моего прадеда. В начале 70х я получил опять же из Парижа наследство – картины Павлика. Когда КГБ отстранило меня от преподавания, картины пришлось продать коллекционеру Шустеру. Сейчас они в галерее Натальи Курниковой «Наши художники» в Борках на Рублевке и стоят несметных денег. Не исключено, что КГБ так яростно меня преследовало и гнало именно из-за дворянских корней по маминной линии, но и еврейские папины корни их раздражали. Отец Александр Бердичевский был, кстати учеником Мейерхольда. Я узнал об этом в день его шестидесятилетнего юбилея, когда пришла телеграмма от Игоря Ильинского: «Помним нашего талантливого, доброго, всегда искрящего юмором Сашу!» И это тоже всячески скрывалось до 1965-го года. Вот так вся жизнь в подполье и у меня и у моих родителей прошла.

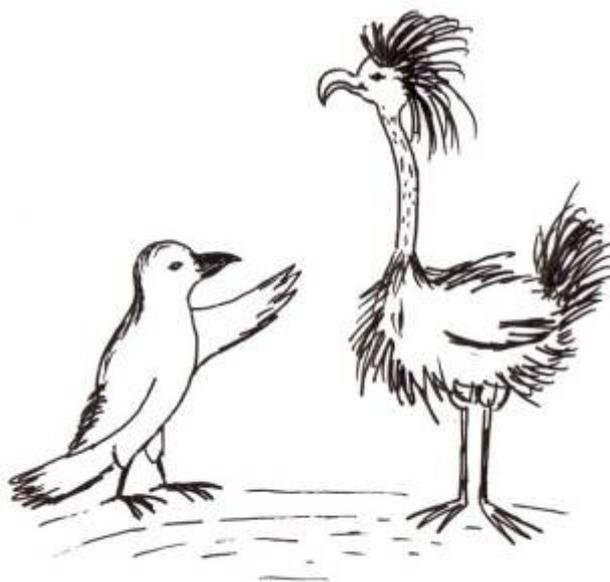
*Константин Кедров*

КОМПЬЮТЕР ЛЮБВИ  
НЕБО – ЭТО ВЫСОТА ВЗГЛЯДА  
ВЗГЛЯД – ЭТО ГЛУБИНА НЕБА  
БОЛЬ – ЭТО  
ПРИКОСНОВЕНИЕ БОГА  
БОГ – ЭТО  
ПРИКОСНОВЕНИЕ БОЛИ  
ВЫДОХ – ЭТО ГЛУБИНА ВДОХА  
ВДОХ – ЭТО ВЫСОТА ВЫДОХА  
СВЕТ – ЭТО ГОЛОС ТИШИНЫ  
ТИШИНА – ЭТО ГОЛОС СВЕТА  
ТЬМА – ЭТО КРИК СИЯНИЯ  
СИЯНИЕ – ЭТО ТИШИНА ТЬМЫ  
РАДУГА – ЭТО РАДОСТЬ СВЕТА  
МЫСЛЬ – ЭТО НЕМОТА ДУШИ  
ДУША – ЭТО НАГОТА МЫСЛИ  
СВЕТ – ЭТО ГЛУБИНА ЗНАНИЯ  
ЗНАНИЕ – ЭТО ВЫСОТА СВЕТА  
КОНЬ – ЭТО ЗВЕРЬ ПРОСТРАНСТВА  
КОШКА – ЭТО ЗВЕРЬ ВРЕМЕНИ  
ВРЕМЯ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО,  
СВЕРНУВШЕЕСЯ В КЛУБОК  
ПРОСТРАНСТВО – ЭТО РАЗВЕРНУТЫЙ КОНЬ  
КОШКИ – ЭТО КОТЫ ПРОСТРАНСТВА  
ПРОСТРАНСТВО – ЭТО ВРЕМЯ КОТОВ  
СОЛНЦЕ – ЭТО ТЕЛО ЛУНЫ  
ТЕЛО – ЭТО ЛУНА ЛЮБВИ  
ПАРОХОД – ЭТО ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛНА  
ВОДА – ЭТО ПАРОХОД ВОЛНЫ  
ПЕЧАЛЬ – ЭТО ПУСТОТА ПРОСТРАНСТВА  
РАДОСТЬ – ЭТО ПОЛНОТА ВРЕМЕНИ  
ВРЕМЯ – ЭТО ПЕЧАЛЬ ПРОСТРАНСТВА  
ПРОСТРАНСТВО - ЭТО ПОЛНОТА ВРЕМЕНИ  
ЧЕЛОВЕК – ЭТО ИЗНАНКА НЕБА  
НЕБО – ЭТО ИЗНАНКА ЧЕЛОВЕКА  
ПРИКОСНОВЕНИЕ – ЭТО ГРАНИЦА ПОЦЕЛУЯ  
ПОЦЕЛУЙ – ЭТО БЕЗГРАНИЧНОСТЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ  
ЖЕНЩИНА – ЭТО НУТРО НЕБА  
МУЖЧИНА – ЭТО НЕБО НУТРА  
ЖЕНЩИНА – ЭТО ПРОСТРАНСТВО МУЖЧИНЫ  
ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО МУЖЧИНЫ  
ЛЮБОВЬ - ЭТО ДУНОВЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ  
ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ - ЭТО МИГ ЛЮБВИ  
КОРАБЛЬ – ЭТО КОМПЬЮТЕР ПАМЯТИ  
ПАМЯТЬ – ЭТО КОРАБЛЬ КОМПЬЮТЕРА  
МОРЕ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО ЛУНЫ  
ПРОСТРАНСТВО – ЭТО МОРЕ ЛУНЫ  
СОЛНЦЕ – ЭТО ЛУНА ПРОСТРАНСТВА  
ЛУНА – ЭТО ВРЕМЯ СОЛНЦА  
ПРОСТРАНСТВО – ЭТО СОЛНЦЕ ЛУНЫ  
ВРЕМЯ – ЭТО ЛУНА ПРОСТРАНСТВА  
СОЛНЦЕ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО ВРЕМЕНИ  
ЗВЕЗДЫ – ЭТО ГОЛОСА НОЧИ  
ГОЛОСА – ЭТО ЗВЕЗДЫ ДНЯ  
КОРАБЛЬ – ЭТО ПРИСТАНЬ ВСЕГО ОКЕАНА

ОКЕАН – ЭТО ПРИСТАНЬ ВСЕГО КОРАБЛЯ  
КОЖА – ЭТО РИСУНОК СОЗВЕЗДИЙ  
СОЗВЕЗДИЯ – ЭТО РИСУНОК КОЖИ  
ХРИСТОС – ЭТО СОЛНЦЕ БУДДЫ  
БУДДА – ЭТО ЛУНА ХРИСТА  
ВРЕМЯ СОЛНЦА ИЗМЕРЯЕТСЯ ЛУНОЙ ПРОСТРАНСТВА  
ПРОСТРАНСТВО ЛУНЫ – ЭТО ВРЕМЯ СОЛНЦА  
ГОРИЗОНТ – ЭТО ШИРИНА ВЗГЛЯДА  
ВЗГЛЯД – ЭТО ГЛУБИНА ГОРИЗОНТА  
ВЫСОТА – ЭТО ГРАНИЦА ЗРЕНИЯ  
ПРОСТИТУТКА – ЭТО НЕВЕСТА ВРЕМЕНИ  
ВРЕМЯ – ЭТО ПРОСТИТУТКА ПРОСТРАНСТВА  
ЛАДОНЬ – ЭТО ЛОДОЧКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ  
НЕВЕСТА – ЭТО ЛОДОЧКА ДЛЯ ЛАДОНИ  
ВЕРБЛЮД – ЭТО КОРАБЛЬ ПУСТЫНИ  
ПУСТЫНЯ – ЭТО КОРАБЛЬ ВЕРБЛЮДА  
ЛЮБОВЬ – ЭТО НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВЕЧНОСТИ  
ВЕЧНОСТЬ – ЭТО НЕИЗБЕЖНОСТЬ ЛЮБВИ  
КРАСОТА – ЭТО НЕНАВИСТЬ СМЕРТИ  
НЕНАВИСТЬ К СМЕРТИ – ЭТО КРАСОТА  
СОЗВЕЗДИЕ ОРИОНА – ЭТО МЕЧ ЛЮБВИ  
ЛЮБОВЬ – ЭТО МЕЧ СОЗВЕЗДИЯ ОРИОНА  
МАЛАЯ МЕДВЕДИЦА –  
ЭТО ПРОСТРАНСТВО БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ  
БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА –  
ЭТО ВРЕМЯ МАЛОЙ МЕДВЕДИЦЫ  
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА – ЭТО ТОЧКА ВЗГЛЯДА  
ВЗГЛЯД – ЭТО ШИРИНА НЕБА  
НЕБО – ЭТО ВЫСОТА ВЗГЛЯДА  
МЫСЛЬ – ЭТО ГЛУБИНА НОЧИ  
НОЧЬ – ЭТО ШИРИНА МЫСЛИ  
МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ – ЭТО ПУТЬ К ЛУНЕ  
ЛУНА – ЭТО РАЗВЕРНУТЫЙ МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ  
КАЖДАЯ ЗВЕЗДА – ЭТО НАСЛАЖДЕНИЕ  
НАСЛАЖДЕНИЕ – ЭТО КАЖДАЯ ЗВЕЗДА  
ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ЗВЕЗДАМИ –  
ЭТО ВРЕМЯ БЕЗ ЛЮБВИ  
ЛЮБОВЬ – ЭТО НАБИТОЕ ЗВЕЗДАМИ ВРЕМЯ  
ВРЕМЯ – ЭТО СПЛОШНАЯ ЗВЕЗДА ЛЮБВИ  
ЛЮДИ – ЭТО МЕЖЗВЕЗДНЫЕ МОСТЫ  
МОСТЫ – ЭТО МЕЖЗВЕЗДНЫЕ ЛЮДИ  
СТРАСТЬ К СЛИЯНИЮ – ЭТО ПЕРЕЛЕТ  
ПОЛЕТ – ЭТО ПРОДОЛЖЕННОЕ СЛИЯНИЕ  
СЛИЯНИЕ – ЭТО ТОЛЧОК К ПОЛЕТУ  
ГОЛОС – ЭТО БРОСОК ДРУГ К ДРУГУ  
СТРАХ – ЭТО ГРАНИЦА ЛИНИИ ЖИЗНИ В КОНЦЕ ЛАДОНИ  
НЕПОНИМАНИЕ – ЭТО ПЛАЧ О ДРУГЕ  
ДРУГ – ЭТО ПОНИМАНИЕ ПЛАЧА  
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ ЗАПОЛНЯЮТ ЗВЕЗДЫ  
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗВЕЗДАМИ ЗАПОЛНЯЮТ ЛЮДИ  
ЛЮБОВЬ – ЭТО СКОРОСТЬ СВЕТА,  
ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ НАМИ  
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НАМИ,  
ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ СКОРОСТИ СВЕТА –  
ЭТО ЛЮБОВЬ

(1984)

# РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ



**Бауэр Владимир** – петербургский поэт. Родился в 1969 году, получил юридическое образование в Ленинграде, работает в юридическом отделе Государственного Эрмитажа. Публиковался в журналах и альманахах «Вавилон», «Авторник», «Звезда», «Urbī». Выпустил несколько книг стихов. Постоянный автор «Белого ворона».

**Боченкова Ольга** – переводчик с немецкого и шведского языков.. Окончила Литературный институт им. Горького. Кандидат филологических наук. Преподаватель немецкого языка. Живет в Калуге.

**Винокурова Анастасия** родилась и выросла в Беларуси. В 2007 году эмигрировала в Германию. Пианистка, искусствовед, преподаватель творческих дисциплин. Призёр и лауреат ряда литературных конкурсов и фестивалей, среди которых – «Ветер странствий» (Италия), «Эмигранская лира» (Бельгия), «Арфа Давида» (Израиль), «Пушкин в Британии» и «Поверх барьеров» (Великобритания).

**Гендернис Ирма** родилась и живет в Латвии. Училась в Санкт-Петербурге. Публиковалась в Сети.

**Генерозова Елена** выросла в Подмосковье, на границе с Тверской областью, живет в Москве. Закончила биологический факультет педагогического университета. Много лет работала преподавателем, сейчас уже много лет как сотрудник иностранной кадровой компании. Печаталась в журналах «Новый берег», «Новый мир», различных антологиях и сборниках. Автор книги стихов «Австралия». Автор о себе: «Про себя сложно писать, т.к. большинство вещей, происходящих со мной в жизни, не имеет никакого отношения к поэзии. Приходится очень много работать – я закончила биофак, но занимаюсь другими вещами, работая офисным планктоном. У меня две относительно взрослые дочери, одна из которых пишет стихи, поэтому я за нее беспокоюсь. Со стихами началось серьезно, когда мне было уже 35 – поняла, что болезнь неизлечима и рада этому до сих пор – и всегда буду радоваться такому трудному подарку. Не могу понять, как люди способны писать не в рифму, занимаясь прозой или драматургией – если не стихи, то не чувствую задачи и быстро сдаюсь. Мне никогда не бывает скучно, потому что, кроме занятий стихами, могу много делать качественной работы руками – шить, готовить, лепить из глины горшки и миски, вязать, копать картошку, варить варенье, рисовать, водить машину и всякое другое. Хотя мама очень ругала меня в детстве за лень, потому что я только читала книги и писала в тетрадках».

**Гринвальд Анатолий** – славист, историк (университет Лейпцига). Три книги стихов, одна из них вышла в издательстве «ОГИ» (Москва 2005). Печатался в журналах «Арион», «День и ночь», «Студия», «Новая реальность», «Простор», антологии «Освобождённый Улисс», «Литературной газете Казахстана», в «Журнале Поэтов», «Новой Юности», в журнале «Гвидеон», журнале «Роев» (Германия, Лейпциг), в антологии интернационального литературного фестиваля Берлина (ILB). Стихи и проза переводились на немецкий и английский.

**Груздева Катерина** родилась в Москве (в районе трёх вокзалов) в 1981 году. Параллельно воспитывалась в польско-литовском городе Друскининкай. По образованию историк архитектуры. Краткая литературная биография такая: с 2001 года публиковала стихи – в различных периодических изданиях, в некоторых сборниках, в интернете (несколько подборок опубликовано в интернет-альманахе «45-я параллель»). Рассказы также публиковались в периодических изданиях («Введенская сторона», «Зинзивер»), в сборниках и в сети (а именно на сайте Проза.ру). Наибольшее воздействие на мои мозги оказали бабушка (физик-астроном) и отец (сюрреалист-художник).

**Даугавиете Инга** – поэт. Родилась и выросла в Риге, живет в Мельбурне. О себе сообщает: замужем, двое сыновей, две собаки, два кролика...

**Делаланд Надя** родилась в 1977 году в Ростове-на-Дону. Окончила филологический факультет Ростовского государственного (ныне – Южного Федерального) университета. Окончила аспирантуру, а в настоящее время является докторантом Санкт-Петербургского государственного университета. Живет в г. Домодедово Московской области. Писать стихи начала в шесть лет. Своей первой публикацией считает напечатанную на ризографе в 1997 году книгу «Стихи» (тираж 100 экз.). Поэтические публикации и рассказы подписаны псевдонимом Надя Делаланд, некоторые стихи – псевдонимом Н. Неизвестная; научные и критические статьи – биографическим именем Надежда Всеволодовна Черных. В 2002 году вошла в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «поэзия» с поэтической книгой «Борода». В 2011 году и в 2012 году вошла в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «поэзия». В настоящую подборку вошли стихи из сборника «Сон на краю» (2014).

**Дорофеева Наталья** родилась и живет в Екатеринбурге. Закончила Уральский Политехнический институт, химико-технологический факультет. Стихи публиковались в различных сборниках, а также в журналах «Проталина», «Аврора», «Вокзал», «Складчина». На 1-ой международной конференции «Окна современной поэзии» (Ганновер) в 2012 году заняла 3-е место. В 2012 году вышла книга стихов «Игра в слова».

**Ильин Владимир** – поэт и переводчик. Родился в Чернигове, еще в предвоенном и майском 39-ом. Родители – молодые, красивые, светлые люди; старшая сестра, бабушка Сапа. Их всех уже нет, но ближе – не было, нет никого... Два года – в Киеве, на Дмитриевской, затем – эвакуация, небольшой авиазаводской городок Управленческ, на Волге, недалеко от Самары... С мая 1946-го – снова и только Киев: ул. Глебова, Татарка, с конца 47-го и до сегодня – ул. Артема, 10, кв. 2 в столетнем доме на углу Артема и Вознесенского спуска, почти над аптекой... Учеба – средняя школа, Политехнический институт (химико-технологический ф-т) и только одна работа – академический Институт физической химии им. Л.В. Писаржевского (зав.отделом, д.х.н., профессор; специализация – молекулярные сита, адсорбция). Март-апрель 1987-го – месячная вахта в Чернобыле, Припяти... Жена, дети, внуки и внук, и даже правнучка Соня – урожденная Билаш, София Денисовна, первоклассница... Еще было одно родное существо – английский спаниель Кузя, почти 15 лет прожили вместе... Публикации (стихотворения, сказки, проза, переводы) – в нескольких сборниках, альманахах, поэтической антологии «Украина. Русская поэзия XX века», в газетах, журналах «Радуга», «Всесвіт», «Неман». 12 книг лирики и переводов. Принят в Союз писателей Украины.

**Иноземцева Елена** родилась в Семипалатинске (Казахстан), окончила художественно-графический факультет Семипалатинского университета. Работала преподавателем, журналистом, художником-постановщиком в театре. С 1998 года живет в Германии, окончила Лейпцигский университет (факультеты славистики и истории искусств). Работала журналистом и редактором в русскоязычных газетах и журналах. В настоящее время преподает русский язык в Лейпцигском университете, пишет диссертацию на тему «Мотив алкоголя в русской литературе». Публикации (в основном, стихи и проза) в Германии, Казахстане, России, США, Украине.

**Караулов Игорь** – поэт, переводчик, публицист. Родился в 1966 году в Москве. Автор трёх поэтических книг. Публиковался в журналах «Знамя», «Воздух», «Новый Берег», «Арион», «Белый ворон», «Шо» и других. Лауреат Григорьевской литературной премии(2011).

**Катерина Катерина** – поэт, историк. Родилась в 1984 году в Ленинграде. С 2007 года живёт в Греции. Переводит с греческого на русский и с русского на греческий. Постоянный автор альманаха «Белый ворон», автор книги стихов «Дхарма» (2010)

**Квадратов Михаил** родился в 1962 году в Сарапуле (Удмуртия), окончил МИФИ, к. ф.-м. н. Книги стихотворений: «Делирий» (2004); «Землепользование» (2006), книга прозы «Гномья яма» (2013). Публиковался в журналах «Знамя», «Волга», «Новый берег». Живет в Москве.

**Ковсан Михаил** родился в Киеве. Автор публикаций по теории литературы и истории русской литературы. Многие работы посвящены творчеству Достоевского, опубликованы в сборнике «Достоевский. Материалы и исследования», в других сборниках и журналах). Автор книг по иудаизму, среди которых «Имя в ТАНАХе», «Иерушалаим в еврейской традиции», «Смерть и рождение Рабби Акивы». Живет в Иерусалиме.

**Лернер Татьяна (Тали).** Родилась и выросла в Липецке, закончила ЛГТУ, затем педагогический факультет УРСХА в Киеве. С 1991-го года живёт в Израиле, в посёлке Риммино. Стихи пишет с раннего детства. Публикации в альманахе «Белый ворон», в журналах «Северная Аврора», «Петровский мост», «Za-Za», «Интеллигент». Лауреат Кубка Мира по русской поэзии 2012 и 2013 года, а также Чемпионата Балтии по русской поэзии 2014 года. Обладатель Приза Литературно-художественного журнала «Северная Аврора» и Специального приза Евгения Лукина. Страницы в сети <http://www.stihi.ru/avtor/lernertaly>, <http://www.stihi.ru/avtor/taly1>

**Молóдьй Вадим** – поэт, эссеист, родился, жил и работал в Москве. По образованию врач-психиатр. Совмещал лечебную, научную и литературную деятельность, занимался психопатологией художественного творчества, был сотрудником и автором ежемесячника «Совершенно секретно», вел на московском телевидении передачи «Из мастерской художника». Печатался в СССР и на Западе. С 1990 года живет в Чикаго. Член Парламента сайта «Век перевода» ([vekperevoda.com](http://vekperevoda.com)), ответственный за связи с авторами Западного полушария, директор американского отделения Международного института социального и психологического здоровья. Публикуется в американской периодике (альманах «Побережье», журнал «Время и место», журнал «Чайка», еженедельник «Рек-

лата»), ведет на чикагском радио «Народная Волна» (<http://www.radionvc.com/>) еженедельную авторскую программу. В 2010 году в чикагском издательстве «Art 40» вышла книга стихов Вадима Молодого с иллюстрациями Бориса Заборова. В 2013 году в московском издательстве «Водолей» вышла его новая книга «Споры с Мнемозиной».

**Мракобред Руслан** родился в 1987 в Бишкеке, Кыргызстан. С 15-ти лет живет в Швеции. Несколько раз становился финалистом конкурса «Пушкин в Британии», был призёром конкурса «Арфа Давида». Основатель литературных объединений «Орден прИ-Рафаэлитов» и «Литературное сообщество заднего сидения».

**Окунь Алексей** родился 8 января 2006 года в Алене (Баден-Вюртемберг, Германия) в семье писателя Михаила Окуня. Рисовать красками (гуашь, масло, акрил) на бумаге и холсте начал в декабре 2009 г. Необычные для трехлетнего ребенка картины сразу обратили на себя внимание. В 2010 г. издательство «Edita Gelsen» (Гельзенкирхен, Германия) выпустило календарь на 2011 год, иллюстрированный двенадцатью работами юного художника. В том же году хельсинкский журнал «LiteraruS – Литературное слово» (№4, 2010) опубликовал несколько работ Алёши вместе с интервью о нем М.Окуня. Картина «Летний пейзаж» и «Весна» были представлены на обложках выпусков альманаха «Белый ворон» – Лето 2011 и Весна 2014. В Алене работы Алексея выставлялись в два этапа в офисных помещениях фирмы M&S Zeitarbeit GmbH. С июля по декабрь 2011 г. был представлен 41 холст. В январе 2012 г. экспозиция полностью сменилась (также 41 холст), и выставка была продлена до конца июня. Сейчас в активе Алексея около 300 живописных работ. О юном художнике и его выставке неоднократно писали местные газеты («Schwäbische Post», «Alener Nachrichten»), вестник новостей культуры «XAVER». Вот одна из цитат: «Невероятно, что ребенок вкладывает столько чувства в живопись, живя при этом обычной детской жизнью».

**Окунь Михаил** – поэт, прозаик, родился в 1951 году в Ленинграде. Окончил ЛЭТИ им. В.И.Ульянова (Ленина). Автор семи сборников стихов и двух книг прозы. Публикации в журналах, альманахах, антологиях в России, Германии, США, Финляндии. Лауреат премии журнала «Урал» в номинации «Поэзия» (2006). Золотая медаль 2-го Международного конкурса современной литературы «Лучшая книга - 2010» в номинации «Малая проза» (Берлин, 2011). Член СП СССР. С 2002 г. живет в Германии.

**Пальшина Маргарита** – поэт, прозаик, сценарист, член Международной гильдии писателей (МГП), дипломант международного поэтического конкурса «Золотая строфа». Родилась в Архангельске, с 2001-года живёт и работает в Москве. Окончила Московский Современный Гуманитарный Университет. В 2006-м году прошла переподготовку в режиссёрской мастерской при Первой школе телевидения при Московской академии государственного управления РАГС. Мастерская ВГИК: курс сценарного дела вёл заслуженный деятель искусств России Агипшев Одельша Александрович, режиссёрский курс – член Гильдии кинорежиссёров, профессор ВГИКа Ман Виктор Аронович. В период с 2006 по 2008 г. написала киносценарии: «Дом на усталость», «Вертикаль», «Звонок на небеса». В 2008-м году киносценарий «Вертикаль» вошёл в шорт-лист Всероссийского конкурса «Кино-Хит». В кино судьба не сложилась, первые киносценарии были переписаны в прозу и стали сборником повестей «Пустые времена». Повесть «Дом на усталость» публиковалась в литературном журнале молодых писателей России «ПРОЛОГ». В 2009 году написан роман-антиутопия «Белый город», стал романом 2010 года на Проза.ru. Первая книга-сборник «Белый город. Пустые времена» вышла в издательстве «Комильфо» (Санкт-Петербург) в 2009 году. Рассказы публиковались в литературных журналах «Новый берег», «Сетевая словесность», «Белый ворон», «Зарубежные задворки», «Млечный путь», литературных альманахах «Точка зрения», «Снежный ком».

**Пандуру Ион** – румынский художник, родился в 1948 в Бухаресте, учился у Иона Таралунга. Персональные выставки в Бухаресте (1991, 1994), Агридженто /Италия (1992), Бамберге/Германия (1994). Работы находятся в частных коллекциях в Болгарии, Польше, Германии, Италии, Нидерландах, Швейцарии, США, Мозамбике.

**Симонов Глеб**, родился в Москве, живёт и работает в Нью-Йорке. Поэт, фотограф, куратор сетевого архива книг ручной работы "Книжница". Печатался в журналах «Воздух», «Черновик», «Новая Реальность», «Транслит» и других. Лонг-листер премии «Дебют» (2010, 2012), шорт-листер поэтической премии «П» (2011).

**Слепухин Сергей** – екатеринбургский художник, поэт и эссеист, родился в 1961 г. в городе Асбесте Свердловской области. Автор семи сборников стихов и двух книг эссе, написанных совместно с Марией Огарковой. Главный редактор альманаха «Белый Ворон».

**Слепухина Евдокия** – художник. Родилась в 1991 году, живет в Екатеринбурге. Иллюстрировала стихи Даниила Андреева, Александра Левина, Владимира Гандельсмана, Алексея Цветкова, Сергея Комлева, Михаила Квадратова, Василия Бородина, Игоря Рымарука, Ива Мазагра, прозу Элисео Диего, Татьяны Красновой, Евгении Перовой, Татьяны Окоменюк. Член редколлегии альманаха «Белый Ворон».

**Сухарев Евгений**, родился 2 октября 1959 года в Харькове. Окончил режиссерское отделение Харьковского государственного института культуры (1980). Стихи пишет лет с 14, автор четырех изданных на родине книг: «Дом ко дню» (1996), «Сага» (1998), «Седьмой трамвай» (2002), «Комментарий» (2005). Лауреат Чичибабинской премии (2005). Лауреат конкурса Российской национальной литературной сети (июль, 2004). Член Международного фонда имени Б.А. Чичибабина (Харьков). Постоянный и многолетний участник чичибабинских поэтических фестивалей. Публиковался в периодике Украины, России, Германии. Произведения автора входили в антологии и хрестоматии.

**Чечик Феликс** родился в 1961 году в Пинске. Окончил Литературный институт им. А.М.Горького, стажировался в институте славистики Кёльнского университета. Автор шести поэтических книг и многочисленных журнальных публикаций. Лауреат «Русской премии» (2011). Живёт в Израиле.

**Шустерович Рафаэль** до 1993 г. жил в Саратове, теперь в городе Ришон-ле-Цион (Израиль). Инженер-электроник. Стихи и переводы публиковались в русских журналах России, Германии, Америки.

**Юдин Борис**, поэт и прозаик, родился в Латвии. Учился на филфаке Даугавпилсского пединститута. С 1995 года живёт в США. Стихи и проза публиковались в журналах и альманахах «Крепцатик», «Зарубежные записки», «Стетоскоп», «Побережье», «Слово/Word», «Встречи», «LiteraruS», «Футурум арт», «Дети Ра», «Зинзивер», «Иные берега», «Barkov`s magazine», «Время и место» и др. Автор семи книг. Отмечен Премией журнала «Дети Ра».

**Юхименко Анатолий** родился в Каневе, окончил биофак Киевского университета, кандидат с.-х. наук, работает в Мироновском институте пшеницы. Стихи публиковались в поэтических альманахах, сборниках и антологиях, журналах «Ренессанс», «Радуга», «Соты». В 2007 году вышла книга стихотворений и поэм «Притчи и другое».